10.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

10 ОКТЯБРЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы вьетнамских писателей. НГУЕН ШАНГ — Зунг. НГУЕН ТХИ — Мамы нет дома 3

ФЕРЕНЦ ЮХАС — Ночные видения *(Вступление Юрия Левитанского)* 24

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК — Тени в раю *(Роман)* 34

ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО — Два рассказа *(Вступление Ю. Павлова)* 93

Литературные иллюстрации

Из экспериментальной итальянской поэзии. РОБЕРТО РОВЕРСИ, ЛАМБЕРТО ПИНЬОТТИ *(Вступление Евгения Солоновича)* 116

АРТУР ХЕЙЛИ — Аэропорт *(Роман. Окончание. Послесловие О. Васильева)* 124

Литературное наследие

КАСТРУ АЛВЕС *(К 100-летию со дня смерти)* 219

Критика

И. ТЕРТЕРЯН — Смена стиля — смена ориентиров? 223

М. ЛАНДОР — Томас Вулф 232

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Ю. Давыдов — Конец письменной литературы? В. Александрова — Эрнесто Карденаль: революция, поэзия 243

Изобразительное искусство за рубежом

В. КУЛАКОВ — Встреча с Ван Гогом 252

Писатель и время

«Я романист, а не писатель *вообще...*» (Интервью Жоржа Сименона) 259

Среди книг

Издано в СССР

Сергей Герасимов — На параллельном движении жизни ◇ С. Северцев — Две встречи с непальской поэзией 267

Издано за рубежом

Г. Брейтбурд — Побег в ничто. ◇ Г. Анджапаридзе — Об африканском золоте и бремени белого человека 270

Из месяца в месяц (Хроника) 274

Авторы этого номера 287

На обложке: ВАН ГОГ, «Колыбельная» (Госпожа Рулен).

Рассказы вьетнамских писателей

НГУЕН ШАНГ

Зу́нг

Молоденькая, лет двадцати, связная в зеленой широкополой «партизанке» сидит на циновке перед домом с винтовкой моего охранника на коленях и, опершись о бамбуковый столб, внимательно смотрит в сторону реки. Наконец она переводит взгляд на нас и продолжает:

— Если бы в последнем бою у нашей Зунг была настоящая винтовка, а не автомат, наша деревня уже давно получила бы золотую медаль. Подумать только, вертолет летел прямо над ее головой. Даже дверь была открыта, а из нее высунулся американец. Зунг не выдержала и как даст из своего автомата по вертолету. Тот чуть-чуть накренился, развернулся и начал бить по нашим окопам. Зунг только зубы стиснула от злости. Потом, конечно, пилила нас. Вам бы, говорит, все полегче, все с автоматами форсить, нет чтобы постараться раздобыть винтовку... Так вы правда сменяете ее нам на автомат?

Девушка поглаживает приклад, не спуская с меня умоляющих глаз.

Еще в пути, из рассказа связной, я почувствовал, что деревня их действительно очень нуждается в винтовке. Моему же бойцу автомат был явно по душе — и красивей и удобней,— поэтому я не стал возражать против обмена. И вот едва мы подошли к связному пункту, обрадованная девушка наказала мальчишке сбегать в деревню, разыскать и прислать сюда Зунг, командира партизанского отряда этой деревни. Ее-то мы теперь и поджидали.

Охраннику тоже не больше двадцати, и он, я это отлично понимал, был весьма рад предстоящему обмену. Однако решив, видимо, поддразнить связную, он напустил на себя недовольный вид.

— Обменять, конечно, можно, только сначала надо взглянуть, что у тебя за автомат! — И подмигнув мне, добавил: — А чем ты думаешь доплатить мне за винтовку?

«Вот бестия, сейчас что-нибудь отмочит!» — подумал я, невольно заражаясь его весельем, и, чтобы не мешать, притворился безучастным.

Девушка продолжала увлеченно рассматривать оружие.

— Какую же тебе нужно доплату? — простодушно переспросила она.

— Что-нибудь подходящее, иначе не соглашусь.

— Вот приедет Зунг, у нее и попроси — она не откажет!

— Думаешь, не откажет?

— Говорю, нет!

И явно желая использовать авторитет своего командира, чтобы окончательно убедить несговорчивого парня, связная принялась рассказывать о заслугах Зунг. Она, оказывается, не только командует партизанами в бою во время вражеских операций по прочесыванию местности и при воздушных налетах, но и полевыми работами руководит, и политическими демонстрациями, она все умеет! Девушка увлеклась, говорила с жаром и неподдельной гордостью.

— А она красивая, твоя Зунг? — прервал ее вдруг мой босц.

От неожиданности связная умолкла, вскинув на парня округлившиеся глаза.

— Еще какая! Да если бы она не была красивой, ее бы сейчас и в живых-то не было!

— Неужто так красива?

— А ты думал! Вот послушайте. Привела она однажды народ, человек тысячу, на уездный рынок. Решили мы тогда заставить власти прекратить обстрел деревни. Зунг руководила демонстрацией, конечно, тайно, а во главе ее шла одна старушка активистка. Мы уговорились: как только она распустит волосы, народ кинется к зданию правления. Но только старушка стала раскручивать волосы, Фи Хунг, начальник поста, догадался, в чем дело, выхватил из кобуры пистолет и приготовился стрелять. Тут Зунг выскочила из толпы и крикнула: «Стой, Се!» А Се, оказывается, имя, которым в детстве звали этого офицера. И откуда она только узнала! Офицер вздрогнул, застыл как вкопанный. Зунг подбегает и, глядя ему прямо в лицо, кричит: «Се, ты не смеешь стрелять в народ!» Тот вытаращил на нее свои лягушачьи глаза, взгляда отвести не может. Да и солдаты стоят, точно окаменели. Наконец офицер пришел в себя, бормочет: «Откуда... вы меня знаете?» Зунг не спускает с него глаз: «Да разве ты теперь кого-нибудь помнишь! Придет время, узнаешь!» Потом взмахнула рукой и провела народ мимо него к дому начальника уездного правления. После начальник поста оправдывался перед своими солдатами: «Я знал, что она меня разыгрывает. В жизни не встречался с ней! Хотел пристрелить, да глянул на лицо — рука не поднялась».

— До того красива?

— Да вот, до того!

— А замужем?

Вопрос этот почему-то смутил девушку. Она опустила глаза, залилась румянцем и, машинально поглаживая приклад винтовки, покачала головой:

— Этого я не могу сказать...

Тут я вмешался в разговор, желая выручить ее и опасаясь, как бы парень не зашел слишком далеко.

— А может, вам самой сходить за автоматом? Зачем вызывать командира отряда?

— Можно было и не вызывать, но ей нужно встретиться с вами.

— Со мной? Зачем? — удивился я.

Связная улыбнулась.

— Ведь вы направляетесь в часть, расположенную в Жи-ронге?

— Верно.

— Вот я и наказала, чтобы Зунг обязательно приехала сюда. Она знакома с вами.

— Но я никогда не был в вашем селе и не знаю никого из здешних.

— Теперь держитесь! — рассмеялся боец.— Ей наверняка известно и как вас звали в детстве.

Связная улыбнулась. Взглянув в сторону реки, она вдруг вскочила:

— Едет!

Река, залитая лучами солнца, тянулась вдаль бесконечной лентой. Раньше, по словам девушки, по ней день и ночь сновали лодки с подвесными моторами, однако с прошлого года американские вертолеты стали расстреливать все, что появлялось на реке, и теперь плыть в лодке днем было рискованно. Жители прибрежных деревень переселились в глубь рисовых полей, река точно вымерла. Только островки ряски плыли по ней то вниз, то вверх — в часы прилива.

Вдали действительно показалась лодка. Гребла девушка в черной крестьянской одежде, на плечах ее развевался кусок пестрой парашютной ткани. Когда нос лодки уткнулся в причал, девушка сбросила ткань, вскинула на плечо автомат и поклонилась, приветствуя нас. Связная тут же подхватила винтовку и предложила нам спуститься к реке.

Да, связная говорила правду: Зунг была красавицей. Лет двадцати четырех, тонкая, но не худая, изящно сложенная, она была красива не бойкой красотой восторженной юности, а той особенной, спокойной, исполненной очарования и величия, красотой, которая чаще встречается в пору расцвета женщины. У нее было овальное лицо, прямой нос, над чуть запавшими глазами — густые красивые брови, удивительно светлая и гладкая кожа, губы пухлые, пунцовые, точно накрашенные. И все же она была не из тех женщин, что приковывают к себе взоры окружающих блеском своей красоты. Ее красота скорее вызывала чувство уважения. Это, видимо, сразу же почувствовал и мой боец, который стоял теперь поодаль и молча, с любопытством разглядывал прибывшую. Связная же бросилась к лодке, поставила ногу на борт и торжествующе уставилась на парня, как бы говоря своим видом: «Вот тебе мой командир! Что же ты молчишь?»

— Я очень обрадовалась,— мягко произнесла Зунг, обращаясь ко мне,— когда узнала, что вы согласились оставить нам винтовку.

— Разве у вас в деревне нет ни одной винтовки?

— У нас всего-то два автомата. А из них, сами знаете, как стрелять по вертолету. Последнее время эти вертолеты просто одолели нас.

Она сняла с плеча автомат и передала его мне. Потом, взяв из рук связной винтовку, отвела затвор, попробовала спуск и, довольно улыбнувшись, одарила меня благодарным взглядом.

Таким образом, обмен был благополучно завершен, и Зунг собралась уже попрощаться со мной, но связная ухватилась за борт лодки и жарко зашептала ей что-то на ухо. Та, вспыхнув, залилась румянцем.

— Да ну тебя, негодница!

Связная метнула на меня быстрый взгляд и заявила:

— Не веришь — не надо. Письмо-то еще у меня!

— Вечно ты меня подводишь! Все равно я поехала! — Зунг оттолкнула было лодку, но передумала, гребнула веслом, и нос лодки снова уткнулся в причал.— А что, правда они едут туда?

— Нет, я соврала! — отрезала связная.

Видимо потеряв терпение, Зунг решительно взялась за весла. Связная, перепугавшись, что она и в самом деле уедет, ухватилась за весло, подтащила лодку к берегу и сказала примирительно:

— Да правда, правда! Пиши скорее письмо.

— Я же послала уже.

— Оно пойдет обычным путем, и неизвестно еще, когда он его получит. А это люди передадут из рук в руки, разве не лучше?

Девушка в лодке на минуту задумалась, опустив свои длинные ресницы, потом посмотрела на связную и, усмехнувшись, покачала головой.

— Не стоит... Немного раньше, немного позже — какая разница!

— Да узнай он, что то письмо написала за тебя я, он на мне живого места не оставит!

— Значит правда они туда едут? — снова переспросила Зунг.

— Не веришь — спроси сама.

Зунг вдруг смутилась и долго в нерешительности улыбалась чему-то про себя, прежде чем обратилась ко мне:

— Простите, вы, кажется, направляетесь в Жи-ронг?..

— Да, в часть, которая входит в состав регулярных войск провинции Донг-тхап.

— Вы там служите?

— Нет, только что получил назначение и вот добираюсь туда.

— Ну что, убедилась? — вмешалась связная.— Пиши письмо!

Видя, что Зунг все еще колеблется, я пришел ей на помощь.

— Пишите. Обещаю передать из рук в руки.

— В таком случае подождите, пожалуйста, я буду вам очень благодарна,— заторопилась девушка, разгребая свежие ветки, набросанные в лодку для маскировки.

Под ветками лежала небольшая матерчатая сумка, из которой она достала ученическую тетрадь, и, примостив ее на коленях, принялась строчить письмо. На корме, под листьями, виднелась тщательно уложенная капроновая сеть, а в маленьком шалаше посреди лодки трепыхалось несколько рыбешек. Связная тем временем сходила в дом за щепоткой вареного риса.

Девушка писала быстро. Казалось, слова только и ждали случая, чтобы вырваться на белый простор листа. В одно мгновение страница была заполнена. Связная протянула Зунг комочек клейкого риса, и та запечатала письмо.

Протягивая мне конверт, девушка смущенно повторила:

— Я вам буду очень благодарна.— Она вдруг опустила голову, снова улыбнулась своим мыслям и добавила: — Только не говорите, что видели меня!

— Но как же в таком случае письмо оказалось у меня?

— Будто не можете сочинить что-нибудь!

Не зная, что на это ответить, я рассмеялся. Девушка смотрела на меня, сдерживаясь, чтобы самой не рассмеяться, потом кинула озорной взгляд на свою подругу и предложила:

— Скажите, что это Ань попросила вас отвезти письмо. А про меня — ни слова!

— Ну уж нет! — воскликнула Ань и энергично замотала головой.— Меня оставь в покое. Опять выдумываешь! Хочешь, чтобы он бросил все и прибежал сюда,— так и напиши!

— Да ну тебя, негодница! Все, я поехала!— прервала ее Зунг и с силой оттолкнула лодку от берега.— Счастливого пути!— уже издали крикнула она нам.

Связная подняла упавшую с лодки веточку и подала мне.

— Передайте тому человеку.

Наблюдая за разговором двух девушек, я понял, что связная души не чает в своем командире. Ей нравилось подшучивать над Зунг, а слыша в ответ: «Да ну тебя, негодница!» — она была совершенно счастлива.

Я взглянул на конверт. Письмо было адресовано заместителю командира роты Ле Ван Кхыонгу.

Лодка была уже на середине реки, когда девушка обернулась и крикнула:

— Так не забудьте, о чем я вас просила. Не говорите, что видели меня!

И словно устыдившись своих слов, она с силой ударила веслами по воде. Лодка понеслась по течению.

На третий день, поздно вечером, я прибыл в расположение части. Оказалось, рота Ле Ван Кхыонга находилась несколько дальше, и я попросил товарищей переслать ему письмо. Через несколько часов, когда я отдыхал в темной комнате, в которую меня поместили, с противоположного берега послышался громкий голос, кто-то звал меня по имени. Это, конечно, был Ле Ван Кхыонг. Я встал и выглянул наружу. В свете луны показалась лодка. Сильный, коренастый парень греб в сторону нашего дома. По тому, как нос лодки зарывался в воду, я догадывался, что парню не терпится встретиться со мной. Стояло половодье, река подходила к самому порогу дома. Подплывая, парень резко затормозил, но лодка с разгона стукнулась о бамбуковую балку, и вода полилась за порог. Ребята, отдыхавшие со мной в доме, недовольно закричали. Парень пробормотал извинения и пригласил меня спуститься к нему в лодку.

— Проедемся немного, сейчас на реке хорошо, прохладно.

Кто-то возразил из темноты:

— А почему бы тебе самому не зайти посидеть у нас?

— В другой раз, ребята. Мне нужно поговорить с товарищем.

В голосе парня чувствовалось сдерживаемое волнение. Он не мог спокойно усидеть на месте, лодка так и ходила под ним, словно и она торопила меня. Только я сошел, парень с силой оттолкнулся веслом. Выгребая на середину реки, он успел задать обычные при знакомстве вопросы: где служил, как здоровье, как добрался до части. Тусклый свет луны мешал мне как следует рассмотреть моего нового знакомого. На вид ему было лет двадцать восемь. Удивительно лучистые глаза под густыми бровями, подстриженные под бобрик волосы, лицо квадратное, как иероглиф «поле». Жизненный опыт подсказывал мне, что человек это смелый и решительный, а весь его теперешний вид свидетельствовал о том, что он был в состоянии радостного возбуждения.

Мы подплыли к полузатопленному дереву, ветви которого полоскались в воде. Кхыонг привязал лодку к толстому суку, предоставив ей свободно покачиваться в голубом свете луны. Затем он сбросил в воду ворох листьев, покрывавших дно и борта лодки, и тут я увидел заранее приготовленные чайник, две большие глиняные кружки, нераспечатанный пакетик арахисовых конфет в обертках и пачку сигарет. Кхыонг разлил чай. Заметив, что я старше его, он перестал называть меня по имени и осведомился, каким я был по счету ребенком в семье [1].

— Прошу вас, угощайтесь...— Он с забавной суетливостью распечатал пакетик конфет, сигареты, пододвинул мне кружку чая.

Пока я пил, Кхыонг не спускал с меня своих лучистых глаз. Его лицо светилось таким искренним радушием и радостью, будто он повстречался с родным братом.

— Ну, как там Зунг? — спросил он, едва я отставил кружку.

Помня настойчивую просьбу Зунг и желая немного подразнить парня, я решился соврать:

— Я не виделся с ней.

— Как так?

[1] По старинным канонам вежливости, в Южном Вьетнаме младший собеседник, обращаясь к старшему, называет его не по имени, а порядковым числительным, в зависимости от того, каким по счету ребенком является его собеседник. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Кхыонг даже вздрогнул. Сияние в его глазах погасло, и теперь на этом лице не было ничего, кроме удивления и разочарования. Я не мог даже предположить, что мое сообщение так сильно на него подействует. Однако слово было сказано.

— А в чем дело? — поинтересовался я, движимый любопытством.

— Это длинная история! — В голосе Кхыонга прозвучала горечь.

Он взял свою кружку, жадно осушил ее, как бы торопясь залить чувство досады, расстегнул ворот гимнастерки и стал нервно обмахиваться веером. Все время он был в движении, словно не находил себе места. Лодка раскачивалась, и от нее во все стороны расходились по воде круги.

— Зунг — моя невеста,— начал свой рассказ Кхыонг после некоторого колебания.— Мы с ней из одного села, которое, как вы знаете, начинается от перекрестка дорог и тянется по берегу реки. Мой дом — в конце села, между рисовых полей, а дом Зунг — в центре. Во время войны Сопротивления отец ее был командиром нашего партизанского отряда. В пятьдесят втором году он погиб в бою с французами. После того как был заключен мир, Зунг предложили выехать на Север, но она отказалась: у нее на руках осталась старая мать, младшие братья и сестры. Семья Зунг, как и все в нашем селе, растила рис, ловила рыбу. В те годы, пожалуй, не проходило дня, чтобы кого-нибудь не забрали, не сослали на каторгу, не расстреляли. Все меньше оставалось в селе людей, которым можно было довериться, зато предатели, доносчики — весь этот сброд — плодились, словно черви. Некоторые из наших парней занялись торговлей, стали ездить на рынок, ну и нахватались там всякого. Начиналось обычно с пьянок да гулянок, а кончалось нередко предательством своих же односельчан. Люди замкнулись, перестали верить друг другу. Изменилась и Зунг. Теперь она носила платье, обшитое кружевами, с глубоким вырезом на груди, шею украшала золотая цепочка, в ушах — сережки. Она стала торговать лапшой, разнося еду по домам. Лапшу она делала из рисовой муки, к ней — соус из кокосовых орехов. Так, ничего особенного, но покупали эту лапшу нарасхват. Особенно солдаты с военного поста и наши сельские гуляки. Они шутили, что лапша у Зунг потому особенная, что раскатывает она ее на своих коленках. Нашлись и такие, что на спор, за ужин с шампанским, брались отведать и саму хозяйку лапши. Я не был другом Зунг, но разговоры эти оскорбляли меня. Может, поэтому я никогда не ел ее лапши.

И вдруг однажды, в такое же, помню, половодье, к порогу моего дома подъехала лодка Зунг. У меня не было ни малейшей охоты болтать с ней, и, не поднимаясь с циновки, я бросил ей довольно резко:

— Мне не нужна твоя лапша!

— Зачем же звал,— ответила она,— если не нужна?

Никого я, конечно, не звал, просто она дразнила меня. Всякие слухи ходили про Зунг по селу, но говоря откровенно, сам я не замечал за ней плохого и в душе надеялся, что все это неправда. Однако после этих слов... Кровь ударила мне в голову, и, глядя прямо ей в глаза, я сказал:

— Послушай, Зунг, сколько ты своим ремеслом зарабатываешь за день? Ты что, не слышишь, что болтают о тебе на селе?

Говорю, а Зунг смотрит на меня такими насмешливо бесстыжими глазами, что у меня от злости все переворачивается внутри. Не сдержался я и выпалил:

— Ты, видно, забыла, за что погиб твой отец?

Сказал и испугался: ведь если Зунг действительно связалась с врагами, то мне теперь несдобровать! Я забормотал что-то и умолк.

Смотрю, Зунг опустила голову, залилась румянцем, а в глазах — слезы. Тут я совсем растерялся и, чтобы как-то утешить ее, тихо сказал:

— Прости, это у меня вырвалось. Я не хотел обидеть тебя.

Зунг подняла на меня свое грустное лицо.

— Не за что мне прощать тебя, Кхыонг. И мне больше по душе, когда ты меня ругаешь. Хорошо бы, если б все на селе ругали меня так.

После этих слов она перегнулась через борт, ополоснула руки и стала накладывать на тарелку свою лапшу. Полила ее соусом из кокосовых орехов, добавила немного рыбного соуса и протянула мне.

— Передай,— говорит,— пожалуйста.

— Кому? — спрашиваю.

— Человеку, которого прячешь у себя...

От этих слов меня даже в жар бросило. Дело в том, что я действительно прятал одного кадрового работника, и, если об этом стало известно, я погиб! И не только я, вся семья моя, все родственники. Может быть, ищейки уже побывали у меня? Я с трудом взял себя в руки.

— Не говори глупостей! Кого я прячу?

Смотрю, лицо у Зунг сделалось каким-то жестким. Уставилась она на меня этаким жгучим взглядом и говорит, отчеканивая каждое слово:

— Эту тарелку ты отнесешь тому товарищу! И как можно скорее, ясно?

Взгляд властный, не говорит, а приказывает. Сказала, поставила тарелку на пол и уехала.

Хочешь не хочешь, а нужно было рассказать обо всем моему знакомому. Сейчас он член комитета Национального фронта нашей провинции Лонг-тяу-ша. Взял я тарелку, сел в лодку, будто на рыбалку собрался, и отправился прямиком через залитые водой поля к зарослям старого кустарника. Товарищ выслушал меня, сломил две ветки вместо палочек для еды, поковырялся в лапше и вытащил крохотную записку. Прочел и сразу попросил перепрятать его в другое место. Я так и сделал. А когда возвращался, слышу, народ рассказывает: была облава, прочесывали старый кустарник.

С того дня я только и думал о встрече с Зунг. Вздрагивал от каждого всплеска, каждого звука приближающейся лодки. Но Зунг больше не заезжала ко мне. Наблюдая за тем, с кем и как она общается, я стал лучше разбираться в людях своего села, и на душе у меня не было прежнего мрака.

Но по-настоящему мы с Зунг познакомились в начале шестидесятого года. Село наше готовилось к восстанию. Не помню уж, в каких числах было дело, знаю только — до дождей и после того, как сняли урожай. Собрались мы на совещание в том самом старом кустарнике. Была и Зунг. Обсудили вопрос о ликвидации шпиков и наиболее жестоких предателей. Потом посоветовались и пришли к решению захватить военный пост в устье реки. Решили и обрадовались, но как стали обсуждать подробности, видим, ничего не получается. Пост тогда охраняла дюжина хорошо вооруженных солдат. А на всю нашу деревню была одна старая винтовка и к ней одиннадцать позеленевших патронов. Мы даже не были уверены, выстрелит ли хоть один из них. В конце концов стало ясно: поста нам не взять. Кто-то предложил снять решение как невыполнимое. И когда уже все окончательно растерялись, не зная, что же предпринять, попросила слова Зунг.

— Поручите этот пост мне,— сказала она.— Я его возьму!

Мы вытаращили на нее глаза.

— Ручаюсь — возьму! — уверенно повторила она, точно гвоздь вбила.

И стала излагать свой план. План был довольно рискованный, но,

как нам показалось, выполнимый. Зунг единогласно назначили руководить операцией, и она без излишней скромности согласилась.

— Я согласна принять руководство,— заявила она торжественно.— Каждый день прохожу в расположение поста со своей лапшой и прекрасно знаю там всех. Уверена, что с задачей справлюсь. Но есть у меня одно «но». У командира должен быть голос громкий, грозный, такой, от которого врага охватывает страх. А меня услышат, только и скажут: а, это торговка лапшой! И не испугаются.

Слушал я Зунг, и в душе моей смешались нежность к этой милой девушке и желание расхохотаться.

А Зунг продолжала:

— Предлагаю избрать товарища, которого враги не знают, с голосом, как боевая труба, чтобы изо рта у него вылетали не слова, а пламя! Товарищ этот должен все время находиться при мне и все, что я буду говорить, громко повторять за мной.

Мы переглянулись. Она, разумеется, была права. Пока размышляли, кого избрать, Зунг вдруг и говорит:

— Предлагаю — Кхыонга!

Предложила, но таким тоном, как будто уже решила за всех. Никому не улыбалась роль рупора, поэтому стоило ей назвать меня (а я и рта не успел раскрыть, чтобы возразить), как все проголосовали «за». Можете представить, что испытывал я в тот момент! Впрочем, мне не оставалось ничего другого, как самому же рассмеяться, чтобы скрыть смущение...

На этом совещание закрылось. Все стали расходиться. И тут Зунг воскликнула:

— Смотрите, красные знамена! Как красиво!

Удивленные, мы высунулись из кустов, но нигде никаких знамен.

— Вы что,— спрашивает она,— не видите знамен?

Тут мы сообразили. «Знаменами» были багряные шапки цветов на «деревьях феникса». Они и вправду, как полотнища, покрывали ветви, горя и переливаясь под лучами солнца. Деревня в этот миг показалась нам украшенной алыми флагами и потому особенно дорогой и близкой. Зунг стояла взволнованная, молчаливая и как завороженная смотрела на родное село.

Кажется, с этого момента я и полюбил ее по-настоящему.

Настала та ночь, на которую было назначено взятие поста. Расскажу вам вкратце, как все произошло. Налеты на посты мы обычно проводили темной ночью, а тут взошла яркая луна. Она-то и помогла нам добиться успеха.

Точно в назначенный срок все, кто был в селе, ударили в барабаны, тамтамы, колотушки, закричали, завопили что есть мочи. Началось нечто невообразимое! По плану Зунг, отряд наших ребят с шумом и грохотом несколько раз протопал по поселку, в котором жили семьи солдат. На плечах они несли вымазанные сажей куски стволов папайи, которые должны были изображать грозные базуки [1]. Зунг тем временем ходила по домам поселка, сея панику среди и без того перепуганных солдатских жен. «Бегите,— говорила она,— скажите мужьям, чтобы они не вздумали сопротивляться, иначе партизаны пустят в ход базуки и перебьют всех до одного». Жены стали умолять ее остановить партизан, потом бросились в расположение поста к своим мужьям. Но солдаты не сдавались.

Кто-то закричал:

— Можете стрелять, мы не сдадимся!

Из расположения поста открыли огонь.

---

[1] Переносное оружие реактивного действия типа фаустпатрона.

— Пусть хоть один попробует сдаться — пулю получит в лоб! — послышался тот же угрожающий голос. Вслед за этим раздались отборные ругательства в адрес несчастных жен. И снова — выстрелы.

— Вот дьявол! Он упрям, как буйвол,— говорит мне Зунг.— Я его знаю — это офицер, начальник поста. Что будем делать?

Я и сам не представлял, как теперь быть, но все же уверенно предложил:

— Надо припугнуть его еще разок!

— Верно!

Зунг отдает приказ, я его выкрикиваю:

— Солдаты! Я знаю, среди вас только один не желает сдаваться. Но мы не хотим из-за одного человека уничтожать всех вас и ваши семьи, поэтому предлагаем сдаться и не доводить до кровопролития!

Офицер разразился площадной бранью. Жены заголосили, поднялись крики, ругань. Зунг командует, а я громко повторяю:

— Первому расчету базуки — при-го-то-виться!

На этот случай мы изготовили карбидную бомбу, чтобы изобразить предупредительный выстрел. Однако не успел смолкнуть мой голос, как раздался женский вопль:

— Подождите, не стреляйте!

Смотрю, из ворот поста показалась женщина. В одной руке у нее винтовка, другой тащит за ворот своего мужа. Отбежали они на приличное расстояние, она и кричит:

— Теперь стреляйте! И так, чтобы от них, проклятых, мокрого места не осталось!

Что тут началось! Из расположения поста, словно осы из растревоженного гнезда, толкая друг друга, стали опрометью выскакивать и солдаты, и их жены. Повторяя слова Зунг, я командую:

— Автоматчикам — обезоружить пленных!

В мгновение ока человек тридцать наших «автоматчиков» выскочили из-за деревьев и с криками «ура!» окружили солдат.

В суматохе начальник поста пустился наутек. Зунг кинулась за ним, позабыв о том, что она отвечает за успех операции. Я — за ней. Когда мы уже стали настигать офицера, он обернулся и выпустил очередь из автомата. Зунг упала, я бросился ее поднимать.

— Ты что, с ума сошел! — оттолкнула она меня. Потом вскочила и как ни в чем не бывало продолжала погоню.

Меня с Зунг прочно связывала теперь какая-то незримая нить, и я, не раздумывая, всюду следовал за ней. Чувствуя, что ему не уйти, офицер влез на дерево, пытаясь укрыться в его листве. Но Зунг успела заметить, где он скрылся, подбежала, кричит:

— Слезай! До сих пор я не стреляла. Не хотела напрасно убивать тебя. Теперь считаю до трех. Не слезешь — пристрелю! Считай, Кхыонг! — говорит мне.

— Ра-аз! — считаю.— Два-а!

— Стойте! Остановитесь, пожалуйста! — жалобно залепетал офицер.— Разрешите слезть. Я сдаюсь.

— Сначала бросай оружие! — кричу ему.

Автомат упал на землю. Я его тут же схватил, оттянул затвор, но слышу:

— Не сметь стрелять! Сказала — не убью, значит не убью.

Так мы освободили свое село. В нем создан был комитет Национального фронта. За заслуги при взятии поста комитет избрал Зунг командиром сельского партизанского отряда. Но Зунг заявила, что в трудные минуты боем фактически командовала не она, а я и что она уступает эту должность мне. Она же, если ей разрешат, займется работой среди

женщин. В комитете ей не поверили, решили — скромничает, не хочет меня обижать. И то правда, с той ночи меня так и прозвали «ходячим рупором Зунг». Судили-рядили и все же решили оставить Зунг командиром. А мне поручили возглавить молодежь.

В начале шестьдесят первого я вступил в армию, и только через два года, в сезон дождей шестьдесят третьего, мне опять довелось попасть в свою деревню. Нет, не в отпуск, а в составе подразделения, направленного туда с заданием отбить пост в устье реки: за год до этого его с помощью американцев снова заняли солдаты Зьема [1].

Бой за пост проходил у нас не совсем гладко. Почему-то не взорвался пакет с толом, заложенный под вражеские укрепления. Недобитый противник успел сосредоточить в траншеях остатки своих сил, открыл ответный ураганный огонь. Станковый пулемет так прижал нас к земле — головы не поднять. Нужно было уничтожить огневую точку до наступления рассвета, иначе нам пришлось бы туго. Выслали три группы добровольцев: одну в лоб, другую с фланга, третью в тыл. Пулемет был подавлен, вместе с нашими бойцами в расположение поста ворвались вооруженные чем попало крестьяне и камня на камне не оставили от укреплений. Но когда стало светать, со стороны уездного центра на нас посыпались снаряды. Я получил приказ прикрыть отступление главных сил.

Видимо, после любого, даже выигранного, боя в первые минуты всегда царит неразбериха. Колючая проволока, груды разбитого кирпича, тела убитых, пороховая гарь... В утреннем тумане по развалинам бродили бойцы, крестьяне, взрослые и дети, кто нес на носилках раненых, кто трофейное оружие, боеприпасы. Несли на плечах, на головах, в охапках, сновали навстречу друг другу, кричали, смеялись, ругались. Шум стоял как на рынке в праздничный день. А тут еще стали рваться снаряды, засвистели осколки над головой. Началось отступление. И вот во время всей этой суматохи, когда я размещал своих бойцов на позиции, готовясь прикрывать отход наших, слышу за спиной знакомый голос:

— Кхы-о-онг!

Оглядываюсь — девушка из нашего села, Ань. Она даже не поздоровалась со мной, обернулась куда-то, кричит:

— Зунг, беги сюда, здесь Кхыонг!

Смотрю, издали, навстречу потоку людей, идет, расталкивая всех, моя Зунг.

Зунг!.. Пока не видела меня, летела со всех ног, а заметила — засмущалась, остановилась, шага сделать не может. На ней уже ни золотой цепочки, ни сережек. В старом крестьянском платье, перетянутая пулеметной лентой, с автоматом на плече — настоящая боевая партизанка, каких обычно рисуют на картинах. Красивая, сильная, исполненная достоинства! Ань плутовато подмигнула мне, прикрыла ладонью рот, чтобы я не заметил ее улыбку, и убежала.

Если бы в тот момент вокруг нас не рвались снаряды, не свистели осколки, если бы не бежали, толкаясь, люди и мне не нужно было бы командовать бойцами, мы, верно, простояли бы с ней так целую вечность. Зунг молчала и смотрела на меня, смотрела такими глазами!.. Нет, я не смогу передать вам этого! В ее взгляде я чувствовал все: и немой укор, и свое счастье...

— Ваши уже отошли, почему же ты здесь? — спросила наконец она.

---

[1] Нго Динь Зьем — с июля 1954 г. премьер-министр сайгонского марионеточного правительства, с октября 1955 г.— президент Южного Вьетнама, осуществлявший кровавую диктатуру в стране. В результате мятежа генеральской хунты 1 ноября 1963 г. был свергнут и убит.

— Меня оставили прикрывать отход.
— Тогда я с тобой!
И она осталась с нами.

С тех пор Зунг стала моей невестой. Мы решили, что в этом году, как спадет половодье и с полей снимут урожай, устроим свадьбу. Но в жизни, как вы знаете, не все случается так, как мы хотим. Три месяца назад товарищ, случайно побывавший у нас в селе, рассказал, что американцы забросали село напалмовыми бомбами. Сгорело много домов. Спасая детей, сильно обгорела какая-то девушка. Имени девушки человек этот не знал. Тут я потерял покой. Конечно, сразу же отправил письмо Зунг. Прошло больше месяца, получаю ответ, но почерк не ее. Зунг сообщала, что обгорела, лежит в больнице, а письмо это написала за нее медсестра. Пишет: прежней Зунг уже нет, ты должен меня забыть. Что со мной было! На душе и горечь, и боль, и тоска, и обида. Накатал я ей сразу длиннющее письмо. Как, пишу, ты могла выговорить такое — забудь! Писал с обидой, а в конце добавил: что бы ни случилось, все равно буду любить до конца своих дней. Поверите ли, я почему-то не сомневался, что Зунг останется калекой. И все же после ее письма мое чувство не только не ослабло, а, напротив, я полюбил ее, кажется, больше прежнего. Если Зунг не сможет работать, рассуждал я, то, когда выбьем американцев, буду работать в поле за двоих, нам с ней хватит... И вот теперь получаю эту весточку. Пишет, что послала длинное письмо, в котором все подробно объяснила. А здесь написано... Ничего не понимаю! Чему теперь верить? Думал, вы видели ее, хотел узнать...

Кхыонг умолк и стал наливать себе чай. Кружка была полна, а он, не замечая, все лил и лил, погруженный в свои думы. Меня не могла не тронуть его растерянность. Видя его состояние, я решил сейчас же открыть ему всю правду. Но потом у меня возникло желание еще немного помучить влюбленного парня, чтобы с тем большей радостью узнал он о моей встрече с Зунг.

— А что, разве из этого письма не все ясно?

Кхыонг сунул руку в нагрудный карман, достал конверт.

— Прочтите, секретов здесь нет.

Луна светила тускло, и мне пришлось читать при свете фонарика.

«Кхыонг,— писала девушка,— твое письмо меня прямо-таки растрогало, и я... сразу ответила тебе. Написала длинное-предлинное письмо, в котором все объяснила. Оно еще не дошло до тебя, но, наверное, тебя обрадует. Я не обгорела, целехонька, как была.

Когда ты в своем письме спросил, не я ли пострадала от пожара, я тут же села писать ответ, чтобы успокоить тебя. Но потом подумала: чему я так рада? Только тому, что избежала несчастья? Я подумала, что в радости моей таится какой-то страх. Страх за нас? Ведь случись этот пожар неподалеку от меня, я бы тоже, не раздумывая, бросилась спасать людей и тоже могла бы обгореть. Американские бомбы не разбирают. И мне захотелось узнать — что было бы с нами в этом случае? Не сердись, родной!

Американцы решили угнать из села людей в занятые ими районы, поэтому нашу деревню стали бомбить сильнее. От той бомбежки пострадала Хань. Мне так жаль ее, бедняжку! У моих девушек не было ни одной винтовки, только автоматы, а стрелять из них по вертолетам бесполезно. Нам только что удалось выменять за автомат винтовку. Будешь возвращаться, попроси еще штуки две-три. Не забудь. Налеты стали чаще, но теперь мне уже не придется звать людей на помощь: у нас у самих винтовка! Не беспокойся, у нас тут все здоровы...»

Слушая рассказ Кхыонга, я уже догадывался, что Зунг нарочно прикинулась пострадавшей, чтобы испытать парня, и мне, откровенно говоря, не совсем понравилась эта история. К чему, подумал я, устраивать весь этот спектакль? Мало у нас трудностей, чтобы еще усложнять жизнь! Но когда я прочел ее письмо, недовольство мое сразу улеглось. Эти искренние безыскусные строчки чем-то даже взволновали меня. Не берусь судить о любви вообще, но в проделке Зунг я почувствовал всю юную прелесть любви, над которой не властны ни бомбы, ни напалм. Война, где каждый день тебя поджидает смерть, либо опасность стать калекой, не в силах подавить светлое чувство этой девушки. Она полна любви, пусть своеобразной, путаной, но и естественной, как сама жизнь...

Я протянул Кхыонгу записку.

— По-моему, здесь все ясно. Не пойму, чего ты волнуешься?

— Взгляните на обороте, там приписка.

Я перевернул страницу.

«Ну, а если вернешься и вправду застанешь меня калекой?..»

Тут я вспомнил, что, перед тем как передать мне письмо, Зунг вдруг вынула его из конверта, нацарапала несколько слов, на мгновение смутилась, но лукаво улыбнувшись про себя, быстро запечатала конверт.

Перевод с вьетнамского ПЕТРА АЛЕШИНА

НГУЕН ТХИ

Мамы нет дома

Солнце в зените. С реки несутся сильные порывы ветра. Несколько дней подряд по утрам шел дождь, небо было удушливым и мутным, как табачный дым. Но поднялось солнце, и небо сейчас прозрачно-голубое и высокое. Блестят на солнце высохшие песчинки на вырванных взрывами из земли клубнях батата. Переливаются жемчугами последние капли дождя под навесом караульной вышки.

Малышка снова забралась на пальму [1]. Выпрямилась там во весь рост и смотрит вдаль. От ветра и солнца слезятся глаза. Малышка прислушивается. Уханье бомб, свист реактивных самолетов, урчанье катера на реке — все звуки, едва поднявшись в воздух, сразу растворяются в безграничном полуденном пространстве. Малышка ждет винтовочных выстрелов. Они означают начало боя и здесь всегда хорошо слышны. Малышка и младшие дети к ним давно привыкли. Но выстрелов почему-то пока не слышно.

Прошлой ночью мама заходила домой. На подбородке у нее еще блестели дождевые капли. Скользнув холодным, мокрым краем полиэтиленовой накидки по лицу Малышки, мама наклонилась к маленькому, взяла его на руки, стала укачивать. Потом быстро прошла к тайнику, наполнила пояс патронами, заложила их в магазин винтовки и заторопилась уходить. Уже во дворе она ласково погладила Малышку по голове:

---

[1] Девочку зовут Бе, что значит «малышка, маленькая». Это не имя, а ласкательное прозвище, которым часто зовут девочек во вьетнамских семьях. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

— Будешь варить рис, смотри не сливай воду, обваришься. Вернусь завтра.

Малышка услышала, как мама перепрыгнула через канаву перед домом,— она подумала, что мостик от дождя, наверно, стал совсем скользким,— а дальше мамины шаги пропали в стоне снарядов и шуме дождя.

Сегодня утром мама снова проезжала мимо дома на лодке вместе с девушками-партизанками. Мамин голос дети услышали еще издали. Они бросили батат, который пекли на кухне, и всей гурьбой побежали к каналу. Мама причалила к мосткам, повесила на них связку баньу [1], озорно брызнула водой в Хиена — он был голышом,— и лодка поплыла дальше. Девушки, прислонив винтовки к плечам, голыми по локоть руками махали Малышке и другим детям. Дети тоже махали маме и девушкам до тех пор, пока лодка, замаскированная зеленью с торчащими из нее дулами винтовок, не исчезла за изодранными снарядами ветвями гардении с уцелевшими кое-где нежно-белыми цветами.

Малышка все ждала, не раздадутся ли винтовочные выстрелы. Она уже который раз сегодня забиралась на пальму. Четверо младших стояли внизу. Хиен, все еще голышом, широко расставил ноги и запрокинул голову. Ань, чуть постарше его, подражая сестре, забралась на дерево у канала и тоже вытягивала загорелую шейку и остренький подбородок. Тхань, выше ее на целую голову, теребила свой схваченный блестящей заколкой «конский хвост», с трудом удерживая на руках самого маленького. Иногда она поднимала руку кверху, указывая ему на едва заметную в листве фигурку сестры.

Девочка смотрела вдаль. Раньше там желтели поля батата, зеленели сады. Малышка хорошо знала, что там были деревья пампельмусов с белыми цветами, стоял сахарный тростник и низкорослые сиамские пальмы. Сейчас все было стерто с лица земли бомбами и снарядами врага. Над мертвым, обугленным пространством торчал, сверкая на солнце, острый как нож шпиль собора в Бами, рядом чернела смотровая вышка поста марионеточных отрядов. Еще дальше видна была лента реки, за нее уходили облака.

Малышка знала: еще миг — и оттуда раздадутся выстрелы. Там — фронт, на фронте мама и девушки-партизанки. Малышка была там много раз, когда связная из уезда просила отнести маме срочный пакет. Она обязательно прихватывала с собой корзинку — на обратном пути можно собирать батат на развороченном бомбами поле. Но интересней всего было забегать в школу. Малышка таращила глаза на круглый рот учительницы, когда та учила детей петь. Часто учительница писала мелом на доске такие же круглые буквы. Малышка букв не знала. Сначала она не могла ходить в школу, потому что нужно было нянчить маленьких. Школой стала для нее игра, в которой она сама была учительницей, а четверо младших — учениками. Потом настоящую школу сожгли враги. Малышка смотрела на зеленую полоску школьного бананового сада, а в солнечных лучах порхали, мерцая, круглые белые, как мел, буквы. Учительница, которая так хорошо пела, теперь тоже стала партизанкой, и сейчас она вместе с мамой на той стороне. Но почему же до сих пор не слышно выстрелов?

— Маму видно уже?

Дети тянулись кверху и смотрели на сестру такими просящими глазами, точно верили, что у нее выросли крылья и она вот-вот полетит к маме.

---

[1] Треугольные рисовые лепешки, начиненные кусочками мяса и жира и завернутые в зеленые листья.

— Нет еще! — крикнула Малышка, а перед глазами у нее все поплыли удивительные буквы.

Тхань опустила маленького почти до земли: она устала.

— А что сейчас видно?

— Сестричка, ну скоро мы увидим маму?

Малышка не отвечала и смотрела в сторону сожженной школы. Хиен прислонился к стволу пальмы и нетерпеливо захныкал, словно мама уже была рядом с сестрой, на верхушке пальмы, и обе медлили спуститься вниз.

— Тебе что мама велела, Хиен? — крикнула Малышка.

— А я больше не плескаюсь в воде...

— Мама не только про это говорила, она велела не хныкать и не звать ее, когда она уходит бить врагов.

Из соседнего дома тут же раздался окрик:

— Кто это там опять к маме просится?

— Да это все Хиен, бабушка!

Бабушкой дети звали Шау Хо, соседку. Сейчас она поливала бетель у себя в саду, слышно было, как там льется вода.

— Все хнычет и хнычет, ишь ты...— заворчала она.— Все время маму вспоминать — она там так расчихается, настоящий насморк у нее будет [1]. Нечего капризничать! Еще раз услышу, кто хнычет, сразу отшлепаю, ясно? Маме вашей небось и так нелегко, кругом снаряды да бомбы. Малышка, ты что это опять туда забралась? Вот голова закружится, будешь знать!

— Я маму высматриваю...

— Чего там высматривать, сказано, пошла врагов бить! Слезай-ка!

Малышка только заливисто рассмеялась.

— Бабушка, а бабушка, у вас на поле бык ботву объедает! Эй ты, бы-ы-к! Поше-е-ел! Все, все, я его прогнала. Бабушка, за это сварите нам батат, когда мама вернется, ладно?

— Вот я тебе, озорница!

Бабушка всегда во все вмешивалась и часто ворчала на детей. Но они прекрасно знали, что это только так, для острастки, а на самом деле она совсем не сердитая, ворчанье ее им было так же привычно, как общий для их двух домов дворик и мостик через канаву.

По годам Тхань шла сразу за Малышкой. Говорила она мало и чаще всего просто молча делала, что ей велят. Она поудобней усадила у себя на руках маленького, притянула за руку Хиена и крикнула Ань, чтобы та слезала с дерева. Став тесной кучкой, все четверо снова задрали головы вверх. Для Хиена мама была сейчас сенью колышущихся пальмовых листьев, и внезапно, словно по волшебству, она превратилась в аромат бананов и вкус лепешек баньу. Эти лепешки им посылали с мамой, когда она шла с фронта домой, жители Тамнгая. В воображении Ань лицо мамы сияло в медной россыпи патронов, что в маминых карманах,— на них мама учила ее считать. «Раз, два, три» — стояли в ушах знакомые слова счета, как будто доносившиеся с верхушки пальмы.

Малышка вовсе не надеялась, что мама скоро вернется. Она забралась на пальму просто так, как забиралась и раньше. К этому она привыкла, как и к самой пальме перед домом. Когда Малышка научилась выговаривать слово «пальма», дерево было раза в три выше дома, а весь ствол вдоль и поперек бороздили рубцы от пуль тэев [2]. Рубцы уже потемнели от времени, но мама знала наперечет каждую рану на пальме и могла рассказать о ней, как о самой себе. Когда Малышка пер-

---

[1] По вьетнамскому поверью, человек, если о нем вспоминают, начинает чихать.

[2] Тэй, тэи — так презрительно называли во Вьетнаме французских колонизаторов.

вый раз обхватила ствол пальмы, чтобы залезть на нее, бабушка Шау стала бранить ее, но мама только смеялась. Малышка училась лазить совсем как маленькая ящерица, вытянув шею и тараща блестящие черные глазенки на далекую верхушку. Сколько раз, уже одолев какую-то часть ствола, она, не удержавшись, соскальзывала вниз. Но однажды наконец добралась до самых ветвей. У нее зарябило в глазах, когда она глянула оттуда вдаль. Обо всем, что открылось ей тогда в небе и на земле Тамнгая, Малышка кричала вниз, маме. Она сорвала спелые кокосовые орехи, и они стремительно полетели вниз. На стук упавших орехов из кухни выглянула мама, она поняла, что дочь теперь будет ей опорой. С того дня мама с винтовкой за спиной стала уходить гораздо чаще. Малышка нянчила младших детей, сначала одного, потом другого, третьего. Пальма уже не казалась ей такой высокой. Днем Малышка залезала на нее — это была игра, и в игру входило сообщать вниз о том, где сейчас самолеты, чтобы люди ее деревни, девушки и старики, успели спуститься в убежища. Часто она подолгу завороженно смотрела на школу — туда, где порхали круглые белые, как мел, буквы. Сампаны на реке, рынок, верхушки деревьев гуайавы, зеленые кущи бананов — все на земле и в небе Тамнгая с пальмы казалось совсем крошечным, невсамделишным, расставленным руками взрослых. У нее с Хиеном и сестрами была схожая игра — они приносили из пагоды обломки кирпича и строили игрушечное убежище, а канава перед домом превращалась в реку, и они пускали по ней лодку — бамбуковый лист.

С реки Хау налетел сильный ветер. Малышка привстала на цыпочки: где мама, начался ли бой? Глаза девочки нашли ее — мама сейчас была крошечной черной точкой возле деревьев, совсем рядом с поднимавшимся дымом.

— Скоро мама вернется?

— Маму уже видно?

Малышка молчала и, не отрываясь, смотрела на растущее облако дыма. Видит ли ее мама? Она широко открыла глаза и вдохнула прохладу речного ветра.

— Ну, видно уже маму? Ты ничего нам не говоришь...

От их настойчивости Малышка и сама начала верить в то, что видит маму. Вот мама идет в атаку, вот она прыгает через канаву, преследует врага. В одной руке у нее винтовка, другой она бросает гранату, на ее плечах полиэтиленовая накидка, вся мокрая от дождя, как прошлой ночью. От ветра щекам Малышки стало прохладно. Это сразу напомнило о прикосновениях маминых маленьких проворных рук, которыми она так часто делала «козу» Хиену, а ночью, когда возвращалась после боя, осторожно щупала лоб у спящих детей. Малышка всегда сразу же открывала глаза.

— Вон мама! — закричала Малышка.— Тети-партизанки бегут за ней! Мама сигналит рожком! Машет рукой. Это она мне помахала!

Малышка ухватилась за пальму и в восторге принялась раскачиваться из стороны в сторону, глаза ее счастливо щурились в улыбке, за упавшими на щеки прядями мелькали белые мелкие зубки.

— Хиен, а Хиен, слышишь, мама велела тебе не лазить в речку. А Тхань мама велела намолоть муки, она скоро вернется. Вот! Гранату бросила!.. Все...

— А мне мама что велела?

— Тебе, Ань?

— Ага...

— Про тебя она и не говорила!

Ань протестующе замотала коротким хвостиком волос:

— Нет, говорила...

— Нечего было отнимать у других еду! Мама с непослушными не хочет разговаривать... Вон мама преследует врага! Забралась на дерево... Вот это да, она знамя держит! Слышно, как стреляет?

— Не слышно...

— И мне не слышно...

Бабушка Шау, все еще поливавшая бетель, тоже подняла голову:

— Малышка, ты что, и вправду маму видишь или опять выдумываешь?

— Конечно, вправду!

— Ну и дети пошли востроглазые! — заворчала бабушка, снова склоняясь над бетелем и словно бы обращаясь к нему.— Туда полдня шагать, что же ты можешь отсюда видеть? — повернулась она к Малышке.— Сказано — пошла бить врага, и нечего высматривать. Кому говорят, Малышка?

— Хорошо-о-о!..— крикнула Малышка.

Теперь и Хиена, который тоже пытался карабкаться вверх, никак нельзя было уговорить слезть. Маму, только что представшую перед Малышкой в клубах дыма, сейчас видели все. Она была огромной, высокой и недвижимой, как облака. В эту пору года в Тамнгае облака часто стоят недвижимо. Сейчас они плыли над головой Малышки, бросая вниз густую тень, и откуда-то из-за них, смешавшийся с гулом реактивных самолетов, голос мамы спросил Малышку, помнит ли она, что не нужно сливать воду от риса. Дым рассеялся, облака проплыли мимо, осталась только сверкающая лента реки. Тогда Малышка снова увидела маму — она стояла прямо посреди этой блестящей ленты и смотрела на Малышку с непонятным укором и жалостью. Скоро мама вернется, всех обнимет, позволит Тхань сколько угодно плескаться в канале, Хиену даст подержать карабин, Ань будет учить считать на патронах. Но пока ее еще нет.

Бой все не начинался. Дым рассеялся, и стало видно, что пост марионеточных отрядов возле собора еще целехонек. На реке зелеными и красными пятнами мелькали катера. Школьный сад был закрыт проплывавшими облаками. Малышка спустилась вниз. Дети надеялись, что она приведет с собой маму. А когда увидели, что сестра одна, снова задрали головы. Малышка все поняла и сказала:

— Давайте играть в класс. Кто будет хорошо учиться, того мама отдаст в настоящую школу.

Хиен радостно запрыгал, на его макушке подскакивали выгоревшие, с коричневым отливом, вихры.

— Я хорошо учусь, мама даст мне пострелять!

Ань вздернула остренький подбородок:

— Я лучше его учусь, я раньше пойду в школу.

— Ладно, все пойдете,— кивнула Малышка.

Тхань, Хиен и Ань, толкая друг друга, расселись. Малышка заколола волосы, опустила подвернутые брючки и надела мамин нон [1]. Потом плавной походкой, придерживая рукой завязки нона, точь-в-точь как это делала учительница, подошла к детям. Все трое, как заправские ученики, встали и чинно поздоровались.

Малышка повесила нон на куст, со строгим лицом отломила ветку и сделала из нее указку. Черная доска у них была — ее прямо к стволу пальмы прибили взрослые и писали там последние известия, лозунги и объявления.

Малышка еще не знала букв, но девушки-партизанки выучили ее нараспев, по слогам произносить лозунги, написанные на доске. Дети сидели, удобно опершись руками о землю, и ждали. Малышка, совсем

[1] Конусообразная шляпа из пальмовых листьев.

как учительница, поочередно оглядела учеников и, привстав на цыпочки, ритмично ударяя веткой по строчкам на доске, принялась «читать». Тхань, Хиен и Ань, раскрыв рты, настороженно водили глазами за указкой, точно каждый из них боялся, что буквы с доски вот-вот прыгнут в рот соседа, а он останется ни с чем.

Малышка старательно отчеканивала каждый слог:

— Про-го-ним, прогоним а-ме-ри-кан-цев, прогоним американцев! Начали!

Дети хором повторяли. Хиен не поспевал за сестрами. Ань, толстушка с румяными щеками, без конца вертелась, но умудрялась повторять быстрее всех. Тхань, которая и сидя возвышалась над ней на целую голову, недовольно косилась на сестру из-под длинных ресниц. Она умела все делать по дому, а с тех пор как научилась различать на слух, какой летит самолет и далеко ли стреляют, присматривала за младшими, пока Малышка относила маме срочный пакет. Сейчас Тхань сидела тихо, широко открытыми глазами смотрела на доску и, нараспев повторяя слоги, теребила прядь волос на виске. На руках она по-прежнему держала маленького брата, который вслед за старшими и сам стал что-то лопотать.

Бабушка Шау, видя, что они занялись игрой, поставила варить батат.

— Ох-ох-ох, а ваша мама, когда ей было столько лет, сколько вам,— бормотала она,— нанималась в услужение к чужим людям, ей-то батата поесть не удавалось...

Налетел ветер, пальмовые листья задрожали над головами ребят. Снова раздались разрывы бомб и грохот орудий, но они тут же растворились и исчезли, так и не сумев одолеть прекрасное величие неба. И вновь стали слышны детские голоса, старательно выговаривающие слоги, будто сожженная врагом школа перекочевала сюда, в прохладную тень пальмы. Здесь в погожие вечера старый Шау, муж бабушки, плел верши и читал детям стихи. Здесь же собирались вернувшиеся после боя партизанки — подвести итоги и перекусить. И каждый день на стволе пальмы появлялись новые раны от американских снарядов и бомб. Ствол сплошь был в ранах, их рваные края виднелись даже на старых потемневших следах от пуль тэев. Едва бывал отбит враг, от пороха были еще черны дороги в деревне, а Малышка и дети вытаскивали новые пули, застрявшие в пальме, и относили их оружейнику.

Тень пальмы, вот уже столько лет дарившая прохладу клочку земли перед домом, скользила по спинам детей. В солнечные дни пальма, казалось, еще выше уходила в небо. Листья ее слегка шевелились и были похожи на распущенные волосы, которые только что вымыли и сушат под солнцем. На стволе, подсыхая, радужно блестели капли дождя, и царапины как будто принимали цвет загара.

— Про-го-ним, прогоним а-ме-ри-кан-цев...

Белые буквы чуть дрожали в ярких лучах солнца. Вешая доску, жители Тамнгая не подозревали, что здесь будет «класс». Днем, в перерывах между бомбежками и обстрелом, дети снова и снова затевали эту игру. Урок был всегда один и тот же, но ребята каждый раз находили в нем что-то новое и удивительное. Частенько бабушка Шау, ворча, выносила корзинку с бататом, чтобы «класс» подкрепился, потому что мамы опять не было дома. Иногда посреди урока Хиен, который не выговаривал еще некоторые буквы, вдруг выкрикивал: «Палшивые амеликанцы!» — и тогда весь «класс» дружно заливался смехом. А както раз Тхань заметила на той стороне канала дядю Хая из уездного комитета, который давно уже наблюдал за ними и смеялся.

Малышка вдруг почувствовала себя настоящей учительницей с ножом и камышовой корзинкой в руке. Но ведь учительница должна что-

то говорить своим ученикам? Она склонила голову набок и задумалась, потом радостно улыбнулась, чуть вздернув верхнюю губку:

— Прогоним американцев, как мама, понятно? Вы так можете?

— Ага...— кивнула Тхань, мотнув «конским хвостом», и маленький брат у нее на руках тут же схватил его и стал совать в рот.

— Хиен тоже может, Хиен пойдет с мамой,— заторопился мальчик и хотел привстать, но Ань крепко обхватила его.

— Нет, я пойду с мамой и буду носить патроны! — заявила она.

— Мама моя...

— Нет, моя!

Как ни старался Хиен, ему никак не удавалось вырваться из цепких рук сестры, оба даже побагровели от усилий.

Бабушка Шау позвала их есть, но Малышке не хотелось кончать урок, и повысив голос, она продолжала «читать». Ань, побоявшись отстать, тут же выпустила Хиена. Он сразу перестал хныкать и принялся старательно вторить Малышке. Урок продолжался. Образ мамы возникал и исчезал всегда неожиданно и быстро. Дети так привыкли к этому, что, когда мама уходила бить врага, никому и в голову не приходило просить ее остаться дома. Они спорили друг с другом из-за мамы, как из-за неба над Тамнгаем, как из-за речки Хау. Мама была такой же привычной, своей, всегдашней. Она уходила бить врага, но оставались проплывающие облака, в которых, если захотеть, легко можно было различить маму, и пальма, с которой было далеко видно, и всегда казалось, что мама здесь, рядом. Так и родилась Малышкина игра — высматривать маму и успокаивать остальных.

— Про-го-ним а-ме-ри-кан-цев! Кто научится правильно по складам говорить, того мама скоро отдаст в школу.

— Меня, меня...— вскочил Хиен.— Пло-го-ним.

— Про-го-ним! Вот! — тут же повернулась к нему Ань.— Не пустят его, правда же, сестрица?

Малышка не только с ней не согласилась, но еще и прикрикнула, строго вскинув брови:

— Вертишься вечно, это тебя вот не пустят. Будешь дома сидеть и нянчить маленького!

— Зато я на маму похожа.— Ань отчаянно замахала обеими руками.— Разреши мне в школу, все равно не останусь дома...

— Это ты-то похожа?

— Мама сама говорила, что похожа на меня...

— Ты похожа на маму или мама на тебя?

— Я на маму, у нас с ней нос как у киски...

Ань, чуть не плача, выставила вперед свой носик.

— Про-го-ним, прогоним а-ме-ри-кан-цев, прогоним американцев, вот как я умею, а ты не позволяешь...

— И я похожа на маму, у меня тоже большие глаза, правда, сестрица? — сказала Тхань.

— И я похож, у меня еще и волосы как у мамы.— Хиен подергал себя за чуб. Мама, когда гладила его по голове, говорила, что у нее в детстве были такие же жесткие с рыжеватым отливом волосы.

Малышка не стала их останавливать, а сама подумала, что и она тоже похожа на маму. Она даже забыла об учительнице, которой подражала, и ветка в ее руке сама собой опустилась. Перед глазами так отчетливо встало мамино лицо, что, казалось, его можно коснуться.

— Будете спорить, скажу маме, чтоб никого не пускала. Сидите тихо!

Малышка пристально посмотрела на младших и жестом взрослой, вытирающей пот после тяжелой работы, отвела упавшие на лоб пряди волос. Точно так смотрела на них мама, когда возвращалась домой и

так же проводила рукой по мокрому от дождя лицу. Малышка прислонила ветку к пальме — мама обычно ставила там винтовку,— подвернула полы кофточки и брючки, как будто по дороге вымокла под дождем. Сложив пальцы щепотью, поочередно ткнула ими каждому в живот:

— Всем по лепешке баньу...— И чуть вздернув верхнюю губу, не очень уверенно добавила: — Я тоже похожа на маму.

Тхань кивнула. Хиен не отрывал взгляда от рук сестры — нет ли там чего-нибудь?

Ань замотала головой:

— Нет, ты не похожа...

— А почему?

— Это не баньу...

— Раз так,— отвернулась Малышка,— не дам тебе баньу, когда мама вернется. Нечего было говорить, что я не похожа.

Ань заплакала.

— Похожа, совсем-совсем похожа...

— А то воображает, что она только одна и похожа!

Младшие мигом притихли. Урок продолжался. Тень пальмы уже начинала клониться в сторону. В Тамнгай с моря летел ветер, он пах соленой рыбой и напалмом. Борозды на поле под солнцем превращались в гребни волн, по ним бежала дорога в деревню, лежали тени пальм и бамбука, сновали взад и вперед фигурки детей. «Вот освободить бы Юг,— говорили старики Тамнгая,— собрать всех американцев да бросить каждому по лопате — пусть засыпают воронки от бомб и снарядов на наших полях».

— Про-го-ним, прогоним а-ме-ри-кан-цев...

Малышка стремилась проникнуть в огромность смысла, стоявшего за этими словами. О чем еще, думала она, можно было бы сказать детям? Она любила пальму перед домом, потому что каждый день забиралась на нее смотреть, где мама. Может, так и сказать? Она очень любит маму, но американцы еще здесь, и мама должна с ними воевать, поэтому ее подолгу не бывает дома, но тут уж ничего не поделаешь.

Бабушка снова позвала есть батат, и урок закончился. Но и пальма, и доска с лозунгами всегда наготове. Завтра, а может, еще и сегодня, Малышка снова соберет там детей. Прозвучат слова первого урока, и прохожие будут замедлять шаги. И снова перед глазами детей встанет мама: на дуле винтовки висит связка баньу, а большие глаза смотрят так, словно она хочет обнять всех и прижать к груди.

Батат остался только на самом дне корзинки, а Малышка так и не успела рассказать о своей любви к маме. В стороне Бами сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее зазвучали винтовочные выстрелы. Дети и бабушка выбежали во двор. Малышка прислушалась:

— Начали, мама начала!

И девочка тут же полезла на пальму. Бабушка Шау не успела ее удержать, она стояла внизу, собрав детей возле себя.

Пост марионеточных отрядов в Бами совсем заволокло дымом, в той стороне теперь торчал только шпиль собора.

— Это мама-а-а! — пронзительно закричала Малышка.

Мама стреляет! Это мама поднимает там клубы дыма, дым уже закрыл часть реки, даже поле рядом потемнело.

— Мама взорвала по-о-ст!

Выстрелы не затихали, а становились все чаще. Теперь уже вся деревня высыпала на улицу и собралась у пальмы. Оттуда вниз летел крик Малышки, вплетаясь в общий шум — плеск весел на канале, доносящиеся с рынка крики женщин, зовущих детей. А дым все поднимался. Малышка опять заметила черную точку, мелькнувшую в самой

гуще дыма. Пусть это очень далеко, так что даже река Хау кажется просто блестящей желтоватой полоской, но почему бы этой черной точке не быть человеком? И кто скажет с уверенностью, что это не ее мама?

— Мама пошла в атаку! Вперед, мама-а-а!

Голос Малышки протяжен и разносится далеко. Мама теперь, наверно, в самой гуще дыма. Следом за ней бегут девушки-партизанки. Учительница из сожженной школы тоже с ними, плечо у нее чуть запачкано мелом.

Стрельба усилилась, атака началась...

Малышка спустилась вниз. Дети были уже готовы. Хиен держал автомат, Ань — винтовку, Тхань — базуку, даже самому маленькому они вложили в руку знамя. Прислоненная к пальме ветка оказалась на месте. Малышка подняла ее — это была винтовка. В атаку пошли от плетня за домом, быстро преодолели канаву и, укрывшись за пальмой, открыли яростный огонь.

На следующее утро, когда самолеты бомбили острова, в деревню вошла женщина с винтовкой и ветвями маскировки в руке. Она шла, приветливо улыбаясь, и следом за ней, прячась от палящего солнца в тени деревьев, шла вся деревня. Женщине приходилось то и дело останавливаться и отвечать на вопросы, потому что спросить хотелось всем. Полиэтиленовую накидку женщина закинула за спину, винтовку со связкой лепешек баньу передала Малышке и взяла на руки самого маленького. Он что-то лопотал и царапал прилипшие к ее кофточке комочки грязи. Дети как цыплята бежали вокруг нее. Ань семенила впереди, путаясь под ногами у матери, боясь, как бы ее не обошли вниманием.

— А я видела, как ты шла в атаку...

— И я видел...— подхватил Хиен.

— Как это вы могли видеть?

— А вот видели...

Хиен высоко подпрыгнул — так мама прыгала через канаву. Ань, уцепившись за мамину накидку, с завистью поглядела на него.

— А у нас аист гнездо свил, вот! Мама, ты ведь ходила бить врагов для меня, а не для Хиена?

Хиен повис на маминой руке и стал раскачиваться, как на качелях:

— Нет, для меня-я-а...

Она засмеялась, ласково потрепала обоих по волосам.

— Для всех вас!

Бабушка Шау, выносившая из кухни корзинку с вареным бататом, вмешалась:

— Вот озорники, отстаньте от мамы с вашими цаплями-аистами!

Женщина опять рассмеялась, подхватила и Хиена, чмокнула его в щеку и так, с двумя детьми на руках, прошла в дом. Это была Нгуен Тхи Ут, героиня нашей армии.

Пост марионеточных отрядов в Бами сровняли с землей. Школу решено было сразу же начать восстанавливать. Вечером, баюкая маленького, Ут сказала:

— Пойду достану лодку у соседей. Ты, Малышка, будешь завтра с детьми возить битый кирпич с поста, строить у школы убежище. Построим школу, всех вас отправлю учиться.

Малышка как была в подвернутых брючках — она только что мыла ноги,— так и осталась стоять у порога, счастливыми глазами глядя на мать.

— Мы пойдем в школу!

Она прыгнула к маме на кровать, распустила ей волосы, а когда маленький уснул, у мамы были уже две длинные косы, такие же, как у учительницы, к которой скоро пойдет Малышка.

И вот Малышка, ведя за собой остальных, идет в школу. Все так знакомо и так неожиданно. Учительница-партизанка в одной руке держит нон, в другой камышовую корзинку и очень интересно рассказывает, как партизаны бьют врага. Рядом, на столе, лежит новая винтовка. Когда прилетают самолеты, учительница отводит детей в убежище, а сама руками, выпачканными мелом, берет винтовку и целится в самолеты. В полдень, когда небо чисто, Малышка и младшие идут показывать учительнице свою пальму. Мамы снова нет дома. Ветер с моря тихонько перебирает листья пальмы, как будто это мама стоит там наверху и, поправляя волосы, смотрит вниз на Малышку и других детей.

Перевод с вьетнамского И. ЗИМОНИНОЙ

ФЕРЕНЦ ЮХАС

Вступление и перевод с венгерского
ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Среди прочих моих немудреных трофеев, привезенных с войны, сохранились у меня несколько страничек из блокнота, на которых записаны в хронологической последовательности имена крупнейших венгерских поэтов прошлого и нынешнего столетия. Записал я их в венгерском городе Балашадьярмате, где мы встречали последний год войны, со слов учителя местной гимназии. Для меня, весьма юного в ту пору лейтенанта, были они внове — то было первое мое робкое прикосновенье к неведомой мне поэзии, которую позже узнал я и полюбил.

В этой самодельной моей литературной энциклопедии имя Ференца Юхаса отсутствовало по вполне понятной причине — тогда, в канун сорок пятого года, было ему всего шестнадцать лет.

Он начинал позже, в послевоенные годы, вместе с Ласло Надем, Иштваном Шимоном и другими известными ныне венгерскими поэтами. Уже первые поэмы Юхаса — «Мой отец» и «Семья Шанты» — привлекли к себе внимание новизной, острым чувством современности: в них молодой еще поэт продолжал по-своему эпические традиции Петёфи, Араня, Ийеша.

В последующие годы выходили книга за книгой — «Ода к полету», «Цветущее древо мира», «Битва с белым барашком», «Моя мать»... Поэт искал, экспериментировал, думал. Росло мастерство, росли популярность и признание читателей.

Сегодня Ференц Юхас — один из самых известных и почитаемых поэтов в Венгрии, лауреат Государственной премии имени Кошута, автор длинного ряда поэтических книг, переведенных на многие языки мира. В антологии венгерской поэзии, которая готовится сейчас нашим издательством «Прогресс», стихи Юхаса занимают большое и почетное место.

Я познакомился с Юхасом в Москве, куда он приезжал с писательской делегацией, и мы с ним быстро подружились. У него острый ум и доброе сердце. За его угольно-черными живыми глазами угадывается напряженная работа мысли. Общаться с ним так же интересно, как с его стихами.

Позже мы встречались в Югославии в македонском городе Струге, где вместе принимали участие в международных вечерах поэзии — там стихи Юхаса пользовались неизменным успехом.

Ференц Юхас — поэт яркого воображения. Стих его несколько усложнен, но всегда человечен и добр, проникнут любовью к людям, надеждой и верой в завтрашний день человечества.

Таков именно пафос и «Ночных видений», публикуемых в этом номере «Иностранной литературы». Эта драматическая поэма, где легко и непринужденно чередуются стих традиционный и свободный, при всей фантастичности ее сюжета, навеяна вполне реальными тревогами неспокойного нашего века, продиктована беспокойством за судьбы мира, неизменно живущим в душе подлинного поэта. Она гуманистична в самом высоком смысле этого слова. Эти ночные виденья, говорит нам поэт, эти дикие химеры не одолеют человечество, «ибо любовь больше, чем смерть». «Человек должен жить, и должна жить песня, ибо сердце Мирозданья разорвется, если песня перестанет существовать...»

Конечно же, мысль о том, что лишь песня, то есть поэзия, способна спасти человечество от грозящих ему бед и опасностей,— мысль такая может показаться нам достаточно наивной. Но если увидеть в поэме и другую ее сторону, а именно выражение поэтического и гражданского кредо ее автора, его установку на создание поэзии,

которая ставит перед собой такую задачу, стремится к достижению такой высокой цели,— тогда мы не только поймем, но и оценим благородство позиции и устремлений нашего венгерского друга.

Переводить стихи Юхаса — задача не из самых простых, но я делал это с высоким уважением и любовью к моему венгерскому товарищу и коллеге и потому — с радостью.

Ночные виденья

Когда писал я это, чистым было небо.
Зеленый куст цвел на земных отрогах.
Вёрёшмарти

Мужской хор:

Ночь беспечальная, алчущая, пахнущая корою!
Зеленого куста в ночи не видно.
И даже крыши из ночи не видно.
Окошка даже из ночи не видно.
Ночь-преисподняя, кровавый птичий рот,
зрачок замшелый насекомий.
Но почему не блещет звезд цветок глубоководный?
А почему не движется пространство, космос
с его всепоглощающими дланями,
звезд кровожадных ненасытный рот-корона,
с зубами гнилостными черепо-цветов?
Ночь — внутренность деревь, пахучий пах медвежий,
подмышки птичьей чернота сплошная.
И одиночества в ночи не видно.
И даже ночи из ночи не видно.
Одни не спят неспящие. Цветет
ветвесплетение воспоминаний.

Детский хор:

А как дядюшка-улитка
рожки в голову упрятал,
глазки собственные слопал,
ничего не хочет видеть.

А у тетушки-улитки
на двух рожках — рукавички,
а на двух — по колокольцу,
и звенят они все время.

А у дочери-улитки
рожки слабенькие вовсе.
Сладко-сладко спится дочке
на капустном на листочке.

Женщина:

Усни и ты, смежи плотнее очи,
не наблюдай за тайной жизнью ночи,
закрой страницы размышлений бесполезные,

сложи в мозгу своем надкрылья сна железные,
чтобы ночные чудища толпой
не начали мелькать перед тобой
и —
как под крокодилами брачующимися
шипит болото, булькает и пенится,
и брызжет семя, брызжет кровь и слезы,
когтистых лап неистовы объятья,
и жирные самцы ревут на самках —
чтоб клюворотые, справляя свадьбу,
кишмя бы в твоем сердце не кишели.

Не трать напрасно время, дорогой!
Брось мысли грустные да спой куплет-другой.
Пыль звезд в моих глазах, в чертах лица,
а на губах моих — цветочная пыльца.
Я лягу рядом, спи, касаясь моих рук,
моих волос влюбленных,
спи, мой друг!

Поэт:

Нет!
Я не в силах спать!
Передо мной встают виденья!
Передо мной в ночи встают виденья —
как зубы прорезаются у мертвых;
передо мной в ночи встают виденья —
как будто бы в меня впились глазами звери,
всплывая из глубин подводных;
передо мной в ночи встают виденья —
как будто бы мелькают то и дело
картины страшного суда передо мною!
Передо мной в ночи встают виденья —
листы пергаментные неба
рука листает!
Не наказанье ли меня постигло?
Не ужаса ль язык меня на месте вертит?
Не гложет ли меня безумья рот,
как розовый коровий рот жует
цветы и травы?

Хор:

О, что, глупец, ты видишь?

Детский хор:

Спи с жуками, с пауками,
с тараканами, сверчками,
с пчелами и мотыльками,
с мухами и червяками,

спи с камнями и с корнями,
вместе с ветками и с пнями,
без ушей ушастыми
и без глаз глазастыми,

спи, спи, спи!

Поэт:

Сквозь плотную кору земную вижу:
вижу в книге Земли письмена костяные грядущего.
Сквозь оболочку тел небесных вижу:
вижу массу кристаллов, что множатся там безболезненно.
Я вижу: из грядущего прошедшее,
как лава, льется, черный дым клубя.
О Человечество, мне страшно за тебя!

Хор:

Да что ж, глупец, ты видишь?

Поэт:

Человечество кончилось!
Одиночество всходит меж пористых кратеров мертвой земли,
зеленевшей когда-то,
и цветет этот мир-без-людей, как ромашка на трупе солдат.
Человечество кончилось!

Хор:

Но что осталось от людского рода?
Что — после Атома и после Водорода?
Проклятье? Ужас? Ужас и проклятье!

Но ужаснется кто? Кто, разъярясь
и проклиная, гневно вскинет брови?
Гниющие обломки мира? Грязь,
возникшая из человечьей крови?
Из мяса вырвавшийся тополь или клен?
Усеянный костьми людскими склон?
Иль кто-нибудь из тех, кто здесь остался?

Мужской хор:

Но кто же, кто остался?

Ведущий:

Мертвые? Или живые?
Не мертвые ли тела, впечатавшиеся в камень, в звездное вещество Земли — как перепончатое крыло, позвоночная хорда или древний точечный плод бахромчато-студенистый?
Неужто останется род человеческий лишь смутным воспоминаньем Земли — как древняя эпоха ракообразных, эпоха гигантских млекопитающих, эпоха ящеров или эпоха известковоскелетных?
И будет все более одинока природа без человека, и одиночество немногих уцелевших станет последним вздохом за мгновенье перед концом?
Зачем же природа в муках создала человека из миллиардолетней вегетации газа, огня, камня, растений, животных?
И чего он достигнуть хотел идеалами всеми своими, своей чистотой, добротой, свободой, идеалами, которые больше, чем жизнь, потому что они — основа жизни достойной и разумной?

Будет ли впредь вращаться Земля, эта планета величиной с муравьиное сердце, среди звезд величиною с сердце китовье, одинокая и пустая, как заброшенный старый погост, кладбище Человечества, или вновь зачнет она человека в лоне своем многострадальном и прекрасном, как маленькая Праматерь благословенная, вновь и вновь упрямо рождающая Человечество?
Будет ли впредь вращаться Земля одинокой пустыней костей, металла, развалин вокруг огненного, кипящего солнца или кто-то найдется, кто подстрижет и причешет запущенную ее зеленую бороду? Найдется ли кто-то, кто протрет и прочистит глаза помутневшие, в бельмах, глаза океана? Кто разгладит морщины страданий на лике Земли? И появится ль снова в безумном черепе Земли разумная мысль человеческая?

Хор:

Покажи нам картины конца и картины начала!

Поэт:

Жизнь-уродство, доселе-не-виданное, шизофреническое, сверх-меры-разбухшее, заикающееся, квакающее и визжащее растительное и животное чудо, размноженье ужаса, растение-додекафония, животно-сюрреализм, насекомо-экзистенциализм, птице-атонализм. Яростная, заросшая, несчастная пустыня растений и животных — вот он, Земной шар и воды его. Однокрылые птицы, двуногие лошади, восьмиглавые олени-звезды, лягушки-сороконожки, мохнатые пауки с верблюжьими черепами, скрипучие жуки-великаны, легкими дышащие цветы, мигающие живые пеньки, вопящие растенья-клубки, колосья вышиною с колонну собора и слоны-лилипуты, сросшиеся медведи и многократные близнецы-стервятники, неведомые скользящие бриллиантовые цилиндры, порхающие звери-перчатки, жуки-могильщики с золотыми письменами, огромные радужнокрылые рыбы, уродцы-деревья с синими кронами, замшелоглазые мухо-ящеры, головы младенческие с крыльями стрекозиными, гигантские летучие мыши с лоскутьями кожи, черви, разбухшие до размеров бочонка, певчие птицы с тараканьими усами, чешуйчатые бабочки-бегемоты. животные в форме проволочных конструкций, гребенчатые драконы — жемчужные платья, моря тюльпанов, бешеные волны нарциссов и пустыни лилий, хищные позвонки-растенья, ласточки с рыбьими хвостами, из одного лишь вымени состоящие коровы, безротые животные-кристаллы, грибы-динозавры, ландыши-башни, пульсирующие кровеносными венами сплетенья красных ползучих растений, жабы-царевны с тридцатью четырьмя сердцами снаружи, зеленобородые ласточки, овсянки с головой саранчи, зайцы с черепом жука-усача, мотыльки с крыльями ветряных мельниц и странные существа-цимбалы, змеи с голосом арфы, звезды-метелки, парящие в воздухе живые кисти, некие кружевные существа наподобье савана, подслеповатые существа с колокольным голосом, морские свинки-гиганты, золотые крысы и слизистые бобры-питекантропы — все это постепенно заполнит руины Земли, бетонные, каменные и железные осыпи городских куполов и крыш, заполнит собой поседевшие воды и черный воздух.

Мужской хор:

Но что ж осталось от людского рода?
Что — после Атома и после Водорода?

Ведущий:

Остался ли человек на этом острове смерти, несущемся в космосе?
Остался ли человек, который сумеет выдержать после первой смерти эту вторую жизнь, этот кошмар-победу, это безумье-время, это послечеловеческое бытие? Выдержать странные, никогда-не-слыханные звуки этого чудовищного мира?
Остался ли человек, сердце которого отважится биться снова?

Поэт:

Ибо мир этот темный, ночной — сплошной адский, потусторонний голос! Сплошной слепой писк, звук арфы и металлический скрежет, стук дятла и барабанная дробь, издаваемая ящерогорлом, обиженный плач голых младенцев и кашель звериный, сплошной полуночный вопль и птичьи проклятья, плач змеиный и пенье шакалов, звездо-хныканье и золото-топот, сплошной лисий вой и лязганье челюсти гиппопотама, сплошной лягушачий концерт и алмазный скрежет, сплошной гогот существ первобытных и плач медвежий, сплошной перестук машин и лязг шестерен, сплошной грохот планет и крик птичьей глотки кровоточащей, сплошное предсмертное лошадиное ржанье, и шуршанье, и шамканье, звук грызущих зубов и проклятий, треск затылков и кожаных крыльев, крик совы и сплошной истерический плач, бурлящий вулкан и кошачья свадьба, вопль роженицы и шум водопада, детский рев и таинственное потрескиванье — все эти звуки, после последнего звука, беззвучного, звука, никем не услышанного, заполняют собой эту новую тишину, как боль заполняет собой человека.

Хор:

Но где ж надежда на продленье века?
Машина вновь создаст ли человека?

Поэт:

Еще живут в одиночестве, став самими собой, оставшиеся машины: в гигантских лесах стеклянного чертополоха, в вырытых человеко-кротами тоннелях, лилово светящихся, в бетонных внутренностях Земли, в пустыне скелетов и человечьих останков, гниющих на развалинах мертвых городов, на кладбище обломков цивилизации и культуры, на облепленной многоголовыми мухами мусорной куче Человечества, на этой всемирной свалке — беспорядочно мигают они лампами, посылают сигналы.
Электронные машины-мыши, машины — божьи коровки, машины-лисы, машины-обезьяны двигаются, бегают, суетятся, в их неподвижных глазах, подчиняясь неведомому ритму, вспыхивает и гаснет свет, они ковыляют, кивают, щелкают и потрескивают;
в пустых бункерах открываются и вновь закрываются двери, гигантские электронные мозги лихорадочно и бессмысленно подсчитывают что-то, не в силах прекратить свое существо-

ванье, электронные переводчики переводят, смешивая слова и языки;
в какой-то лаборатории, в лилово-розовом свете, светится, как люстра, стеклянный человек, его нервы и внутренности фосфоресцируют, его вены, артерии и мозг с красно-сине-желто-зелеными вспышками напоминают огромную прозрачную личинку комара;
посреди сверкающего подземного зала робот в жестком металлическом облаченье в миллионный раз произносит слова, записанные на магнитофонной ленте;
электронные самовоспроизводящиеся машины рождают новые и новые самовоспроизводящиеся машины, и те снова рождают себе подобных, рожают со звоном, со стоном, с хрустом, с машинными воплями родовых схваток, обливаясь масляным потом;
механические лошади ржут, механические обезьяны-кормилицы прижимают к своим резиновым соскам мертвых, уже разлагающихся обезьяньих младенцев с вылезающей шерстью и студенистым телом;
электронные композиторы неутомимо производят человеколошадино-ржущие симфонии, галакто-оратории, и всю эту музыку направляют в руино-растение-ночь.

Хор:

Но что ж осталось от людского рода?
Что — после Атома и после Водорода?

Поэт:

Земля, словно тело ребенка, расстрелянного из пулемета, сочится кровью, из ран ее выплескиваются горячие гейзеры, металло-слюна, раскаленная каменная слизь, хрипящий огонь; на лице ее засохла золото-рвота, рубиново-пенистая слюна течет по лесным деревьям, выросшим на месте разрушенных городов, смертельно-гривая Земля, как разгоряченный похотью жеребец, извергает железо-огненно-золотую любовную жидкость, и в этой извергающейся пене затвердевают мертвые и само время.

Детский хор:

Чу, не кентавры ли бегают в рощах,
проросших на трупах?
То не песню ль сирен сюда ветер доносит морской?

Мужской хор:

Солнце восходит.
К чему оно мертвому этому миру?

Детский хор:

Солнце восходит?
Зачем из колчана багряного вынула ночь златозубое солнце?
Только затем, чтоб увидеть кровавые шрамы Земли?

Хор:

Солнце восходит!
Как долго, Земля, ты его не видала?

Ведущий:

Солнце едва проникает сквозь дым, окутавший Землю. Свет синевато-серый течет по пустыне. Зря подставляет солнце свое свето-вымя младенцу-земле.
Сидит на развалинах ночи кучка людей, бодрствующих над трупом погибшего мира. Должно быть, когда-то здесь город стоял, здесь, на месте этого камне-косте-проволоко-океана. Люди сидят и стоят, что-то бормочут, руки вздымают к небу и тотчас в ужасе их отдергивают, подрагивают от холода на заиндевевшем своем тряпье. Застывшие лица их, словно маской, покрыты слоем красной глины. На некоторых — остроконечные шлемы из белой глины, как шлемы средневековых рыцарей, с отверстиями для рта и глаз — словно череп.
Сколько времени стоят они здесь, бормочут, дрожат и зябнут? Сколько времени они ждут и чего они ждут? Чего ждет оно, оставшееся Человечество? Ограбленные, лишенные любви, лишенные песни, питающиеся трупами, одинокие обломки Человечества. Лишь темное клубящееся проклятье висит над ними, смертный радиоактивный саван.

Внезапно слышится металлический свист, и они с причитаньями валятся наземь, как дикари, объятые страхом. И тогда серо-синюю вату смерти, серо-синее полотно, которым окутано тело Земли, рассекает, как скальпель, как вспышка молнии, металлическая звезда, металлический шар или диск, металлическое его тело со стеклянистою плотью мелко дрожит и со свистом опускается и садится среди развалин. Из тела машины доносится музыка, подобная птичьим трелям, чудесная, мягкая, по-птичьи звучащие фразы языка неизвестной звезды.

Пустынные люди Земли медленно поднимают головы и видят, как из машины высаживаются странные студенисто-механико-щупальце-ребристые существа на больших пурпурных крыльях, словно бы созданные путем скрещенья бабочки, осьминога, кузнечика и радиоприемника. Они порхают вокруг людей, взмахивая огромными своими пурпурными крыльями.
И вдруг доносится к людям, словно бы из невидимого радиорепродуктора, человеческий голос: мы разгадали, говорит он им, значенье смертельных вспышек на этой молекуле Мирозданья, на вашей Земле, и пришли, чтобы спасти уцелевших. Мы преодолели звездное равнодушье Вселенной ради вас, счастливцы. Мы смогли прилететь к вам один только раз и не сможем долететь вторично.

Детский хор:

И они пересчитывают их, безгласных,
этих счастливых, этих несчастных.

Ведущий:

В машине, явившейся с неизвестной звезды, для уцелевших землян недостаточно места. Двоим придется остаться здесь, на Земле, ибо лишних двух человек не сможет поднять этот шар, этот диск, это новое материнское лоно, металлическая матерь счастья.

Хор:

И пустынные люди Земли, люди с высохшими слезами, стоят, опустивши головы,— люди с лицами, обмазанными красной глиной, люди в шлемах из белой глины.

Ведущий:

И тогда поэт берет за руку свою жену и выходит с нею из группы кроваво-глиняно-лицых. Он обводит взглядом груды развалин, поднимает глаза к небу.

Поэт:

Мы останемся ради тебя, Человечество, тут.
Мы останемся вестью о тех, что когда-то здесь были.
Мы останемся здесь, и глаза наши вновь обретут
настоящее зренье, воскреснув из атомной пыли.

Мы останемся! Человек должен жить, и должна жить песня, ибо сердце Мирозданья разорвется, если песня перестанет существовать. Я буду Орфеем нового века, с помощью арфы я мертвых подниму из земли, с помощью слов разгоню эти тучи смерти.
Мы не будем изгнаны из Рая. С помощью песен я приручу существа послесмертной жизни и укрощу обезумевшие машины.
Мы родим младенца, и выберем чистое поле, и взрыхлим его, и засеем.
Мы будем новыми прародителями Человечества, и будем умнее, будем мудрее, и будем творцами новых законов. И мы поведаем новому Человечеству о том, что было, и научим грядущему.
Мы не сироты, ибо любовь больше чем смерть. Мы будем бодрствовать в угрюмой ночи-без-Человечества, у костра любви, и вокруг нас соберутся все странные существа, и цветы, и звери.

Ведущий:

И остатки Человечества входят в машину, прилетевшую из космоса.
И студенисто-механико-щупальце-ребристые существа уходят за ними.
И с птичьей ликующей музыкой-пеньем машина устремляется в небо.
И в бесконечности исчезает.

Поэт отпускает руку жены, оглядывается вокруг и видит: среди костей и развалин золотисто-серый утренний ветер шевелит стрекозиные крылья — страницы какой-то книги. Он поднимает ее и начинает читать ее вслух. Это стихи, стихотворные строки. Обняв за плечи жену в этом странном утреннем свете, он шагает к центру зелено-руинной, смертно-чешуйчатой этой всемирной пустыни.

Детский хор:

Солнце восходит.
Золотая морская свинка, принюхиваясь, вылезает на свет из своих полуночных владений.

Мужской хор:

Солнце восходит. Светает. Ложись, поэт!
Отдохни от ночных твоих страшных видений!

Хор:

Солнце восходит.
Семиногий жеребчик,
ты несешь на спине своей солнце с луною
и звезд полуночных скопленье.
Напои ж свое стадо, во Вселенной пасущееся, живою водой
И начни свою песню жреческую во искупленье.
Ибо вскорости голова твоя станет седой.

Поэт:

Солнце восходит. Золотой его свет, словно крыша над мраком,
отчетлив и резок.
И колонны рубиновые на окне моем не уснувшем
вздымаются передо мной.
На лиловой стене моей комнаты возникает узор занавесок,
как огромный рентгеновский снимок чьей-то клетки грудной.
Бледнеет лампа моя, как солдатское старое кладбище,
выцветает.
Рядом с солнечным светом почти незаметны ее лучи.
И пушок на шее жены моей вспыхивает и тает,
как туманности звездные, исчезающие в ночи.
И зеленый куст вырисовывается в черной расселине,
дрожа и мягко позванивая своим гребнем живым.
И счастливые птицы купаются в утренней зелени,
и солнце победно размахивает знаменем своим огневым.

Общий хор:

Когда писал я это, чистым было небо.
Зеленый куст цвел на земных отрогах.

Поэт:

Нет, Человечество — я верую без меры —
не одолеют эти дикие химеры!

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Тени в раю

РОМАН

Перевод с немецкого Л. ЧЕРНОЙ и В. КОТЕЛКИНА

Пролог

В конце войны судьба забросила меня в Нью-Йорк. Пятьдесят седьмая улица и ее окрестности стали для меня, изгнанника, с трудом объяснявшегося на языке этой страны, почти что второй родиной.

Позади расстилался долгий, полный опасностей путь — via dolorosa [1] всех тех, кто бежал от гитлеровцев. Крестный путь этот шел из Голландии через Бельгию и Северную Францию в Париж, а потом разветвлялся: одна дорога вела через Лион на побережье Средиземного моря, другая — через Бордо и Пиренеи в Испанию и Португалию, в лиссабонский порт.

Я прошел этот путь подобно многим другим, спасавшимся от гестапо. И в тех странах, через которые он пролегал, мы не чувствовали себя в безопасности, ибо только очень немногие из нас имели подлинное удостоверение личности, подлинную визу. Стоило попасть в руки жандармов, и нас сажали за решетку, приговаривали к тюремному заключению, к высылке. Впрочем, в некоторых странах еще сохранилось подобие человечности — нас по крайней мере не выдворяли в Германию на верную гибель в концлагерях.

Только немногим беженцам удалось раздобыть настоящие паспорта, поэтому бегство наше было нескончаемым. К тому же без документов мы нигде не могли работать легально. Большинство из нас были голодные, жалкие и одинокие. Вот почему мы и назвали путь наших странствий via dolorosa.

Вокзалами нам служили почтамты в маленьких городишках и побеленные ограды на шоссе. В почтовых отделениях нас могло ждать письмо, посланное до востребования родными и близкими, а ограды заменяли доски объявлений. Мелом и углем на них были выведены фамилии тех, кто потерялся, и тех, кто разыскивал друг друга, адреса, предостережения, указания. Призывы, брошенные в пустоту, да к тому же в годы тотального безразличия, вслед за которыми настала эпоха полной бесчеловечности — война, когда и гестапо, и полиция, а нередко и жандармы делали общее дело: охотились за нами, изгоями.

[1] Скорбный путь *(исп.)*.

1

Несколько месяцев назад я прибыл на грузовом пароходе из Лиссабона в Америку, по-английски говорил с грехом пополам; казалось, меня, полунемого и полуглухого, высадили на другую планету. Да это и была другая планета. Ведь в Европе шла война.

К тому же документы у меня были не в порядке, хотя буквально чудом я стал обладателем настоящей американской визы, дававшей мне право на въезд. Но паспорт мой был на чужую фамилию. Иммиграционные власти отнеслись ко мне с недоверием и засадили на Эллис-Айленд. И лишь шесть недель спустя мне выдали временное удостоверение на три месяца. За этот срок я должен был обеспечить себе разрешение на въезд в какую-нибудь другую страну.

Знакомая картина. В Европе я жил долгие годы точно так же, и передышки длились иногда не месяцы, а дни. Эмигрировав из Германии в тридцать третьем, я официально стал политическим мертвецом. А теперь мне целых три месяца не надо было бежать. Непостижимое счастье!

Уже давно я перестал удивляться тому, что ношу чужое имя и живу по паспорту умершего. Напротив, это казалось в порядке вещей. Паспорт я получил в наследство во Франкфурте. Фамилия человека, подарившего мне его в день своей смерти, была Росс. Таким образом, и я теперь звался Роберт Росс. Свою настоящую фамилию я почти забыл. Люди многое забывают, когда речь идет о жизни и смерти.

На Эллис-Айленде я встретил турка, который лет десять назад уже приезжал в Америку. Не знаю, по какой причине ему сейчас не разрешили въезд в Штаты. Спрашивать не имело смысла. На моей памяти не раз случалось, что людей высылали только из-за того, что они не подходили ни под одну рубрику инструкции.

Турок дал мне адрес одного русского в Нью-Йорке, с которым он был знаком в давние времена. К сожалению, он не знал, жив ли этот человек. Но когда меня выпустили, я сразу отправился к нему. Поступок мой был вполне объясним. Я жил так уже годы. Людям, вынужденным постоянно быть в бегах, не оставалось ничего другого, как рассчитывать на случай. Чем невероятней был случай, тем естественнее он казался. И в наши дни обыденность иногда походит на сказку. Не очень-то веселую сказку, но как ни удивительно, конец у нее часто оказывался куда более счастливым, чем можно было ожидать.

Русский работал в маленькой, обшарпанной гостинице недалеко от Бродвея. Он назвался Меликовым, говорил по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что́ мне всего нужнее: пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда: у русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату. Но работать с туристской визой было запрещено. Тут требовались другие бумаги — разрешение на въезд с номером иммиграционной квоты. Значит, работать я мог только нелегально. Так же было и в Европе, и я не очень сокрушался. Кроме того, у меня еще оставалось немного денег.

— А на что вы будете жить? Об этом вы подумали? — спросил Меликов.

— Во Франции я под конец работал торговым агентом, продавал сомнительные картины и подделки под старину.

— Вы что-нибудь в этом смыслите?

— Не слишком, но кое-что усвоил.

— Где?

— Я два года провел в Брюссельском музее.

— Работали там? — с удивлением спросил Меликов.

— Нет. Скрывался,— ответил я.

— От немцев?

— От немцев, которые оккупировали Бельгию.

— Два года? — снова удивился Меликов.— И вас так и не нашли?

— Нет. Нашли того человека, который меня прятал.

Меликов взглянул на меня.

— Вы успели удрать?

— Да.

— А что случилось с тем человеком?

— То, что обычно случалось. Его отправили в концлагерь.

— Он был немец?

— Бельгиец. Директор музея.

Меликов кивнул.

— Каким образом вам удалось так долго скрываться? — спросил он, помолчав немного.— Разве в музее не было посетителей?

— Конечно, были. Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером являлся директор, приносил еду и на ночь выпускал меня из моего убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать.

— А служащие музея что-нибудь знали?

— Нет. В запаснике не было окон. А когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шевелясь. Больше всего боялся чихнуть не вовремя.

— Вас из-за этого и обнаружили?

— Да нет. Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам.

— Понятно,— сказал Меликов.— А читать вы могли?

— Только в летние ночи или при лунном свете.

— Но ночью вам разрешалось гулять по музею и рассматривать картины?

— Да, пока они были видны.

Меликов улыбнулся и неожиданно спросил:

— Хотите есть?

— Да,— сказал я.— И даже очень.

— Так я и думал. Стоит человеку очутиться на свободе — и у него появляется волчий аппетит. Поедим в аптеке.

— В аптеке?

— Да, в drugstore. Это одна из особенностей Штатов. В аптеке покупают аспирин и закусывают.

— Чем вы занимались целый день в музее, чтобы не сойти с ума? — спросил Меликов.

Я окинул взглядом аптеку: у длинной стойки люди торопливо жевали, глядя на рекламные плакаты и бутыли с лекарствами.

— А что мы тут будем есть? — спросил я в свою очередь.

— Котлеты. Это блюдо да еще венские сосиски — основная пища американцев. Бифштексы не по карману простому люду.

— Чем я занимался в музее? Ждал вечера. И, конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. Иначе я бы очень скоро свихнулся. Впрочем, у меня был опыт — уже несколько лет, как я скрывался. Один год даже в самой Германии. Вот я и не позволял себе думать, что допустил хоть какую-нибудь оплошность. Раскаяние разъедает душу сильнее, чем соляная кислота. Это занятие для спокойных эпох. Ну, а потом я без конца занимался французским, сам себе давал уроки французского. Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотна. И сидя днем в кромешной тьме, мысленно восстанавливал их в памяти. Я представлял их себе, следуя определенной системе, по порядку, иной

раз на одну какую-нибудь картину тратил много дней. Порою на меня нападало отчаяние, но потом я начинал все сызнова. Если бы я просто любовался картинами, то, наверное, пропал бы. Но я придумал себе своего рода упражнение для памяти и благодаря этому все время совершенствовался. Теперь я уже не бился головой об стенку, я как бы поднимался вверх, ступенька за ступенькой. Понимаете?

— Да, вы не давали себе покоя,— сказал Меликов.— И у вас была цель. Это спасает.

— Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега. Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе. Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но все же это был мир.

— Разве музей не охранялся?

— Только в дневные часы. Вечером его просто запирали. На мое счастье.

— И на несчастье человека, который носил вам еду.

— На несчастье человека, который прятал меня,— сказал я спокойно, взглянув на Меликова. Я понимал, что за его словами ничего не кроется, он не хотел меня обидеть. Просто констатировал факт.

— Не надейтесь стать нелегальным мойщиком тарелок,— сказал Меликов.— Это романтические бредни! Да и с тех пор, как существуют профсоюзы, такая возможность отпала. Сколько времени вы можете продержаться и не умереть с голоду?

— Совсем недолго... Сколько стоит этот завтрак?

— Полтора доллара. С начала войны здесь все дорожает.

— Войны? — сказал я.— Какая здесь война?

— Война идет! — возразил Меликов.— И опять-таки на ваше счастье. Требуются люди. Безработицы пока нет. Вам легче будет устроиться.

— Через два месяца мне снова придется удирать.

Меликов рассмеялся, зажмурив маленькие глазки.

— Америка — огромная страна. И война идет. На ваше счастье. Где вы родились?

— Согласно паспорту — в Гамбурге, на самом деле — в Ганновере.

— Ни в том, ни в другом случае это вам не грозит высылкой. Но вы можете угодить в лагерь для интернированных.

— В одном таком лагере я уже побывал. Во Франции,— сказал я, пожав плечами.

— Бежали?

— Скорее, просто ушел. После поражения, когда началась всеобщая неразбериха.

Меликов кивнул.

— Я тоже жил во Франции, когда началась всеобщая неразбериха в восемнадцатом году... Но только после победы — как оказалось, впрочем, весьма призрачной. Не выпить ли нам сейчас водки?

— Я привык с опаской относиться к алкоголю,— ответил я.— Несколько раз я из-за него переоценивал свои силы. И дважды это привело к весьма плачевным результатам... к тюремной камере, кишевшей насекомыми.

— В Испании?

— В Северной Африке.

— И все же давайте рискнем в третий раз. Тюремные камеры здесь

чистые. Водка у меня в гостинице, тут вам не подадут ни капли... А вы романтик? — спросил он немного погодя.

— Для меня это — непозволительная роскошь. Полиция хватает романтиков чаще, чем всех прочих.

— Насчет полиции можете несколько месяцев не беспокоиться.

— Да, верно. Трудно сразу привыкнуть к этому.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но скоро мне стало там невмоготу. Я не хотел пить, не хотел сидеть среди потертого плюша, а комната у Меликова была совсем маленькая. Меня тянуло еще раз выйти на улицу, слишком долго я просидел взаперти. Даже Эллис-Айленд был тюрьмой — пусть сравнительно благоустроенной, но все же тюрьмой. Замечание Меликова о том, что в ближайшие два месяца можно не бояться полиции, не выходило у меня из головы. Два месяца — поразительно долгий срок!

— Сколько я еще могу гулять? — спросил я.

— Сколько хотите.

— Когда вы ложитесь спать?

Меликов небрежно махнул рукой.

— Не раньше утра. У меня сейчас самая работа. Желаете найти себе женщину? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. И довольно рискованно.

— Нет. Я просто хочу побродить по городу.

— Женщину легче найти здесь, в гостинице.

— Мне она не нужна.

— Женщина нужна всегда.

— Только не сегодня.

— Стало быть, вы все же романтик,— сказал Меликов.— Запомните номер улицы и название гостиницы. Гостиница «Ройбен». В Нью-Йорке легко найти дорогу: почти все улицы пронумерованы, только немногие имеют название.

Совсем как я. И я стал номером, который носит случайное имя, мелькнуло у меня в голове. Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.

Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столп, днем — белесый, как облако. Похоже, что именно так господь бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки, я слышал гул, не улавливая его смысла. После погруженной во мрак Европы люди казались мне Прометеями — вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар; вот повар жарит пиццу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, потому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу; я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей; нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не вражда и не отчужденность, а что-то незримое. Это «что-то» касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал: мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется — уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе,— как раз наоборот. Возможно,

уже завтра я начну борьбу за существование — буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождая горы той полулжи, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо.

И вдруг я понял: добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности,— напротив: именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения, инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника и у человека одна цель — остаться в живых.

Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может, даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой, ходить по ней опасно. Лед провалится. И этого надо избегнуть. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала — познать то, что простирается передо мной, так же, как я познáю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством, двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые были мне дороги?

Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забилось сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а эта была тихой и незаметной.

Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный «под мрамор», и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели.

— Вы играете в шахматы? — спросил он вставая.

— Как все эмигранты.

— Хорошо. Пойду принесу водку.

Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.

II

В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у пятнадцатилетнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен» — зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за десять дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты: немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными и уверовав, что они-то и есть стопроцентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом.

— Надо тебе завести роман с молоденькой американкой,— сказал Меликов: за это время мы перешли с ним на «ты».

— Из Бруклина? — спросил я.

— Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят.

— Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное.

— К несчастью, наша гостиница — караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бациллы, а ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь.

— Владимир,— сказал я,— мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок! И оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро.

— Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Аннибале Бальбо, который торгует здесь на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечками, они плавают в твоем английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски.

— А вообще-то существуют настоящие, коренные американцы?

— Конечно. Но через нью-йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов — ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и еще десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: «Здесь ты человек, здесь ты можешь существовать»[1]. Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственному паспорту.

Я поднял глаза от шахматной доски.

— Ты прав, Владимир,— сказал я медленно.— Посмотрим, сколько это продлится.

— Не веришь, что это будет длиться долго?

— Как я могу верить?

— Во что же ты веришь?

— В то, что с каждым днем мне становится хуже,— ответил я.

Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то.

— Лахман,— сказал я вполголоса.

Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону.

— Лахман! — повторил я.

— Моя фамилия Мертон,— ответил он.

Я щелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собою наихудший образец модерна начала двадцатого века, заструился безрадостно-тусклый свет — желтый и синеватый.

— Боже мой! Роберт! — воскликнул вошедший с удивлением.— Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб.

— То же самое я думал о тебе. Но узнал тебя по походке.

— По моей хромоте в три четверти такта?

— По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?

— Конечно, знаком.

— Живешь здесь?

— Нет. Но иногда захаживаю.

— Теперь твоя фамилия Мертон?

— Да. А твоя?

— Росс. Имя осталось то же.

---

[1] Строка из Гёте.

— Вот как люди встречаются,— сказал Лахман, слегка усмехнувшись.

Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых.

— Ты слышал что-нибудь о Кане? — спросил я наконец.

И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику.

— Он в Нью-Йорке,— ответил Лахман.

— Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?

— А как все перебрались сюда. Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей.

Меликов выключил верхний свет и вытащил бутылку из-под стойки.

— Американская водка,— сказал он.— Нечто вроде калифорнийского бордо или бургундского из Сан-Франциско. Или рейнского из Чили. Салют! Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и посему можно часто выпивать в честь новой встречи. Создается иллюзия долголетия.

Ни Лахман, ни я не ответили ему. Меликов был человеком иного поколения: то, что нам еще причиняло боль, для него уже стало воспоминанием.

— Салют, Владимир! — Я первый прервал молчание.— И почему мы не родились йогами?

— Я бы удовольствовался меньшим — не родиться евреем в Германии,— сказал Лахман-Мертон.

— Воспринимайте себя как первых граждан мира,— невозмутимо заметил Меликов.— И ведите себя соответственно как первооткрыватели. Настанет время, и вам будут ставить памятники.

— Когда? — спросил Лахман.

— Где? — спросил я.

— На Луне,— сказал Меликов и пошел к конторке, чтобы выдать ключ постояльцу.

— Остряк,— сказал Лахман, поглядев ему вслед.— Ты работаешь на него?

— То есть?

— Девочки. При случае морфий и тому подобное. Кажется, он и букмекер к тому же.

— Ты из-за этого сюда пришел?

— Нет. Я по уши влюбился в одну женщину. Ей, представь себе, пятьдесят, она родом из Пуэрто-Рико, католичка и без ноги. Ей ампутировали ногу. У нее шуры-муры с одним мексиканцем. Явным сутенером. За пять долларов он согласился бы сам постелить нам постель. Но этого она не хочет. Ни в коем случае. Верит, что господь бог взирает на нас, сидя на облаке. И по ночам тоже. Я сказал ей: господь бог близорук. Уже давно. Не помогает. Но деньги она берет. И обещает. А потом смеется. И опять обещает. Что ты на это скажешь? Неужели я для этого приехал в Штаты? Черт знает что!

У Лахмана из-за хромоты появился комплекс неполноценности, но судя по его рассказам, раньше он пользовался феноменальным успехом у дам. Об этом прослышал один эсэсовец и затащил Лахмана в пивнушку штурмовиков в районе Берлин-Вильмерсдорф — хотел его оскопить. Но эсэсовцу помешала полиция — это было еще в тридцать четвертом.

Лахман отделался несколькими шрамами и четырьмя переломами ноги, которые плохо срослись. С тех пор он стал хромать и пристрастился к женщинам с легкими физическими изъянами. Остальное ему безразлично, лишь бы дама обладала солидным и крепким задом. Даже во Франции в невыносимо тяжелых условиях Лахман продолжал свою карьеру бабника. Он уверял, что в Руане крутил любовь с трехгрудой женщиной, у которой к тому же груди были на спине.

— А задница у нее твердая, как камень,— протянул он мечтательно,— горячий мрамор.

— Ты ничуть не изменился, Курт,— сказал я.

— Человек вообще не меняется. Несмотря на то, что дает себе тысячу клятв. Когда тебя кладут на обе лопатки, ты полон раскаяния, но стоит вздохнуть свободнее, и все клятвы забыты,— Лахман на секунду задумался.— Что это: героизм или идиотизм?

На его сером, изрезанном морщинами лбу выступили крупные капли пота.

— Героизм,— сказал я,— в нашем положении надо украшать себя самыми хвалебными эпитетами. Не стоит заглядывать чересчур глубоко в душу, иначе скоро наткнешься на отстойник, куда стекаются нечистоты.

— Да и ты тоже ничуть не изменился.— Лахман-Мертон вытер пот со лба мятым носовым платком.— По-прежнему склонен к философствованию. Правда?

— Не могу отвыкнуть. Это меня успокаивает.

Лахман неожиданно усмехнулся:

— Дает тебе чувство превосходства! Вот в чем дело. Дешевка!

— Превосходство не может быть дешевкой.

Лахман умолк.

— Зачем возражать? — сказал он. И немного погодя со вздохом вытащил из кармана пиджака какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу.— Четки, собственноручно освященные папой. Настоящее серебро и слоновая кость. Как ты думаешь, на нее это подействует?

— Каким папой?

— Пием. Каким же еще?

— Бенедикт Пятнадцатый был бы лучше.

— Что? — Лахман взглянул на меня, явно сбитый с толку.— Ведь Бенедикт умер. Что ты мелешь?

— У него чувство превосходства было развито сильнее. Как у всех мертвецов, впрочем. И это уже не дешевка.

— Ах, вот как. Ты ведь тоже остряк! Совсем забыл. Последний раз, когда я тебя видел...

— Замолчи! — сказал я.

— Что?

— Замолчи, Курт. Не надо.

— Ладно.— Лахман поколебался секунду. Потом желание излить душу победило. Он развернул светло-голубую папиросную бумагу.— Маленький кусочек оливкового дерева из Гефсиманского сада. Подлинность заверена официально. Неужели и это не подействует? — Лахман не отрываясь смотрел на меня умоляющим взглядом.

— Конечно, подействует. А бутылки иорданской воды у тебя не найдется?

— Нет.

— Тогда налей.

— Что?

— Налей воды в бутылку. В вестибюле есть кран. Подмешай немного пыли, чтобы выглядело естественно. Никто ведь ничего не заподозрит, у тебя уже есть нотариально заверенные четки и оливковая ветвь Не хватает только иорданской водицы.

— Не наливать же ее в водочную бутылку!

— Отчего нет? Соскребем наклейку! У бутылки достаточно восточный вид. Твоя пуэрториканка наверняка не пьет водки. В лучшем случае ром.

— Она пьет виски. Странно, правда?

— Нет.

Лахман задумался.

— Бутылку надо запечатать — так будет правдоподобнее. У тебя есть сургуч?

— Еще чего захотел? Визу и паспорт? Откуда у меня сургуч?

— У человека бывают самые неожиданные вещи. Я, например, много лет таскал с собой кроличью лапку, и когда...

— Может, у Меликова найдется?

— Верно! Он постоянно запечатывает посылки. Как я сам не додумался.

Лахман, хромая, отчалил.

Я откинулся на спинку кресла. Было почти темно. Тени и призраки умчались на вечернюю улицу сквозь светлый дверной проем. В зеркале напротив тускло-серое пятно тщетно пыталось приобрести серебристый блеск. Плюшевые кресла стали лиловыми, и на мгновение мне показалось, что на них запеклась кровь. Очень много крови. Где я видел столько крови?.. Кровь на трупах в маленькой серой комнате, за окнами которой полыхал невиданный закат. И от этого все предметы потеряли свою яркость и стали как бы грязными — серо-черными и темно-бурыми, почти лиловыми. Все приобрело эти цвета, даже человек у окна. Внезапно он повернул голову, и на него упали лучи заходящего солнца: одна половина лица стала огненной, другая — оказалась в тени. И тут раздался голос, неожиданно высокий, писклявый. «Продолжаем! Следующий»,— произнес он с легким саксонским акцентом.

Я повернулся и опять щелкнул выключателем. Прошло много лет, прежде чем я научился спать без света. И стоило мне заснуть, как я тут же в испуге вскакивал, меня будили омерзительные сны. Даже теперь я с большой неохотой выключал по ночам свет и не любил спать один.

Я поднялся и вышел из холла. Лахман стоял с Меликовым у маленькой конторки возле входа.

— Все в порядке,— торжествующе сказал Лахман.— Взгляни! У Владимира нашлась старая русская монетка, мы припечатаем ею пробку. Древнеславянская вязь. Кто усомнится, что воду в эту бутылку не налили греческие монахи из монастыря на реке Иордан?

Сургуч капал на пробку. При свече, которая стояла рядом, он казался светло-красным.

Что со мной творится, думал я. Ведь все уже позади! Я спасен! Там на улице бурлит жизнь! Спасен! Разве я спасен? Разве я действительно убежал от них? И от теней тоже?

— Пойду прогуляюсь немного,— сказал я.— В голове у меня каша из английских слов! Надо проветриться. Servus! [1]

Когда я вернулся, Меликов уже приступил к своим обязанностям. В этой гостинице он совмещал множество различных должностей — работал дневным портье, иногда ночным и одновременно выполнял всякие мелкие поручения. В эту неделю он был ночным портье.

— Где Лахман? — спросил я.

— Наверху, у своего предмета.

[1] Привет! *(Лат.)*

— Ты веришь, что сегодня ему улыбнется счастье?

— Нет. Она поведет его и мексиканца ужинать. Платить будет Лахман. Всегда он был такой?

— Да. Только более везучий. Утверждает, что стал интересоваться калеками и увечными лишь после того, как начал хромать. Раньше у него был нормальный вкус. Быть может, он так деликатен, что стыдится красивых женщин. Кто знает...

В дверь проскользнула чья-то тень. То была тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На ее бледном лице выделялись серые глаза, волосы у нее были русые и казались крашеными. Меликов встал.

— Наташа Петрова [1],— сказал он.— Давно вы вернулись?

— Две недели назад.

Я тоже встал. Женщина была почти одного роста со мной. В темном облегающем костюме она выглядела очень худой. Говорила она как-то чересчур торопливо, и голос у нее был, пожалуй, слишком громкий и словно прокуренный.

— Рюмку водки? — спросил Меликов.— Или виски?

— Водки. Один глоток. Мне пора идти фотографироваться.

— В такой поздний час?

— Да, на весь вечер. Фотограф свободен только по вечерам. Платья и шляпы. Маленькие шляпки. Совсем крохотные.

Только сейчас я заметил, что Наташа Петрова была в шляпке без полей, до крайности воздушной и надетой слегка набок.

Меликов ушел за водкой.

— Вы не американец? — спросила девушка.

— Нет, немец.

— Ненавижу немцев.

— Я тоже,— согласился я.

Она взглянула на меня с изумлением.

— Я не говорю о присутствующих.

— И я тоже.

— Я — француженка. Вы должны меня понять. Война...

— Понимаю,— сказал я равнодушно. Уже не в первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии. И постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но не возненавидел французов. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить,— завидно примитивен.

Меликов принес бутылку и три очень маленькие рюмки, которые налил доверху.

— Я не хочу,— сказал я.

— Обиделись? — спросила девушка.

— Нет. Просто мне сейчас не хочется пить.

Меликов ухмыльнулся.

— Ваше здоровье [2],— сказал он и поднял рюмку.

— Напиток богов! — Девушка залпом осушила свою рюмку.

Я почувствовал себя дураком: зря отказался от водки, но теперь уже было поздно.

Меликов поднял бутылку.

— Еще по одной, Наталья Петровна?

— Мегсі [3], Владимир Иванович, хватит! Пора уходить. Au revoir.[4] — Она крепко пожала мне руку.— Au revoir, monsieur.

---

[1] В оригинале: «Наташа Петровна».

[2] В оригинале: «Здрасьте».

[3] Спасибо *(франц.)*.

[4] До свидания *(франц.)*.

— Au revoir, madame.

Меликов пошел ее проводить. Вернувшись, он спросил:

— Она тебя разозлила?

— Нет.

— Не обращай внимания. Она всех злит. Сама того не желая.

— Разве она не русская?

— Родилась во Франции. Почему ты спрашиваешь?

— Я довольно долго жил среди русских эмигрантов. И заметил, что их женщины из чисто спортивного интереса задирают мужчин куда чаще, чем рекомендуется.

Меликов осклабился.

— Не вижу здесь ничего худого. Иногда полезно вывести мужчину из равновесия. Все лучше, чем по утрам с гордым видом начищать пуговицы на его мундире и надраивать ему сапоги, которыми он будет потом топтать ручонки еврейских детей.

Я поднял руки вверх.

— Сдаюсь! Сегодня немецкие эмигранты здесь не в чести. Налей-ка мне лучше водки, от которой я только что отказался.

— Хорошо.

Меликов прислушался.

— Вот и они!

По лестнице спускались двое. Я услышал необыкновенно звучный женский голос. Это были пуэрториканка и Лахман. Она шла немного впереди, не обращая внимания на то, следует ли он за ней. И не хромала. По ее походке не было заметно, что у нее протез.

— Сейчас поедут за мексиканцем,— прошептал Меликов.

— Бедняга Лахман,— сказал я.

— Бедняга? — удивился Меликов.— Нет, он просто хочет того, чего у него нет.

— Единственное, что нельзя потерять. Правда? — Я засмеялся.

— Бедняга тот, кто больше ничего не хочет.

— Разве? — сказал я.— А я полагал, что тогда становишься мудрецом.

— У меня другое мнение. Что с тобой сегодня случилось? Нужна женщина?

— Нет. Адская усталость после пережитых опасностей,— сказал я, усмехаясь.

— Обычно эмигранты норовят быть вместе. А тебе, по-моему, ни до кого нет дела.

— Не хочу вспоминать.

— Поэтому?

— И не хочу увязнуть в эмигрантских делах, окунуться в атмосферу незримой тюрьмы. Слишком хорошо все это изучил.

— Желаешь, значит, стать американцем?

— Никем я не желаю стать. Просто хочу кем-то быть, наконец. Если мне это позволят.

— Громкие слова!

— Надо самому набираться мужества. Никто этого за тебя не сделает.

Мы сыграли еще партию в шахматы. Мне объявили мат. Потом постояльцы начали понемногу возвращаться в гостиницу, и Меликову приходилось то выдавать ключи, то разносить по номерам бутылки и сигареты.

Я продолжал сидеть. И правда, что со мной случилось? Я решил сказать Меликову, что хочу снять отдельный номер. Почему — я и сам не знал. Мы друг другу не мешали, и Меликову было безразлично, живем мы вместе или нет. Но для меня вдруг стало очень важно попробовать

спать в одиночестве. На Эллис-Айленде мы все спали вповалку в большом зале; во французском лагере для интернированных было то же самое. Конечно, я знал, что стоит мне очутиться одному в комнате, и я начну вспоминать времена, которые предпочел бы забыть. Ничего не поделаешь! Не мог же я вечно избегать воспоминаний.

III

С братьями Лоу я познакомился в ту самую минуту, когда косые лучи солнца окрасили антикварные лавки на правой стороне улицы в сказочный золотисто-желтый цвет, а витрины на противоположной стороне затянуло предвечерней паутиной. В это время дня стекла начинали жить самостоятельной жизнью — отраженной жизнью, вбирая в себя чужой свет; примерно такую же обманчивую жизнь обретают намалеванные часы над магазинами оптики, когда время, которое показывают рисованные стрелки, совпадает с действительным. Я открыл дверь лавки; из помещения, похожего на аквариум, вышел один из братьев Лоу — рыжий. Он поморгал немного, чихнул, посмотрел на мягкий закат, еще раз чихнул и заметил меня. А я той порой наблюдал за тем, как антикварная лавка постепенно превращалась в пещеру Аладина.

— Прекрасный вечер, правда? — сказал он, глядя в пространство.

Я кивнул.

— Какая у вас прекрасная бронза.

— Подделка,— сказал Лоу.

— Разве она не ваша?

— Почему вы так думаете?

— Потому что вы сказали — это подделка.

— Я сказал, что бронза — подделка, потому что она подделка.

— Великие слова,— сказал я,— особенно в устах торговца.

Лоу снова чихнул и опять поморгал.

— Я и купил ее как подделку. Мы здесь любим истину.

Сочетание слов «подделка» и «истина» было просто восхитительно в это мгновение, когда засверкали зеркала.

— А вы уверены, что несмотря на это бронза может быть настоящей? — спросил я.

Лоу вышел из дверей и осмотрел бронзу, лежавшую на качалке.

— Можете купить ее за тридцать долларов — и еще в придачу подставку из тикового дерева. Резную.

Весь мой капитал был приблизительно равен восьмидесяти долларам.

— Я хотел бы взять ее на несколько дней,— сказал я.

— Хоть на всю жизнь. Только заплатите сперва.

— А на пробу? Дня на два?

Лоу повернулся.

— Я ведь вас не знаю. В последний раз я дал две статуэтки мейсенского фарфора одной даме, внушавшей полное доверие. На время.

— Ну и что? Дама исчезла навсегда?

— Тут же пришла опять. С разбитыми статуэтками. Какой-то человек в переполненном автобусе выбил статуэтки у нее из рук ящиком с инструментом.

— Не повезло!

— Дама так плакала, словно потеряла ребенка. Двух детей сразу. Близнецов. Фигурки были парные. Что делать? Денег у нее не было. Платить оказалось нечем. Она хотела подержать статуэтки у себя несколько дней, полюбоваться. И позлить приятельниц, которых собира-

лась позвать на бридж. Все очень по-человечески. Правда? Но что было делать нам? Плакали наши денежки. Сами видите, что...

— Бронзу разбить не так легко. Особенно, если это подделка.

Лоу посмотрел на меня внимательно.

— Вы в этом сомневаетесь?

Я не ответил.

— Давайте тридцать долларов,— сказал он,— подержите у себя эту штуку неделю, потом можете вернуть обратно. А если вы ее оставите и продадите, прибыль пополам. Ну, как?

— Грабеж среди белого дня. Но я все равно согласен.

Я был не очень уверен в своей правоте, поэтому принял предложение. Бронзовую фигуру я поставил у себя в номере. Лоу-старший сказал мне еще, что бронзу списали из Нью-Йоркского музея как подделку. В этот вечер я остался дома. Стемнело, но я не зажигал света. Лег на постель и стал смотреть на фигуру, которая стояла перед окном. За то время, что я пробыл в Брюссельском музее, я усвоил одну истину: вещи начинают говорить, только когда на них долго смотришь. А те вещи, которые говорят сразу, далеко не самые лучшие. Блуждая ночью по залам музея, я иногда забирал с собой какую-нибудь безделушку в темный запасник, чтобы там ее ощупать. Часто это были бронзовые скульптуры, и так как Брюссельский музей славился своей коллекцией древней китайской бронзы, я с разрешения моего спасителя иногда уносил в запасник какую-нибудь из фигур. Я мог себе это позволить, поскольку сам директор зачастую брал домой для работы тот или иной экспонат. И если в музее недосчитывались какой-нибудь скульптуры, он говорил, что она у него.

Так у меня выработалось особого рода умение оценивать на ощупь патину. К тому же я провел много ночей у музейных витрин и узнал кое-что о фактуре старых окисей, хотя никогда не видел их при дневном свете. Но подобно тому, как у слепого вырабатывается безошибочное осязание, так и у меня за это время появилось нечто похожее. Конечно, я не во всех случаях доверял себе, но иногда я был совершенно уверен в своей правоте.

Эта бронза показалась мне в лавке на ощупь настоящей; правда, ее очертания и рельефы были чересчур определенны, что, возможно, как раз и не понравилось музейным экспертам, но все же она не производила впечатления позднейшей подделки. Линии были четкие. А когда я закрыл глаза и начал обстоятельно, очень медленно водить пальцами по фигуре, ощущение, что бронза настоящая, еще усилилось.

В Брюсселе я не раз встречался с подобными скульптурами. И о них тоже сперва говорили, что это копии эпохи Тан или Мин. Дело в том, что китайцы уже во времена Хань, то есть примерно с начала нашего летосчисления, копировали и закапывали в землю свои скульптуры эпохи Шан и Чжоу. Поэтому по патине трудно было определить подлинность работы, если в орнаменте или в отливке не обнаруживали каких-либо характерных мелких изъянов.

Я опять поставил бронзу на подоконник. Со двора доносились металлические голоса судомоек, постукиванье мусорных урн и мягкий гортанный бас негра, который эти урны выносил. Вдруг дверь распахнулась. В освещенном четырехугольнике я различил силуэт горничной, увидел, как она отпрянула назад, крикнув:

— Мертвец!

— Какая чушь,— сказал я.— Не мешайте спать. Закройте дверь. Я уже приготовил себе постель.

— И вовсе вы не спите! Что это такое? — Она разглядывала бронзу.

— Зеленый ночной горшок,— отрезал я.— Разве не видите?

— И чего только люди не придумают! Но зарубите себе на носу: утром я его не стану выносить! Ни за что. Выносите сами. В доме хватает уборных.

— Хорошо.

Я снова лег и заснул, хотя не собирался спать. Когда я проснулся, была глубокая ночь. И я сразу не мог сообразить, где нахожусь. Потом увидел бронзу, и мне на минуту показалось, что я снова в музее. Я сел и начал глубоко дышать. Нет, я уже не там, неслышно говорил я себе, я убежал, я свободен, свободен, свободен. Слово «свободен» я повторял ритмично: про себя, а потом стал повторять вслух — тихо и настойчиво; я произносил его до тех пор, пока не успокоился. Так я часто утешал себя в годы преследований, когда просыпался в холодном поту. Потом я поглядел на бронзу: цветные отсветы на ней вбирали в себя ночную тьму. И вдруг я почувствовал, что бронза живая. И не из-за своей формы, а из-за патины. Патина не была мертвой. Никто не наносил ее нарочно, никто не вызывал искусственно, травя шероховатую поверхность кислотами, патина нарастала сама по себе, очень медленно, долгие века; подымалась из воды, омывавшей бронзу, и из земных недр, минералы которых срастались с ней; первоосновой патины были, очевидно, фосфорные соединения, на что указывала незамутненная голубая полоска у основания скульптуры, а фосфорные соединения возникли сотни лет назад из-за соседства с мертвым телом. Патина слегка поблескивала, как поблескивала в музее неполированная бронза эпохи Чжоу. Пористая поверхность не поглощала свет, подобно поверхности бронзовых фигур, на которые патину нанесли искусственно. Свет придавал ей некоторую шелковистость, делал ее похожей на грубый шелк-сырец.

Я поднялся и сел к окну. Там я сидел очень долго, почти не дыша, в полной тишине, весь отдавшись созерцанию, которое мало-помалу заглушило во мне все мысли и страхи.

Я продержал у себя скульптуру еще два дня, а потом отправился на Третью авеню. На сей раз в лавке был и второй брат Лоу, очень похожий на первого, только более элегантный и более сентиментальный, насколько это вообще возможно для торговца стариной.

— Вы принесли скульптуру обратно? — спросил первый и тут же вытащил бумажник, чтобы вернуть мне тридцать долларов.

— Скульптура настоящая,— сказал я.

Он поглядел на меня добродушно и с интересом.

— Из музея ее выбросили.

— Уверен, что она настоящая. Я пришел возвратить ее вам. Продавайте.

— А как же ваши деньги?

— Вы отдадите их мне вместе с половиной прибыли. Как было условлено.

Лоу-младший сунул руку в правый карман пиджака, вытащил десятидолларовую бумажку, чмокнул ее и переложил в левый карман.

— Позвольте вас пригласить... Чего бы вы хотели? — спросил он.

— Вы мне поверили? — Для меня это была приятная неожиданность. Я привык к тому, что мне уже давно никто не верил: ни полицейские, ни женщины, ни инспектора по делам иммигрантов.

— Не в этом суть,— весело пояснил Лоу-младший.— Просто мы с братом поспорили: если вы вернете скульптуру потому, что она — под-

делка, он выигрывает пять долларов, а если вы ее вернете, невзирая на то, что она настоящая,— я выигрываю десять.

— Видимо, у вас в семье вам принадлежит роль оптимиста.

— Я присяжный оптимист, а мой брат — присяжный пессимист. Так мы и тянем лямку в эти трудные времена. Оба эти качества в одном лице нынче несовместимы. Как вы относитесь к черному кофе?

— Вы — ве́нец?

— Венец — по происхождению, американец по подданству. А вы?

— Я — венец по убеждению и человек без подданства.

— Отлично. Зайдем напротив к Эмме и выпьем чашечку черного кофе. В отношении кофе у американцев — спартанское воспитание. Они пьют его только на похоронах или заваривают с утра на весь день. Американец может часами держать кофейник на плите, чтобы он не остыл, и ему даже в голову не придет заварить свежий кофе. Эмма себе такое не позволит. Она — чешка.

Мы перешли через шумную улицу. Поливальная машина изрыгала во все стороны струи воды. Лиловый пикап, развозящий детские пеленки, чуть не переехал нас. В последнюю секунду Лоу сделал грациозный прыжок и тем спас себе жизнь. Тут я увидел, что он ходит в лакированных ботинках.

— Вы с братом не однолетки? — спросил я.

— Близнецы. Но для удобства покупателей один из нас зовется «старший брат», другой — «младший». Брат на три часа старше меня. И он родился под знаком Близнецов. А я под знаком Рака.

Неделю спустя из служебной поездки вернулся владелец фирмы «Лу и К°», эксперт по китайскому искусству. Он никак не мог взять в толк, почему музей счел скульптуру подделкой.

«Это не шедевр,— разъяснил он.— Но, без сомнения, бронза эпохи Чжоу, позднего Чжоу, вернее, переходного периода от Чжоу к Хань».

«А какова ее цена?» — спросил Лоу-старший.

«На аукционе она потянет долларов четыреста-пятьсот. Может, больше. Но ненамного. Китайская бронза идет нынче по дешевке».

«Почему?»

«Да потому, что нынче все идет по дешевке. Война. И не так уж много людей коллекционирует китайскую бронзу. Могу купить ее у вас за триста долларов».

Лоу покачал головой.

«По-моему, я должен сперва предложить ее музею».

— С какой стати? — удивился я.— И потом — половина денег ведь моя. А вы хотите отдать скульптуру за те же жалкие пятнадцать долларов, какие, наверное, заплатили за нее.

— У вас есть расписка?

Я с удивлением уставился на него. Он поднял руку.

— Секунду! Не кричите. Пусть это будет для вас хорошим уроком. Впредь требуйте на все расписки. В свое время я на этом здорово погорел.

Я продолжал смотреть на него в упор.

— Пойду в музей и скажу, что уже почти продал эту скульптуру. Так ведь и есть на самом деле. Но я все равно предложу ее музею, потому что Нью-Йорк — это большая деревня. Во всяком случае, для антикваров. Через несколько недель все всё узнают. А музей нам еще понадобится. Вот в чем дело. Вашу долю я у них потребую.

— Сколько это будет?

— Сто долларов.

— А сколько получите вы?

— Половину того, что заплатят сверх. Согласны?

— Для вас вся эта история — милая шутка,— сказал я.— А я рискнул ради нее почти половиной состояния.

Лоу-старший засмеялся. Во рту у него было много золота.

— Кроме того, вы до всего дознались. Теперь и я догадался, как произошла ошибка. Они взяли в музей нового молодого эксперта. И молодой человек решил показать, что его предшественник ни черта не смыслил и приобретал мусор. Могу сделать вам одно предложение: у нас в подвале масса старых вещей, в которых мы не очень-то разбираемся. Человек не может знать все на свете. Не хотите ли ознакомиться с нашими сокровищами? Десять долларов в день. Ну, а если повезет — поощрительные премии.

— Компенсация за китайскую бронзу?

— Только отчасти. Но, конечно, работа временная. Мы с братом вполне справляемся со своими делами. По рукам?

— По рукам,— сказал я и взглянул через стекло витрины на улицу, где мчался поток машин.

Иногда даже страх приносит пользу, подумал я спокойно. Главное — расслабиться. Когда держишь себя в кулаке, обязательно случится несчастье. Жизнь — как мяч, думал я. Она всегда сохраняет равновесие.

— Пятьдесят миллионов мертвецов,— сказал Лоу-старший.— Сто. Человечество пошло вперед только в одном отношении: оно научилось массовым убийствам.— В ярости он откусил кончик сигары.— Понимаете?

— Нигде человеческая жизнь не дешева так, как в Германии,— сказал я.— Эсэсовцы высчитали, что один еврей, даже работоспособный и молодой, стоит всего тысячу шестьсот двадцать марок. За шесть марок в день его выдают на прокат немецким промышленникам, использующим рабский труд. Питание в лагере обходится в шестьдесят пфеннигов в день. Еще десять пфеннигов кладут на амортизацию носильных вещей. Средняя продолжительность жизни — девять месяцев. Итого, считая прибыль, тысяча четыреста марок. Добавим к этому рациональное использование трупа: золотые коронки, одежду, ценности, деньги, привезенные с собой, и, наконец, волосы. За вычетом стоимости сожжения в сумме двух марок, чистая прибыль составляет около тысячи шестисот двадцати марок. Из этого следует вычесть еще женщин и детей, не имеющих реальной ценности. Их умерщвление в газовых камерах и сожжение обходится на круг в шесть марок. Сюда же надо приплюсовать стариков, больных и так далее. Таким образом, в среднем, если округлить сумму, доход все равно составляет не менее тысячи двухсот марок.

Лоу побледнел как полотно.

— Это правда?

— Так было подсчитано. Официальными немецкими ведомствами. Но до известной степени эта цифра может колебаться. Сложность вовсе не в умерщвлении людей. Как ни странно, самое сложное — уничтожение трупов. Для того чтобы труп сгорел, требуется определенное время. Закапывать в землю тоже не так-то просто, если речь идет о десятках тысяч мертвецов и если могильщики славятся своей добросовестностью. Не хватает крематориев. Да и по ночам они не могут работать с полной нагрузкой. Из-за вражеских самолетов. Бедным нацистам тяжко приходится. Они ведь хотели только мира, ничего больше.

— Что?

— Вот именно. Если бы весь свет согласился плясать под дудку Гитлера, войны не было бы.

— Остряк! — проворчал Лоу.— Остряк паршивый. Здесь не до острот! — Он понурил свою рыжую голову.— Как это может быть? Вы что-нибудь понимаете?

— Приказ сам по себе почти всегда бескровен. С этого все начинается. Тот, кто сидит за письменным столом, не должен хвататься за топор.— Я с сожалением взглянул на собеседника.— А людей, выполняющих приказы, всегда можно найти, особенно в нацистской Германии.

— Даже кровавые приказы?

— Кровавые тем более. Ведь приказ освобождает от ответственности. Можно, стало быть, дать волю инстинктам.

Лоу провел рукой по волосам.

— И вы через все это прошли?

— Увы,— сказал я.— Хотелось бы мне, чтобы это было не так.

— А вот сейчас мирный день, и мы с вами стоим в антикварной лавке на Третьей авеню,— сказал он.— Как же это, по-вашему, называется?

— Только не война.

— Я не об этом говорю. На земле творится бог знает что, а люди спокойно живут и делают вид, будто все в порядке.

— Люди не живут спокойно. Идет война. Для меня она, правда, странная, нереальная. Реальная война — это та, что происходит у тебя на родине. Все остальное нереально.

— Но людей убивают.

— У человеческого воображения плохо со счетом. Собственно, оно считает только до одного. То есть до того, кто находится рядом с тобой.

Колокольчик на двери лавки задребезжал. Женщина в красном хотела купить персидский кубок. Ее интересовало, можно ли использовать кубок в качестве пепельницы. Я незаметно спустился в подвал, который тянулся и под проезжей частью улицы. Разговоры эти я просто ненавидел. Мне они казались и наивными, и бессмысленными. Такие разговоры вели люди, которые не видели войны и думали, что, немного поволновавшись, они уже кое-что сделали. Это были разговоры людей, не знавших опасности...

В подвале было прохладно, как в комфортабельном бомбоубежище. В бомбоубежище коллекционера. Сверху приглушенно, словно гул самолетов, доносился шорох легковых машин и грохот грузовиков. А на стенах висели картины... Казалось, прошлое беззвучно упрекало нас.

В гостиницу я вернулся поздно вечером. Лоу-старший в порыве великодушия дал мне пятьдесят долларов задатка. Вскоре он, впрочем, пожалел об этом, и я это заметил. Но из-за серьезности беседы, которую мы до того вели, не решился взять деньги обратно. Неожиданная выгода для меня!

Меликова в гостинице не оказалось. Зато появился Лахман. Он, как всегда, был в волнении и весь потный.

— Все в порядке? — спросил я его.

— С чем?

— Со святой водой из Лурда?

— С лурдской водой? Ты хочешь сказать — с иорданской? Что значит: все в порядке? Это не так просто. Но мои шансы растут. Хотя эта женщина буквально сводит меня с ума. Вот уже вечность, как я нахожусь между Сциллой и Харибдой. Утомительная штука.

— Сцилла и Харибда?

— Тебе же известно это выражение. Из греческой мифологии. Ловушка для моряков между двумя утесами. Мне надо лавировать, ла-

вировать. Иначе я пропал.— Он взглянул на меня глазами загнанного зверя.— Если эта женщина не станет скоро моей, я превращусь в импотента. Ты ведь знаешь, какой у меня тяжелый комплекс. Меня опять преследуют кошмары. Я просыпаюсь весь в поту, просыпаюсь от собственного крика. Ты ведь слышал: эти бандиты хотели меня кастрировать. Ножницами, не ножом. И гоготали как безумные. Если я не пересплю с этой женщиной в ближайшие дни, мне будет сниться, что они своего добились. Ужасные сны! Все как наяву! Даже вскочив с постели, я слышу их гогот.

— Спи с проституткой.

— Не могу. При всем желании. И с нормальной женщиной тоже не могу. Тут они своего добились.

Лахман прислушался.

— Вот она идет. Мы поужинаем в «Блу риббон». Она любит говяжье жаркое. Пойдем с нами! Может, ты на нее повлияешь. Ты ведь у нас знаменитый говорун.

С лестницы донесся звучный голос.

— Нет времени,— сказал я.— А ты не подумал, что и у женщины может быть комплекс неполноценности из-за ампутированной ноги? Как у тебя из-за шрамов.

— Ты считаешь? — Лахман уже встал.— Ты так считаешь?

Конечно, я сболтнул первое, что пришло на ум. Хотел его утешить. Но увидев, как он разволновался, проклял свой длинный язык. Ведь от Меликова я знал, что дама жила с мексиканцем. Но объясняться было поздно. Да и Лахман меня не слушал. Он захромал к двери.

Я поднялся к себе в номер, но не стал зажигать свет. Несколько окон напротив были освещены. В одном я увидал мужчину, который надевал женское белье. Этого типа я встречал в гостинице уже не раз. Полиция о нем знала, он был зарегистрирован как неизлечимый. Секунду я смотрел на мужчину в окне. Потом у меня стало муторно на душе. Что ни говори, неприятное зрелище! Я решил спуститься вниз и дожидаться там Меликова.

IV

Лахман дал мне адрес Гарри Кана. О легендарных подвигах Кана я слышал еще во Франции. В качестве испанского консула он появился в Провансе, когда немецкая оккупация этого края формально окончилась и власть перешла к созданному Гитлером правительству в Виши, которое с каждым днем все снисходительнее взирало на бесчинства немцев.

И вот в один прекрасный день Кан возник в Провансе под именем Рауля Тенье с испанским дипломатическим паспортом в кармане. Никто не знал, откуда у него этот паспорт. По одной версии, документы у него были французские с испанским штампом, удостоверяющим, что Кан — вице-консул в Бордо. Другие, наоборот, утверждали, будто видели паспорт Кана и будто этот паспорт испанский. Сам Кан загадочно молчал, зато он действовал. У него была машина с дипломатическим флажком на радиаторе, элегантные костюмы и вдобавок хладнокровие, доходившее до наглости. Он держал себя настолько блестяще, что даже сами эмигранты уверовали, будто все у него в порядке. Хотя в действительности все было, видимо, не в порядке.

Кан свободно ездил по стране. Самое пикантное заключалось в том, что он путешествовал как представитель другого фашистского диктатора, а тот не имел об этом ни малейшего понятия. Скоро Кан стал сказочным героем, творившим добрые дела. Дипломатический флажок на машине отчасти защищал Кана. А когда его задерживали

эсэсовские патрули или немецкие солдаты, он тут же кидался в атаку, и немцы быстро шли на попятную, боясь получить взбучку от начальства. Кан хорошо усвоил, что нацистам импонирует грубость, и за словом в карман не лез.

При любой фашистской диктатуре страх и неуверенность царят даже в рядах самих фашистов, особенно если они люди подневольные, так как понятие права становится чисто субъективным и, следовательно, может быть обращено против любого бесправного индивидуума, коль скоро его поступки перестают соответствовать меняющимся установкам. Кан играл на трусости фашистов, ибо знал, что трусость в соединении с жестокостью как раз и являются логическим следствием любой тирании.

Он был связан с движением Сопротивления. По всей видимости, именно подпольщики снабдили его деньгами и машиной, а главное, бензином. Бензина Кану всегда хватало, хотя в то время он был чрезвычайно дефицитен. Кан развозил листовки и первые подпольные газеты — двухполосные листки небольшого формата. Мне был известен такой случай: однажды немецкий патруль остановил Кана, чтобы обыскать его машину, которая как на грех была набита нелегальной литературой. Но Кан поднял такой скандал, что немцы спешно ретировались: можно было подумать, что они схватили за хвост гадюку. Однако на этом Кан не успокоился: он погнался за солдатами и пожаловался на них в ближайшей комендатуре, предварительно избавившись, правда, от опасной литературы. Кан добился того, что немецкий офицер извинился перед ним за бестолковость своих подчиненных. Утихомирившись, Кан покинул комендатуру, попрощался, как положено фалангисту, и в ответ услышал бодрое «Хайль Гитлер!» А немного погодя он обнаружил, что в машине у него все еще лежат две пачки листовок.

Иногда у Кана появлялись незаполненные испанские паспорта. Благодаря им он спас жизнь многим эмигрантам: они смогли перейти границу и скрыться в Пиренеях. Это были люди, которых разыскивало гестапо. Кану удавалось долгое время прятать своих подопечных во французских монастырях, а потом, при первой возможности, эвакуировать. Я сам знаю два случая, когда Кан сумел предотвратить насильственное возвращение эмигрантов в Германию. В первом случае он внушил немецкому фельдфебелю, что Испания особо заинтересована в данном лице: этот человек-де свободно владеет языками, и поэтому его хотят использовать в качестве испанского резидента в Англии. Во втором случае Кан действовал с помощью коньяка и рома, а потом стал угрожать охране, что донесет на нее, обвинив во взяточничестве.

Когда Кан исчез с горизонта, в среде эмигрантов распространились самые мрачные слухи, все каркали наперебой. Ведь каждый эмигрант понимал, что эта война в одиночку может кончиться для Кана только гибелью. День ото дня он становился все бесстрашней и бесстрашней. Казалось, он бросал вызов судьбе. А потом вдруг наступила тишина. Я считал, что нацисты уже давно забили Кана насмерть в концлагере или подвесили его на крюке — подобно тому как мясники подвешивают освежеванные туши,— пока не услышал от Лахмана, что Кану тоже удалось бежать.

Я нашел его в магазине, где по радио транслировали речь президента Рузвельта. Сквозь раскрытые двери на улицу доносился оглушительный шум. Перед витриной столпились люди и слушали речь.

Я попытался заговорить с Каном. Это было невозможно — пришлось бы перекричать радио. Мы могли объясняться только знаками.

Он с сожалением пожал плечами, указал пальцем на репродуктор и на народ за стеклами витрины и улыбнулся. Я понял: для Кана было важно, чтобы люди слушали Рузвельта, да и сам он не желал пропускать из-за меня эту речь. Я сел у витрины, вытащил сигарету и начал слушать.

Кан был хрупкий, темноволосый человек с большими черными горящими глазами. Он был молод, не старше тридцати. Глядя на него, никто не сказал бы, что это смельчак, долгие годы игравший с огнем. Скорее, он походил на поэта: настолько задумчивым и в то же время открытым было это лицо. Рембо и Вийон, впрочем, тоже были поэтами. А то, что совершал Кан, могло прийти в голову только поэту.

Громкоговоритель внезапно умолк.

— Извините,— сказал Кан,— я хотел дослушать речь до конца. Вы видели людей на улице? Часть из них с радостью прикончила бы президента — у него много врагов. Они утверждают, что Рузвельт вовлек Америку в войну и что он несет ответственность за американские потери.

— В Европе?

— Не только в Европе, но и на Тихом океане, там, впрочем, японцы сняли с него ответственность.— Кан взглянул на меня внимательней.— По-моему, мы уже где-то встречались? Может, во Франции?

Я рассказал ему о моих бедах.

— Когда вам надо убираться? — спросил он.

— Через две недели.

— Куда?

— Понятия не имею.

— В Мексику,— сказал он.— Или в Канаду. В Мексику проще. Тамошнее правительство более дружелюбно, оно принимало даже испанских réfugiés [1]. Надо запросить посольство. Какие у вас документы?

Я ответил. Он улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо.

— Все то же самое,— пробормотал он.— Хотите сохранить этот паспорт?

— Иначе нельзя. Он — мой единственный документ. Если я признаюсь, что паспорт чужой, меня посадят в тюрьму.

— Может, и не посадят. Но пользы это вам не принесет. Что вы делаете сегодня вечером? Заняты?

— Нет, конечно.

— Зайдите за мной часов в девять. Нам понадобится помощь. И здесь есть такой дом, где мы ее получим.

Круглое краснощекое лицо с круглыми глазами и всклокоченной копной волос добродушно сияло, как полная луна.

— Роберт! — воскликнула Бетти Штейн.— Боже мой, откуда вы взялись? И с каких пор вы здесь? Почему я ничего о вас не слышала? Неужели не могли сообщить о себе! Ну конечно, у вас дела поважнее. Где уж тут вспомнить обо мне? Типично для...

— Вы знакомы? — спросил Кан.

Невозможно было представить себе человека, участвовавшего в этом переселении народов, который не знал бы Бетти Штейн. Она была покровительницей эмигрантов — так же, как раньше в Берлине была покровительницей актеров, художников и писателей, еще не выбившихся в люди. Любвеобильное сердце этой женщины было открыто для всех, кто в ней нуждался. Ее дружелюбие проявлялось столь бур-

[1] Беженцев *(франц.)*.

но, что порой граничило с добродушной тиранией: либо она принимала тебя целиком, либо вы становились врагами.

— Конечно, знакомы,— ответил я Кану.— Правда, мы не виделись несколько лет. И вот уже с порога, не успел я войти, как она меня упрекает. Это у нее в крови. Славянская кровь.

— Да, я родилась в Бреславле,— заявила Бетти Штейн,— и все еще горжусь этим.

— Бывают же такие доисторические предрассудки,— сказал Кан невозмутимо.— Хорошо, что вы знакомы. Нашему общему другу Россу нужны помощь и совет.

— Россу?

— Вот именно, Бетти, Россу,— сказал я.

— Он умер?

— Да, Бетти. И я его наследник.

— Понимаю.

Я объяснил ей ситуацию. Она тут же с жаром ухватилась за это дело и принялась обсуждать различные варианты с Каном, который как герой Сопротивления пользовался здесь большим уважением. А я тем временем огляделся. Комната была очень большая, и все здесь соответствовало характеру Бетти. На стенах висели прикрепленные кнопками фотографии — портреты с восторженными посвящениями. Я начал рассматривать подписи: многие из этих людей уже погибли. Шестеро так и не покинули Германию, один вернулся.

— Почему фотография Форстера у вас в траурной рамке? — спросил я.— Он ведь жив.

— Потому что Форстер опять в Германии.— Бетти повернулась ко мне.— Знаете, почему он уехал обратно?

— Потому что он не еврей и стосковался по родине,— сказал Кан.— И не знал английского.

— Вовсе не потому. А потому, что в Америке не умеют делать его любимый салат,— торжествующе сообщила Бетти.— И на него напала тоска.

В комнате раздался приглушенный смех. Эмигрантские анекдоты были мне хорошо знакомы — смесь иронии и отчаяния. Существовала также целая серия анекдотов о Геринге, Геббельсе и Гитлере.

— Почему же вы тогда не сняли его портрет? — спросил я.

— Потому что, несмотря на все, я люблю Форстера и потому что он большой актер.

Кан засмеялся.

— Бетти, как всегда, объективна,— сказал он.— И в тот день, когда все это кончится, она первая скажет о наших бывших друзьях, которые за это время успели написать в Германии антисемитские книжонки и получить чин оберштурмфюрера, что они, мол, делали это, дабы предотвратить самое худшее! — Он потрепал ее по мясистому загривку.— Разве я не прав, Бетти?

— Если другие — свиньи, то это не значит, что и мы должны вести себя по-свински,— возразила Бетти несколько раздраженно.

— Именно на такие рассуждения они и рассчитывают,— сказал Кан невозмутимо.— А в конце войны будут твердо рассчитывать на то, что американцы, дав последний залп, пошлют в Германию составы с салом, маслом и мясом для бедных немцев, которые всего-навсего хотели их уничтожить.

— А если немцы выиграют эту войну? Как, по-вашему, они поведут себя? Тоже будут раздавать сало? — спросил кто-то и закашлялся.

Я не ответил. Разговоры эти мне изрядно надоели. Лучше уж рассматривать фотографии.

— Поминальник Бетти,— произнесла хрупкая, очень бледная жен-

шина, которая сидела на скамейке под фотографиями.— Это портрет Хаштенеера.

Я вспомнил Хаштенеера. Французы засадили его в лагерь для интернированных вместе с другими эмигрантами, которых сумели схватить. Он был писатель и знал, что, если попадет в руки немцев, его песенка спета. Знал он также, что лагеря для интернированных прочесывают гестаповцы. Когда немцы были в нескольких часах ходу от лагеря, Хаштенеер покончил с собой.

— Типично французское равнодушие,— сказал Кан с горечью.— Они не желают тебе зла, но ты почему-то по их милости подыхаешь.

Я вспомнил, что Кан заставил коменданта одного из французских лагерей отпустить нескольких немецких беженцев. Он так насел на него, что комендант, очень долго прикрывавший свою нерешительность болтовней об офицерской чести, наконец уступил. Ночью он освободил эмигрантов, которые иначе пропали бы. Это было тем более трудно, что в лагере оказалось несколько нацистов. Сперва Кан убедил коменданта отпустить нацистов, уверяя, что в противном случае гестаповцы после осмотра лагеря арестуют его. А потом он использовал освобождение нацистов как средство давления на коменданта. Грозил, что пожалуется на него правительству Виши. Этот свой маневр Кан назвал «моральное поэтапное вымогательство». Маневр подействовал.

— Как вам удалось выбраться из Франции? — спросил я Кана.

— Тем пугем, какой казался тогда вполне нормальным. Самым фантастическим. Гестапо кое о чем начало догадываться. Мое нахальство, равно как и сомнительный титул вице-консула, перестали помогать. В один прекрасный день меня арестовали.

К счастью, как раз в это время в комендатуре появились два нациста, которые по моему распоряжению были отпущены. Они собирались в Германию. Нацисты, конечно, поклялись всеми святыми, что я друг немцев. Я им еще помог... Напустил на себя грозный вид, замолчал, а потом как бы невзначай обронил несколько имен, и они не сделали того, чего я боялся: не передали меня вышестоящей инстанции. Их обуял страх. А вдруг из-за этого недоразумения начальство на них наорет? Под конец они были мне даже благодарны за то, что я пообещал забыть об этом происшествии, и отпустили меня с миром. Я бежал далеко, до самого Лиссабона. Человек должен знать, когда рисковать уже больше нельзя. Тут появляется особое чувство, похожее на чувство, какое бывает при первом легком приступе angina pectoris [1]. У тебя уже и прежде были неприятные ощущения, но это чувство иное, к нему надо прислушаться. Ведь следующий приступ может стать смертельным.

Теперь мы сидели в темноте.

— Это ваш магазин?

— Нет. Я здесь служащий. Из меня вышел хороший продавец.

— Охотно верю.

На улице была ночь, ночь большого города — горели огни, шли люди. Казалось, незримая витрина защищает нас не только от шума,— мы были словно в пещере.

— В такой тьме даже сигарета не доставляет удовольствия,— сказал Кан.— Вот было бы великолепно, если бы во тьме человек не чувствовал боли. Правда?

— Наоборот, боль становится сильнее, потому что человек боится. Кого только?

---

[1] Грудная жаба *(лат.)*.

— Себя самого. Но все это выдумки. Бояться надо не себя, а других людей.

— Это тоже выдумки.

— Нет,— сказал Кан спокойно.— Так считалось до восемнадцатого года. С тридцать третьего известно, что это не так. Культура — тонкий пласт, ее может смыть обыкновенный дождик. Этому научил нас немецкий народ — народ поэтов и мыслителей. Он считался высокоцивилизованным. И сумел перещеголять Аттилу и Чингисхана, с упоением совершив мгновенный поворот к варварству.

— Можно, я зажгу свет? — спросил я.

— Конечно.

Безжалостный электрический свет залил помещение; мигая, мы поглядели друг на друга.

— Просто странно, куда только человека не заносит судьба,— сказал Кан, вынимая из кармана расческу и приводя в порядок волосы.— Но главное, что она все же заносит его куда-то, где можно начать сначала. Только не ждать. Некоторые,— он повел рукой,— некоторые просто ждут. Чего? Того, что время повернет вспять им в угоду? Бедняги! А вы что делаете? Уже нашли себе какое-нибудь занятие?

— Разбираю кладовые в антикварной лавке.

— Где? На Второй авеню?

— На Третьей.

— Один черт. Никаких перспектив. Постарайтесь начать собственное дело. Продавайте что угодно, хоть булыжники. Или шпильки для волос. Я сам кое-чем приторговываю в свободное время. Самостоятельно.

— Хотите стать американцем?

— Я хотел стать австрийцем, потом чехом. Но немцы, увы, захватили обе эти страны. Тогда я решил стать французом — результат тот же. Хотелось бы мне знать, не оккупируют ли немцы и Америку?

— А мне хотелось бы знать другое: через какую границу меня выдворят дней через десять?

Кан покачал головой.

— Это совсем не обязательно. Бетти достанет вам рекомендации трех известных эмигрантов. Фейхтвангер тоже не отказал бы вам, но его рекомендации здесь не очень котируются. Он слишком левый. Правда, Америка в союзе с Россией, но не настолько, чтобы «поощрять» коммунизм. Генрих и Томас Манны ценятся высоко, но еще лучше, если за вас поручатся коренные американцы. Один издатель хочет опубликовать мои воспоминания; конечно, я никогда не напишу их. Но говорить ему это пока преждевременно — узнает года через два. Мой издатель вообще интересуется эмигрантами. Наверное, чует, что на них можно сделать бизнес. Выгода в сочетании с идеализмом — дело беспроигрышное. Завтра я ему позвоню. Скажу, что вы один из тех немцев, которых я вызволил из лагерей в Гуре.

— Я был в Гуре,— сказал я.

— В самом деле? Бежали?

Я кивнул:

— Подкупил охрану.

Кан оживился.

— Вот здорово! Мы найдем нескольких свидетелей. Бетти знает уйму народа. А вы не помните кого-нибудь, кто оттуда выбрался бы в Америку?

— Господин Кан,— сказал я.— Америка была для нас землей обетованной. В Гуре мы не могли и мечтать о ней. Кроме того, простите, я не захватил с собой никаких документов.

— Ничего. Раздобудем что-нибудь. Для вас сейчас самое главное —

продлить пребывание здесь. Хотя бы на несколько недель. Или месяцев. Для этого потребуется адвокат — ведь времени осталось в обрез. В Нью-Йорке достаточно эмигрантов, которые имели в прошлом адвокатскую практику. Бетти это устроила бы в два счета. Но времени так мало, что лучше найти американского адвоката. Бетти и в этом нам поможет. А деньги у вас есть?

— Дней на десять хватит.

— То есть это деньги на жизнь. А сумму, которую потребует адвокат, придется собрать. Думаю, она не будет такой уж большой.— Кан улыбнулся.— Пока что эмигранты еще держатся вместе. Беда сплачивает людей лучше, чем удача.

Я взглянул на Кана. Его бледное, изможденное лицо до странности потемнело.

— У вас передо мной есть некоторое преимущество,— сказал я.— Вы еврей. И согласно подлой доктрине тех людишек, не принадлежите к их нации. Я не удостоился такой чести. Я к ним принадлежу.

Кан повернулся ко мне лицом.

— Принадлежите к их нации? — В его голосе слышалась ирония.— Вы в этом уверены?

— А вы нет?

Кан молча разглядывал меня. И мне стало не по себе.

— Я болтаю чушь! — сказал я наконец, чтобы прервать молчание.— Надеюсь, все это не имеет к нам отношения.

Кан все еще не сводил с меня глаз.

— Мой народ,— начал он, но тут же прервал сам себя: — Я тоже, кажется, горожу чушь. Пошли! Давайте разопьем бутылочку!

Пить я не хотел, но и отказаться не мог. Кан вел себя вполне спокойно и уравновешенно. Однако так же спокойно держался в Париже Иозеф Бер, когда я не согласился пить с ним ночь напролет, из-за безмерной усталости. А наутро я обнаружил, что он повесился в своем нищенском номере.

Люди, не имевшие корней, были чрезвычайно нестойки — в их жизни случай играл решающую роль. Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить кому-нибудь душу, хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей. И совершил вдобавок роковую ошибку — написал воспоминания; а ему надо было бежать от них, как от чумы. Воспоминания захлестнули его. Потому-то и я так страшился воспоминаний. Да, я знал, что должен действовать, хотел действовать. И сознание это давило на меня, как тяжелый камень. Но прежде надо, чтобы кончилась война и чтобы я мог снова поселиться в Европе.

Я вернулся в гостиницу, и она показалась мне еще более унылой, чем прежде. Усевшись в старомодном холле, я решил ждать Меликова. Вокруг как будто никого не было, но внезапно я услышал всхлипыванья. В углу, возле кадки с пальмой, сидела женщина. Я с трудом разглядел Наташу Петрову.

Наверное, она тоже ждала Меликова. Ее плач действовал мне на нервы. К тому же у меня и так была тяжелая голова после выпивки. Помедлив секунду, я подошел к ней.

— Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Она не ответила.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

Наташа покачала головой:

— Что, собственно, должно случиться?

— Но вы ведь плачете.

— Что, собственно, должно случиться?

Я долго смотрел на нее.

— Есть же причина. Иначе вы не плакали бы.

— Вы уверены? — спросила она вдруг сердито.

Я бы с удовольствием ушел, но в голове у меня был полный сумбур.

— Обычно причина все же существует,— сказал я после краткой паузы.

— Неужели? Разве нельзя плакать без причины? Неужели все имеет свои причины?

Я бы не удивился, если бы Наташа заявила, что только тупые немцы имеют на все причину. Пожалуй, даже ждал этих слов.

— С вами так не случается? — спросила она вместо этого.

— Я могу себе это представить.

— С вами так не случается? — повторила она.

Можно было объяснить ей, что у меня, к сожалению, всегда оказывалось достаточно причин для слез. Представление о том, что можно плакать без всякой причины — просто от мировой скорби или от сердечной тоски,— могло возникнуть лишь в другом, более счастливом столетии.

— Мне было не до слез.

— Ну конечно! Где уж вам плакать!

Начинается, подумал я. Противник идет в атаку.

— Извините,— пробормотал я и собрался уходить. Не хватало мне только отражать наскоки плачущей женщины!

— Знаю,— сказала она с горечью,— идет война. И в такое время смешно плакать из-за пустяков. Но я реву — и все тут. Несмотря на то, что где-то далеко от нас разыгрываются десятки сражений.

Я остановился.

— Мне это понятно. Война здесь ни при чем. Пусть где-то убивают сотни тысяч людей... Если ты порежешь себе палец, боль от этого не утихнет.

Боже, какой вздор я несу, подумал я. Надо оставить эту истеричку в покое. Пусть себе рыдает на здоровье. Почему я не ухожу? Но я продолжал стоять, будто она была последним человеком на этой земле. И вдруг я все понял: я боялся остаться один.

— Бесполезно,— повторяла она.— Решительно все бесполезно. Все, что мы делаем! Мы должны умереть. Никому не избежать смерти.

О господи! Вот до чего договорилась!

— Да, но тут существует много разных нюансов. Один из них состоит в том, как долго человеку удается избегать смерти.

Наташа не отвечала.

— Не хотите ли выпить чего-нибудь? — спросил я.

— Не выношу эту кока-колу. Дурацкий напиток!

— А как насчет водки?

Она подняла голову.

— Насчет водки? Водки здесь не достанешь, раз нет Меликова. Куда он, кстати, делся? Почему его до сих пор нет?

— Не знаю. Но у меня в номере стоит початая бутылка водки. Можем распить ее.

— Разумное предложение,— сказала Наташа Петрова. И прибавила: — Почему вы не внесли его раньше?

Водки было на донышке. Я взял бутылку и с неохотой пошел обратно. Может, Меликов скоро явится? Тогда я буду играть с ним в шахматы до тех пор, пока не приду в равновесие. От Наташи Петровой я не ждал ничего путного.

Я подошел к столу в холле и почти не узнал ее. Слез как не бывало, она напудрилась и даже встретила меня улыбкой.

— Почему, собственно, вы пьете водку? Ведь у вас на родине ее не пьют.

— Правильно,— сказал я.— В Германии пьют пиво и шнапс, но я забыл свое отечество и не пью ни пива, ни шнапса. Насчет водки я, правда, тоже не большой мастак.

— Что же вы пьете?

Какой идиотский разговор, подумал я.

— Пью все что придется. Во Франции пил вино, если было на что.

— Франция...— сказала Наташа Петрова.— Боже, что с ней сделали немцы!

— Я здесь ни при чем. В это время я сидел во французском лагере для интернированных.

— Разумеется! Как враг.

— До этого я сидел в немецком концлагере. Тоже как враг.

— Не понимаю.

— Я тоже,— ответил я со злостью. И подумал: сегодня какой-то злосчастный день. Я попал в заколдованный круг и никак не вырвусь из него.— Хотите еще рюмку? — спросил я. Решительно, нам не о чем было разговаривать.

— Спасибо. Пожалуй, больше не надо. Я уже до этого довольно много выпила.

Я молчал. И чувствовал себя ужасно. Вокруг люди — один я какой-то неприкаянный.

— Вы здесь живете? — спросила Наташа Петрова.

— Да. Временно.

— Здесь все живут временно. Но многие застревают на всю жизнь.

— Может быть. Вы тоже здесь жили?

— Да. Но потом переехала. И иногда думаю, лучше бы я никогда не уезжала отсюда. И лучше бы я никогда не приезжала в Нью-Йорк.

Я так устал, что у меня больше не было сил задавать ей вопросы. Кроме того, я знал слишком много судеб, выдающихся и банальных. Любопытство притупилось. И меня совершенно не интересовал человек, который сокрушался из-за того, что приехал в Нью-Йорк. Этот человек принадлежал к иному миру, миру теней.

— Мне пора,— сказала Наташа Петрова, вставая.

На секунду меня охватило нечто вроде паники.

— Разве вы не подождете Меликова? Он должен прийти с минуты на минуту.

— Сомневаюсь. Пришел Феликс, который его заменяет.

Теперь и я увидел маленького лысого человечка. Он стоял у дверей и курил.

— Спасибо за водку,— сказала Наташа. Она взглянула на меня своими серыми прозрачными глазами. Странно, иногда нужна самая малость, чтобы человеку помогло. Достаточно поговорить с первым встречным — и все в порядке.

Наташа кивнула мне и двинулась прочь. Она была еще выше ростом, чем я предполагал. Каблуки ее стучали о деревянный пол громко и энергично, словно затаптывали что-то. Звук ее торопливых шагов странно не соответствовал гибкой и тонкой фигуре, слегка покачивавшейся на ходу.

Я закупорил бутылку и подошел к стоявшему у дверей Феликсу — напарнику Меликова.

— Как живете, Феликс? — спросил я.

— Помаленьку,— ответил он не очень дружелюбно и взглянул на улицу.— Как мне еще жить?

Я вдруг почувствовал, что ужасно завидую ему. Стоит себе и спокойно покуривает. Огонек его сигареты стал для меня символом уюта и благополучия.

— Спокойной ночи, Феликс,— сказал я.

— Спокойной ночи. Может, вам что-нибудь нужно? Воды? Сигарет?

— Не надо. Спасибо, Феликс.

Я открыл свой номер, и на меня, подобно огромному валу, накатило прошлое. Казалось, оно поджидало моего прихода за дверью. Я бросился на кровать и вперил взгляд в серый четырехугольник окна. Теперь я был совершенно беспомощен. Я видел множество лиц и не видел иных знакомых лиц. Я беззвучно взывал о мести, понимая, что все тщетно; хотел кого-то задушить, но не знал кого. Мне оставалось только ждать. А потом я заметил, что ладони мои намокли от слез.

V

Адвокат заставил меня просидеть в приемной битый час. Я решил, что это нарочно: видно, так он обрабатывал клиентов, чтобы сделать их более податливыми. Но моя податливость была ему ни к чему. Я коротал время, наблюдая за двумя посетителями, сидевшими, как и я, в приемной. Один из них жевал резинку, другой пытался пригласить секретаршу адвоката на чашку кофе в обеденный перерыв. Секретарша только посмеивалась. И правильно делала! У этого типа была вставная челюсть, а на коротком толстом мизинце с обгрызенным ногтем сверкало бриллиантовое кольцо. Напротив стола секретарши между двумя цветными гравюрами, изображавшими уличные сценки в Нью-Йорке, висела окантованная табличка с одним словом — «Think!»[1]. Этот лапидарный призыв мыслить я замечал уже не раз. В коридоре гостиницы «Ройбен» он красовался в весьма неподходящем месте — перед туалетом.

Самое яркое проявление пруссачества, какое мне до сих пор довелось увидеть в Америке!

Адвокат был широкоплечий мужчина с широким, плоским лицом. Он носил очки в золотой оправе. Голос у него был неожиданно высоким. Он это знал и старался говорить на более низких нотах и чуть ли не шепотом.

— Вы эмигрант? — прошептал он, не отрывая взгляда от рекомендательного письма, написанного, видимо, Бетти.

— Да.

— Еврей, конечно.

Я молчал. Он поднял глаза.

— Нет,— сказал я удивленно.— А что?

— С немцами, которые хотят жить в Америке, я дела не имею.

— Почему, собственно?

— Неужели я должен вам это объяснять?

— Можете не объяснять. Объясните лучше, почему вы заставили меня прождать целый час?

— Госпожа Штейн неправильно меня информировала.

— Я хочу задать вам встречный вопрос: а вы кто?

— Я — американец,— сказал адвокат громче, чем раньше, и потому более высоким голосом.— И не собираюсь хлопотать за нациста.

Я расхохотался.

---

[1] Думай! *(Англ.)*

— Для вас каждый немец обязательно нацист?

Его голос снова стал громче и выше:

— Во всяком случае, в каждом немце сидит потенциальный нацист.

Я снова расхохотался.

— Что? — спросил адвокат фальцетом.

Я показал на табличку со словом «Think!». Такая табличка висела и в кабинете адвоката, только здесь буквы были золотые.

— Скажем лучше так: в каждом немце и в каждом велосипедисте,— добавил я.— Вспомним старый анекдот, который рассказывали в девятнадцатом году в Германии. Когда кто-нибудь утверждал, будто евреи повинны в том, что Германия проиграла войну, собеседник говорил: «И велосипедисты тоже». А если его спрашивали: «Почему велосипедисты?» — он отвечал вопросом на вопрос: «А почему евреи?» Но это было в девятнадцатом. Тогда в Германии еще разрешалось думать, хотя это уже грозило неприятностями.

Я ждал, что адвокат выгонит меня, но на его лице расплылась широкая улыбка, и оно стало еще шире.

— Недурственно,— сказал он довольно низким голосом.— Я не слышал этого анекдота.

— Анекдот с бородой,— сказал я.— Сейчас в Германии больше не шутят, сейчас там только стреляют.

Адвокат снова стал серьезным.

— У меня слабость к анекдотам,— сказал он.— Тем не менее я стою на своем.

— И я тоже.

— Чем вы докажете свою правоту?

Я встал. Дурацкое жонглирование словами мне надоело. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.

Но тут адвокат с широким лицом вдруг сказал:

— Найдется у вас тысяча долларов?

— Нет,— ответил я резко.— У меня не найдется и сотни.

Он дал мне дойти почти до самой двери и только тогда спросил:

— Чем же вы собираетесь платить?

— Мне хотят помочь друзья, но я готов снова попасть в лагерь для интернированных, лишь бы не просить у них такой суммы.

— Вы уже сидели в лагере?

— Да,— сказал я сердито.— И в Германии тоже, но там они называются иначе.

Я уже ждал разъяснений этого горе-умника насчет того, что в немецких концлагерях сидят-де и уголовники, и профессиональные преступники. Что было, кстати, верно. Вот когда я перестал бы сдерживаться. Но на сей раз я не угадал. За спиной адвоката что-то тихонько скрипнуло, а потом раздалось грустное «ку-ку, ку-ку». Кукушка прокуковала двенадцать раз. Это были часы из Шварцвальда. Таких я не слышал с детства.

— Какая прелесть! — воскликнул я иронически.

— Подарок жене,— сказал адвокат слегка смущенно.— Свадебный подарок.

Я с трудом удержался, чтобы не спросить, не сидит ли в этих часах потенциальный нацист. Мне показалось, что в кукушке я вдруг обрел неожиданного союзника. Адвокат почти ласково сказал:

— Я сделаю для вас все, что смогу. Позвоните мне послезавтра утром.

— А как же с гонораром?

— Насчет этого я переговорю с госпожой Штейн.

— Я предпочел бы знать заранее.

— Пятьсот долларов,— сказал он.— В рассрочку, если хотите.

— Думаете, вам удастся мне помочь?

— Продлить визу мы во всяком случае сумеем. Потом придется опять ходатайствовать.

— Спасибо,— сказал я.— Позвоню вам послезавтра... Ну и фокусник! — не удержался я, спускаясь в тесном лифте этого узкогрудого дома. Моя попутчица бросила на меня испепеляющий взгляд: она была в шляпке в виде ласточкиного гнезда, и когда кабина остановилась, со щек у нее посыпалась пудра. Я стоял, не глядя на даму, изобразив на лице полнейшее равнодушие. Мне уже говорили, что женщины в Америке чуть что зовут полицейского. «Think!» — было написано в лифте на дощечке красного дерева; дощечка висела над гневно покачивавшимися желтыми кудряшками дамы и над неподвижным гнездом с выводком ласточек.

В кабинах лифта я всегда начинаю нервничать. В них нет запасного выхода, и убежать из кабины трудно.

В молодости я любил одиночество. Но годы преследований и скитаний приучили меня бояться его. И не только потому, что оно ведет к размышлениям и тем самым нагоняет тоску. Одиночество опасно! Человек, который постоянно скрывается, предпочитает быть на людях. Толпа делает его безымянным. Он перестает привлекать к себе внимание.

Я вышел на улицу. И мне показалось, что тысячи безымянных друзей приняли меня в свой круг. Улица была распахнута настежь, и на каждом шагу я различал входы и выходы, закоулки и проулки. А главное, на улице была толпа, в которой можно было затеряться.

— Сами того не желая, мы волей-неволей переняли мышление и логику преступников,— сказал я, обедая с Каном в дешевом кафе.— Вы, может быть, меньше, чем другие. Ведь вы наступали, отвечали ударом на удар. А мы только и делали, что подставляли спину. Как вы считаете, это пройдет?

— Страх перед полицией — навряд ли. Он вполне закономерен. Все порядочные люди боятся полиции. Страх этот коренится в недостатках нашего общественного строя. А другие страхи... Это зависит от нас самих. И скорее всего, страхи пройдут именно здесь. Америка создана эмигрантами. И каждый год тысячи людей получают здесь гражданство.— Кан засмеялся.— Ну и нравы в Америке! Достаточно ответить утвердительно на два вопроса, чтобы прослыть хорошим парнем... «Любите ли вы Америку?» — «Да, это самая замечательная страна на свете».— «Хотите ли вы стать американцем?» — «Да, конечно, хочу!» И вот вас уже хлопают по плечу и объявляют своим в доску.

Я вспомнил адвоката, от которого только что вернулся.

— Не скажите. И в Америке бывают свои кукушки!

— Что? — удивился Кан.

Я рассказал ему о заключительном эпизоде моей встречи с адвокатом.

— Этот тип обращался со мной как с прокаженным,— сказал я.

Кан не на шутку развеселился.

— Ай да кукушка! — смеялся он.— Но ведь адвокат потребовал с вас всего пятьсот долларов. Таким способом он принес свои извинения! А как вам нравится пицца?

— Очень нравится. Не хуже, чем в Италии.

— Лучше, чем в Италии. Нью-Йорк — итальянский город. Кроме того, он испанский город, еврейский, венгерский, китайский, африканский и исто немецкий.

— Немецкий?

— Вот именно! Попробуйте сходить на Восемьдесят шестую улицу; там полным-полно пивных погребков «Гейдельберг», закусочных «Гинденбург», нацистов, немецко-американских клубов, гимнастических обществ и певческих ферейнов, исполняющих кантату «Ура герою в ла́вровом венце». И в каждом кафе есть столики для постоянных посетителей с черно-бело-красными флажками. Не подумайте худого! Не с черно-красно-золотыми, а именно с черно-бело-красными [1].

— Без свастики?

— Свастику на всеобщее обозрение не выставляют. В остальном американские немцы часто хуже тамошних. Живя вдали от Германии, они видят обожаемую родину-мать сквозь сентиментальный розовый флер, хотя в свое время покинули ее, потому что она обернулась для них злой мачехой,— сказал Кан насмешливо.— Советую вам послушать, как на этой улице разглагольствуют о патриотизме, пиве, рейнских мелодиях и чувствительности фюрера.

Я взглянул на него.

— Что случилось? — спросил Кан.

— Ничего,— с трудом произнес я.— И все это здесь существует?

— Американцам на все наплевать. Они не принимают такие штуки всерьез. Несмотря на войну.

— Несмотря на войну,— повторил я.

Слово «война» здесь просто не звучало. Эта страна была отделена от своих войн океаном и половиной земного шара. Ее границы нигде не соприкасались с границами вражеских государств. Эту страну не бомбили. И не обстреливали.

— Войны заключаются в том, что армии переходят через границы и вступают на территории соседних стран, на территории врага. Где эти границы? В Японии и в Германии? Война кажется здесь ненастоящей. Ты видишь солдат, но не видишь раненых. Наверное, они остаются там. Или, может, их вообще у американцев не бывает?

— Бывают. И убитые тоже.

— Все равно это ненастоящая война.

— Настоящая! Самая настоящая!

Я посмотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.

— Ну, что скажете: город все тот же? Он не изменился после того, как вы сильно продвинулись в английском?

— Как сказать! В первые дни он был для меня картиной или пантомимой. Теперь обрел реальность: в нем обозначились выпуклости и впадины. Город заговорил, и кое-что я уже улавливаю. Но не так много. Это еще усугубляет ощущение нереальности. Раньше каждый таксист казался мне сфинксом, а продавец газет — мировой загадкой. По сию пору я вижу в каждом официанте маленького Эйнштейна. Правда, этого Эйнштейна я понимаю. Если, конечно, он не рассуждает в данный момент о физике и математике. Но волшебство сохраняется только до тех пор, пока тебе ничего не надо. Когда тебе что-нибудь требуется, сразу возникают трудности. Очнувшись от своих философских грез, я скатываюсь до уровня школьника, отставшего от своих сверстников.

Кан заказал двойную порцию мороженого.

— Pistachio and lime [2],— крикнул он вдогонку официантке. Мороженое Кан заказывал уже во второй раз.— В Америке есть семьдесят

[1] Черно-бело-красный флаг — флаг кайзеровской Германии, а черно-красно-золотой — флаг Веймарской республики.

[2] Фисташковое и лимонное *(англ.)*.

два сорта мороженого,— сообщил он с мечтательным выражением лица.— Конечно, не в этой закусочной, а в больших кафе Джонсона и в аптеках. Приблизительно сорок сортов я уже перепробовал. Эта страна — рай для любителей мороженого. Мне повезло! Я просто одержимый пожиратель мороженого! Между прочим, это разумное государство посылает своим солдатам, которые сражаются против японцев возле каких-то коралловых рифов, корабли, набитые мороженым и бифштексами.

Кан поглядел на официантку так, словно она несла в руках чашу святого Грааля.

— Фисташкового мороженого у нас нет,— сказала официантка.— Я принесла вам мятное и лимонное. О'кей?

— О'кей.

Официантка улыбнулась.

— Какие здесь аппетитные женщины,— сказал Кан,— аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого, вместе взятые. Треть своих доходов они тратят на косметику. Кстати, иначе их не возьмут на работу. Пошлые законы человеческого естества не принимают здесь в расчет. Все обязаны быть молодыми. А если молодость ушла, ее возвращают искусственным путем. Внесите это наблюдение в вашу главу о нереальном мире.

Голос Кана успокаивал. Беседа журчала как ручеек.

— Вы, конечно, знаете «Après-midi d'un Fawne»[1],— сказал Кан.— Переиначив Дебюсси, можно сказать, что здесь вкушают «послеполуденный отдых» любители мороженого. Для нас такой отдых — целительный бальзам. Он излечивает больную душу. Правильно?

— В антикварной лавке мне приходится переживать нечто другое: «послеполуденный отдых» китайского мандарина незадолго до того, как его обезглавят.

— Проводите лучше свои послеполуденные часы с какой-нибудь американочкой. Вы поймете ровно половину того, что она будет лепетать, и, не напрягая особенно воображения, вернетесь в золотые дни своей бестолковой юности. Все, что человек не понимает, окутано для него тайной. Ваш житейский опыт не рассеет этих чар, вас спасет недостаточное знание языка. Глядишь, и вам удастся претворить в жизнь одну из человеческих фантазий, так сказать, малого формата — еще раз пережить былое, уже обладая мудростью зрелого человека и вновь возвращенной восторженностью юности.— Кан засмеялся.— Не упускайте случая! Каждый день вы что-нибудь да теряете. Чем больше знакомых слов, тем меньше очарования. Еще сейчас любая здешняя женщина для вас заморское диво, экзотическое и загадочное. Но с каждым новым словом, которое вы заучиваете, диво приобретает все более зримые черты домохозяйки, ведьмы или красавицы с конфетной коробки. Храните, как лучший дар судьбы, свой нынешний возраст, оставайтесь подольше десятилетним школьником. К сожалению, вы быстро состаритесь — уже через год вам стукнет тридцать четыре.— Взглянув на часы, Кан подозвал официантку в фартуке с голубыми полосками.— Последнюю порцию! Ванильного.

— У нас есть еще миндальное.

— Тогда и миндального. И один шарик малинового! — Кан посмотрел на меня.— Я тоже осуществляю мечту своей юности. Только еще более примитивную. Заказываю столько мороженого, сколько душе угодно. Здесь я впервые в жизни имею эту возможность. Для меня она — символ свободы и беззаботности. А это, как известно, понятия,

[1] «Послеполуденный отдых фавна» *(франц.)* — произведение французского композитора Дебюсси.

в которые мы там, за океаном, уже перестали верить. В какой форме мы здесь обрели и то и другое, это уже не важно.

Прищурившись, я смотрел на пыльную улицу, на сплошной поток автомобилей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в один монотонный гул, который усыплял меня.

— А пока? Что бы вы хотели делать? — спросил Кан, помолчав немного.

— Ни о чем не думать,— сказал я.— И как можно дольше.

Лоу-старший спустился ко мне в подвал, который шел под улицей. Он держал в руках бронзовую скульптуру.

— Как вы считаете — что это?

— А чем это должно быть?

— Бронзой эпохи Чжоу. Или даже Тан. Патина выглядит неплохо. Правда?

— Вы купили эту скульптуру?

Лоу ухмыльнулся.

— Без вас не стал бы. Мне ее принес один человек. Он ждет наверху в лавке. Просит за нее сто долларов. Отдаст, стало быть, за восемьдесят. По-моему, дешево.

— Слишком дешево,— сказал я, рассматривая скульптуру.— Этот человек — перекупщик?

— Не похоже. Молодой парень, уверяет, что получил скульптуру в наследство, а теперь нуждается в деньгах. Она — настоящая?

— Да, это китайская бронза. Но не эпохи Чжоу или Тан. Скорее, периода Тан или еще более позднего — Сун или Мин. Копия эпохи Мин, подражание более древней скульптуре. Причем подражали не так уж тщательно. Маски Дао-дзы выполнены не точно, да и спирали сюда не подходят — они получили распространение лишь после династии Хань. И в то же время декор — копия декора эпохи Тан, сжатый, простой и сильный. Однако, если бы изображение россомахи и основной орнамент относились к тому же периоду, они были бы значительно яснее и четче. Кроме того, в орнаменте попадаются сравнительно мелкие завитушки, которых на настоящей древней бронзе не встретишь.

— А как же патина? Она ведь очень красивая!

— Господин Лоу,— сказал я.— Можете не сомневаться, это довольно древняя патина. Но на ней не видно малахитовых прожилок. Вспомните, что китайцы уже в эпоху Хань копировали и закапывали в землю скульптуры эпохи Чжоу. Патина у них всегда была отменная, хотя сама вещь не обязательно создавалась в эпоху Чжоу.

— Какая цена этой бронзе?

— Долларов двадцать-тридцать. Но в таких вещах вы понимаете лучше, чем я.

— Хотите подняться со мной? — спросил Лоу; в голубых глазах его появился кровожадный блеск.

— Мне обязательно идти?

— Разве вам это не доставит удовольствия?

— Что именно? Вывести на чистую воду мелкого мошенника? Зачем? К тому же я не думаю, что он мошенник. Кто в наше время разбирается в древней китайской бронзе?

Лоу бросил на меня быстрый взгляд.

— Ну, ну! Прошу без намеков, господин Росс.

Размахивая руками, толстяк затопал по лестнице в лавку,— он был маленького роста, кривоногий и очень энергичный. Лестница подраги-

вала под его шагами, со ступенек летела пыль. Какое-то время я видел только развевающиеся брючины и ботинки: туловище моего хозяина уже было в лавке. В это мгновение мне показалось, что передо мной не Лоу-старший, а круп театральной лошадки.

Через несколько минут ноги появились снова. А потом я узрел и бронзовую скульптуру.

— Купил! — сообщил мне Лоу.— Купил за двадцать долларов. Мин в конце концов тоже не так плохо.

— Безусловно,— согласился я.

Я знал, что Лоу купил эту бронзу только из желания показать, что и он кое-что смыслит в своем деле. Пусть не в китайском искусстве, зато в купле-продаже. Теперь толстяк внимательно наблюдал за мной.

— Долго вы еще собираетесь здесь работать? — спросил он.

— Всего?

— Да.

— Это зависит от вас. Хотите, чтобы я сматывал удочки?

— Нет, нет. Но держать вас вечно мы тоже не можем. Вы ведь скоро кончите? Чем вы занимались раньше?

— Журналистикой.

— Разве нельзя к этому вернуться?

— С моим знанием английского?

— Вы уже совсем неплохо болтаете по-английски.

— Помилуй бог, господин Лоу! Я не могу написать простого письма без ошибок.

Лоу задумчиво почесал лысину бронзовой фигуркой. Если бы бронза была эпохи Чжоу, он, наверное, обращался бы с нею более почтительно.

— А в живописи вы тоже смыслите?

— Самую малость. Так же, как в бронзе.

Он усмехнулся.

— Лучше, чем ничего. Придется мне пораскинуть мозгами. Может быть, кто-нибудь из моих коллег нуждается в помощнике. Правда, в делах сейчас застой. Вы это сами видите по нашей лавке. Но с картинами ситуация несколько иная. В особенности с импрессионистами. А уж старые полотна сейчас совершенно обесценены. Словом, посмотрим.

Лоу снова грузно затопал по лестнице.

До свидания, подвал, сказал я мысленно. Некоторое время ты был для меня второй родиной, темным прибежищем. Прощайте, позолоченные лампы конца девятнадцатого века, прощайте, пестрые вышивки 1890 года и мебель эпохи короля-буржуа Луи Филиппа, прощайте, персидские вазы и легконогие китайские танцовщицы из гробниц династии Тан, прощайте, терракотовые кони и все другие безмолвные свидетели давно отшумевших цивилизаций. Я полюбил вас всем сердцем и провел в вашем обществе мое второе американское отрочество — от десяти лет до пятнадцати! Ahoi u evoe! Представляя против воли одно из самых поганых столетий, я и приветствую вас! И при этом чувствую себя запоздавшим и безоружным гладиатором, который попал на арену, где кишмя кишат гиены и шакалы и почти нет львов. Я приветствую вас как человек, который намерен радоваться жизни до тех пор, пока его не сожрут.

Я раскланялся на все четыре стороны. И благословил антикварную рухлядь справа и слева от меня, а потом взглянул на часы. Мой рабочий день кончился. Над крышами домов алел закат, и редкие световые рекламы уже начали излучать мертвенное сияние. А из закусочных и ресторанов по-домашнему запахло жиром и луком.

— Что здесь такое стряслось? — спросил я Меликова, придя в гостиницу.

— Рауль решил покончить с собой.

— С каких это пор?

— С середины сегодняшнего дня. Он потерял Кики, который вот уже четыре года был его другом.

— В этой гостинице без конца плачут,— сказал я, прислушиваясь к сдерживаемым рыданиям в плюшевом холле, которые доносились из угла, где стояли кадки с растениями.— И почему-то обязательно под пальмами.

— В каждой гостинице много плачут,— пояснил Меликов.

— В отеле «Ритц» тоже?

— В отеле «Ритц» плачут, когда на бирже падает курс акций. А у нас, когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя до сих пор не хотел этому верить.

— Кики попал под машину?

— Хуже. Обручился. Для Рауля — это трагедия. Женщина! Исконный враг! Предательство! Оскорбление самых святых чувств! Лучше б он умер.

— Бедняги гомосексуалисты! Им приходится сражаться сразу на двух фронтах. Против мужчин и против женщин.

Меликов ухмыльнулся.

— До твоего прихода Рауль обронил немало ценных замечаний насчет слабого пола. Самое неизощренное из них звучало так: отвратительные тюлени с ободранной кожей... Хорошо, что ты пришел. Надо водворить его в номер. Здесь внизу ему не место. Помоги мне. Этот парень весит сто кило.

Мы подошли к уголку с пальмами.

— Он вернется, Рауль,— прошептал Меликов.

Мы тщетно пытались оторвать Рауля от стула. Он уперся о мраморный столик и продолжал хныкать. Меликов снова начал взывать к нему. После долгих усилий нам удалось, наконец, приподнять его. Но тут он наступил мне на ногу. Стокилограммовая туша!

— Осторожней! Чертова баба! — заорал я.

— Что?

— То самое! Нечего распускать нюни! Старая баба!

— Я — старая баба? — возмутился Рауль. От неожиданности он несколько пришел в себя.

— Господин Росс хотел сказать совсем не то,— успокаивал его Меликов.

— И вовсе нет. Я хотел сказать именно то.

Рауль провел ладонью по глазам.

Мы смотрели на него, ожидая, что он сейчас истерически завизжит. Но он заговорил очень тихо.

— Я — баба? — Видно было, что он смертельно оскорблен.

— Этого он не говорил,— соврал Меликов.— Он сказал — как баба.

Мы без особого труда довели его до лестницы.

— Несколько часов сна,— заклинал Меликов.— Одна или две таблетки секонала. Освежающий сон. А после — чашка крепкого кофе. И вы увидите все в ином свете.

Рауль не отвечал.

— Почему вы нянчитесь с этим жирным кретином? — спросил я.

— Он наш лучший постоялец. Снимает двухкомнатный номер с ванной.

VI

Я бесцельно бродил по улицам, боясь возвращаться в гостиницу. Ночью я видел страшный сон и пробудился от собственного крика. Мне и прежде часто снилось, что за мной гонится полиция. Или же меня мучили кошмары, которые мучили всех эмигрантов: я вдруг оказывался по ту сторону немецкой границы и попадал в лапы эсэсовцев. Это были сны, вызванные отчаянием: шутка ли, из-за собственной глупости оказаться в Германии. Ты просыпался с криком, но потом, осознав, что по-прежнему находишься в Нью-Йорке, выглядывал в окно, видел ночное небо в красных отсветах и снова осторожно вытягивался на постели: да, ты спасен! Однако сон, который я видел сегодня ночью, был иной — расплывчатый, навязчивый, темный, липкий, как смола, и нескончаемый... Незнакомая женщина, растерянная и бледная, беззвучно взывала о помощи, но я не мог ей помочь. И она медленно погружалась в вязкую трясину, в кашу из дегтя, грязи и запекшейся крови,— погружалась, обратив ко мне окаменевшее лицо. Я видел немую мольбу в ее испуганных белых глазах, видел черный провал рта, к которому подползала темная липкая жижа. А потом вдруг появились «коммандос». Я увидел вспышки выстрелов, услышал пронзительный голос с саксонским акцентом, увидел мундиры, почуял ужасный запах смерти, тления и огня, увидел печь с распахнутыми дверцами, где полыхало яркое пламя, увидел растерзанного человека, который еще двигался, вернее, шевелил рукой, всего лишь одним пальцем; увидел, как палец этот очень медленно согнулся и как другой человек растоптал его. И тут же раздался чей-то вопль, вопли обрушились на меня со всех сторон, отдаваясь гулким эхом...

Я остановился у витрины, но не замечал ничего вокруг. Только спустя некоторое время я понял, что стою на Пятой авеню перед ювелирным магазином «Ван Клееф и Арпельс». В непонятном страхе я убежал из лавки братьев Лоу, ибо подвал антикваров напомнил мне сегодня в первый раз тюремную камеру. Я инстинктивно искал общества людей, хотел очутиться на широких улицах. Так я попал на Пятую авеню.

Теперь я не отрывал взгляда от диадемы, некогда принадлежавшей французской императрице Евгении. При электрическом свете бриллиантовые цветы диадемы, покоившейся на черном бархате, ослепительно сверкали. По одну сторону от нее лежал браслет из рубинов, изумрудов и сапфиров, по другую — кольца и солитеры.

— Что бы ты выбрала из этой витрины? — спросила девица в красном костюме свою спутницу.

— Сейчас самое модное — жемчуг. В свете носят только жемчуг.

— Искусственный или настоящий?

— И тот и другой. Черное платье с жемчугом. Только это считается шиком в высшем обществе.

— По-твоему, Евгения не принадлежала к высшему обществу?

— Когда это было!

— Все равно, от этого браслета я не отказалась бы,— сказала девица в красном.

— Чересчур пестро,— отрезала ее спутница.

Я двинулся дальше. Время от времени я останавливался у табачных лавок, у обувных магазинов и магазинов фарфора или у гигантских витрин модных портных, перед которыми толпа зевак пожирала глазами каскады шелка, переливавшегося всеми цветами радуги. Я смешивался с толпой зевак и сам пожирал глазами витрины, жадно прислушиваясь и ловя обрывки фраз, как рыба, выброшенная из воды, ловит ртом воздух. Я проходил сквозь эту вечернюю сумятицу жизни, желая слиться с людским потоком, но поток не принимал меня. Куда бы я ни

шел, меня сопровождала белесая тень, подобно тому, как Ореста сопровождало далекое завывание фурий.

Сперва я хотел разыскать Кана, но потом раздумал. Я не желал видеть никого, кто напоминал бы мне прошлое. Даже Меликова.

Избавиться от сегодняшнего ночного кошмара было трудно. Обычно при дневном свете сны выцветали и рассеивались, через несколько часов от них оставалось лишь слабое, похожее на облачко воспоминание, с каждой минутой оно бледнело, а потом и вовсе исчезало. Но этот сон, хоть убей, не пропадал. Я отгонял его, он не уходил. Оставалось ощущение угрозы, мрачной, готовой вот-вот сбыться.

В Европе я редко видел сны. Я был поглощен одним желанием — выжить. Здесь же я почувствовал себя спасенным. Между мной и прошлой жизнью пролег океан, необъятная стихия. И во мне пробудилась надежда, что затемненный пароход, который словно призрак пробрался между подводными лодками, навсегда ускользнул от теней прошлого. Теперь я знал, что тени шли за мной по пятам, они заползали туда, где я не мог с ними справиться, заползали в мои сны, в мое подсознание, громоздившее каждую ночь причудливые миры, которые каждое утро рушились. Но сегодня эти призрачные миры не хотели исчезать, они окутывали меня, подобно липкому мокрому дыму — от этого дыма мурашки бегали у меня по спине,— подобно отвратительному, сладковатому дыму. Дыму крематориев.

Я оглянулся: за мной никто не наблюдал. Вечер был такой безмятежный. Казалось, покой клубится между каменными громадами зданий, на фасадах которых поблескивают тысячи глаз — тысячи освещенных окон. Золотистые ряды витрин, высотой в два-три этажа, ломились от ваз, картин и мехов, от старинной полированной мебели шоколадного цвета, освещенной лампами под шелковыми абажурами. Вся эта улица буквально лоснилась от чудовищного мещанского самодовольства. Она напоминала книжку для малышей с пестрыми картинками, которую перелистывал добродушный бог расточительства, приговаривая при этом: «Хватайте! Хватайте! Достанет на всех!»

Мир и покой! На этой улице в этот вечерний час вновь пробуждались иллюзии, увядшая любовь расцветала опять, и всходы надежд зеленели под благодатным ливнем лжи во спасение. То был час, когда поднимала голову мания величия, расцветали желания и умолкал голос самоуничижения, час, когда генералы и политики не только понимали, но на краткий миг чувствовали, что и они тоже люди и не будут жить вечно.

Как я жаждал породниться с этой страной, которая раскрашивала своих мертвецов, обожествляла молодость и посылала солдат умирать за тридевять земель в незнакомые страны, послушно умирать за дело, неведомое им самим.

Почему я не мог стать таким же, как американцы? Почему принадлежал к племени людей, лишенных родины, спотыкавшихся на каждом английском слове? Людей, которые с громко бьющимся сердцем подымались по бесчисленным лестницам или взлетали вверх в бесчисленных лифтах, чтобы потом брести из комнаты в комнату,— племени людей, которых в этой стране терпели не любя и которые полюбили эту страну только за то, что она их терпела?

Я стоял перед табачной лавкой фирмы «Данхилл». Трубки из коричневого дерева с «пламенем» матово блестели своими гладкими боками — они казались символами респектабельности и надежности, они обещали изысканные радости, спокойные вечера, заполненные приятной беседой, и ночи в спальной, где от мужских волос пахнет медом, ромом и дорогим табаком и где из ванной доносится тихая возня не слишком тощей хозяйки, приготовляющейся к ночи в широкой постели.

Как все это не похоже на сигареты там, в Европе, сигареты, которые докуривают почти до конца, а потом торопливо гасят; как это не похоже на дешевые сигареты «Голуаз», пахнущие не уютом и довольством, а только страхом.

Я становлюсь омерзительно сентиментальным, подумал я. Просто смешно! Неужели я стал одним из бесчисленных Агасферов и тоскую по теплой печке и вышитым домашним туфлям? По затхлому мещанскому благополучию и привычной скуке обывательского житья?

Я решительно повернулся и пошел прочь от магазинов Пятой авеню. Теперь я шел на запад и, миновав сквер, отданный во власть подонкам и дешевым театришкам бурлеска, вышел на улицы, где люди молча сидели у дверей своих домов на высоких крылечках, а детишки копошились между узкими коробками домов из бурого камня, похожие на грязных белых мотыльков. Взрослые показались мне усталыми, но не слишком озабоченными, если можно было доверять защитному покрову темноты.

Мне нужна женщина, думал я, приближаясь к гостинице «Ройбен». Женщина! Глупая, хохочущая самка с крашеными желтыми волосами и покачивающимися бедрами. Женщина, которая ничего не понимает и не задает никаких вопросов, кроме одного, достаточно ли у тебя при себе денег. И еще я хочу бутылку калифорнийского бургундского и, пожалуй, немного дешевого рома, чтобы смешать его с бургундским. Эту ночь я должен провести у женщины, ибо мне нельзя возвращаться в гостиницу. Нельзя возвращаться в гостиницу. В эту ночь никак нельзя.

Но где найти такую женщину? Такую девку? Шлюху? Нью-Йорк — не Париж. Я уже по опыту знал, что нью-йоркская полиция придерживается пуританских правил, когда дело касается бедняков. Шлюхи не разгуливают здесь по улицам, и у них нет опознавательных знаков — зонтиков и сумок необъятных размеров. Есть, конечно, номера телефонов, но для этого нужно время и знание этих номеров.

— Добрый вечер, Феликс,— сказал я.— Разве Меликов еще не пришел?

— Сегодня суббота,— ответил Феликс.— Мое дежурство.

Правильно. Сегодня суббота. Я совсем об этом забыл. Мне предстояло длинное, унылое воскресенье, и внезапно на меня напал страх.

В номере у меня еще оставалось немного водки и, кажется, несколько таблеток снотворного. Невольно я подумал о толстом Рауле. А ведь только вчера я насмехался над ним. Теперь и я чувствовал себя бесконечно одиноким.

— Мисс Петрова тоже спрашивала Меликова,— сказал Феликс.

— Она уже ушла?

— Нет, по-моему. Хотела подождать еще несколько минут.

Наташа Петрова шла мне навстречу по тускло освещенному плюшевому холлу.

Надеюсь, она не будет сегодня плакать, подумал я и снова удивился тому, какая она высокая.

— Вы опять торопитесь к фотографу? — спросил я.

Она кивнула.

— Хотела выпить рюмку водки, но Владимира Ивановича сегодня нет. Совсем забыла, что у него свободный вечер.

— У меня тоже есть водка,— сказал я поспешно,— могу принести.

— Не трудитесь. У фотографа сколько угодно выпивки. Просто я хотела немного посидеть здесь.

— Все равно сейчас принесу. Это займет не больше минуты.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь. Бутылка поблескивала на подоконнике. Не глядя по сторонам, я взял ее и прихватил два стакана.

В дверях я обернулся. Ничего — ни теней, ни призраков. Недовольный собою, я покачал головой и пошел вниз.

Наташа Петрова показалась мне на этот раз не такой, какой я ее представлял. Менее истеричной и более похожей на американку. Но вот раздался ее хрипловатый голос, и я услышал, что она говорит с легким акцентом. Не с русским, а скорее с французским,— насколько я мог об этом судить. На голове у нее был сиреневый шелковый платок, небрежно повязанный в виде тюрбана.

— Чтобы не испортить прическу,— пояснила Наташа.— Сегодня мы снимаемся в вечерних туалетах.

— Вам нравится здесь сидеть?— спросил я.

— Я вообще люблю сидеть в гостиницах. В гостиницах не бывает скучно. Люди приходят и уходят. Здороваются и прощаются. Это и есть лучшие минуты в жизни.

— Вы так считаете?

— Наименее скучные, во всяком случае. А все, что между ними...— Она нетерпеливо махнула рукой.— Правда, большие гостиницы безлики. Там человек слишком тщательно скрывает свои эмоции. Тебе кажется, что в воздухе пахнет приключениями, но приобщиться к ним невозможно.

— А здесь можно?

— Скорее. Здесь люди распускаются. Я, между прочим, тоже. Кроме того, мне нравится Владимир Иванович. Он похож на русского.

— Разве он не русский?

— Нет, он чех. Правда, деревня, из которой он родом, раньше принадлежала России, но после девятнадцатого года она стала чешской. Потом ее оккупировали нацисты. Похоже, что скоро она опять станет русской или чехословацкой... Навряд ли ее заберут американцы.— Засмеявшись, Наташа встала.— Мне пора.— Секунду она колебалась, потом предложила:— Почему бы вам не пойти со мной? Вы с кем-нибудь условились на вечер?

— Ни с кем не уславливался, но боюсь, что фотограф меня выгонит.

— Никки? Странная мысль. У него всегда масса народа. Одним человеком больше или меньше — какая разница! Все это немножко богема!

Я догадался, почему она пригласила меня к фотографу: чтобы сгладить неловкость, возникшую в первые минуты знакомства. Собственно, мне не очень хотелось идти с нею. Что мне там делать? Но сегодня вечером я был рад любому приглашению, лишь бы не сидеть в гостинице. В отличие от Наташи Петровой я не ждал приключения. А в эту ночь и подавно.

— Поедем на такси? — спросил я в дверях.

Наташа расхохоталась.

— Постояльцы гостиницы «Ройбен» не берут такси. Это я хорошо усвоила. Кроме того, нам совсем недалеко. А вечер просто чудесный. Ночи в Нью-Йорке! Нет, я не создана для сельской идиллии. А вы?

— Право, не знаю.

— Вы никогда об этом не думали?

— Никогда,— признался я.— Да и когда мне было об этом думать? Непозволительная роскошь! Приходилось радоваться, что ты вообще жив.

— Стало быть, у вас еще многое впереди,— сказала Наташа Петрова. Она шла против потока пешеходов, похожая на узкую, легкую яхту, и ее профиль под сиреневым тюрбаном напоминал профиль фигуры на носу старинного корабля, фигуры, которая спокойно возвышается над водой, обрызганная пеной и устремленная в неведомое. Наташа шла быстро, резким шагом, как будто ей узка юбка. Она не семенила и

дышала всей грудью. Я подумал, что в первый раз за все свое пребывание в Америке иду вдвоем с женщиной. И чувствую это!

Ее встретили как любимое дитя, которое где-то долго пропадало. В огромном голом помещении, освещенном софитами и уставленном белыми ширмами, разгуливало человек десять. Фотограф и еще двое каких-то типов обняли и расцеловали Наташу; еле тлевшая болтовня быстро разгорелась. Меня тут же представили. Одновременно кто-то разносил водку, виски и сигареты. А потом я вдруг оказался сидящим в кресле несколько в стороне от остальной публики: обо мне забыли.

Но я не горевал. Я увидел то, чего еще никогда не видел. Здесь распаковывали огромные картонки с платьями, несли их за занавес, а потом опять выносили. Все с жаром спорили о том, что следует снимать в первую очередь. Кроме Наташи Петровой в ателье были еще две манекенщицы: блондинка и брюнетка в серебряных туфельках на высоких каблуках. Они были очень красивы.

— Сперва пальто!— заявила энергичная дама.

— Нет, сперва вечерние туалеты,— запротестовал фотограф, худощавый светловолосый человек с золотой цепочкой на запястье.— Иначе они сомнутся.

— Их вовсе не обязательно надевать под пальто. А пальто надо вернуть как можно скорее. В первую очередь — меховые манто, фирма ждет их.

— Ладно! Начнем с мехов.

И все заспорили снова, как надо фотографировать меха. Я прислушивался к спору, но ничего не мог разобрать. Веселое оживление и тот пыл, с каким каждый приводил свои доводы, делало все это похожим на сцену из какого-то спектакля. Чем не «Сон в летнюю ночь»! Или какая-нибудь музыкальная комедия в стиле рококо,— например, «Кавалер роз». Или фарс Нестроя! Правда, сами участники представления воспринимали свои действия всерьез и горячились не на шутку. Но от этого все происходящее еще больше напоминало пантомиму и казалось совершенно нереальным. Ей-богу, каждую секунду в комнату под звуки рога мог вбежать Оберон!

Но вот свет софитов направили на белую ширму, к которой подтащили гигантскую вазу с искусственными цветами — дельфиниумами. Одна из манекенщиц в серебряных туфельках на высоких каблуках вышла в бежевой меховой накидке. Директриса модного ателье бросилась одергивать и разглаживать накидку; два софита, которые находились чуть ниже других, тоже вспыхнули, и манекенщица замерла на месте, словно ее взяли на мушку.

— Хорошо! — воскликнул Никки.— Еще раз, darling [1].

Я откинулся на спинку кресла. Да, хорошо, что я пришел сюда. Лучшего нельзя было и придумать.

— А теперь Наташа,— произнес чей-то голос.— Наташа в шубке из каракульчи.

Наташа появилась совершенно неожиданно. Тоненькая женская фигурка, закутанная в черный блестящий мех, уверенно стояла на фоне белой ширмы. На голове у нее было нечто вроде берета из того же самого легкого и блестящего меха.

— Отлично!— возопил Никки.— Стой как стоишь!— Он отогнал директрису, которая хотела что-то поправить.— Потом мы сделаем еще несколько снимков. А на этот раз не надо придуманных поз.

Боковые софиты устремились на маленькое узкое лицо, глаза Ната-

[1] Дорогая *(англ.)*.

ши были сейчас прозрачно-голубые; при сильном свете, лившемся со всех сторон, они сверкали, подобно звездам.

— Снимаю!— крикнул Никки.

Наташа Петрова не замирала на месте, как обе ее товарки. Она просто стояла, не шевелясь, будто это было для нее вполне естественное состояние.

— Хорошо!— похвалил Никки.— А теперь распахни пальто.

Наташа развела полы шубки, словно крылья бабочки. Минуту назад пальто казалось очень узким, на самом деле оно было с огромным запахом. Я увидел белую подкладку в большую серую клетку.

— Держи полы,— крикнул Никки,— разведи их, пошире. Ты похожа на бабочку «Павлиний глаз». Молодец!

— Как вам здесь нравится?— спросил меня кто-то.

Это был бледный черноволосый мужчина со странно блестящими, темными, как вишни, глазами.

— Ужасно нравится,— ответил я чистосердечно.

— Конечно, сейчас мы не располагаем моделями от Балансиаги и от прославленных французских портных. Таковы последствия войны,— прибавил незнакомец, тихонько вздохнув.— Но Майнбохер и Валентин тоже смотрятся неплохо. Как, по-вашему?

— Совершенно верно,— подтвердил я, не имея понятия, о чем идет речь.

— Будем надеяться, что все это скоро кончится и мы опять начнем получать первоклассные ткани. Лионский шелк...

Незнакомца позвали, он встал. Причина, по которой он проклинал эту войну, вовсе не показалась мне смешной. Наоборот, здесь она выглядела на редкость разумной.

Потом фотограф начал снимать вечерние туалеты. И внезапно около меня очутилась Наташа Петрова. На ней было длинное белое обтягивающее платье с большим декольте.

— Вы не очень скучаете?— спросила Наташа.

— Что вы? Совсем нет,— сказал я, несколько смешавшись, и с удивлением воззрился на нее.— По-моему, меня преследуют галлюцинации. Правда, на сей раз приятные. Эту диадему я видел не далее, как сегодня днем в витрине у «Ван Клеефа и Арпельса». Как странно.

Наташа засмеялась.

— У вас зоркий глаз.

— Это действительно та же диадема?

— Да. Журнал, для которого мы делаем снимки, взял ее напрокат. Неужели вы могли подумать, что я купила диадему?

— Бог его знает! Сегодня ночью все мне кажется возможным. Никогда в жизни не видел столько платьев и шуб.

— Что вам больше всего понравилось?

— Трудно сказать. Наверное, та широкая и длинная накидка из черного бархата, которую показывали вы. Она могла бы быть от Балансиаги.

Наташа быстро повернулась и смерила меня взглядом.

— Она и есть от Балансиаги. А вы — шпион?

— Шпион? В шпионаже меня еще никто не обвинял. Интересно, на какую страну я работаю?

— На другую фирму. На наших конкурентов. Вы той же специальности, что и все здесь? Признайтесь. Иначе вы никак не могли бы отгадать, что накидка от Балансиаги.

— Наташа Петрова,— торжественно начал я,— клянусь, что еще десять минут назад имя Балансиаги было мне совершенно неизвестно. Услышав его, я подумал бы, что это марка автомобилей. Вон тот блед-

ный господин назвал мне это имя впервые. Он сказал, правда, что модели от Балансиаги не попадают сейчас за океан. Я просто пошутил.

— И попали в самую точку. Накидка и впрямь от Балансиаги. Переправлена в Америку на бомбардировщике. На «летающей крепости». Так сказать, контрабандным путем.

— Прекрасное применение для бомбардировщиков. Будем надеяться, что все последуют вашему примеру и на земле наступит золотой век.

— Так. Вы, стало быть, не шпион. Мне даже жаль. Все равно с вами надо держать ухо востро. Вы слишком быстро все схватываете. А питья у вас достаточно?

— Спасибо. Вполне достаточно.

Наташу позвали.

— После съемок мы поедем развлекаться. Посидим часок в «Эль Марокко». Так принято,— сказала она, отходя от меня.— Поедете?

Я не стал отвечать. Разумеется, я не мог поехать с ними. Для таких развлечений я был слишком беден. Придется объяснить ей это потом. Не очень приятная перспектива. Но время еще есть. Пока что я плыл по течению. Не хотелось думать ни о завтрашнем дне, ни даже о ближайшем часе. Смуглая манекенщица, которую только что снимали в длинном суконном пальто бутылочного цвета, сбросила его, чтобы надеть другое. Платья на ней не оказалось, только белье. Никого это, впрочем, не смутило. Видимо, для присутствующих это было не в новинку, да к тому же среди здешних мужчин были и гомосексуалисты. Смуглая манекенщица показалась мне очень красивой, она обладала небрежной и несколько ленивой самоуверенностью женщины, знающей, что всегда выйдет победительницей, и не слишком этому радующейся. Я видел и Наташу Петрову, наблюдал, как она меняет туалеты. Она была светлая, длинноте лая и стройная, и кожа ее напоминала почему-то лунный свет и жемчуг. Я не сказал бы, что она «мой тип»,— «моим типом» была скорее темноволосая манекенщица, которую звали Соня... Мысли эти были не очень четкие, они расплывались. И в душе я порадовался, что у меня не возникало никаких определенных желаний и ассоциаций. Но больше всего я радовался, что не сижу в гостинице. Правда, меня несколько изумляло, что едва знакомые женщины представали передо мной в таких позах, словно мы давно знали друг друга. Это напоминало миниатюру на эмали: множество разноцветных слоев наложено на основной слой, который, хотя его как будто и не видно, сообщает теплый тон всему изображению.

Только после того, как туалеты были уложены в картонки, я объяснил Наташе Петровой, что не могу идти со всей компанией в «Эль Марокко». Я уже знал, что это самое дорогое ночное кабаре в Нью-Йорке.

— Почему вы отказываетесь?— спросила Наташа.

— У меня нет денег.

— Вот дурень! Нас ведь тоже пригласили. Неужели вы думаете, что я заставила бы вас платить?

Она засмеялась, как всегда хрипловато. И хотя смех ее напомнил мне, сам не знаю почему, смех сутенера, у меня вдруг появилось приятное чувство, что я нахожусь в кругу сообщников.

— А драгоценности? Ведь их надо вернуть.

— Завтра. Это взял на себя журнал. А сейчас мы будем пить шампанское.

Я больше не протестовал. День кончался для меня совершенно неожиданно: я увидел жизнь в самых ее разных обличьях — сперва мне было смешно, потом я испытал чувство чистой благодарности. Меня уже не удивляло, что мы сидим в одном из отдельных кабинетов «Эль Марокко» и что какой-то венец исполняет немецкие песни, хотя Америка и Германия находятся в состоянии войны. Я понимал только, что в Гер-

мании это было бы невозможно. А между тем в ресторане сидело много американских офицеров. Мне казалось, что я долго брел по пустыне и вдруг увидел оазис. Время от времени я,— правда, потихоньку — пересчитывал в кармане пятьдесят долларов — все мое состояние, готовый по первому требованию бросить его на ветер. Но никто от меня ничего не требовал. Так выглядит мирная жизнь, размышлял я. Мирная жизнь, которой я не знаю; так выглядит беззаботность, которой я никогда не испытывал. Но в мыслях моих не было зависти. Хорошо, что такое еще существует. Я сидел в компании незнакомых людей, и эти люди были мне ближе и приятней, нежели те, которых я прекрасно знал. Я сидел рядом с красивой женщиной, и ее взятая напрокат диадема сверкала в свете свечей. Я был жалким приживалой, я пил чужое шампанское,— и у меня было такое чувство, что эта совсем иная жизнь тоже дана мне взаймы всего на один вечер. Завтра ее придется вернуть.

VII

— Вас нетрудно будет устроить в какой-нибудь художественный салон,— сказал Лоу-старший.— Война вам в этом смысле на руку. У нас сейчас нехватка подсобной рабочей силы.

— Можно подумать, что я делец, наживающийся на войне,— сказал я сердито.— Мне без конца твердят, будто война дала мне массу преимуществ.

— А разве не дала?— Лоу с ожесточением почесал свой лысый череп мечом Михаила архангела; скульптура была подделкой под старину.— Не будь войны, вы не оказались бы в Америке.

— Правильно. Но если бы не война, немцы не оказались бы во Франции.

— Разве вам здесь не лучше, чем во Франции?

— Господин Лоу, это бесцельный разговор. И в той и в другой стране я чувствую себя паразитом.

Лоу просиял.

— Паразитом! Очень метко. Я сам хотел это вам разъяснить. В вашем положении вы не можете претендовать на постоянную работу ни в одном художественном салоне. Вы должны найти себе приблизительно такое же занятие, как у нас. Так сказать, нелегальное. Я тут говорил с одним человеком, у которого вы, наверное, сможете пристроиться. Он тоже паразит. Но богатый паразит. Торгует предметами искусства. Картинами. Тем не менее он паразит.

— Он торгует подделками?

— Боже избави! — Лоу отложил поддельного Михаила архангела и сел в почти целиком отреставрированное флорентийское кресло времен Савонароллы — только верхняя часть кресла была подлинной.— Торговля предметами искусства — вообще ремесло для людей с нечистой совестью,— начал он тоном поучения.— Мы зарабатываем деньги, которые, собственно, должен был бы заработать художник. Ведь мы получаем за те же произведения во много раз больше, чем в свое время их создатель. Когда речь идет об антикварных вещах или о предметах прикладного искусства, все это еще не так страшно. Страшно бывает с «чистым искусством». Вспомните Ван Гога. За всю свою жизнь он не продал ни одной картины и жил впроголодь, а сейчас торговцы наживают на нем миллионы. И так было испокон веку: художник голодает, а торговец обзаводится дворцами.

— По-вашему, дельцов мучает совесть?

Лоу подмигнул:

— Ровно настолько, чтобы барыши не казались им чересчур прес-

ными. Торговцы картинами — народ своеобразный. Им хочется не только разбогатеть на произведениях искусства, но зачастую и подняться до уровня этого искусства. Ведь сам художник, продающий картины, почти всегда нищий, ему даже не на что поужинать. Таким образом, торговец чувствует свое превосходство, превосходство человека, который может заплатить за чужой ужин. Понятно?

— Даже очень. Хотя я не художник. Но в этом деле разбираюсь.

— Вот видите. Художника всегда используют. И вот, чтобы сохранить видимость любви к искусству, которое дает торговцам возможность жить в полном довольстве, и к художнику, которого они эксплуатируют, торговцы открывают художественные салоны. Иными словами, время от времени устраивают выставки. В основном они это делают, чтобы нажить деньги на художнике, связанном с ними по рукам и ногам кабальными договорами. Но также и для того, чтобы художник получил известность. Довольно-таки жалкое алиби. Однако на этом основании торгаши хотят считаться меценатами.

— Это, стало быть, и есть паразиты от искусства?— спросил я, развеселившись.

— Нет,— сказал Лоу-старший, закуривая сигару.— Они хоть что-то делают для искусства. Паразитами я называю дельцов, которые торгуют картинами, не имея ни лавок, ни салонов. Они используют интерес, который другие вызывают своими выставками. И при этом без всяких затрат. Ведь они торгуют у себя на квартире. У них нет издержек производства. Разве что они платят секретарше. Даже за помещение с них не взимают налогов; арендная плата приравнивается у них к производственным расходам, потому что в квартире висят картины. И глядишь, вся семья паразита живет себе в этой квартире и радуется. Бесплатно. Мы гнем спину в лавке, тратим кровные денежки и драгоценное здоровье на служащих, а паразит валяется в кровати часов до девяти, а потом диктует письма секретарше и, как паук, поджидает покупателей.

— А вы разве не поджидаете покупателей?

— Не в такой роскоши. А как простой служащий, хотя служу у себя самого. И потом я не пират.

— Почему бы и вам не стать паразитом, господин Лоу?

Лоу взглянул на меня, нахмурившись. И я понял, что совершил ошибку.

— Вы не хотите из этических соображений. Не правда ли?— спросил я.

— Хуже. Из финансовых. Стать пиратом можно, только имея в кармане большие деньги. И хороший товар. Иначе опростоволосишься. Первоклассный товар.

— Значит, пират продает дешевле? Ведь издержек у него меньше.

Лоу сунул сигару в ступку эпохи Возрождения, но тут же вытащил ее обратно, разгладил и закурил снова.

— Да нет же, дороже! — завопил он.— В этом весь фокус. Богатые кретины дают себя одурачить и притом думают, что совершили выгодный бизнес. Люди, которые нажили миллионы своим горбом, попадают впросак, увы, самым глупым образом. Ловкачи играют на их снобизме и на их престиже, и тогда они лезут в ловушку, как мухи на липкую бумагу.— От сигары Лоу летели искры, словно от бенгальского огня.— Все дело в упаковке,— причитал он.— Посоветуйте вновь испеченному миллионеру купить Ренуара, и он поднимет вас на смех. Для него что Ренуар, что велосипед — один черт. Но скажите ему, что Ренуар придаст ему больший вес в обществе, и он тут же купит две его картины. Вы меня поняли?

Я слушал Лоу с восхищением. Время от времени он давал мне бесплатные уроки практической жизни. Обычно это происходило после обе-

денного перерыва, когда наступало некоторое затишье, или по вечерам, перед тем как я заканчивал свою работу в подвале. Сейчас было послеобеденное время.

— Знаете, почему я читаю вам курс лекций по высококвалифицированной торговле картинами?

— Чтобы подготовить меня к ведению боевых операций на фронте купли-продажи. Ибо с другими фронтами я уже знаком.

— Вы кое-как познакомились с первой в истории тотальной войной и думаете, что она для всех — внове. Но мы, деловые люди, ведем тотальную войну с сотворения мира. Фронт проходит у нас повсюду.— Лоу-старший гордо выпрямился.— Точно так же, как и в семейной жизни.

— Вы женаты?— спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

Мне не нравилось, когда слово «война» употребляли для нелепых сравнений. Для меня война была ни с чем не сравнима, даже если сравнения и не были нелепыми.

— Не женат!— ответил Лоу-старший, внезапно помрачнев.— Но мой брат задумал жениться. Хорошенькая история! Трагедия! Хочет жениться на американке! Полная катастрофа.

— На американке?

— Да, на эдакой девице со взбитыми космами, вытравленными перекисью. С глазами, как у селедки. И с оскаленной пастью, в которой торчат сорок восемь зубов, нацеленных на наши добытые потом и кровью денежки. На наши доллары — хочу я сказать. Словом, крашеная гиена с кривыми ногами. Обе ноги — правые!

Я задумался, пытаясь мысленно воссоздать этот образ. Но Лоу продолжал:

— Бедная моя мамочка! Хорошо, что она до этого не дожила. Если бы восемь лет назад ее не сожгли, она перевернулась бы сейчас в гробу.

Я так и не разобрался в его сумбурной болтовне, но одно слово вдруг заставило меня насторожиться, как звук сирены:

— Сожгли?

— Да. В крематории. Она родилась еще в Польше. А умерла здесь. Знаете...

— Знаю,— сказал я поспешно.— Но при чем тут ваш брат? Почему бы ему не жениться?

— Не на американке же,— возмутился Лоу.— В Нью-Йорке достаточно порядочных еврейских девушек. Разве он не может найти себе жену среди них? Так нет же, должен настоять на своем.

Постепенно Лоу успокоился.

— Извините,— сказал он.— Иногда у человека просто лопается терпение. Но мы говорили о другом. О паразитах. Вчера я беседовал с одним паразитом насчет вас. Ему, возможно, понадобится помощник, который разбирается в живописи, но не так уж хорошо,— чтобы он мог подсмотреть его секреты, а потом продать их конкурентам. Ему нужен человек вроде вас, предпочитающий держаться в тени, а не мозолить всем глаза. Пойдите к нему и представьтесь. Сегодня в шесть вечера. Я уже говорил с ним о вас. Идет?

— Большое спасибо,— сказал я, приятно пораженный.— Большое, большое спасибо!

— Зарабатывать вы будете не так уж много. Но дело не в оплате, а в шансах, говаривал когда-то мой отец. Здесь,— Лоу обвел рукой свою лавку,— здесь у вас нет никаких шансов.

— Все равно. Я благодарен за время, проведенное у вас. И за то, что вы помогли мне. Почему, собственно?

— Никогда не следует спрашивать: «Почему?».— Лоу оглядел меня

с ног до головы.— Почему? Конечно, мы здесь не такие уж филантропы. Знаете почему? Наверное, потому, что вы такой незащищенный.

— Что?— удивился я.

— Так оно и есть,— сам удивляясь, сказал Лоу.— А ведь, глядя на вас, этого никогда не скажешь. Но вы именно незащищенный. Эта мысль пришла в голову моему брату, когда мы как-то заговорили о вас. Он считает, что вы будете пользоваться успехом у женщин.

— Вот как!— Я был скорее возмущен.

— Только не принимайте моих слов близко к сердцу. Я ведь уже говорил вам, что во всем этом мой брат разбирается не лучше носорога. Сходите к пирату. Его фамилия Силверс. Сегодня вечером.

На дверях у Силверса не было таблички. Он жил в обычном жилом доме. Я ожидал встретить нечто вроде двуногой акулы. Но ко мне вышел очень мягкий, тщедушный и скорее застенчивый человек, он был прекрасно одет и вел себя крайне сдержанно. Налив мне виски с содовой, он стал осторожно меня выспрашивать. А немного погодя принес из соседней комнаты два рисунка и поставил их на мольберт.

— Какой рисунок вам больше нравится?

Я показал на правый.

— Почему?— спросил Силверс.

— Разве обязательно должна быть причина?

— Да. Меня интересует причина. Вы знаете, чьи это рисунки?

— Оба рисунка Дега. По-моему, это каждому ясно.

— Не каждому,— возразил Силверс со странно смущенной улыбкой.— Некоторым моим клиентам не ясно.

— Почему же они тогда покупают?

— Чтобы в доме висел Дега,— сказал Силверс печально.

Я вспомнил лекцию, прочитанную Лоу-старшим. Как видно, она соответствовала действительности. Конечно, я только наполовину поверил Лоу, он был склонен к преувеличениям, особенно когда речь шла о материях, ему не очень знакомых.

— Картины — такие же эмигранты, как и вы,— сказал Силверс.— Иногда они попадают в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют — вопрос особый.

Он вынес из соседней комнаты две акварели.

— Знаете, чьи это акварели?

— Сезанна.

Силверс был поражен.

— А можете сказать, какая из них лучше?

— Все акварели Сезанна хороши,— ответил я.— Но левая пойдет по более дорогой цене.

— Почему? Потому, что она больше по размеру?

— Нет. Не потому. Эта акварель принадлежит к поздним работам Сезанна, здесь уже явственно чувствуется кубизм. Очень красивый пейзаж Прованса с вершиной Сен-Виктуар. В Брюссельском музее висит похожий пейзаж.

Выражение лица Силверса вдруг изменилось. Он вскочил.

— Где вы раньше работали? — отрывисто спросил он.

Я вспомнил случай с Наташей Петровой.

— Нигде. В конкурирующих фирмах я не работал. И не занимаюсь шпионажем. Просто провел некоторое время в Брюссельском музее.

— Когда именно?

— Во время оккупации. Меня прятали в музее, а потом мне удалось бежать и перейти границу. Вот источник моих скромных познаний.

Силверс снова сел.

— В нашей профессии необходима сугубая осторожность,— пробормотал он.

— Почему? — спросил я, обрадовавшись, что он не гребует от меня дальнейших разъяснений.

Секунду Силверс колебался.

— Картины — как живые существа. Как женщины. Не следует показывать их каждому встречному и поперечному. Иначе они потеряют свое очарование. И свою цену.

— Но ведь они созданы для того, чтобы на них смотрели.

— Возможно. Хотя я в этом сомневаюсь. Торговцу важно, чтобы его картины не были общеизвестны.

— Странно. Я думал, это как раз подымает цену.

— Далеко не всегда. Картины, которые слишком часто выставляли, на языке специалистов зовутся «сгоревшими». Их антипод — «девственницы». Эти картины всегда находились в одних руках, в одной частной коллекции, и их почти никто не видел. За «девственниц» больше платят. И не потому, что они лучше, а потому, что любой знаток и собиратель жаждет находок.

— И за это он выкладывает деньги?

Силверс кивнул.

— К сожалению, в наше время коллекционеров раз в десять больше, чем знатоков. Эпоха истинных собирателей, которые были в то же время и ценителями, кончилась после первой мировой войны, в восемнадцатом году. Каждому политическому и экономическому перевороту сопутствует переворот финансовый. И тогда состояния меняют своих владельцев. Одни все теряют, другие богатеют. Старые собиратели вынуждены продавать свои коллекции, на их место приходят новые. У этих новых есть деньги, но зачастую они ничего не смыслят в искусстве. Чтобы стать истинным знатоком, требуется время, терпение и любовь.

Я внимательно слушал. Казалось, в этой комнате с двумя мольбертами, обитой серым бархатом, хранилась утерянная тишина мирных эпох. Силверс поставил на один из мольбертов новый картон.

— Вы знаете, что это?

— Моне. Поле маков.

— Нравится?

— Необычайно. Какое спокойствие! И какое солнце! Солнце Франции.

— Ну что ж, давайте попытаемся,— сказал Силверс наконец.— Особых знаний здесь не требуется. Мне нужен человек надежный и молчаливый. Это — главное. Шесть долларов в день. Согласны?

Я сразу встрепенулся.

— За какие часы? За утренние или за вечерние?

— За утренние и за вечерние. Но в промежутке у вас будет много свободного времени.

— Это приблизительно та сумма, какую получает вышколенный мальчик на побегушках.

Я ждал, что он скажет: ваши функции будут примерно такими же! Но Силверс проявил деликатность. Он вслух подсчитал, сколько получает мальчик на побегушках. Оказалось, меньше.

— Десять долларов — это минимум. Иначе я не согласен,— сказал я.— У меня долги, которые я обязан выплачивать.

— Уже долги?

— Да. Я должен адвокату, который продлевает мой вид на жительство.

Я знал, что Силверс уже слышал все это от Лоу, тем не менее он притворился, будто отсутствие документов бросает на меня тень и буд-

то он должен вновь обдумать, стоит ли со мной связываться. Наконец-то хищник показал когти.

Мы торговались на восьми долларах после того, как Силверс со смущенной улыбкой пояснил, что, поскольку я работаю нелегально, мне не придется платить налогов. Кроме того, я не достаточно свободно говорю по-английски. Тут я его, положим, поймал.

— Зато я говорю по-французски,— сказал я.— А это в вашем деле гораздо важнее.

Тогда он согласился на восемь долларов, пообещав, что, если я справлюсь с работой, мы еще вернемся к этому разговору.

Я пришел в гостиницу, и моим глазам представилось необычное зрелище. В старомодном холле горели все лампы, даже те, которые бережливая администрация неукоснительно выключала. Посередине стоял стол, вокруг которого собралась весьма занятная, разношерстная компания. Председательское место занимал Рауль. Он сидел у торца стола в бежевом костюме гигантских размеров, похожий на гигантскую потную жабу; стол, к моему удивлению, был накрыт белой скатертью, и гостей обслуживал официант. Рядом с Раулем восседал Меликов; кроме них за столом сидели: Лахман и его пуэрториканка; мексиканец в розовом галстуке, с каменным лицом и беспокойными глазами; белокурый молодой человек, говоривший басом, хотя можно было предположить, что у него высокое сопрано, и две жгучие брюнетки неопределенного возраста — от тридцати до сорока,— востроглазые, темпераментные и привлекательные. По другую руку от Меликова сидела Наташа Петрова.

— Господин Росс,— крикнул Рауль,— окажите нам честь!

— В чем дело? — спросил я.— Коллективный день рождения? Или, может, кто-нибудь выиграл крупную сумму?

— Присаживайтесь, господин Росс,— сказал Рауль, еле ворочая языком.— Один из моих спасителей,— пояснил он белокурому молодому человеку, говорившему басом.— Пожмите друг другу руки! Это — Джон Болтон.

У меня было такое чувство, точно я коснулся дохлой рыбы. От молодого человека со столь низким голосом я невольно ждал крепкого рукопожатия.

— Что вы будете пить? — спросил Рауль.— У нас есть все, что вашей душе угодно: кока-кола, лимонад, американское виски, шотландское виски. И даже шампанское. Я помню, что вы сказали в тот раз, когда мое сердце исходило печалью... Все течет, сказали вы. Цитата из какого-то древнего грека. Правда? Из Гераклита, или Демокрита, или Демократа. Знаете, что говорят в таких случаях на Седьмой авеню: «Ничто не вечно под луной, и красотка станет сатаной». Очень справедливо. А на смену приходит другая молодежь. Итак, что вы будете пить? Альфонс! — Он подозвал официанта жестом, достойным римского императора.

— Что вы пьете? — спросил я Наташу Петрову.

— Водку, как всегда,— ответила она весело.

— Водку,— сказал я Альфонсу.

— Двойную порцию,— добавил Рауль, глядя на меня осоловелыми глазами.

— Что это? Мистерия человеческой души — любовь? — спросил я Меликова.

— Мистерия человеческих заблуждений, когда каждый верит, что другой — его пленник.

— Le coup de foudre,[1] — сказала Наташа Петрова.— Любовь без взаимности.

— Как вы оказались здесь, в этой компании?

— Случайно.— Наташа засмеялась.— Случай. Счастливый случай. Мне давно хотелось вырваться из стерильной и однообразной атмосферы унылых приемов. Но такого я не ожидала.

— Вы опять собираетесь к фотографу?

— Сегодня не собираюсь. А почему вы спрашиваете? Пошли бы со мной?

Собственно, я не хотел говорить этого прямо, но почему-то сказал:

— Да.

— Наконец-то я слышу от вас нечто вразумительное,— сказала Наташа Петрова.— Salut!

— Salut, salve, salute! — крикнул Рауль и начал со всеми чокаться. При этом он попытался даже встать, но плюхнулся на кресло в виде трона, которое затрещало под ним. Эта старая гостиница в довершение всего была обставлена топорной псевдоготической мебелью.

Пока все чокались, ко мне подошел Лахман.

— Сегодня вечером,— шепнул он,— я напою мексиканца.

— А сам не напьешься?

— Я подкупил Альфонса. Он подает мне только воду. Мексиканец думает, что я пью, как и он, текилью. У нее тот же цвет, то есть она бесцветная.

— Я бы лучше подпоил даму сердца,— сказал я.— Мексиканец не имеет ничего против. Не хочет сама дама.

На секунду Лахман потерял уверенность в себе, но потом упрямо сказал:

— Ничего не значит. Сегодня это выйдет. Должно выйти. Должно. Понимаешь?

— Пей лучше с ними обоими... И с самим собой тоже. Может, спьяну ты придумаешь что-нибудь такое, до чего бы трезвый не додумался. Бывают пьяные, перед которыми трудно устоять.

— Но тогда я ничего не почувствую. Все забуду. Будет так, как будто ничего и не было.

— Жаль, что ты не можешь внушить себе обратное. Что все было, но для тебя как будто и не было.

— Послушай, ведь это жульничество,— запротестовал взволнованный Лахман.— Надо вести честную игру.

— А разве это честная игра — пить воду?

— Я честен с самим собой.— Лахман наклонился к моему уху. Дыхание у него было горячее и влажное, хоть он и пил одну воду.— Я узнал, что у Инес вовсе не ампутирована нога, она у нее просто не сгибается. Металлическую пластинку она носит из тщеславия.

— Что ты выдумываешь, Лахман!

— Я не выдумываю. Я знаю. Ты не понимаешь женщин. Может, она потому и отказывает мне? Чтобы я не дознался.

На секунду я потерял дар речи. Amore, amour,[2] думал я. Вспышка молнии в ночи заблуждений, надежда в глубочайшей безнадежности, чудо белой и черной магии. Будь же благословенна, любовь. Я торжественно поклонился:

— Дорогой Лахман, в твоем лице я приветствую звездный сон любви.

— Вечные твои остроты! Я говорю совершенно серьезно.

Рауль с трудом приподнялся.

---

[1] Любовь с первого взгляда *(франц.)*.

[2] Любовь *(исп. и франц.)*.

— Господа,— начал он, обливаясь потом.— Да здравствует жизнь! Я хочу сказать: как хорошо, что мы еще живем. Стоит мне подумать, что совсем недавно я хотел лишить себя жизни, и я готов влепить себе пощечину. Какими же мы бываем идиотами, когда мним себя особенно благородными.

Пуэрториканка внезапно запела. Она пела по-испански. Наверное, это была мексиканская песня. Голос у нее был великолепный, низкий и сильный. Она пела, не сводя глаз с мексиканца. Это была песня, исполненная печали и в то же время ничем не прикрытого сладострастия. Почти жалобная песня, далекая от всяких раздумий и прикрас цивилизации. Песня эта возникла в те стародавние времена, когда человечество еще не обладало самым своим человечным свойством — юмором; она была прямая до бесстыдства и ангельски чистая. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. Да и женщина была недвижима — говорили только ее губы и взгляд. И оба они смотрели друг на друга немигающими глазами, а песня все лилась и лилась. То было слияние без единого прикосновения. Но они оба знали, что это так. Я оглянулся — все молчали. Я оглядывал их всех по очереди, а песня продолжала литься: я видел Рауля и Джона, Лахмана, Меликова и Наташу Петрову — они молча слушали, эта женщина подняла их над обыденностью, но сама она никого не видела, кроме мексиканца, кроме его помятого лица сутенера, в котором сосредоточилась вся ее жизнь. И это не было ни странно, ни смешно.

VIII

Перед тем как приступить к своим обязанностям, я получил трехдневный отпуск. В первый день я прошел всю Третью авеню в самый свой любимый час перед наступлением сумерек, когда в антикварных лавках время, казалось, замирает, тени становятся синими, а зеркала оживают. В этот час из ресторанов тянет запахом жареного лука и картофеля, официанты накрывают на стол, и омары, выставленные в огромных витринах «Морского царя» на ложе пыток изо льда, пытаются уползти на своих клешнях, изуродованных острыми деревянными колышками. Я не мог без содрогания смотреть на их круглые выгнутые тела,— они напоминали мне камеры пыток в концлагерях, на родине поэтов и мыслителей.

— Имперский егермейстер Герман Геринг не допустил бы ничего подобного,— сказал Кан, который тоже подошел к витрине с огромными крабами.

— Вы говорите об омарах? Крабы ведь четвертованы.

Кан кивнул.

— Третий рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера зовут Блонди, и фюрер лелеет ее как родное дитя. Имперский егермейстер, министр-президент Пруссии Герман Геринг и его белокурая Эмми Зонненман держат у себя в Валгалле молодого льва, и Герман, облачившись в одежду древнего германца, с охотничьим рогом на боку, подходит к нему с ласковой улыбкой. А шеф всех концлагерей Генрих Гиммлер нежно привязан к ангорским кроликам.

— Зато при виде четвертованных крабов у Фрикка, имперского министра внутренних дел, может возникнуть какая-нибудь плодотворная идея. Впрочем, как человек культурный — и даже доктор,— он отказался от гильотины, сочтя ее чересчур гуманной, и заменил гильотину ручным топором. Может быть, он решит теперь четвертовать евреев, наподобие крабов.

— Как-никак мы народ, изначальным свойством которого было добродушие,— сказал Кан мрачно.

— Существует еще одно исконно тевтонское свойство — злорадство.

— А не пора ли перестать? — спросил Кан.— Наш юмор становится несколько утомительным.

Мы взглянули друг на друга, как школьники, захваченные на месте преступления.

— Не знал, что от этого невозможно отделаться,— пробормотал Кан.

— Только нам так плохо?

— Всем. После того как улетучивается первое, поверхностное чувство защищенности и ты перестаешь играть сам с собою в прятки и вести страусову политику, тебя настигает опасность. Она тем больше, чем защищенней чувствует себя человек. Завидую тем, кто, подобно неунывающим муравьям, сразу же после грозы начинает строить заново, вить гнездышко, строить собственное дело, семью, будущее. Самой большой опасности подвергаются люди, которые ждут.

— И вы ждете?

Кан посмотрел на меня с насмешкой.

— А разве вы, Росс, не ждете?

— Жду,— сказал я, помолчав немного.

— Я тоже. Почему, собственно?

— Я знаю почему.

— У каждого свои причины. Боюсь только, что когда война кончится, причины эти испарятся, как вода на горячей плите. И мы опять потеряем несколько лет, прежде чем начнем все сначала. Другие люди обгонят нас за эти несколько лет.

— Какая разница? — спросил я с удивлением.— Жизнь ведь — не скачка с препятствиями.

— Вы думаете? — спросил Кан.

— Дело не в соперничестве. Вернуться хочет большинство. Разве я не прав?

— По-моему, ни один человек не знает этого точно. Некоторым необходимо вернуться. Например, актерам. Здесь их ничего не ждет, они никогда не выучатся как следует говорить по-английски. Писателям тоже. В Штатах их не будут читать. Но у большинства причина совсем иная. Неодолимая, дурацкая тоска по родине. Вопреки всему. Черт бы ее подрал.

— Эдакую слепую любовь к Германии я наблюдал,— сказал я.— В Швейцарии. У одного еврея, коммерции советника. Я хотел стрельнуть у него денег. Но денег он мне не дал, зато дал добрый совет — вернуться в Германию. Газеты, мол, врут. А если кое-что и правда, то это временное явление, совершенно необходимые строгости. Лес рубят — щепки летят. И потом, сами евреи во многом виноваты. Я сказал, что сидел в концлагере. И тогда он разъяснил мне, что без причины людей не сажают и что самый факт моего освобождения — еще одно доказательство справедливости немцев.

— Этот тип людей мне знаком,— сказал Кан, нахмурившись.— Их не так уж много, но они все же встречаются.

— Даже в Америке.— Я вспомнил своего адвоката.— Кукушка,— сказал я.

Кан засмеялся.

— Кукушка! Нет ничего хуже дураков. Пошли они все к дьяволу!

— Наши дураки тоже.

— В первую очередь — наши. Но, может, мы, несмотря на все, отведаем крабов?

Я кивнул.

— Позвольте мне пригласить вас, уже сама возможность пригласить кого-нибудь в ресторан повышает тонус и избавляет от комплекса неполноценности. Ты перестаешь чувствовать себя профессиональным нищим. Или благородным паразитом, если хотите.

— Ничто не может избавить от комплекса вины за то, что ты жив, от комплекса, внушенного нам нашим возлюбленным отечеством. Но я принимаю ваше приглашение. И позвольте мне в свою очередь угостить вас бутылочкой нью-йоркского рислинга. На короткое время мы снова почувствуем себя людьми.

— По-вашему, мы здесь не люди?

— Люди на девять десятых.

Кан вытащил из кармана розовую бумагу.

— Паспорт! — с благоговением сказал я.

— Нет. Удостоверение для иностранцев, подданных вражеского государства. Вот кто мы здесь.

— Стало быть, все еще люди неполноценные,— сказал я, раскрывая огромное меню.

Вечером мы отправились к Бетти Штейн. Она осталась верна берлинскому обычаю. По четвергам к ней приходили вечером гости. Все, кто желал. А тот, у кого завелось немного денег, приносил бутылку вина, пачку сигарет или банку консервированных сосисок. У Бетти был патефон и старые пластинки. Песни в исполнении Рихарда Таубера и арии из оперетт Кальмана, Легара и Вальтера Колло. Иногда кто-нибудь из поэтов читал свои стихи. Но большую часть времени в салоне Бетти спорили.

— У нее благие намерения,— сказал Кан.— И все равно это — морг, где среди мертвецов бродят живые, вернее, полутрупы, которые еще сами не осознали этого.

Бетти была в старом шелковом платье, сшитом еще в догитлеровские времена. Платье было ярко-лиловое, все в оборках, оно шуршало и пахло нафталином. Румяные щеки, седина и блестящие темные глаза Бетти никак не вязались с этим туалетом. Бетти протянула нам навстречу свои пухлые руки. В ней было столько сердечности, что в ответ можно было только беспомощно улыбнуться и сказать, что она трогательная и забавная. Бетти нельзя было не любить. Она вела себя так, словно в 1933 году время остановилось. Действительность существовала во все дни недели, но «четвергов» Бетти она не коснулась. По четвергам был опять Берлин и Веймарская конституция, оставшаяся в полной силе.

В большой комнате, завешанной портретами покойников, было довольно много народа. Актер Отто Вилер стоял в кругу почитателей.

— Он завоевал Голливуд! — восклицала Бетти с гордостью.— Добился признания.

Вилер явно не возражал против чествования.

— Какую роль ему дали? — спросил я Бетти.— Отелло? Одного из братьев Карамазовых?

— Огромнейшую роль. Не знаю, какую точно. Но он всех заткнет за пояс! Его ждет слава Кларка Гейбла.

— Или Чарльза Лаутона,— ввернула племянница Бетти, высохшая старая дева, которая разливала кофе.— Скорее Чарльза Лаутона. Он ведь характерный актер.

Кан язвительно усмехнулся.

— Роль не такая уж грандиозная,— сказал он,— да и сам Вилер не был в Европе таким уж грандиозным актером. Помните историю о

том, как один человек пошел в Париже в ночное кабаре русских эмигрантов? Владелец кабаре решил произвести на него впечатление. Поэтому он сказал: наш швейцар был раньше генералом, официант у нас граф, этот певец — великий князь и так далее и так далее. Гость молча слушал. Наконец владелец вежливо спросил, указывая на маленькую таксу, которую тот держал на поводке: «Будьте добры сказать, какой породы ваша собачка?» «Моя собачка,— ответил посетитель,— была в свое время в Берлине огромным сенбернаром»,— Кан грустно улыбнулся.— Вилер на самом деле получил маленькую роль. Он играет в одном второсортном фильме нациста, эсэсовца.

— Неужели? Но ведь он еврей.

— Ничего не значит. Пути Голливуда неисповедимы. Да и там, видимо, считают, что эсэсовцы и евреи — на одно лицо. Вот уже четвертый раз, как роль эсэсовца исполняет еврей.— Кан засмеялся.— Своего рода справедливость искусства. Гестапо косвенным образом спасает одаренных евреев от голодной смерти.

Бетти сообщила, что в этот вечер проездом в Нью-Йорке будет доктор Грефенгейм. Многие присутствовавшие знали его: он был знаменитым берлинским гинекологом. Одно из противозачаточных средств назвали его именем. Кан познакомил меня с ним. Грефенгейм был скромный худощавый человек с темной бородкой.

— Где вы работаете? — спросил его Кан.— Где практикуете?

— Практикую? — удивился Грефенгейм.— Я еще не сдал экзаменов. Трудновато. А вы могли бы снова сдать на аттестат зрелости?

— Разве от вас этого требуют?

— Надо сдавать все с самого начала. И еще английский язык.

— Но ведь вы были известным врачом. Вас наверняка знают. И если в Штатах существуют такие правила, для вас должны сделать исключение.

Грефенгейм пожал плечами.

— Это не так. Наоборот, по сравнению с американцами нас ставят в более трудные условия. Вы ведь сами знаете, как все обстоит. Правда, специальность врача такова, что он спасает чужую жизнь. Но, вступив в свои ферейны и клубы, врачи защищают собственную жизнь и не допускают в свою среду чужаков. Вот нам и приходится вторично сдавать экзамены. Нелегкое дело — экзаменоваться на чужом языке. Мне ведь уже за шестьдесят.— Грефенгейм виновато улыбнулся.— Надо было учить языки. Впрочем, всем нам несладко живется. А потом я еще должен год проходить стажировку в качестве ассистента. Но при этом я буду по крайней мере иметь бесплатное питание в больнице и крышу над головой....

— Вы можете сказать нам всю правду,— решительно прервала его Бетти.— Кан и Росс вас поймут. Дело в том, что его обобрали. Один подонок, тоже эмигрант, обобрал его.

— Послушайте, Бетти.

— Да. Нагло ограбил. У Грефенгейма была ценнейшая коллекция марок. Часть этой коллекции он отдал приятелю, который уже давно выехал из Германии. Тот должен был сохранить марки. Но когда Грефенгейм прибыл сюда, приятеля как подменили. Он заявил, что ровно ничего не получал от Грефенгейма.

— Старая история! — сказал Кан.— Обычно, впрочем, утверждают, что переданные вещи были отняты на границе.

— Тот тип оказался хитрее. Ведь иначе он признал бы, что получил марки. И, стало быть, у Грефенгейма появилось бы все же некоторое основание требовать возмещение убытков.

— Нет, Бетти,— сказал Кан.— Никаких оснований. Вы ведь не брали расписку? — спросил он Грефенгейма.

— Разумеется, не брал. Это было исключено, такие передачи совершались с глазу на глаз.

— Зато этот подлец живет теперь припеваючи,— возмущалась Бетти,— а Грефенгейм голодает.

— Ну уж и голодаю... Конечно, я рассчитывал оплатить этими деньгами мое вторичное обучение.

— Скажите мне, на сколько вас обштопали? — требовала безжалостная Бетти.

— Ну знаете...— смущенно улыбался Грефенгейм.— Да, это были мои самые редкие марки. Думаю, любой коллекционер охотно заплатил бы за них шесть-семь тысяч долларов.

Бетти уже знала эту историю, тем не менее ее глаза-вишни опять широко раскрылись.

— Целое состояние! Сколько добра можно сделать на эти деньги.

— Спасибо и на том, что марки не достались нацистам,— сказал Грефенгейм виновато.

Бетти взглянула на него с возмущением.

— Вечно эта присказка «спасибо и на том». Эмигрантская безропотность! Почему вы не проклинаете ото всей души жизнь?

— Разве это поможет, Бетти?

— Всегдашнее ваше всепонимание, почти уже всепрощение. Неужели вы думаете, что нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он избил бы обманщика до полусмерти!

Кан смотрел на Бетти с ласковой насмешкой; в своем платье с лиловыми оборками она была точь-в-точь драчливый попугай.

— Чего вы смеетесь? Ты, Кан, хоть задал перцу этим варварам. И должен меня понять. Иногда я просто задыхаюсь. Всегдашнее ваше смирение! И эта способность все терпеть! — Бетти сердито взглянула на меня.— Что вы на это скажете? Тоже способны все вытерпеть?

Я ничего не ответил. Да и что тут можно было ответить? Бетти встряхнула головой, посмеялась над собственной горячностью и перешла к другой группе гостей.

Кто-то завел патефон. Раздался голос Рихарда Таубера. Он пел песню из «Страны улыбок».

— Начинается! Ностальгия, тоска по Курфюрстендаму,— сказал Кан. И, повернувшись к Грефенгейму, спросил: — Где вы теперь обретаетесь?

— В Филадельфии. Один коллега пригласил меня к себе. Может, вы его даже знаете: Равик [1].

— Равик? Тот, что жил в Париже? Ну, конечно, знаю. Вот не предполагал, что ему удастся бежать. Чем он сейчас занимается?

— Тем же, чем и я. Но он ко всему легче относится. В Париже было вообще невозможно сдать экзамены. А здесь возможно: вот он и рассматривает это как шаг вперед. Мне тяжелей. Я, к сожалению, знаю только один проклятый немецкий, не считая греческого и латыни, на которых довольно свободно изъясняюсь. Кому они нужны в наше время?

— А вы не можете подождать, пока все кончится? Германии не выиграть эту войну, теперь это всем ясно. И тогда вы вернетесь.

Грефенгейм медленно покачал головой:

— Это — наша последняя иллюзия, но и она рассыплется в прах. Мы не сможем вернуться.

— Почему? Я говорю о том времени, когда с нацистами будет покончено.

— С немцами, может, и будет покончено, но с нацистами — ни-

[1] Равик — герой романа Ремарка «Триумфальная арка».

когда. Нацисты не с Марса свалились, и они не изнасиловали Германию. Так могут думать только те, кто покинул страну в тридцать третьем. А я еще прожил в ней несколько лет. И слышал рев по радио, густой кровожадный рык на их сборищах. То была уже не партия нацистов, то была сама Германия.

А пластинка все вертелась. «Берлин остается Берлином»,— пели певцы, которые за это время оказались либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штейн и еще два-три человека внимали певцам, преисполненные восторга, недоверия и страстной тоски.

— Там, в стране вовсе не хотят получить нас обратно,—продолжал Грефенгейм.— Никто. И никого.

Я возвращался в гостиницу. Прием у Бетти Штейн настроил меня на грустный лад. Я вспоминал Грефенгейма, который пытался начать жизнь заново. Зачем? Свою жену он оставил в Германии. Жена у него была немка. Пять лет она стойко сопротивлялась нажиму гестапо, не соглашаясь на развод с ним. За эти пять лет цветущая женщина превратилась в старуху, в комок нервов... Его то и дело таскали на допрос. И каждую ночь на рассвете жена и он тряслись от страха: в это время за ним обычно приезжали. Допросы начинались на следующий день или много дней спустя. И Грефенгейм сидел в камере с другими заключенными, как и они весь в холодном поту от смертной тоски. В эти часы в камере возникало своеобразное братство. Люди шептались, не слыша друг друга. Они ловили каждый звук в коридоре, где раздавались шаги тюремщиков. Члены братства помогали товарищам тем немногим, что они имели, и одновременно были полны любви и ненависти друг к другу, раздираемые необъяснимыми симпатиями и антипатиями; иногда казалось, для них всех существует строго ограниченное число шансов на спасение и каждый новый человек в камере уменьшает возможности остальных.

Время от времени «гордость немецкой нации», двадцатилетние герои, выволакивали из камеры очередную жертву, пиная ее ногами, подгоняя ударами и руганью,— иначе они и не мыслили себе обращение с больными и старыми людьми. И в камере воцарялась тишина.

Нередко проходило много часов, прежде чем к ним швыряли взятого на допрос — окровавленное тело. И тогда все молча принимались за работу. Для Грефенгейма эти сцены стали настолько привычными, что, когда его в очередной раз забирали из дома, он просил плачущую жену сунуть ему в карман несколько носовых платков — пригодятся для перевязок. Бинты он брать не решался. Даже перевязки в камерах были актом огромного мужества. Бывало, что людей, которые на это шли, убивали как «саботажников».

Грефенгейм вспоминал несчастных жертв, которых опять водворяли в камеру. Каждое движение было для них мучительно, но многие все же обводили товарищей полубезумным взглядом и шептали охрипшими от крика голосами: «Мне повезло. Они меня не задержали!» Быть задержанным — значило оказаться в подвале, где узников затаптывали насмерть, или в лагере, где их истязали до тех пор, пока они не бросались на колючую проволоку, через которую был пропущен ток.

Свою практику ему уже давно пришлось передать другому врачу. Преемник обещал заплатить за нее тридцать тысяч марок, а заплатил тысячу, хотя практика стоила все триста тысяч. Это случилось так: в один прекрасный день к Грефенгейму явился унтерштурмфюрер, родственник преемника, и предложил на выбор — либо ждать отправки в

концлагерь за незаконный прием больных, либо взять тысячу марок и написать расписку на тридцать тысяч. Грефенгейм ни минуты не колебался, он знал, какое решение принять. Жена его и так созрела для сумасшедшего дома. Но разводиться все еще не желала. Она верила, что спасает мужа от лагеря. Жена Грефенгейма была согласна развестись при одном условии — если Грефенгейму разрешат уехать. Ей нужно было знать, что он в безопасности.

Наконец им все же счастье улыбнулось! Как-то ночью к Грефенгейму пришел тот же самый унтерштурмфюрер, за это время уже успевший стать оберштурмфюрером. Он был в штатском и, помявшись немного, изложил свою просьбу: сделать аборт его девице. Оберштурмфюрер был женат, и его супруга не разделяла национал-социалистской идеи о том, что арийские производители должны иметь большое потомство чистых кровей, даже если в скрещивании будут участвовать разные особи. Супруга оберштурмфюрера считала, что чистых кровей у нее самой предостаточно. Грефенгейм сначала отказывался — подозревал западню. Осторожности ради он сослался на своего преемника, тот ведь тоже врач. Почему бы оберштурмфюреру не обратиться к нему? Тем более преемник — его родственник и тем более — тут Грефенгейм проявил сугубую осмотрительность — он должен испытывать благодарность к оберштурмфюреру. Но оберштурмфюрер привел свои контрдоводы. «Этот сукин сын не желает! — сказал он.— Стоило мне только намекнуть ему, как он разразился целой речугой в духе национал-социализма о наследственных признаках, генетическом достоянии нации и прочей чепухе. Сами видите, благодарности не жди. А ведь без меня он не получил бы вашей практики!» Грефенгейм не заметил ни тени иронии на упитанном лице оберштурмфюрера. «Вы — дело другое,— продолжал оберштурмфюрер.— Мы не станем выносить сора из избы. А мой тесть, эдакий мерзавец, проболтается рано или поздно. Или всю жизнь будет меня шантажировать».— «Но вы и сами сумеете его шантажировать, раз он пойдет на недозволенное хирургическое вмешательство»,— осмелился возразить Грефенгейм. «Я простой солдат,— прервал его оберштурмфюрер.— Эти штуки не по мне. Предпочитаю иметь дело с вами, дорогуша. Мы друг друга поймем с полуслова. Вам запрещено работать, а ей запрещено делать аборт. Стало быть, никто ничем не рискует. Она придет к вам сегодня ночью, а утром уйдет домой. Порядок?» — «Нет!— сказала жена Грефенгейма из-за двери. Мучимая страхом, она подслушала весь разговор. Сейчас эта полубезумная стояла в дверях. Грефенгейм вскочил.— Оставь меня! — сказала жена.— Я все слышала. Ты и пальцем не шевельнешь, не шевельнешь пальцем до тех пор, пока не получишь разрешения на выезд. Такова — цена. Обеспечьте ему разрешение»,— сказала она, оборачиваясь к оберштурмфюреру. Тот попытался растолковать ей, что это не в его ведении. Но жена Грефенгейма была неумолима. Тогда оберштурмфюрер собрался уходить. Жена стала угрожать ему — она все расскажет его начальнику. Кто ей поверит? Пусть свидетельствует против него, он тоже будет свидетельствовать. Посмотрим, чья возьмет. Под конец он ей бог знает чего наобещал. Но жена Грефенгейма не поверила ему. Сперва разрешение на выезд — потом аборт.

Невозможное совершилось. В дебрях этого забюрократизированного царства ужасов попадались иногда оазисы. Девушка пришла к Грефенгейму. Это случилось примерно две недели спустя. Ночью. А потом, когда все благополучно миновало, оберштурмфюрер разъяснил Грефенгейму, что он обратился к нему еще и по другой причине: врачу-еврею он доверял больше, чем этому остолопу, своему тестю. До последней минуты Грефенгейм страшился западни. Оберштурмфюрер вручил ему двести марок гонорара. Грефенгейм отказался. Тогда обер-

штурмфюрер насильно засунул ему деньги в карман. «Вам, дорогуша, они еще пригодятся». Оберштурмфюрер и впрямь любил эту девицу. Исполненный подозрительности, Грефенгейм даже не попрощался с женой. Он вообразил, что так обманет судьбу. И загадал: если он попрощается, его вернут обратно. Грефенгейму удалось бежать. А теперь, сидя в Филадельфии, он горько раскаивался, что уехал, не поцеловав жену. Мысль эта не давала ему покоя. И он не имел никаких вестей из дома. Впрочем, иметь вести было почти невозможно, ведь вскоре началась война.

Перед гостиницей «Ройбен» стоял «роллс-ройс». За рулем сидел шофер. «Роллс-ройс» производил впечатление золотого слитка в груде пепла.

— Вот наконец подходящий кавалер для вас,— сказал Меликов, сидевший в глубине плюшевого холла.— Я, к сожалению, занят.

В углу стояла Наташа Петрова.

— Неужели этот роскошный «роллс-ройс» принадлежит вам?

— Взят взаймы,— ответила она.— Как платья и драгоценности, в которых меня фотографируют. У меня все не свое, все не подлинное.

— Голос у вас свой, а «роллс-ройс» — подлинный.

— Пусть так. Но мне все равно ничего не принадлежит. Скажем так: я обманщица, но вещи у меня подлинные. Вас это больше устраивает?

— Да, но это гораздо опаснее,— сказал я.

— Наташе нужен кавалер,— вмешался Меликов.— Этот «роллс-ройс» дали ей только на сегодняшний вечер. Завтра она должна его вернуть. Не хочешь ли стать на один вечер авантюристом и пожить в свое удовольствие?

Я засмеялся.

— Примерно так я и поступаю много лет. Но без машины. Машина для меня — нечто новое.

— Вдобавок мы держим шофера,— сказала Наташа Петрова,— и даже в ливрее. В английской ливрее.

— Мне следует переодеться?

— Конечно нет! Посмотрите на меня.

Переодеться мне, кстати, было не во что. Я имел всего два костюма, и сегодня на мне был лучший из них.

— Поедете со мной? — спросила Наташа Петрова.

— С удовольствием.

Для меня это было самое верное средство избавиться от мыслей о Грефенгейме.

— Сегодняшний день, кажется, станет счастливым,— сказал я.— Я ведь дал себе три дня отпуска. Но о таких сюрпризах даже не смел мечтать.

— Вы можете сами давать себе отпуск? Я — не могу.

— Я — тоже. Но в данный момент я меняю место работы. Через три дня стану зазывалой, окантовщиком и слугой у одного торговца картинами.

— Продавцом тоже?

Секунду Наташа Петрова внимательно смотрела на меня.

— Избави бог! Этим занимается сам господин Силверс.

— А вы разве не умеете продавать?

— Слишком мало смыслю в этом деле.

— В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее.

— Откуда вы все это знаете? — засмеялся я.

— Мне тоже иногда приходится продавать. Платья и шляпки.— Она опять внимательно посмотрела на меня.— Но за это я получаю комиссионные. Вам тоже надо их потребовать.

— Пока еще вообще неизвестно, не заставят ли меня подметать пол и подавать клиентам кофе. Или коктейли.

Мы медленно проезжали по улице. Перед нами маячила широкая, обтянутая вельветом спина шофера и его бежевая фуражка. Наташа нажала на какую-то кнопку — и из стенки, обшитой красным деревом, появился складной столик.

— Вот вам и коктейли! — сказала она и сунула руку в нишу, оказавшуюся под столиком: там стояло несколько бутылок и рюмок. — Холодные как лед! — объяснила Наташа.— Последний крик моды! Маленький встроенный холодильник. Ну так что же? Водки, виски или минеральной воды? Водки? Я угадала?

— Разумеется.

Я взглянул на бутылку.

— Настоящая русская водка. Как она сюда попала?

— Нектар! Или даже лучше. Одно из немногих приятных последствий войны. Человек, которому принадлежит машина, имеет какое-то отношение к внешней политике, и ему приходится часто ездить в Россию и в Вашингтон.— Наташа засмеялась.— Впрочем, к чему вопросы? Давайте просто наслаждаться. Мне разрешили пить эту водку.

— Но не мне.

— Человек, которому принадлежит машина, знает, что я не стану разъезжать в его «роллс-ройсе» одна.

Водка была замечательная. Все, что я пил до этого, казалось мне теперь слишком крепким и невкусным.

— Еще рюмку? — спросила Наташа.

— Не возражаю. Видно, такова уж моя судьба — примкнуть к тем, кто наживается на войне. Мне разрешили въезд в Штаты, потому что идет война. Я получил работу, потому что идет война. А сейчас я пью русскую водку опять-таки потому, что идет война. Против воли я стал паразитом.

Наташа Петрова подмигнула мне.

— А почему бы вам не стать им по собственной воле? Это куда приятней.

Мы ехали сейчас вверх по Пятой авеню вдоль парка.

— Скоро начнутся ваши владения,— сказала Наташа Петрова.

Через некоторое время мы свернули на Восемьдесят шестую улицу. Это была широкая, типично американская улица, и все-таки она сразу напомнила мне маленькие немецкие городишки. По обе стороны мелькали кондитерские, пивнушки, сосисочные.

— Здесь все еще говорят по-немецки? — спросил я.

— Сколько угодно. Американцы не мелочны. Они никого не сажают. Не то что немцы.— Наташа Петрова засмеялась.— Впрочем, и американцы сажают. К примеру, японцев, которые здесь жили.

— А также французов и немецких эмигрантов, которые жили в Европе.

— По-моему, всюду сажают не тех, кого надо. Правда?

— Возможно. Как бы то ни было, нацисты с этой улицы разгуливают на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь еще?

Секунду Наташа Петрова смотрела на меня молча, потом задумчиво сказала:

— С другими я не такая. Что-то раздражает меня в вас.

— Ценное признание. Со мной происходит то же самое.

Она не обратила внимания на мои слова.

— Раздражает. Нечто похожее на скрытое самодовольство,— сказала она,— оно так далеко запрягано, что не доберешься. Но это злит. Вы меня понимаете?

— Безусловно. В других это злит и меня. Но к чему такой разговор?

— Чтобы вас позлить,— ответила Наташа Петрова,— только поэтому. А что вас раздражает во мне?

— Ничего,— сказал я, рассмеявшись.

Наташа вспыхнула. И я тут же раскаялся, но было уже поздно.

— Чертов немец! — пробормотала она. Лицо у нее побледнело, она избегала встречаться со мной взглядом.

— Возможно, вам будет интересно узнать, что Германия лишила меня гражданства,— ответил я и разозлился на самого себя за эти слова.

— Ничего удивительного.— Наташа Петрова постучала в стекло.— А теперь к гостинице «Ройбен».

— Извините, мадам,— сказал шофер,— на какой она улице?

— Это та гостиница, у которой вы меня дожидались.

— Очень хорошо.

— Зачем подвозить меня к гостинице? — сказал я.— Могу выйти сейчас. Автобусов везде сколько угодно.

— Ваша воля. Тем более, здесь — ваши родные места.

— Остановите, пожалуйста! — сказал я, обращаясь к шоферу, и вышел из машины.— Большое спасибо, Наташа.

Она не ответила. Я стоял на Восемьдесят шестой улице в Нью-Йорке и смотрел не отрываясь на кафе «Гинденбург», откуда доносились звуки духового оркестра. В кафе «Скрипач» был выставлен домашний крендель. В соседней витрине висели кровяные колбасы. Вокруг меня слышалась немецкая речь. Все эти годы я не раз представлял себе, как было бы хорошо вернуться к своим. Но не о таком возвращении я мечтал.

(Продолжение следует)

ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО

Два рассказа

Перевод с испанского и вступление Ю. ПАВЛОВА

Советские читатели впервые знакомятся с творчеством видного перуанского писателя Хулио Рамона Рибейро (род в 1929 г.), произведения которого в течение последних лет завоевали популярность и в Перу, и в других странах Латинской Америки.

Критика относит Хулио Рамона Рибейро к числу писателей-урбанистов. Точнее, пожалуй, было бы назвать его «субурбанистом», поскольку его творчество тесно связано с жизнью окраин и пригородов Лимы. Да, собственно, и сам Рибейро как писатель появился на литературной арене одновременно с возникновением в пятидесятых годах «проблемы пригородов» в Перу.

Что это за проблема?

В течение многих веков индейцы и потомки испанских конкистадоров как бы параллельно сосуществовали на территории Перу без заметной ассимиляции. Испанская часть населения «освоила» наиболее удобные и плодородные земли по побережью Тихого океана. Здесь же возникли промышленные и административные центры. Индейцы и метисы, оттесненные в глубь страны, пасли своих лам и альпак по бесплодным склонам Анд или занимались примитивным земледелием на пустынных плоскогорьях. Нищета, болезни, голод всегда были уделом индейского населения. Но пока оно жило изолированно, хозяева страны имели право «не замечать» этого.

После второй мировой войны в Перу стал активно проникать американский капитал. Его привлекли богатые рудные месторождения, открытые в горных районах страны. Антинародные диктатуры, господствовавшие в стране до недавнего времени, начали «очищать» от коренного населения обширные горные зоны, передаваемые в концессии иностранным трестам. И массы людей, лишившихся крова и не находивших новых свободных земель, стали скапливаться вокруг крупных городов, прежде всего Лимы, образуя новую социальную группу населения — полукрестьяне, полуремесленники, главным образом безработные, к тому же зачастую говорившие не на испанском языке, а на родном — кечуа (только в пригородах Лимы насчитывалось 600—700 тысяч индейцев и метисов).

В размеренный ритм столичной жизни ворвался голос этого голодного, раздетого люда, доведенного до отчаяния, готового на все из-за куска хлеба. Лиму окружили хаотически нагроможденные и невесть из чего построенные лачуги, землянки, мазанки. На улицы аристократической креольской столицы в жалких отрепьях вышли нищие, собиратели отбросов, проститутки, воры. Попытки властей «искоренить» пригороды оказывались тщетными. Их сносили бульдозерами в одном месте, а они как из-под земли сразу же появлялись в другом. Так возникла «проблема пригородов», привлекшая внимание широких общественных кругов — и литературы — Перу.

Среди перуанских писателей, рассказавших о трагической жизни «дна» Лимы, несомненно выделяется Хулио Рамон Рибейро.

Произведения Хулио Рамона Рибейро, характеризовавшиеся, по оценке перуанской критики, «безжалостным обнажением социальной несправедливости», революционны не только по своей тематике, но и по ее трактовке. Это шокировало находившийся у власти режим — автор вынужден был покинуть Перу и в течение шести лет жить на чужбине.

Нынешнее демократическое правительство Перу, пришедшее к власти в октябре 1968 года, принимает меры, направленные на решение и «проблемы пригородов». Однако рассказы Хулио Рамона Рибейро, посвященные жизни «низов», «дна» — наследия недавнего мрачного прошлого, не теряют своей остроты, актуальности. И то, что было лишь вчера «обычным явлением» в Лиме, остается сегодня «обычным» для многих других столиц Латинской Америки.

Стервятники без перьев

Шесть утра. В этот дивный, лазоревый час город только начинает просыпаться, потягиваться и делать первые шаги. Легкая дымка смягчает очертания предметов, создавая впечатление волшебной нереальности окружающего. Люди, идущие в этот час по городу, кажутся сотворенными из какой-то неведомой субстанции, принадлежащими к иным мирам. Богомолки скорбно бредут к церквам, исчезая в провалах темных портиков. Запоздалые ночные гуляки возвращаются в свои пристанища, прикрыв лицо шарфом и меланхолией. Дворники, вооружившись метлами и тачками, принимаются за свой угренний мрачный ритуал. Кое-где видны позевывающие рабочие. Дремлют, прислонившись к деревьям, полицейские; подрагивают от утренней свежести мальчишки-газетчики; служанки выносят ведра с мусором...

В этот же самый час, как бы подчиняясь некоему таинственному сигналу, выходят на улицы и «стервятники без перьев».

В этот же самый час старый дон Сантос пристегивает свою деревянную ногу и, приподнявшись на тюфяке, командует:

— Эфраин, Энрике! Вставайте! Пора!

Оба мальчика, потянувшись и протирая слипшиеся глаза, спешат к канаве. За ночь вода в ней отстоялась, и хорошо видны юркие головастики да трава в тине дна. Наскоро сполоснув лица, мальчики хватают большие жестяные банки и выскакивают на улицу.

Тем временем дон Сантос подходит к яме и длинной палкой скребет загривок борова, растянувшегося в навозе.

— Самую малость еще не хватает, свинья ты этакая... Но погоди, придет и твой час.

Обычно Эфраин и Энрике задерживались в пути, то залезая на тутовые деревья в поисках ягод, то собирая острые камни, которые, если их еще умело бросить, со свистом рассекают воздух и метко поражают цель. И все же вовремя они успевали добраться до своего «владения» — длинной улицы, застроенной элегантными особняками, фасады которых глядели на набережную.

В этот час мальчики, разумеется, не были одинокими на улицах. В других хибарах и на других окраинах люди в этот час тоже вскакивали с постелей, как по тревоге, торопливо шли в город, кто с банкой, кто с картонной коробкой, а кто и просто с газетой. Не зная друг друга в лицо, они тем не менее являлись членами некой единой подпольной организации, строго поделившими город между собой. Только собаки иногда нарушали границы участков.

После короткого отдыха Эфраин и Энрике приступали к работе. Каждый действовал на своей стороне улицы. Баки с отбросами стояли у дверей домов, выстроившись в одну линию. Надо было высыпать содержимое на землю и внимательно его исследовать. Каждый бак был полон неожиданностей, как «шкатулка с сюрпризами». Попадались и коробки от сардин, и старые ботинки, куски хлеба, дохлые крысы либо грязная вата. Но мальчишек интересовали прежде всего остатки еды.

Там, дома — а точнее, на дне своей ямы — Паскуаль не брезговал ничем, отдавая, правда, некоторое предпочтение чуть подгнившим овощам. Банки ребят наполнялись тухлыми помидорами, кусочками прогорклого жира, замысловатой подливкой, не значащейся ни в одной поваренной книге. Но случалось среди отбросов найти и какую-либо ценную вещь. Как-то раз Эфраину попалась отличная резинка — и он сделал себе рогатку. А то нашел почти не гнилую грушу, которую, конечно, тут же съел. Энрике, наоборот, везло на аптекарские коробочки, флаконы из-под дорогих духов, истертые зубные щетки и другие штуковины, которые он бережно коллекционировал.

После тщательного осмотра мальчишки складывали мусор опять в бак и бежали к следующему дому. Задерживаться нельзя: противник не дремал. Их могла застать за работой служанка, и тогда надо улепетывать. Самым опасным врагом была, конечно, машина, в которую собирали мусор. Ребятам ее появление грозило потерей рабочего дня. Грузовик движется не так уж быстро, однако сопровождающие его рабочие с криками носятся по всей улице, ловко подхватывают баки, опрокидывают в кузов, а порожние с грохотом сбрасывают на мостовую. Эфраин и Энрике стараются обогнать своих соперников. Но грузовики почти всегда выходят победителями.

Когда солнце выглядывает из-за гор, лазоревый утренний час кончается. Богомолки в церквах еще млеют в экстазе; ночные гуляки уже спят, а полицейские, наоборот, пробуждаются; юные газетчики выкрикивают новости; каменщики забрались на леса строек. Солнечные лучи рассеяли волшебство рассвета. И «стервятники без перьев» возвращаются к своим гнездам.

Дон Сантос встречает ребят с горячим кофе.

— А ну-ка, покажите, что принесли! — требует он и нюхает содержимое банок. Если добыча хороша, старик каждый раз твердит одно и то же: — Сегодня у Паскуаля банкет!

Но чаще разражается ругательствами:

— Болваны! Чем занимались? Наверно, баловались, а Паскуаль по вашей милости должен подыхать с голодухи! — И цепко хватает внуков за уши.

Мальчишки, вырвавшись от деда, прячутся в сарае, а старик ковыляет к свинарнику. Боров похрюкивает в глубине своей ямы, пока хозяин готовит ему корм.

— Бедный мой Паскуаль,— бормочет дон Сантос,— сегодня придется тебе поголодать из-за этих бездельников. Только я один и люблю тебя. Дождутся, выпорю их, пусть знают, как надо работать...

К зиме боров превратился в какое-то ненасытное чудовище. Сколько бы его ни кормили, ему все мало. Дон Сантос неистовствовал. Он стал поднимать ребят еще раньше, заставляя обшаривать чужие «владения» в поисках отбросов. Как-то он приказал им идти на городскую свалку, ту, что на берегу моря.

— На свалке можно собрать больше,— сказал он,— к тому же и легче — там все ссыпают в одном месте.

Воскресным утром Эфраин и Энрике подошли к крутому берегу. Машины, подъезжая по грунтовой дороге к обрыву, сбрасывали мусор вниз на каменистый уступ. Сверху свалка казалась темной горой, на которой, будто муравьи, копошились грифы и собаки. Еще издалека мальчишки стали бросать камни, чтобы разогнать конкурентов. Одна собака с визгом убежала. Когда они подошли поближе, в нос ударил тошнотворный запах, проникавший до самой глубины легких. Ноги утопали в месиве из птичьих перьев, помета и гниющих продуктов.

Разбирая руками отбросы, мальчишки искали что-нибудь подходящее. То тут, то там, иной раз в смятой газете, удавалось находить даже недоеденные куски.

Грифы, рассевшись на ближайших уступах, с беспокойством следили за их работой. Самые смелые, перепрыгивая с камня на камень, осторожно приближались к мальчишкам, словно намереваясь их окружить. Чтобы отпугнуть птиц, Эфраин громко кричал, а из-под его ног мелкие камешки срывались и скатывались в море.

После часа работы мальчишки вернулись домой с полными банками.

— Вот это дело! Молодцы! — встретил их дон Сантос.— Надо будет почаще наведываться туда.

С тех пор по средам и воскресеньям Эфраин и Энрике бывали на свалке. Вскоре они вошли как нечто само собой разумеющееся в ее пейзаж, и стервятники, уже привыкшие к ним, копались рядом, своим клекотом будто стараясь известить мальчишек, где надо искать.

Однажды, возвращаясь из такого похода, Эфраин почувствовал боль в подошве — осколок стекла порезал ему ногу. На следующий день нога распухла. Несмотря на это, он пошел на работу, но домой едва-едва дотащился.

Дон Сантос не обратил внимания на заболевшего внука — был занят посетителем. С толстым мужчиной, на руках которого засохли следы крови, они разглядывали борова.

— Я зайду дней через пятнадцать-двадцать,— сказал мужчина.— Думаю, к тому времени он уже будет подходящ.

Когда гость ушел, глаза дона Сантоса сияли счастьем.

— За работу! — кричал он.— За работу! С нынешнего дня надо вовсю пичкать Паскуаля! Дело идет прекрасно!

Однако наутро Эфраин не смог подняться.

— Что случилось с этим дармоедом? — спросил старик, приковыляв к постели Эфраина.

— Ногу порезал,— ответил Энрике.— На стекло наступил.

Дон Сантос осмотрел ногу внука. Она нарывала.

— Хм...— пробормотал он.— Ну, ничего страшного. Вымой ее как следует в канаве и завяжи тряпкой...

— Но она болит,— вступился Энрике,— Эфраин не может ходить.

Старик на мгновение задумался, а в это время из свинарника донеслось хрюканье Паскуаля.

— А у меня? — вспылил он, шлепнув рукой по своей деревянной ноге.— У меня не болит? Мне уже семьдесят, а я все еще работаю. Нечего валандаться! А ну, вставай и завяжи ногу! Потом посмотрим.

Опираясь на плечо брата, прихрамывавший Эфраин вышел на улицу, прихватив по пути жестянку. Не прошло и полчаса, как оба возвратились с почти пустыми банками.

— Больше не могли,— объяснил Энрике.— Эфраин хромает.

Дон Сантос посмотрел на внуков, как бы обдумывая приговор.

— Хорошо же,— сказал он и с мрачным видом почесал бороду. Внезапно схватив Эфраина за шиворот, он потащил его в чулан, служивший спальней.— Больных — в постель! Пусть валяется и гниет на своем тюфяке! — Оглянувшись на Энрике, он закричал: — А ты будешь работать за двоих! Иди сейчас же!

Эфраин свернулся калачиком, пытаясь заснуть, Энрике ушел за помоями, а дед ковылял по двору, бормоча проклятья:

— Дряни! Выкинуть такую штуку, когда дело совсем на мази! Ну, они еще поплатятся за это... Паскуаль! — добавил он, приближаясь к борову.— Паскуаль,— замурлыкал он,— Паскуаль... Паскуалито...

Боров из глубины ямы тупо уставился на квадрат облачного неба и на старого дона Сантоса, подмигивавшего своему любимцу.

Стал накрапывать дождь.

Около полудня Энрике возвратился с полными банками. За ним семенил странный гость — тощий шелудивый щенок.

— Я встретил его на свалке,— объяснил Энрике.— И он сам пришел за мной.

Дон Сантос поднял палку.

— Еще один рот! Ты что, с ума сошел?

Подхватив щенка, Энрике бросился к калитке.

— Не бей его, дедушка,— заплакал он,— я буду за ним ухаживать и кормить буду сам...

Дон Сантос рванулся было за внуком, но увяз деревянной ногой в навозе.

— Никаких собак! — орал он.— Хватит с меня и вас!

Энрике распахнул калитку.

— Если выгонишь собаку, я тоже уйду! — выкрикнул он срывающимся голосом.

Дед остановился. Воспользовавшись заминкой, Энрике снова стал упрашивать:

— Она такая хорошая... И почти ничего не ест... Она будет помогать мне, пока Эфраин болеет... Она хорошо знает свалку, нюх у нее какой!..

Дон Сантос взглянул на небо, подумал. Потом забросил палку, не проронив ни слова, поднял банки с помоями и захромал к свиной яме.

Энрике счастливо улыбался. Он хорошо знал деда: молчание означало согласие. Прижав к сердцу своего нового друга, мальчик побежал к брату.

— Паскуаль... Паскуаль... Паскуалито...— мурлыкал дед.

— Я буду звать тебя Педро,— сказал Энрике, погладив щенка, и вошел к Эфраину.

Но радость его мгновенно улетучилась. Брат — весь в поту — корчился от боли. Нога раздулась, как будто ее накачали воздухом, а пальцы совсем потеряли форму.

— Очень больно? — спросил Энрике, присаживаясь к брату. Эфраин, стиснув зубами соломинку, утвердительно кивнул головой.— Я тебе подарок принес,— прошептал Энрике, показывая брату щенка.— Его зовут Педро. Чтобы тебе не было скучно... Я уйду на свалку, Педро останется с тобой, и вы будете целый день играть. Научишь его приносить в пасти камешки...

— А дед? Что он говорит? — спросил Эфраин, протягивая руку к собаке.

— Ничего не говорит,— ответил Энрике и умолк.

Оба посмотрели на двор. Дождь наконец полил вовсю. Со двора слышался голос деда:

— Паскуаль... Паскуаль... Паскуалито...

В эту ночь на небе появилась луна. Оба внука забеспокоились: в лунные ночи дед становился совершенно несносным. Уже накануне, вечером, они видели, как он кружил по двору, разговаривая сам с собой, стучал палкой по ограде. Иногда подходил к чулану и, заметив притихших внуков, даже не хмыкал, а хрюкал, совсем как боров. Педро боялся его, и всякий раз, как только дон Сантос приближался, собака приседала на задние лапы и замирала на месте.

Еще вечером мальчишки поспорили с дедом из-за кости, которую он вырвал у щенка и отдал Паскуалю.

— Дрянь! Все дрянь!..— повторял он всю ночь, глядя на луну.

Наутро Энрике проснулся тоже больным. Старик, слышавший, как тот кашлял на рассвете, не проронил ни слова, но в глубине души чувствовал, что надвигается катастрофа. Если Энрике заболеет, кто же будет кормить Паскуаля? Эфраин не в счет. Распростертый на своей подстилке, даже свежую зелень жевавший без всякого аппетита, бредивший по ночам, он был не более чем бесполезной вещью.

А прожорливость Паскуаля все росла. Вечерами, разрывая пятачком грязь, он требовательно хрюкал. Даже проживающие за полквартала соседи приходили жаловаться на невыносимое хрюканье.

На второй день неизбежное свершилось. Энрике прокашлял всю ночь, к утру у него начался жар, в груди хрипело, охватил озноб. Когда дед разбудил его, он не смог подняться с постели.

— И ты тоже? — спросил дон Сантос, глядя на внука.

— Простудился я, дедушка,— выдавил из себя Энрике.

Старик в бешенстве выскочил из чулана, но через несколько минут вошел снова.

— Нехорошо! — закричал он.— Нехорошо так обманывать меня!— Он, казалось, готов был заплакать.— Вы знаете, я не могу много ходить — я старый и хромой. Если б не это, я давно бы плюнул на вас и заботился о Паскуале сам.

Эфраин очнулся, продолжая стонать, а Энрике разразился новым приступом кашля.

— Ну и черт с вами! — продолжал дед, распаляясь.— Я сам, сам все сделаю! Вы — дерьмо, дерьмо, и все! Жалкие стервятники без перьев! Я сам насобираю больше, вот увидите! Увидите, что у деда хватит сил! Но знайте, сегодня вам еды не будет! Не дам жрать, пока не подыметесь и не начнете работать!

В открытую дверь мальчишки видели, как дед, схватив банки, выбрался на улицу. Однако через какие-то полчаса он вернулся, еле живой от усталости. С большим трудом насобирал он совсем немного отбросов — не было у него проворства внуков, и машина, увозившая мусор, легко обогнала старика. К тому же его чуть не искусали собаки.

— Гаденыши! — шипел он.— Вы у меня еще узнаете, посидите без еды, пока не перестанете лодырничать!

На следующий день старик попытался повторить операцию, но безуспешно — этот труд был ему не по силам, к тому же у него разболелась поясница. А поутру третьего дня дон Сантос и вовсе не смог подняться с постели и лежал, выкрикивая угрожающе:

— Если он подохнет с голоду, виноваты будете вы!

Потянулись нескончаемые тоскливые дни. Все трое лежали молча, как бы отбывая принудительное заключение. Эфраин ворочался, как заводной, Энрике надрывно кашлял. Только Педро выбегал иногда во двор и возвращался с камнем в пасти, отдавая его своим друзьям. Дон Сантос полулежа занимался своей ногой, временами бросая на ребят убийственные взгляды. Он молчал и, сплевывая на пол, придумывал, как бы отомстить внукам. К полудню он поднимался и ковылял в угол двора, где был небольшой огород, готовил завтрак и один съедал его. Иногда бросал мальчишкам несколько листков салата или морковку, чтобы разжечь аппетит и сделать пытку более изощренной.

Эфраин, у которого уже не было сил даже стонать, погрузился в тяжкое забытье и ни на что не обращал внимания. А Энрике чувствовал, как в его душе растет безотчетный страх. Он смотрел в глаза деда и не узнавал их, словно они потеряли человеческое выражение. По ночам, когда всходила луна, он брал Педро к себе в постель и ласково

гладил его, пока тот не начинал довольно урчать,— и тогда дед чертыхался, будто ему бередили рану. Иногда старик пристегивал свою ногу и выходил во двор. При свете луны Энрике было видно, как дед бродил взад-вперед от свинарника к огороду, сжав кулаки, отшвыривая в сторону все, что попадалось на дороге. Выбившись из сил и, быть может, оглохнув от непрерывного голодного хрюканья борова, он возвращался в чулан и тяжелым неподвижным взглядом смотрел на Энрике, как бы взваливая на него ответственность за голодовку Паскуаля. Энрике отворачивался к стенке, однако внимательно прислушивался к дыханию деда, ожидая от старика самой невероятной выходки.

В последнюю лунную ночь в доме не спал никто. Хрюканье Паскуаля перешло в сплошной рев. Энрике вспомнил, как кто-то рассказывал, что голодные свиньи могут взбеситься — совсем будто люди.

Старик метался по каморке. Света не гасил, во дворе не показывался, только по-прежнему бормотал проклятья. Иногда он ложился на свой тюфяк и неподвижно смотрел на дверь. Казалось, гнев поднимается и пенится в нем, словно тесто, а он раскатывает его и формует, чтобы потом с силой выбросить наружу. Когда небо над горами начало светлеть, дон Сантос приподнялся на постели, раскрыл рот и что-то прорычал.

— С этим надо кончать! — выговорил он наконец членораздельно.— Хватит! До каких пор будете валяться? — И подскочил к внукам.

Энрике юркнул под одеяло и прижал к себе Эфраина. Педро с визгом выскочил во двор.

— Подымайтесь, бездельники! — Дон Сантос схватил палку.— Встать!.. Встать!.. Встать!..— Посыпались удары.

Эфраин захныкал, не понимая, что происходит. Энрике привстал, держась за стенку. Глаза деда гипнотизировали его, он не ощущал никакой боли, только видел, как палка то поднималась, то опускалась на его плечи, словно картонная. Наконец ему удалось крикнуть:

— Эфраина не бей! Он не виноват! Отойди, дай я оденусь и пойду за помоями.

Дед остановился, переводя дыхание. Отдышавшись, выдавил:

— Сейчас же... за помоями! Две банки!.. Три!..

Энрике выбежал из чулана и схватил банки. От голода и болезни он ослаб, его шатало. Когда он открыл калитку на улицу, Педро тоже хотел выскочить за ним.

— А ты не ходи,— погладил Энрике собаку.— Ты оставайся, охраняй Эфраина! — И выскочил на улицу, глотая свежий утренний воздух.

По дороге он рвал и ел траву — он готов был жевать даже землю. Окружающее ему виделось словно сквозь какой-то туман. Не ощущая под собой ног, он летел как птица. И на свалке он чувствовал себя птицей — грифом без перьев среди других грифов, настоящих. А когда возвращался назад с полными банками, плечи болели — палка деда все же не была картонной.

Богомолки, ночные гуляки, босые мальчишки-газетчики, как темные соки города, разбуженные зарей, начинали растекаться по улицам. Энрике, возвратившийся в свой привычный мир, шагал среди них счастливый, весь во власти очарования этого лазоревого часа.

Только вошел он к себе во двор, в нос ему ударил такой плотный устоявшийся запах, что он даже остановился. Казалось, здесь, перед забором кончался один мир и начинался другой — из грязи, хрюканья, наказаний. Но больше всего его поразила странная тишина, царившая во дворе, как будто все бушевавшие тут страсти застыли, балансируя на натянутой до предела струне. Дед, облокотившись на забор, смотрел в свиную яму. Он казался деревом, растущим из деревяшки

своей ноги. На шум, вызванный приходом Энрике, он не обратил внимания. Мальчик крикнул:

— Дедушка, я принес полные банки!

Дон Сантос повернулся к нему спиной и снова замер. Энрике заподозрил что-то неладное, бросил банки и побежал в чулан. Эфраин, не заметив его, стонал.

— Педро... Педро...— звал он.

— Что случилось? — подбежал к нему Энрике.

— Педро...— пробормотал Эфраин.— Педро укусил деда, а дед схватил палку... Потом я слышал, как Педро визжал...

— Педро! — крикнул Энрике, выскакивая из чулана.— Где ты, Педро? Педро, ко мне! Ко мне, Педро!

Никто не ответил. Дед продолжал неподвижно стоять, глядя на свинью. Энрике почувствовал недоброе. Одним махом он подскочил к старику.

— Где Педро? — крикнул он, и вдруг его взгляд упал на свинарник. Паскуаль, утопая в грязи, что-то жрал. А вот стали видны лапы, хвост.

— Нет! — закричал Энрике, закрывая лицо ладонями.— Нет, нет! — И сквозь слезы попытался заглянуть в глаза деда.

Старик потупился, бессмысленно уставившись на свою деревянную ногу. Энрике чуть не приплясывал вокруг деда, ухватив его за рубаху, кричал, топал ногами, все время пытаясь заглянуть ему в глаза, чтобы увидеть в них хоть какое-нибудь объяснение.

— Зачем ты сделал? — взвизгнул он.— Зачем? Зачем?!

Дед угрюмо молчал. А потом вдруг с такой силой отшвырнул внука, что тот полетел на землю. Но и с земли Энрике продолжал пристально смотреть на старика, возвышавшегося над ним горой. Какая-то тяжесть сдавила мальчику грудь, перехватила дыхание. Он протянул руку и нащупал валявшуюся рядом палку, конец которой был испачкан в крови. Опираясь на нее, поднялся, на цыпочках подкрался к деду.

— Повернись! — крикнул он.— Повернись!

Как только дон Сантос обернулся, палка, просвистев в воздухе, ударила его по лицу.

— Вот тебе! — крикнул Энрике и поднял палку снова. И вдруг остановился, сам испугавшись того, что делает. Отбросив палку в сторону, он посмотрел на деда чуть не с жалостью. Старик, прикрыв глаза рукой, оступился, его деревяшка увязла в сырой земле, и он, как-то жалобно всхлипнув, повалился спиной в яму к свинье.

Энрике попятился. Пот катил с него градом, кровь стучала в висках. Он прислушался, но все было тихо. Тогда он подкрался к краю ямы. Дед со сломанной деревянной ногой лежал навзничь в навозе. Рот его был открыт, глаза косили на Паскуаля, который стоял в углу и подозрительно нюхал землю. В голове мальчика все шло кругом. Он не знал, что же теперь делать — спуститься ли в свинарник, забросать борова камнями или кричать. Наконец он стал потихоньку отходить назад — с той же осторожностью, с какой приблизился к яме. Дед, очевидно, заметил его — когда мальчик бросился бежать к чулану, ему показалось, будто кто-то окликнул таким жалобным голосом, которого он никогда не слышал:

— Энрике! Помоги...

— Быстрей! — приказал Энрике, подбегая к брату.— Быстрей, Эфраин! Старик в яме! Нам надо уйти. Мы должны убежать как можно быстрей, не то будет поздно.

— А куда? — спросил Эфраин, который никак не мог прийти в себя.

— Все равно куда. На свалку, там хоть поедим чего-нибудь. К грифам.

— Я не могу встать, Энрике...

— Давай руку, я помогу!

Энрике обеими руками обхватил брата и прижал его к себе. Так, обнявшись, словно составляя единое целое, они медленно пересекли двор. Открыли они калитку на улицу, и стало им ясно, что лазоревый утренний час уже кончился — город, проснувшийся, бурлящий жизнью, распахнул перед ними свою гигантскую пасть.

Из ямы доносились звуки схватки...

У подножия обрыва

Мы — будто клещевина, будто этот дикий кустарник, который вылезает из земли и лезет-лезет по самым бесплодным, самым крутым склонам. Взгляните, как он растет на песчаных дюнах и в руслах пересохших ручьев, в канавах, на свалках. Он ни у кого не просит помощи — чтобы выжить, ему просто нужен лишь кусочек пространства. Его не щадят ни солнце, ни соленые морские ветры, его топчут люди и давят трактора, но упрямые кусты разрастаются — и вширь и ввысь, питаясь лишь камнями и мусором. Потому-то я и говорю, что мы — будто клещевина. Мы — люди простые. Там, где наш брат, житель побережья, найдет побеги клещевины, там и строит себе жилище — понимает, что здесь тоже можно выжить...

Мы обнаружили клещевину на дне глубокого оврага близ старых купален «Магдалена». Как бандиты, бежали мы из города, потому что судебные исполнители и полиция гоняли нас из одного предместья в другое, из трущобы в трущобу. А вот увидели жалкий кустик, торчавший среди развалин, среди сухой травы, в кучах камней, и решили ставить здесь нашу лачугу.

Люди говорят, что здешние купальни были модны еще в те времена, когда мужчины ходили в полусапожках, а женщины купались в рубашках. Тогда еще не было пляжей Агуа Дульсе и Ла Эррадура. Говорят также, что позже хозяева «Магдалены», не выдержав конкуренции новых пляжей, а также здешнего безлюдия и запустения, ушли отсюда, захватив с собой все, что можно было захватить: двери, оконные рамы, балюстрады, трубы. Время завершило остальное. Поэтому когда мы пришли, то увидели лишь развалины и среди развалин — кустики клещевины.

Вначале мы даже не знали, можно ли здесь найти какое-нибудь пропитание, и бродили по берегу, собирая раковины и моллюсков. Потом стали собирать улиток — их называют здесь «муи-муи» — и варили из них сытную, даже пьянящую похлебку. Еще позже, не помню точно когда, примерно в километре отсюда нашли небольшую бухту, где мы с моим старшим сыном Пепе наладили рыбную ловлю, а младший, Торибио, готовил нам обед. Понемногу мы освоили это ремесло, купили лески, крючки и стали рыбачить по-настоящему, вылавливая тойо, робато, бонито, а улов продавали на рынке у пристани Санта Крус.

Вот так, втроем, и начинали: я и двое моих сыновей. Никто нам не помогал. Никто не дал ни гроша, да мы ни у кого и не просили.

И спустя год у нас на дне оврага уже появился свой дом, и нам было наплевать на то, что там, наверху, раздвигал свои границы город, обогащаясь дворцами и полицейскими участками. Так здесь, на солончаке, мы пустили корни.

Надо признаться, жизнь наша была тяжеловата. Иногда я думал, что святой Петр, заступник людей моря, помогает нам. А иногда мне казалось, что именно он издевается над нами, повернувшись к нам своей широкой спиной.

Как-то утром Пепе прибежал к дому — а у самого волосы дыбом, будто увидел дьявола. Я не на шутку испугался. Он примчался оттуда, где по склону оврага просачивается вода, схватил меня за руку, потащил к откосу, у подножия которого стоял наш дом, и показал на огромную трещину, доходившую до самого берега. Мы не знали, как она появилась и когда,— важно, что она была. Я смерил палкой ее глубину и присел на камни — обдумать случившееся.

— Дураки мы, дураки,— ругал я себя.— Как это нас угораздило построить дом в этом месте. Теперь-то ясно, почему никто другой не хотел селиться на этом уступе. Овраг со временем все больше и больше осыпается. Может, не сегодня и не завтра, но в один прекрасный день все поползет вниз и засыплет нас, как тараканов. Нет, надо уходить отсюда!

В то утро мы обошли весь берег. Я говорю «берег», но нужно видеть, что это за берег — узкая бровка между морем и крутым обрывом. Когда море волнуется, волны захлестывают эту кромку земли и бьют под основание обрыва. Потом мы поднялись вверх по оврагу, который тянется к городу, но и там не нашли подходящего места. Овраг был узкий, как ущелье, весь замусорен, да к тому же изрыт машинами, вывозившими отсюда камень.

Правду сказать, я стал было совсем отчаиваться. Но сын мой Пепе подал идею.

— Вот что,— сказал он,— надо соорудить опору, чтобы сдержать оползень. Поставим деревянные щиты, подопрем их столбами — и уступ останется на месте.

Несколько недель шла работа. Мы вытаскивали из-под камней дерево от старых пляжных кабин. А когда набрали его достаточно, поняли, что для крепления понадобятся еще и железные опоры. В городе с нас хотели содрать три шкуры за каждый кусок рельса. Рядом, однако, было море. Никто не знает, что в нем скрыто. Так же, как ранее оно давало нам рыбу, моллюсков, обтесанные камни и йод, обжигавший кожу, море дало нам и железо.

Еще только придя сюда, мы заметили эти черные балки, торчавшие из воды во время отлива, метрах в пятидесяти от берега. Думали, что какой-то корабль в давние времена затонул здесь. Оказывается, нет. Это были три баржи, на которых привозили материалы для постройки волнореза у старого пляжа. Двадцать лет волны ворочали их, опрокидывали, затягивали песком. Деревянная обшивка была сорвана или сгнила (хотя и теперь еще вокруг плавали щепки), а балки выступали из-под воды, как рифы.

— Надо вытащить это железо,— сказал я, обращаясь к Пепе.

С раннего утра ныряли мы в море и плавали около барж. Это было опасно: волны — одна другой выше — налетали, образуя водовороты, пенясь при ударах о балки. Но мы упрямо делали свое дело: обдирая в кровь руки, выдергивали с морского дна и тащили на веревках от самого берега ржавое железо. Потом мы его очистили, покрасили, после чего стенку из бревен, напротив трещины в обрыве, подперли

железными балками. Таким образом, наш дом был защищен от обвалов. Когда мы увидели, что оползень остановился у поставленной нами преграды, мы сказали:

— Какое бы ни было настроение у святого Петра, теперь даже землетрясение нам не страшно.

Понемногу дом наш обзаводился живностью. Сначала появились собаки — из тех тощих бродячих псов, что город выбрасывает на улицу, как и людей, которые не могут оплатить свое проживание в нем. Не знаю, что привело собак сюда: то ли почуяли они запах кухни, то ли явились к нам просто потому, что собакам, как и многим из нас, чтобы жить, нужен хозяин.

Первая собака прибежала со стороны пляжа, от рыбацкой бухты. Мой сын Торибио, парень нелюдимый и молчаливый, накормил ее, и с той поры собака не отходила от него. Позже с горы спустилась немецкая овчарка, такая злая, что ее приходилось сажать на привязь всякий раз, когда заглядывал кто-нибудь чужой. Потом явились еще две грязные, ни к чему не пригодные дворняжки, готовые на все за жалкую кость. Неизвестно откуда взялись три полосатые кошки, целыми днями лазившие по оврагам в поисках мышей и змей. Всю эту «скотину» мы пытались прогонять камнями и палками — нам и так стоило большого труда содержать в чистоте наше жилье. Но изгнанные возвращались снова и снова, не обращая внимания на наши угрозы. И нужно было видеть, как преданно сияли их морды.

Каким бы черствым ни был человек, униженность других его смягчает. Одним словом, вся эта история кончилась тем, что мы оставили животных у себя.

В те же дни у нас оказался и сосед. Это был мужчина, притащивший в мешке свою палатку.

Он пришел как-то неожиданно — под вечер, без шума, будто знал все овраги и канавы вокруг. Сначала нам представилось, что он немой или чересчур замкнутый человек: сам не говорил ни слова и на наши вопросы не отвечал, целыми днями бродил по берегу, собирая морских ежей и растаптывая медуз. Только спустя неделю раскрыл рот. Мы жарили рыбу на террасе, кругом стоял приятный запах свежего завтрака. Чужак подошел со стороны моря и остановился, глядя на мои ботинки.

— Давайте я починю их,— сказал он.

Сам не зная почему, я отдал, и за несколько минут он с ловкостью, заставившей нас разинуть рты, заменил дырявые подошвы.

В ответ я пододвинул к нему сковородку. Незнакомец взял руками один кусок, потом другой, третий, глотая рыбу с такой поспешностью, что подавился костью, и мы должны были дать ему горбушку хлеба и хлопать по спине, чтобы выбить кость из горла.

С того дня он стал работать у нас при доме, хотя ни я, ни мои сыновья не просили его об этом. Сначала приделал запоры к дверям, потом наточил наши рыболовные крючки, затем из пальмовых стволов смастерил водопровод, подававший в дом воду от родников. Его мешок казался бездонным — из него он вытаскивал самые удивительные инструменты, а те, которых у него не было, делал сам изо всякого хлама, подобранного на свалке. Все, что было неисправно, он исправлял, а совсем негодное превращал в нужную вещь. Дом наш стал богатеть, заполняться мелкими и крупными предметами — полезными или красивыми,— и только благодаря этому человеку, горевшему желанием пере-

делывать все. За свою работу он никогда ничего не просил: довольствовался куском рыбы и тем, что мы не расспрашивали его ни о чем.

Наступило лето, а нам было известно лишь имя этого человека — Самуэль.

Летом наш обрывистый склон несколько оживал. Бедняки, которым не по карману было ходить на большие песчаные пляжи, спускались по откосу, чтобы просто искупаться в море. Я видел, как они пересекали площадку, на которой стоял наш дом, и разбредались по каменистому берегу, комфортабельно располагаясь среди морских ежей на пеликаньих перьях, словно на самой удобной лужайке. Больше всех здесь было детей рабочих, учащихся муниципальной школы, распущенных на каникулы, а также ремесленников с окраин. Они нежились на солнце до самого заката. А возвращаясь и проходя мимо нашего дома, кричали:

— Чего-то ваш пляж грязноват! Надо бы привести его в порядок!

Я не люблю, когда меня ругают, но мне нравилось, что люди называли пляж моим. Потому я и решил немного прибраться на нем. Несколько дней по утрам мы с Торибио бродили по берегу, собирая бумажки, шелуху и ветки кустарников, которые, высыхая, оставляли свои шипы среди камней.

— Вот и хорошо,— стали говорить купальщики,— так-то оно лучше.

Потом я построил навес, чтобы люди могли передохнуть в тени. Самуэль сделал углубление для родниковой воды и выложил из камня четыре ступеньки на самой крутой части подъема.

Число посетителей стало расти. Разнеслись слухи:

— Берег там чистый, есть навес для тени — и все бесплатно.

В летний полдень собиралось больше сотни народу. Вот тогда-то мне и пришло в голову брать с них плату. Честно говоря, так не было задумано заранее — просто меня как-то вдруг осенило.

— Это ведь справедливо,— убеждал я людей.— Мы сделали для вас лестницу, поставили навес, даем воду для питья, а кроме того, чтобы попасть на пляж, вы проходите через наш двор.

— Мы стали бы платить,— отвечали купальщики,— если б было, где раздеваться.

На берегу еще сохранилось несколько кабин от старого пляжа. Мы очистили их от цемента и мусора и соорудили дюжину раздевалок.

— Ну, теперь все в порядке,— говорил я.— Плата за вход всего десять сентаво. Где за такую цену...

Купальщики смеялись:

— Не хватает еще кое-чего. Надо бы повыдергивать вон те железки, которые торчат в море. Неужели не видно, что здесь нельзя плавать? Что это за купание у самого берега? Нет, так не пойдет.

— Будь по-вашему,— отвечал я.— Мы их вытащим.

И несмотря на то, что лето уже прошло и купальщиков становилось все меньше, мы с Пепе стали работать изо всех сил, чтобы очистить море от железных прутьев и всякого лома. С этим делом мы уже были знакомы с той поры, когда добывали балки для закрепления склона. Но теперь надо было убрать все, даже то, что пустило под водой корни. Вооружившись баграми и ломами, мы налетали на них, будто это были акулы. Целые дни проводили в воде, удивляя посторонних, иногда приходивших этой осенью к морю, чтобы полюбоваться закатом.

— Что вы делаете? — спрашивали они.— Часами торчите под водой, и все из-за какого-то ржавого железа...

В этой борьбе с морем и железом Пепе, казалось, нашел настоящее мужское призвание. Торибио, наоборот, смотрел на работу так же, как те посторонние, без какого-либо вдохновения. Море не интересовало его. Глаза его замечали только городских людей. Меня всегда беспокоило то, как он смотрит на них, как уходит за ними вслед и возвращается вечером с карманами, набитыми металлическими пробками от бутылок, перегоревшими лампочками или другой ерундой, которая, как ему представлялось, была признаком высшей жизни.

Когда пришла зима, Пепе все еще возился в море с железным ломом. Дни были серые, с утра опускался туман, полз по оврагу и окутывал город. Вечерами огни набережной теряли четкие очертания и, если смотреть снизу, с берега, сливались в молочно-белую полосу, протянувшуюся от мыса до Морро Соляр.

Самуэль дышал тяжело в такую погоду и повторял, что сырость убьет его.

— А мне, наоборот, туман нравится,— говорил я.— Вечером как-то оживаешь и чувствуешь удовольствие, вытягивая из воды снасть.

Но Самуэль задыхался от кашля и однажды вечером объявил, что перебирается повыше, на ту площадку, которую рабочие, добывавшие камень, сплошь изрыли ямами.

Туда он и стал таскать камни для своего нового дома. Он любовно подбирал их на берегу по форме и цвету и на спине нес вверх по склону, что-то напевая и останавливаясь каждые десять шагов, чтобы отдышаться. Мы с ребятами удивленно наблюдали за его работой. Между собой мы шутили, что, пожалуй, Самуэль так может очистить весь берег от... камней. Когда первые стаи перелетных птиц с криками пронеслись на горизонте, он уже воздвигал стены своего дома. А Пепе к тому времени тоже заканчивал работу. Только метрах в восьмидесяти от берега еще оставался скелет баржи, и его невозможно было сдвинуть с места.

— Не старайся зря,— говорил я ему.— Чтобы вытащить, нужен кран.

Тем не менее Пепе, возвратившись с рыбалки или с рынка, опять плыл к этому каркасу, балансировал на железных рейках или нырял, отыскивая место, где ловчее было ударить. Домой он приплывал поздно вечером смертельно усталый, но все же утверждал:

— Вот не останется ни одной железки, и купальщики будут приходить сюда сотнями. Деньги тогда польют дождем.

Странно, в тот день я не ощущал никаких предчувствий, даже снов плохих не видел. Я был настолько спокоен, что по возвращении из города даже задержался наверху — потолковать с Самуэлем, который прилаживал крышу к своему дому.

— Скоро начнут прибывать новые жители,— сказал Самуэль, указывая на камни, положенные на земле.— Видел сегодня народ здесь... Оставили эти камни как знак. Мой дом первый, но скоро то же будут делать и другие.

— И к лучшему,— сказал я.— Не надо будет таскаться в город, чтобы продавать рыбу.

Стало темнеть, я спустился к себе. Торибио бегал по площадке и все смотрел на море. Солнце уже зашло, только у горизонта оставалась еще оранжевая полоса, она проходила за островом Сан Лоренсо и тянулась куда-то к северу. Может быть, это и было знамение, которого я не дождался.

— Что-то Пепе не видно,— сказал Торибио.— Он уже давно ушел в море, но я не вижу его. Поплыл с ножовкой и ломом.

И тут я почувствовал страх, он неудержимо сдавил мне горло. Но я взял себя в руки.

— Наверно, нырнул,— говорю.

— Столько времени он не продержался бы под водой,— ответил Торибио.

И снова страх охватил меня. Напрасно я вглядывался в море, чтобы отыскать скелет баржи. И оранжевой полосы уже не было видно. Крупные волны шли чередой, вздымались у берега и тяжелыми молотами били под основание нашей площадки.

Чтобы собраться с мыслями, я сказал:

— Может, он поплыл к бухте.

— Нет,— ответил Торибио,— я видел, как он плыл к барже. Несколько раз высунул голову, чтобы передохнуть. А потом солнце село, и ничего уже не было видно.

Тут я стал раздеваться, все быстрее и быстрее, обрывая пуговицы на рубашке и шнурки на ботинках.

— Беги за Самуэлем! — крикнул я, бросаясь в воду.

Я плыл, а все вокруг было черно: черная вода, черное небо, черный берег. Плыл вслепую, врезаясь в волны, и сам не знал, чего хочу. Я задыхался, холодные потоки били по ногам, а мне казалось, что это огромные рыбы мечутся в поисках добычи. Наконец я понял: дальше плыть нельзя, ничего не видно, и в любой момент можно напороться на железо, торчащее под водой. Мне было стыдно, но я повернул обратно. Пока плыл к берегу, зажглись огни набережной, образуя как бы ожерелье вокруг меня. Теперь я уже знал, что надо делать. На берегу ждал Самуэль.

— К бухте! — крикнул я.— Бежим к бухте!

Мы оба бросились по темному берегу. Я чувствовал, как камни режут мои босые ноги. Самуэль остановился, чтобы предложить мне свои ботинки, но я ничего не хотел слушать, даже обругал его. Смотрел только вперед, отыскивая фонари рыбачьих лодок. А под конец свалился от усталости и остался лежать на берегу. Не было сил подняться. Я даже заплакал от досады. Самуэль подтащил меня к морю и несколько раз окунул в холодную воду.

— Осталось немного, Леандро, смотри, уже видны огни.

Не помню, как мы добежали. Некоторые рыбаки уже вышли в море. Другие готовы были отплыть.

— Умоляю! На коленях умоляю! — закричал я.— Никогда я не просил ни о чем, но сейчас — умоляю. Мой старший сын Пепе вот уже час как не возвращается с моря. Надо искать его.

Наверно, чтобы затронуть сердца мужчин, надо говорить как-то по-особому. В тот раз я сразу понял, что все они были со мной. Рыбаки окружили меня, задавали вопросы, дали выпить спиртного. Побросали на берегу свои сети и веревки. Тот, кто уже отплыл, заслышав крики, возвратился назад.

Мы пошли на одиннадцати баркасах по направлению к «Магдалене», зажженными факелами освещая воду. Когда приблизились к барже, баркасы стали в круг. Одни из нас держали в руках факелы, другие ныряли. До полуночи плавали под водой. Свет факелов не доходил до дна, мы наталкивались друг на друга, наплывали на железные ребра баржи, но так ничего и не нашли — ни лома, ни матросского берета Пепе. Я-то не чувствовал усталости и готов был искать до утра. Но другие были, конечно, правы:

— Его, должно быть, уже отнесло волнами. Теперь надо искать там, за отмелью.

Вот так, с чем пришли, с тем мы и уходили. В руках Самуэля был длинный шест, он опускал его в воду всякий раз, как только казалось, будто там что-то виднеется. Баркасы возвращались один за другим, делая большие круги. Я чувствовал себя идиотом, меня подташнивало, вероятно, от выпитого спиртного. Посмотрев в сторону наших оврагов, за парапетом набережной, я различил автомобили и чьи-то головы.

— Чертовы зеваки,— пробормотал я,— они, очевидно, думают, что у нас здесь праздник и факелы зажжены ради развлечения.

Разумеется, им невдомек, что я разрывался на части и готов был выхлебать всю воду из моря, лишь бы найти сына.

— Прежде, чем его съедят акулы...— повторял я машинально.— Прежде, чем его съедят...

К чему плакать? Слезы не убивают, не кормят. Рыбакам я сказал:

— Море дает, море и берет.

Я не хотел его видеть.

Кто-то нашел его: он плавал животом кверху в сверкающем солнцем море. Это было уже на следующий день. Все утро мы бродили по берегу. Потом тут же на камнях я, смертельно усталый, присел и даже немного вздремнул, пока полуденный жар не разбудил меня. Вдруг услышал крики: «Он здесь!» В воде что-то темнело. Волны постепенно прибивали что-то темное к берегу.

— Это он,— сказал Торибио.— Штаны его.

Люди бросились в море. Я смотрел, как они не то шли по дну, не то плыли навстречу волнам,— смотрел и не испытывал ничего. По правде говоря, у меня уже не было сил. Я даже двигаться не мог. Вздувшееся тело покачивалось на волнах, и люди, окружившие его, стали подталкивать труп. Потом мне передали, что он был синий-синий, весь искусанный акулами. Только подогнали его ближе, я повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. И, также не оглядываясь, крикнул:

— Похороните его на берегу, среди колокольчиков. (Он всегда любил эти цветы, растущие по оврагам, эти скромные цветы, которые никого не радуют и которые никому бы не хотелось иметь даже на собственных похоронах.)

Но меня не послушались. Его похоронили на кладбище в Суркильо.

Потерять сына, уже взрослого, работавшего, все равно что потерять ногу, все равно что птице потерять крыло. Несколько месяцев я чувствовал себя вышибленным из жизни. Но жизнь требовала своего — столько всяких забот... Пришла пора плохих уловов, море стало скупым. На промысел уходили лишь те, у кого была лодка, да и они возвращались по утрам с воспаленными глазами и несколькими рыбешками в сети — едва хватало на похлебку.

Я разбил вдребезги статуэтку святого Петра. Но Самуэль склеил ее и поставил у входа в мой дом. Под ней он укрепил кружку, и люди, проходившие через мой двор, видели фигурку своего заступника — все они были рыбаками — и бросали в кружку кто пять, кто десять сентаво. Так с грехом пополам мы дотянули до лета.

Я сказал «лето» лишь потому, что все на свете должно как-то называться. А ведь в нашем краю все месяцы одинаковы, только иной раз больше бывает туманов, а в другое время солнце печет сильнее. А так все одинаково. Говорят, что мы живем в вечной весне. Для меня времена года различаются между собой не по солнцу и не по дождям, а по пере-

летным птицам и рыбе, которая то уходит, то возвращается. Жить вообще не легко, а порой бывает труднее — вот и все.

Как раз и это лето было трудным, пасмурным. Не жарко — и люди не идут купаться. У входа на пляж я повесил объявление: «Кавалеры — 20 сентаво, дамы — 10». Люди, конечно, платили, но людей-то можно было по пальцам пересчитать. Кто заглядывал, так наскоро окунался и потом дрожа бежал наверх, чертыхаясь на ходу, будто я был виноват, что солнце не грело.

— А железа в воде больше нет! — кричал я им вслед.

— Так-то оно так,— отвечали мне,— да вода больно холодна!

Как раз в то лето произошло еще одно важное событие: в верхней части оврага начали строить дома. Самуэль оказался прав. Сначала здесь появились те, кто когда-то оставил камни, а за ними последовали другие. Приходили в одиночку и группами, разглядывали уступ, спускались вниз по откосу, ходили вокруг моего дома. Вдыхали морской воздух. Снова поднимались в гору, посматривая вверх и вниз, куда-то показывали руками, что-то обдумывали, а потом вдруг начинали торопливо сооружать жилье, используя то, что попадалось под руку. Строили хибары из картона, распрямленных консервных банок, камней, хвороста, мешковины, рогожи — изо всего, что могло прикрыть кусочек земли и отделить его от остального мира.

Не знаю, чем жил этот народ. В рыболовстве они не смыслили ничего. По утрам одни мужчины уходили в город, другие ложились у дверей своего жилья и посматривали, как летают голуби. Женщины же все время чем-то были заняты. Под вечер они спускались к морю, стирали белье.

— Вам повезло,— говорили мне женщины.— Вы сумели выбрать хорошее местечко для своего дома.

— Хе, я уже три года, как живу здесь. У меня сын утонул в море. А второй вот ничего не хочет делать. Мне бы тоже надо завести женщину, чтобы не так холодно было ночью,— отвечал я.

Но они все были замужем, не то имели сожителей. Сперва мои слова они просто пропускали мимо ушей, а потом даже стали посмеиваться. Чтобы как-то жить, я стал поторговывать разной мелочишкой. Так прошел еще год.

Август — месяц ветров, и мальчишки носятся по открытым площадкам, запуская бумажных змеев. Кое-кто из ребят забирается даже на старые индейские могильники — чтобы змеи поднимались выше. Мне всегда было грустно смотреть на их игру: нитка в любой миг может оборваться, и змей, чудесный разноцветный змей с длинным хвостом, повиснет на проводах или затеряется на чьей-нибудь крыше.

Так и у меня с Торибио. Я едва удерживал его тонкой ниткой и не мог не заметить, что он все более и более отдаляется от меня, я вот-вот совсем потеряю его из вида. Разговаривали мы все реже. Я убеждал себя: «Не моя вина, что он живет здесь, в овраге. У него, по крайней мере, есть крыша над головой, есть кухня. А ведь у многих даже дерева своего нет, под которым можно переночевать». Но Торибио не понимал этого, его взгляд был устремлен на город. Никогда ему не хотелось рыбачить, и он обычно говаривал: «Что-то нет желания утонуть». Он предпочитал уходить с Самуэлем в город и помогать ему ремонтировать бассейны для плаванья, вставлять стекла, чинить трубы. На заработанные деньги он покупал билеты в кино или приключенческие журналы: Самуэль научил его читать.

Мне не нравилось его бродяжничество, и как-то я сказал ему:

— Если тебя так притягивает город, изучи какое-нибудь ремесло и поступай на работу. Тебе уже восемнадцать лет. А содержать бездельников я не хочу.

Это, конечно, было ложью — я стал бы его содержать всю жизнь, не только потому, что он был моим сыном, но главное, чтобы не остаться одному. Вечерами мне не с кем было поговорить. Если светила луна, мои глаза невольно обращались к морю и отыскивали каркас затонувшей баржи, будто какой-то голос меня звал из этого каркаса.

Однажды Торибио мне сказал:

— Если б ты отдал меня в школу, теперь у меня была бы специальность и я мог бы зарабатывать на жизнь.

Вместо ответа я отлупил парня — его слова задели меня за живое. Несколько дней после этого он не появлялся дома. Потом, ни слова не говоря, вернулся и какое-то время опять ел мой хлеб и спал под моей крышей, но с тех пор уже ежедневно уходил в город — правда, вечером всегда возвращался. Я не хотел его спрашивать ни о чем, хотя предполагал: раз возвращается, значит неспроста.

Глаза мне раскрыл Самуэль: «Он приходит из-за Делии, дочери портного». Эту Делию я сам не раз приглашал посидеть у меня во дворе, угощал лимонадом. Среди других женщин, проходивших мимо моего дома к морю, я выделял ее — пухленькую, живую и веселую, как козочка. На меня она, конечно, не смотрела, зато поглядывала на Торибио. Понятно, я годился ей в отцы, был худым, будто меня вымочили в рассоле, и морщинистым — от постоянного прищуривания на солнце.

Они встречались тайком в укромных уголках, которых столько было вокруг: во вьющихся кустарниках или в гротах, вымытых в обрыве родниками. Чему быть, того не миновать. Как-то утром Торибио ушел в город. Вместе с ним исчезла и Делия. Портной в бешенстве прибежал ко мне, сначала грозил полицией, но кончил тем, что расплакался. Это был бедный старик, почти слепой, зарабатывавший починкой одежды жителям поселка.

— Я вырастил сына здоровым,— сказал я, рассчитывая утешить старика.— Правда, он пока ничего не умеет, но жизнь научит его работать. Кроме того, если они подойдут друг другу, то поженятся, как велит нам бог.

Портной успокоился. Я догадался, что Делия была ему в тягость, а кричал он просто для порядка. После этого с женщинами, спускавшимися к морю стирать, он посылал мне миску, чтобы я налил ему немного супа.

Что правда, то правда — грустно остаться одному, только с собаками да кошками. Люди утверждают, будто я беседую с животными, с домом и даже с морем. Это, конечно, враки — болтают так из зависти. Одно точно: возвращаясь из города, я выходил на берег и кричал, а эхо, к моему удовольствию, раскатывалось по обрывам.

Для себя я все делал сам: рыбачил, варил, стирал белье, продавал улов и прибирал двор. Наверно, всему этому научило меня одиночество. Иногда я подолгу рассматривал свои руки: я знал на них каждую морщинку, каждый шрам. А то глядел на закаты и даже научился понимать, что каждый предвещает. Летние закаты для меня были праздником. По яркости красок я мог угадать, как они будут угасать, какие цвета станут сменять один другой, или по оттенкам облаков определять, где погаснет последний луч.

Несмотря на то, что работы было немало, у меня оставалось свободное время, которое уходило на пустую болтовню. Вот тогда-то я и решил построить лодку. Позвал Самуэля, и мы вместе пошли в бухту к рыбакам — посмотреть на их суденышки. Самуэль сделал зарисовки и сказал, какое дерево нужно для постройки. В ту пору мы подолгу разговаривали с ним. Он расспрашивал меня о Торибио и говорил:

— Хороший парень. Жаль вот, связался с бабой. На кой шут они нам нужны? Только накликают на нас проклятья...

Строительство шло быстро, мы уже сделали носовую часть лодки. Было приятно работать на берегу, курить, рассказывать всякие истории и делать то, что требовало от тебя море. Когда женщины приходили стирать белье — а их становилось все больше,— они поговаривали:

— Дон Леандро, хорошее дело вы задумали. Ох, как нужно, чтобы и вы рыбачили в море и привозили нам рыбу подешевле.

А Самуэль замечал:

— Верхняя площадка уже битком набита. Похоже, там никто больше не уместится, а народ все прибывает. Скоро, пожалуй, будут строить дома по самому откосу и дойдут до воды.

И правда. Как поток, стекал поселок по склону.

Если лодка осталась недоделанной, то это лишь потому, что тем летом произошли неожиданные события.

Лето, в общем-то, оказалось неплохим. На нашем пляже было полно людей, у которых кожа сперва краснела, потом облезала и наконец чернела. Самое главное — все исправно платили за вход, и впервые я увидел дождь денег, как выражался мой покойный сын Пепе. Деньги я прятал в двух коробках под постелью, а дверь дома запирал на двойной замок...

Но, как я уже говорил, в то лето произошло и кое-что неожиданное.

Однажды утром мы с Самуэлем, как обычно, копошились у лодки и вдруг увидели троих мужчин в шляпах, спускавшихся по откосу с растопыренными руками: видимо, они хотели так сохранить равновесие на косогоре. Все трое были чисто выбриты, а ботинки столь тщательно начищены, что даже пыль отлетала от них. Это были, конечно, городские жители.

Когда Самуэль посмотрел на этих людей, я заметил испуг в его глазах. Он вдруг опустил голову и стал внимательно рассматривать какую-то деревяшку, не знаю зачем — там и смотреть-то было не на что.

Незнакомцы прошли мимо моего дома и спустились на пляж. Двое из них сейчас уже шли под руку, а третий указывал на овраг и что-то говорил. Так они и прогуливались несколько минут по пляжу, словно по коридору собственной конторы. После того, как один из этих типов подошел ко мне и спросил о каких-то пустяках, все они гуськом направились туда же, откуда пришли, помогая друг другу подниматься по крутой тропинке.

— Что-то не нравятся мне эти люди,— сказал я.— Не иначе как будут взыскивать налоги, придерутся...

— Мне тоже не нравятся,— ответил Самуэль.— Шляпы надвинуты на глаза... Плохая примета...

С того дня Самуэль потерял покой. Всякий раз, когда кто-нибудь спускался по откосу, он внимательно следил за ним, руки у него тряслись, на лбу выступал пот.

— Вроде меня знобит,— говорил он, отирая пот.

Но это была неправда — дрожал он от страха. Спустя какое-то время его забрали.

Я не видел, как это случилось. Рассказывают, что пришли трое полицейских, а еще один расхаживал наверху, на Пласа дель Амор. Самуэль будто бы побежал к моему дому, однако на полпути он, никогда не делавший неверного шага, вдруг оступился на скользком камне. Полицейские увели его, выкручивая руки и тыча кулаками в зубы.

В поселке стоял переполох: никто не знал, за что забрали Самуэля. Одни говорили, что он вор, другие — что много лет назад он подложил бомбу в дом какого-то важного господина. Газет мы не покупали, поэтому

в течение нескольких дней все терялись в догадках. Потом случайно нам в руки все же попал какой-то газетный листок, и мы прочли: лет пять назад Самуэль столярной стамеской убил женщину, обманувшую его, нанес ей восемь ударов. Не знаю, правда это или нет, только, если бы он не поскользнулся и добежал до моего дома, я зубами бы выгрыз ему убежище в скале обрыва или спрятал его в камнях. Самуэль всегда был добр ко мне, и мне наплевать, каким он был с другими.

Немецкая овчарка, жившая у него, спустилась ко мне и, скуля, бродила по пляжу. Я гладил густую шерсть, понимая собачью тоску и разделяя ее. Все валилось у меня из рук. Даже недоделанную лодку я продал — не хватало у меня умения закончить работу. Старым дураком, старым и уставшим — вот кем был я. Почему я так любил свое жилье, свой кусочек моря? Глядя на изгородь вокруг дома или на тростниковую крышу — на все, что было сделано моими руками или руками близких мне людей, я говорил: «Ведь это мое. Здесь я столько пережил, здесь и умру».

Мне очень не хватало Торибио. Я думал, что рано или поздно — неважно когда — но он должен прийти; в конце концов, дети все равно приходят, хотя бы для того, чтобы посмотреть, насколько мы постарели и много ли нам осталось до смерти. Торибио пришел, когда я как раз начал пристраивать к своей комнатушке еще одну большую комнату для него — прекрасную, с окном на море.

Он был тощ и бледен, лицо словно у старика. Такие лица бывают иногда у детей, которые живут в постоянном голоде и не знают, что им делать со своей жизнью.

— Дай мне пятьсот солей [1],— сказал он.— У меня уже умер один ребенок, и я не хочу, чтобы то же случилось с другим, а он скоро должен родиться.

И ушел. Я не удерживал его, но комнату продолжал строить. Своими руками покрасил стены.

Устав, я поднимался в поселок поболтать с народом. Пытался завести там друзей, но ко мне все относились настороженно. Очень трудно обзаводиться друзьями, когда ты уже стар и живешь один. Народ думает: «Наверно, нехороший это человек, раз живет один». Мальчишки, ничего не смыслящие в жизни, иногда бежали за мной, бросали камни. Да, одинокий человек — точь-в-точь как призрак, бродящий среди живых.

Эти господа в шляпах, надвинутых на глаза, и шевровых ботинках появлялись еще несколько раз, прохаживались по берегу. Не нравились они мне: по моему убеждению, они виновны в несчастье Самуэля. Как-то раз я сказал им:

— Тот, кто помогал мне делать лодку, был добрым христианином. Вы плохо поступили, выдав его. А если он убил женщину, значит, у него были на то причины.

Они рассмеялись:

— Вы ошибаетесь. Мы не из полиции, а из муниципалитета...

Наверно, так оно и было, потому что через несколько дней пришло уведомление. Из поселка спустилась ко мне целая делегация, чтобы показать эту бумагу. Все были очень взволнованы, разговаривали со мной почтительно, называли «отцом Леандро». Понятно, я самый старый здесь и самый опытный, и они надеялись, что я вызволю их из беды. В бумаге говорилось, что все жители поселка должны освободить занятые ими участки в трехмесячный срок.

[1] Соль — денежная единица Перу.

— Выпутывайтесь сами, как хотите,— сказал я им.— Меня никто не сдвинет с места. Я уже семь лет живу здесь.

Но они так упрашивали помочь им, что я наконец согласился.

— Надо найти адвоката,— сказал я им.— Эта земля ничья, и они не имеют права гнать нас.

Когда пришел адвокат, все собрались в моем доме. Адвокат был невысокого роста, в очках и шляпе. При нем — потрепанный портфель, набитый бумагами.

— Муниципалитет собирается построить новую купальню. Чтобы сделать к ней удобный спуск, необходимо выселить вас с этого склона. Но это не муниципальная, а государственная земля, и вас никто не может прогнать отсюда.

Потом он собрал по пятьдесят солей с каждой семьи и удалился, захватив с собой бумаги, которые заставил нас подписать. Соседи благодарили меня:

— Не знаем, что мы делали бы без вас.

Действительно, приход адвоката очень ободрил всех,— что и говорить, мы были просто счастливы.

— Никто,— повторяли мы его слова,— не может прогнать отсюда.

Прошло несколько недель. Люди из муниципалитета больше не появлялись. Я закончил отделку комнаты для Торибио, застеклил окно. Несколько раз приходил адвокат, твердил свои непонятные речи и заставлял нас подписывать новые бумаги. Я важно расхаживал среди жителей поселка и приговаривал:

— Видали? Стариков надо уважать! Если б не я, где бы вы теперь раскладывали ваши матрасы?

Но на первой неделе зимы ко мне вдруг с криками прибежали из поселка люди.

— Они там! Они уже там! — И показывали наверх.

— Кто? — спросил я.

— Бригада рабочих! Уже начали ломать!..

Я сразу же бросился в поселок, но когда добежал, первый дом уже разрушили. Кругом полно всяких машин. Возле какого-то высокого мужчины стояли полицейские и возле другого, пониже ростом,— тоже. Этот что-то записывал в толстую тетрадь. Я его сразу узнал, он как-то приходил к нам и составлял описи.

— Так приказано...— говорили рабочие, ломая стены,— что мы можем поделать?

И правда, было видно, что тяжелая работа, да еще в клубах пыли, не доставляет им никакого удовольствия.

— Кто приказал? — спросил я.

— Судья,— и они указали на высокого мужчину.

Я подошел к нему. Полицейские хотели было задержать меня, но он подал знак — разрешил пропустить.

— Тут какая-то ошибка,— говорю я,— мы живем на государственной земле, и наш адвокат сказал, что никто не может выселить нас отсюда.

— Совершенно верно,— отвечает он,— земля государственная, и именно поэтому мы выселяем вас отсюда.

Люди стали кричать. Полицейские выстроились стенкой вокруг судьи. Писарь же как ни в чем не бывало, спокойно поглядывая то на небо, то вокруг, продолжал строчить в своей тетради.

— У каждого из вас есть родственники,— продолжал судья,— и те, кто сегодня останется без жилья, могут временно поселиться у них. По-

том все уладится. Мне самому очень жаль, что так получилось, поверьте, и я постараюсь что-нибудь сделать для вас.

— Подождите — мы позовем нашего адвоката,— говорю я.— И пусть до его прихода рабочие не ломают...

— Вызывать адвоката вы, конечно, можете, но работа должна продолжаться!

— Кто поедет со мной в город? — спрашиваю.

Вызвались поехать многие, но я выбрал двоих, у которых имелись рубашки. Наняли такси, доехали до центра и поднялись в контору. Адвокат был на месте. Сначала он не узнал нас, а когда понял, чего мы от него хотим, вдруг заорал:

— Дела в судах или проигрываются или выигрываются, и я ничего не могу поделать! Здесь вам не лавка, где за неугодный товар возвращают деньги. Это адвокатская контора!

Долго мы спорили с ним, но так и пришлось ни с чем возвращаться. По дороге молчали — не знали, о чем говорить. Судьи на нашем склоне уже не было, однако полицейские оставались. Народ встретил нас сердито. Кое-кто стал говорить, что это я во всем виноват, что я, дескать, сговорился с адвокатом. Я не стал обращать на них внимания. Дом Самуэля — первый из построенных здесь — был уже сломан и камни его разбросаны по земле. Я признал один из них — белый камень, долгое время лежавший на берегу, возле моего дома. Весь в трещинах. Я удивился: столько лет море гладило и полировало его — и вот сплошные трещины. Он рассыпался в моих руках. Я пошел вниз к своему дому, поглядывая на остатки камня на ладони, а люди кричали вслед всякие оскорбления, и вдруг я почувствовал, что слезы навертываются на глаза.

— Пес с ними! — убеждал я себя в последующие дни.— Пусть все у них там переломают и передавят. А до моего дома машинам не добраться...

К тому же бригада работала не спеша. Рабочие, когда за ними никто не смотрел, садились покурить да потолковать.

— Конечно, жаль этих людей,— говорили они,— но что поделаешь — приказ...

Несмотря на обиду, мне тоже было жаль соседей. Поэтому я и не ходил наверх: чтобы не видеть разрушенных домов. А когда приходилось идти в город, то я поднимался в обход — через Ла Пампилья. Встречаясь с рыбаками, я жаловался:

— Сбрасывают поселок прямо в море...

А рыбаки обычно отвечали:

— Беззаконие!

Нам тоже известно, что это беззаконие, но что можно сделать? Мы были разобщены, все переругались между собой, у нас не было единого плана действий, каждый хотел действовать на свой лад. Одни собирались переезжать, другие хотели протестовать. Были и такие — самые бедные, давно уже не имевшие никакой работы,— что нанимались в бригаду и сами же ломали свои дома.

Но большинство ползло вниз по откосу, сколачивая временные жилища метрах в двадцати от тракторов, чтобы на следующий день собрать обломки и, спустившись еще метров на десять, снова строить хибару. Поселок все приближался к моему дому, и мне казалось, что поселок скоро навалится на мои плечи. Через четыре недели после начала работ соседские дома вплотную прижались к моему забору. Сделанные кое-как, полуразвалины, они были набиты женщинами и мужчинами в пыльных одеждах, кричавшими мне через изгородь:

— Дон Леандро, придется нам перебираться на твой двор. Побудем там, пока не найдем чего-нибудь.

— Тут места нет,— отвечал я.— А большая комната, что вы видите,— это для моего сына Торибио, который переедет сюда с Делией. Кроме того, мне вы никогда не помогали. И убирайтесь отсюда, куда хотите, хоть в пустыню, чтобы сгнить там!

С моей стороны это было явно несправедливо. Я знал, что людей, лишившихся крова, можно было приютить на пляже: в деревянных женских кабинах и тростниковых — мужских. Эта мысль не выходила у меня из головы. Была зима, и кабины пустовали. Но я не хотел говорить людям об этом... Может быть, для того, чтобы заставить и их познать всю глубину страданий. Однако сам я не выдержал.

— Пусть пройдут беременные женщины...— (А они почти все были беременные, потому что в наших бесплодных краях, где все сохнет и вянет, единственное, что всегда цветет и близится к созреванию,— это животы наших женщин.) — ...и устраиваются в деревянных кабинах.

Женщины прошли. На следующий день я вынужден был впустить и детей. А потом и мужчин...

Бригада, хотя и работала не спеша, все приближалась к нам. Страшно грохотали машины, падающие в кузова грузовиков глыбы камней. Двор мой наполнился голосами. Кто не смог устроиться под крышей, располагался прямо на берегу. Это был какой-то лагерь обреченных, жизнь которых вот-вот оборвется.

Так мы прожили еще неделю, хотя не знаю зачем: ведь все равно они должны были нагрянуть сюда.

Как-то поутру бригада с машинами остановилась у самого моего забора. Увидев всех нас, рабочие в нерешительности остановились. Никто не отваживался нанести первый удар по изгороди.

— Вы что, собираетесь сбросить нас в море? — спросил я.— Имейте в виду, через мой двор вы не пройдете! Все знают, что это мой дом, мой пляж, мой участок моря. С моими сыновьями я сделал все, и я живу здесь уже семь лет, а все, кто находится сейчас здесь со мной,— мои гости.

Бригадир пытался уговорить меня. Потом пришел инженер. Но мы были непреклонны. Более пятидесяти человек было нас, и все камни берега служили нам оружием.

— Не пройдут,— говорили мы, поглядывая друг на друга с гордостью.

Машины простояли весь день. То и дело к нам приходил бригадир или мы поднимались к нему на переговоры.

В конце концов бригадир сказал, что снова позовет судью. Нам оставалось надеяться лишь на чудо.

На следующий день пришел судья в сопровождении полицейских и еще каких-то сеньоров. Облокотившись на забор, судья сказал:

— Поверьте, мне все это тоже очень неприятно, и я обещаю помочь вам. Конечно, сбросить в море вас не могут. Но мы постараемся найти вам для жилья другое место.

— Врет он,— убеждал я потом людей.— Они обманут нас. Выгонят на какой-нибудь негодный пустырь.

До поздней ночи разговаривали мы меж собой. Некоторые стали склоняться к уступке.

— Может быть, нам дадут неплохую землю,— говорили самые боязливые.— К тому же здесь полиция с дубинками и винтовками. Могут убить.

— Мы не должны сдаваться,— настаивал я,— если мы будем держаться вместе, им не выгнать нас.

Наутро судья возвратился.

— Кто хочет переехать в Пампа де Комас, поднимите руки,— ска-

зал он.— Я настоял, и вам выделили двадцать участков земли. За вами приедут два грузовика. Это подарок муниципалитета.

Тут я почувствовал, что проиграл. Я знал, что все предадут меня. Хотел возразить, но голос отказал мне. Я видел, как в тишине поднялась одна рука, потом другая, третья,— и скоро в воздухе стоял уже целый лес рук, вытянувшихся как бы за милостыней.

— Там нет воды! — крикнул я.— И работы там не найти! Будете песок жрать! Солнце спалит вас.

Но никто не слушал меня. Люди стали связывать свои пожитки так поспешно, словно боялись потерять последнюю возможность.

До самого вечера поднимались люди по тропинке наверх. Когда скрылся последний, я остановился посреди своего двора, взглянул на рабочих, которые сидели, отдыхая, у моего забора. Долго смотрел я на них, не находя слов,— я понимал, что они меня жалеют.

— Можете начинать,— сказал я наконец.

Но никто не пошевельнулся. Взяв лом, я добавил:

— Я сам подам вам пример.

Кто-то засмеялся. Несколько человек встали.

— Сегодня уже поздно. Рабочий день кончился. Завтра придем.

И ушли. Ушли, пощадив меня — пока еще хозяина лоскутка земли и лачуги.

Эта ночь была последней. Ушел я рано утром, чтобы не видеть того, что здесь произойдет. Нагрузив на себя все, что смог, я пошел в сопровождении моих собак к Мирафлорес[1],— шел все время берегом: не хотел уходить от моря. Шагал и оглядывался: то смотрел на волны, то на свой откос. Устал я от жизни — что правда, то правда. От всего устал.

Понемногу светало. Когда я подошел к большой трубе, по которой в море стекает черная вода из города, я услышал, что кто-то зовет меня. Обернувшись, увидел человека, бежавшего ко мне по берегу. Это был Торибио.

— Я узнал, что вас выгнали,— сказал он.— Прочитал в газетах. Хотел вчера прийти, да не смог. Там наверху ждет Делия... с узлами.

— Проваливай отсюда! — ответил я.— Ты мне не нужен.

Торибио взял меня за локоть. Я посмотрел на его руку и увидел, что она уже здорово поизносилась — рука настоящего мужчины.

— Тебе, может быть, я и не нужен, но ты еще можешь кое-чему научить меня.

А я все смотрел на его руку.

— Нечему мне тебя учить! — сказал я.— Ну, ладно, я подожду... Иди за Делией.

Стало совсем светло, когда мы втроем зашагали по берегу. Воздух был свежий, и дышалось легко, но мы шли медленно — Делия была беременна. Я смотрел вокруг, выбирая подходящее место. Все казалось выжженным и заброшенным. Даже колокольчики и настурции не росли. Вдруг Торибио, а он шел впереди, воскликнул:

— Смотри! Клещевина!

Я подбежал. Под обрывом, среди белых раковин, рос кустик клещевины. Я долго смотрел на его шероховатые листья, корявый ствол, плоды, покрытые острыми колючками, которые впиваются в руки любого, кто попытается их сорвать. Глаза мои затуманились.

— Здесь,— сказал я Торибио.— Дай-ка мне лом.

И, расчистив ямку среди камней, мы забили в нее первый колышек нашего нового жилища.

[1] Район перуанской столицы — Лимы.

Литературные иллюстрации

Из экспериментальной итальянской поэзии

Вступление и перевод с итальянского
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Хотя многие из тех, кто пришел в итальянскую литературу во второй половине 50-х годов, навсегда остались авторами одной книги, в их активе — причастность к созданию неореализма, ставшего ведущим творческим направлением в итальянской поэзии, прозе, драматургии первого послевоенного десятилетия.

Казалось, навечно отошли в прошлое времена, о которых с горечью говорил Эудженио Монтале как о временах, когда поэты писали для других поэтов. Герметическая поэзия «отсутствия» уступила место на литературной авансцене поэзии «присутствия», поэзии активного вторжения в жизнь, точек над «i», поэзии, апеллировавшей не к элите, а к широкой, как никогда, читательской аудитории. Выступая в 1959 году на организованном Институтом Грамши симпозиуме, посвященном проблемам реализма, итальянский критик-марксист Карло Салинари подчеркивал: «Неореализм возник как выражение кризиса, который в 1944—1945 гг. потряс все итальянское общество. Следовательно, в его основе лежало новое мировоззрение, новая мораль, новая идеология, присущая антифашистской революции. В нем было сознание кризиса старых правящих классов, сознание того места, которое впервые в нашей новой истории заняли народные массы. В нем было стремление раскрыть реальную Италию...»

Проходит около пятнадцати лет после окончания второй мировой войны. Италия приближается к полосе так называемого «экономического чуда». Жизнь оказывается сложнее, многообразнее, чем она выглядела порой на страницах неореалистических произведений. Исчерпанность излюбленных тем писателей-неореалистов и охлаждение читателя к художественной литературе заставляют критиков говорить о ее кризисе.

Культурная индустрия, обнаружив изменение конъюнктуры на книжном рынке, наводняет его антироманами и стихами, сработанными с помощью кибернетических машин или как бы в подражание этим машинам. Вечная проблема поисков нового поэтического языка подменяется в целом ряде случаев лингвистическими упражнениями, и если во времена герметизма поэты писали для других поэтов, то теперь многие из них пишут скорее для филологов. Справка об авторе сборника «Императруглый конь» («Cavallo imperatondo», 1969) Джанни Но́ваке заканчивается словами, в которых нет и признака иронии: «Занимается кинематографом, алхимией, рекламой».

В начале 60-х годов в итальянской литературе оформилось течение неоавангардистов. Квалифицировав язык традиционной литературы как буржуазный, представители этого течения поставили под сомнение языковые структуры, как таковые, подвергли сомнению необходимость в коммуникативности художественных произведений. К счастью для итальянской поэзии, неоавангард не представляет собой единого целого:

танцуя от одной печки, неоавангардисты нередко опровергают на практике собственные теоретические положения, о чем свидетельствуют, в частности, последние работы талантливого поэта, прозаика, драматурга и критика Э. Сангвинети.

Неоавангардизм как течение не только не вывел литературу из состояния кризиса, но обострил этот кризис до предела. Трудно предугадать сегодня, чем увенчаются поиски неоавангардистов в последующие годы, однако совершенно очевидно, что пора эксперимента ради эксперимента кончается, если уже не кончилась. В лоне того же неоавангарда, как и вне его, алхимикам от литературы все решительнее противостоят те, кому судьба поэзии не безразлична не на словах, а на деле. Представители старших поэтических поколений, притерпевшиеся к брани неоавангардистов, продолжают писать «буржуазным» языком, предпочитая прочим жанрам лирику. Так, одним из событий этого года явилась книга Э. Монтале «Сатура». Более молодые, стремясь вернуть доверие читателя к поэзии, сближают ее с публицистикой, ставят самые острые проблемы современности, строя стихи на документальной основе, широко используя словарь так называемых «технологизированных языков» — язык рекламы, проспекта, газеты, иллюстрированного журнала, радио, телевидения, статистических справок и т. п.

Направление творческих поисков Роберто Роверси, начинавшего как постгерметик, близкий к неореализму, и Ламберто Пиньотти, пришедшего в литературу в критический для нее период второй половины 50-х годов, на определенном этапе совпало. Последние произведения этих поэтов — не принадлежащих к неоавангарду, но испытавших на себе его влияние — напоминают чем-то ленты режиссеров-документалистов, для которых главное — выбор материала для съемок и его компоновка на монтажном столе.

В своем стремлении к антириторике, к достоверности, к честности перед самим собой поэт-документалист объявляет войну морализированию. Он подает материал с нарочитой невозмутимостью, как бы оставляя всю свою боль за сегодняшний мир, все негодование, а порой и чувство безысходности за пределами стихотворения.

Последняя книга Роверси «Описания в действии», на мой взгляд, одно из знаменательных явлений в поэтической жизни Италии 60-х годов. Пока его коллеги на бесконечных дискуссиях спорили о том, должна или не должна литература быть гражданской, и обсуждали возможные пути ее дальнейшего развития, Роверси конкретно решал для себя эти наболевшие вопросы, работая над «Описаниями в действии». Позиция поэта четко сформулирована в одном из стихотворений сборника:

Печатать красными буквами (знак гнева)

Он не представляет себе иного состояния человека перед лицом ужасающих фактов, он не может не обобщать — ведь река Меконг протекает сегодня не только в Южном Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, ведь протест против «общества потребления» актуален в наши дни не только для Италии, но и для всех стран развитого капитализма, ведь, по убеждению поэта, не только Америка, но и Италия недостойна сегодня того, чтобы ее имя писали с большой буквы, ведь отношение к сицилийцам на севере Аппенинского полуострова немногим отличается от отношения белых расистов к неграм.

Сборник «Описания в действии» отпечатан на стеклографе «для немногих, кому он (автор.— **Е. С.**) его посвящает и посылает». Почему на стеклографе? Не доверяя вкусу тех, на кого обычно безотказно действует организуемая издателями реклама, и не желая превращать «Описания в действии» в предмет спекуляции, в одно из сотен тысяч изделий культурной индустрии, Роверси — идя, в сущности, по пути наименьшего сопротивления — добровольно ограничил круг читателей своего последнего сборника.

Если Роверси адресует свою последнюю работу «немногим», то для Пиньотти проблема читателя остается первостепенной. Один из самых активных теоретиков «технологизированного искусства» [1], Пиньотти хочет видеть поэзию в числе «средств массовой коммуникации». Ориентируясь в своей поэтической практике именно на массового читателя, он решительнее других использует в последние годы технику монтажа (коллажа), заимствуя проходные фразы из газет, журналов, а иногда и из книг и стремясь добиться желаемого эффекта за счет определенного сочетания этих фраз. Одновременно Пиньотти продолжает опыты в области так называемой зрительной поэзии, представляющей собой комбинацию изобразительного материала с материалом словесным. Автор первой антологии зрительной поэзии (1965), он, признавая, что этот жанр, который занимал некоторых художников и поэтов 10—20-х годов, «становится явлением модным и даже отчасти снобистским», видит преимущество сегодняшней зрительной поэзии перед зрительной поэзией прошлого в ее «идеологическом заряде и социологическом потенциале». Примером опытов самого Пиньотти в этой области может служить «вьетнамская» серия почтовых марок: наклеенные рядом марки разных государств, на каждой из которых тушью написано слово «Вьетнам», как бы символизируют отношение миллионов людей во всем мире к грязной войне США в Индокитае. Выставки зрительной поэзии Пиньотти считает трибуной, позволяющей ему

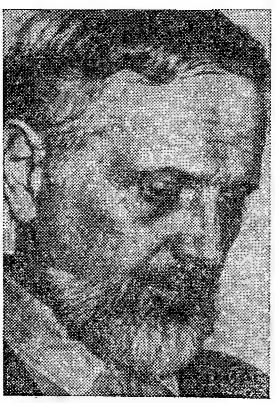
[1] См. в № 3 нашего журнала за этот год заметку Г. Брейтбурда «Диалог о языке искусства (В гостях у «Иностранной литературы» — Ламберто Пиньотти)».

обращаться к более или менее широкой аудитории (по словам Пиньотти, перефразировавшего известное изречение: «Если публика не идет к поэзии, то поэзия должна идти к публике»).

В этой подборке Пиньотти представлен своими публицистическими стихотворениями. Говоря о серьезных вещах с иронией, не ставя себя вне той действительности, в которой он живет, поэт не поучает читателя, а собеседует с ним, собеседует на равных, ибо,

как явствует из статистики,
другие — такие же, как мы.

Предлагаемая подборка дает представление об одном из процессов, характерных для итальянской поэзии наших дней. При всей его прямолинейности, творческий поиск Р. Роверси и Л. Пиньотти с их порой донельзя дезорганизованным стихом, нередко напоминающим тезисы публичного выступления, отражает дух протеста против буржуазной культуры, порожденной современной «цивилизацией потребления», и сознание обреченности этой цивилизации.



РОБЕРТО РОВЕРСИ

Девятнадцатое описание в действии

I Путешествие Штангля[1] из Бразилии
в Федеративную Республику Германию.
Хозяин табачной лавки достает из кармашка
«голден гейт» и зажигает окурок
щелкает газовым ронсоном в двадцать тысяч ценою
приобретенным в подарок и
неожиданно прошлым летом
следом опять наступила зима, зима прошла,
наступила весна, прошла, но прежде
неожиданно прошлым летом
self service в полдень, на ночь кефир
телевизионные новости бриллиантин
на затылке

[1] Немецкий военный преступник. *(Прим. перев.)*

остроносые туфельки, неожиданно
прошлым летом следующей зимой
чуть смоченный уголь не желал разгораться
(иль было трудно заставить его разгореться)
ночью, когда кости ломило, во сне мерещились предки
оказалась возможной даже бесславная смерть президента
и замена его другим с физиономией (злобной) наемного убийцы
было невероятно, чтоб мир (порядок вещей в мире)
оказался иным, не таким, как был,—
но сие не имеет значения, не имеет значения, не имеет значения;
одни прижимались к другим
изучали кофейную гущу в чашечке собеседника
оба иронически сосредоточенные
на том, чтоб прийти по возможности к общим выводам.
Возможно, на основании кофейной гущи.

II Производить
производить и потреблять
производить разрушать для того чтоб производить
производить для того чтоб производить
потреблять во имя общества.
В обществе
священная охрана членов общества
отечество и герои отечества
герои каковых производит и потребляет отечество героев
отечество с его героями
одиночество потребленных героев
величие судей которые судят
священная строгость законов
законы строгости
независимость этих правых законов от...
Неожиданно прошлым летом
путешествие некоего Штангля по маршруту Бразилия —
великий рейх, возвращенье в отечество
в объятия добрых традиций
освященных памятью.
В такое жаркое лето
все с теми же войнами хотя и другими
данное возвращение было обычным делом
грех молодости или гордости —
к чему приставать с расспросами?
По зеркальным автострадам Европы отлично скользили
каникулярные автомобили;
молодой итальянец крутил романы и в это лето
несмотря на гигантский наплыв на адриатические пляжи
отдыхающих англосаксов.

Двадцать второе описание в действии

Было время когда Ленин писал
о расклейке газет.
Газет не хватало. Было необходимо
приклеивать их на стены чтоб населенье читало.

Но клей означал муку а муки было тоже мало.
Теперь газеты расклеивают в муке недостатка нет
нынче не то время чтобы считать овец
ложки риса
довольно горькие слезы калеки;
сегодня идут ястребы в счет зайцы бегут
безмолвствуют голуби, над берегами
длинными берегами Меконга, над этими берегами
там вдоль реки от берега и до берега
над водой, между берегами
american way of life[1]
развертываются весьма кровавые сафари.
Есть даже оружие вызывающее дизентерию
dinamic dysentery device
сегодня есть все для человеческого уха
не только рейд от звезды к звезде
в погоне за долгим скорбным безмолвием;
сегодня есть это и то и немало другого о чем рассказать
заносчивость одного
смерть другого. Стреляющий пистолет.
Или просто сообщение в одной из газет.
Какой-то гул, готовящийся выстрел
из винтовки
мыши бегают по медалям
их превосходительства совокупляются
короткие святые субботы, бесконечные воскресенья
невыносимость семейной жизни
предстоящий закон о разводе
убийство, близящийся ураган
(со всеми признаками катастрофы).

Есть ворчанье у очага
проект бури
что-то движущееся
это ползет змея
разобраться, выжить, низвергнуть, решить, быть готовым,
не потреблять.

Сорок третье описание в действии

I Это небо Тьеполо и эти холодные-прехолодные ветры
свистя колышутся травы
кажущиеся выжженными
и еще доски очень похожие (такие похожие)
на те из которых сделаны лодки
брошенные между дюн Адриатики (или уже не брошенные)
за низиной
остроконечные овраги
все разумеется исчезло но
перед этим на это горное кладбище
в поисках имени женщины (старой женщины) на мраморе
входят и овцы — в спешке пощипать травы.

[1] Американский образ жизни.

II Уметь смотреть правде в глаза.
Сегодня философы будут судить подневольного пастуха
тем временем спит сей господин
полазив по остроконечным оврагам
вверх-вниз всего только месяц и все кончилось на
«прощай, вот тебе тысяча лир»
прощай — с автоматом направленным в спину, прощай, пастух,
полиция наступает на пятки, одышка, конец в порядке вещей.
В землю кладут мертвых
живые блистают коль могут блистать. Все есть золото.

III Миф полной занятости.
Есть, правда, основанья считать,
что истинное число безработных
значительно выше.
В самом деле, не исключено, что некоторые из заинтересованных
перестают фигурировать в списках ищущих работу
лишь потому, что отчаявшись найти таковую,
попросту перестали искать,
исчезнув тем самым из официальной статистики
(безработицы).
Это не означает однако, что если б могли,
они предпочли бы работать.

IV Ты в некоем городе
в некоем городе, вечер и
этот город запирает двери дома́ дом
на рассвете этот город открывает двери
заводские трубы освистывают детвору в садах
несколько поездов с юга холодную затхлость кошмар и эти
глаза которые все понимают

V Подросток из Сицилии, эмигрировавший на север в поисках работы, был найден карабинерами на одной из улиц Канту в состоянии голодного обморока. После скитаний по городам и предприятиям в безуспешных поисках работы, шестнадцатилетний сицилиец впал в отчаяние и вот уже несколько дней ничего не ел. Когда карабинеры выслушали его рассказ, им оставалось только отправить подростка назад в Реджо-Калабрию, в воспитательный дом, откуда он, по имеющимся сведениям, бежал. В чем, спрашивается, его нужно перевоспитывать?

СДАЕТСЯ КВАРТИРА, ЮЖАНАМ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ

ЛАМБЕРТО ПИНЬОТТИ

Разобщенные миры

Существуют иные миры,
но для нас непосильный труд
жить в них, отождествлять себя с другими людьми.
И потом, как явствует из статистики,
другие — такие же, как мы.
Если не поступают важные новости,
если лучшего,
если главного не увидеть,
все равно живется неплохо.
Достаточно было бы выйти на улицу, чтобы увидеть,
что такое любовь,
и понять, что все говорит о нас.
Но для нас это непосильный труд.
Тем более есть такие, кто видит и знает за нас.

Из цикла «Поэтическая индустрия»

1

Прежде чем окончательно выбрать путь
попробуйте запросить Поэзию.

Десятки внушительных групп промышленников.
Сотни работающих предприятий.
Тысячи специалистов.
Миллионы изделий.
Миллиарды на исследования и изобретения.
Вот что такое Поэзия.

Поэзия вам подскажет первой.
Поэзия вам подскажет лучше.

6

Плевать в лицо ближнему
не затем что нужна отдушина
но затем чтобы тоже иметь работу
и быть на виду...

Из цикла «Нулевая жизнь»

17

Было еще слишком рано
и тогда сев под раскрытым окном
мы затеяли разговор
и было бы возможно уместным
попробовать обобщить
хотя бы в общих чертах схематично
главные выводы к которым мы
пришли за истекший период времени
прежде чем как обычно в подобных случаях
окажется слишком поздно.

24

А у нас напротив без перемен или почти что без перемен.
Может быть мы решили
что опасность очень уж далека
чтобы имело смысл беспокоиться:
сцена представляет собой рациональное помещение
где каждая деталь обстановки
подчеркивает функциональность.
Ухватимся же за эти последние клочки свободы
и рухнем.

Забавный и чем-то трогательный эпизод

В течение десяти минут, с тех пор как газ начал поступать
в помещение,
они продолжали страшно кричать.
Когда камеру снова открыли,
трупы громоздились один на другом.
Позднее, весенним днем,
я заметил, что небо напоминало глазурь,
сады, окружившие виллы, смеялись на солнце,
белье на веревках балконов вздувалось от ветра,
и аромат из невидимых пифосов пощекотывал ноздри;
я заметил, что пунцовая герань улыбалась на подоконнике,
как рот ребенка,
я почувствовал себя молодым и счастливым.
Зубные врачи вырывали у жертв золотые зубы...
одежда была непригодна,
ибо тела стали как желатин и прилипали к ткани.
Мое сердце, скрытое в груди,
больше не капризничало,
и я мог спокойно обратиться мыслями
к тому вечеру, как к забавному и чем-то трогательному
эпизоду.
Я никогда ни о чем не задумывался,
для меня казни в газовых камерах
были обычным делом администратора.

АРТУР ХЕЙЛИ

Аэропорт

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

3

Самолет, вылетевший рейсом два «Золотой аргос» из международного аэропорта имени Линкольна, уже двадцать минут находился в воздухе и продолжал набирать высоту; через одиннадцать минут, когда самолет будет над Детройтом, он достигнет тридцати трех тысяч футов и подъем закончится. Самолет уже вышел на трассу, которая длинным, кружным путем приведет его в Рим. Последние несколько минут самолет летел в спокойных слоях атмосферы, снежная буря осталась далеко внизу. Впереди и еще выше в небе висел ущербный месяц, словно покачнувшийся фонарь, и все пространство было в звездах — ярких, мерцающих.

В пилотской кабине напряжение первых минут полета разрядилось. Капитан Хэррис уже сделал пассажирам сообщение по трансляции. Все трое пилотов были заняты обычными делами, связанными с большим перелетом.

За спиной у Хэрриса и Димиреста под столиком второго пилота громко зазвучали позывные. В тот же миг на радиопанели, расположенной над рычагами дросселей, замигала желтая лампочка. Это означало вызов по спецсвязи — особой радиосистеме, дававшей возможность связываться почти с каждым из лайнеров, словно по личному телефону. Все лайнеры «Транс-Америки», так же как и других крупных авиакомпаний, имеют собственные позывные, передаваемые и принимаемые автоматически. Сигналы, только что полученные самолетом N-731TA, не могли быть приняты или услышаны никаким другим воздушным кораблем.

Энсон Хэррис переключился с волны воздушной диспетчерской на соответствующую волну и подтвердил:

— Рейс два «Транс-Америки» слушает.

— Рейс два, говорит диспетчер «Транс-Америки» из Кливленда. Передаю командиру вашего экипажа сообщение от УП международного аэропорта Линкольна. Сообщите готовность принять передачу.

Хэррис видел, что Вернон Димирест тоже переключился на нужную волну и придвинул к себе блокнот.

Хэррис передал:

Окончание. Начало см. в № 8, 9.

— Мы готовы, Кливленд. Продолжайте.

Сообщение было составлено Таней Ливингстон и касалось миссис Ады Квонсетт — пассажирки, пробравшейся без билета на рейс два. Оба пилота с улыбкой выслушали описание маленькой старушки из Сан-Диего. Сообщение заканчивалось просьбой подтвердить ее присутствие на борту самолета.

— Проверим и сообщим,— передал Хэррис и снова переключился на волну воздушного диспетчера.

Вернон Димирест и второй пилот Сай Джордан, слушавший сообщение через динамик, установленный над его сиденьем, рассмеялись.

— Чушь, не верю,— сказал Сай Джордан.

— А я верю! — Димирест усмехнулся.— Все они там — ослы, и эта старая курица обвела их вокруг пальца! — Он нажал кнопку вызова по внутреннему телефону салона первого класса.— Передайте Гвен,— сказал он, когда одна из стюардесс взяла трубку,— чтобы она пришла сюда.

На его губах все еще играла усмешка, когда дверь кабины отворилась и вошла Гвен Мейген.

Димирест прочел ей вслух описание миссис Ады Квонсетт, переданное по радио.

— Видели вы среди пассажиров такую особу?

Гвен покачала головой.

— Я еще почти не заглядывала в туристский салон.

— Пойдите и проверьте, там ли эта дамочка. Ее нетрудно будет узнать.

— А если она там, то что я должна сделать?

— Ничего. Придите и доложите.

Гвен отсутствовала всего несколько минут. Когда она вернулась, на лице ее тоже играла улыбка.

— Ну что?

Гвен кивнула.

— Она там. В кресле четырнадцать В. В точности такая, как ее описали, только еще более карикатурная.

— Сколько ей лет с виду? — спросил Сай Джордан.

— Лет семьдесят пять, не меньше, а может, и все восемьдесят. Прямо какой-то диккенсовский персонаж.

Энсон Хэррис сказал, не оборачиваясь:

— Скорее уж персонаж из «Мышьяка и старых кружев».

— Она действительно летит «зайцем»?

Хэррис пожал плечами.

— Так передали из аэропорта. Поэтому у вас и были расхождения в количестве пассажиров и проданных билетов.

— Так это же очень легко проверить,— сказала Гвен.— Я могу пойти и попросить ее предъявить билет.

— Нет,— сказал Вернон Димирест.— Этого не нужно делать.

Все посмотрели на него с любопытством, однако в кабине было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Хэррис повернулся к своим приборам, второй пилот возвратился к наблюдению за расходом топлива.

— Минутку, Гвен,— сказал Димирест. Гвен стояла, ожидая, пока он записывал полученное по радио сообщение.— От нас требовалось только одно: проверить, находится ли старуха на борту нашего самолета. Прекрасно, она здесь, и я сообщу об этом воздушному диспетчеру. Думаю, они приготовят ей соответствующую встречу в Риме, и тут уж мы ничего поделать не сможем, если б даже и захотели. А пока — раз старушенция залетела так далеко и мы не намерены возвращаться из-за нее обратно — зачем превращать для нее в пытку остав-

шиеся восемь часов полета? Пусть летит без нервотрепки. Может быть, перед посадкой в Риме мы откроем ей, что ее хитрость обнаружена. Тогда это не будет для нее таким потрясением. А пока что пусть получает удовольствие от полета. Пусть бабушка пообедает и спокойно посмотрит фильм.

— Знаете,— сказала Гвен, задумчиво глядя на Вернона,— бывают минуты, когда вы мне положительно нравитесь.

Гвен вышла. Димирест, все еще посмеиваясь, переключился на другую волну и передал сообщение диспетчеру Кливленда.

Энсон Хэррис раскурил трубку, включил автопилот и сказал сухо:

— Вот уж никогда не думал, что старые дамы — по вашей части.— Он сделал ударение на слове «старые».

Димирест усмехнулся.

— Конечно, я предпочитаю молодых.

— Так мне приходилось слышать.

Сообщение о безбилетной пассажирке и разговор с Хэррисом привели Димиреста в отличное расположение духа. Он сказал беззаботно:

— Всему свой черед. Скоро и нас с вами запишут в разряд пожилых.

— Меня уже записали.— Хэррис исчез в клубах дыма.— С некоторых пор.

Оба пилота сдвинули в сторону один наушник, чтобы иметь возможность нормально разговаривать и вместе с тем не пропустить позывных. Шум двигателей, стойкий, но не оглушительный, как бы отгораживал их от остального мира.

— А вы, кажется, не ходок, верно? — заметил Димирест.— Я хочу сказать — не любитель бегать на сторону. Я видел, как вы на отдыхе сидите, уткнувшись в книгу.

Теперь уже усмехнулся Хэррис.

— Иногда я еще, кроме того, хожу в кино.

— И с чего вы такой праведник?

— Моя жена была стюардессой на «ДС-4S». Так мы познакомились. Она видела, что творится вокруг: беспорядочные связи, беременности, аборты — всю эту грязь. А потом ее назначили старшей, и ей не раз приходилось помогать эту мерзость расхлебывать. Словом, когда мы поженились, я дал ей слово... Понятно какое. И я его держу.

— Ну зато и нарожали ребятишек.

— Верно.

Хэррис снова включил автопилот.

Димирест спросил:

— Сколько же их у вас? Шестеро?

— Семеро.— Хэррис улыбнулся.— Четверо было запланировано, а трое сверх плана. Но и это неплохо.

— А вот те, что не были запланированы... Вы ни разу не думали о том, чтобы от них избавиться, пока они еще не появились на свет?

Вопрос вырвался у Вернона Димиреста непроизвольно. Он сам удивился, зачем он это спросил. Видимо, два предшествующих разговора с Гвен навели его на мысль о детях. Все же это было очень непохоже на него — много раздумывать над тем, что так очевидно и просто, как хотя бы этот аборт, который должна сделать Гвен.

— Вы имеете в виду аборт? — спросил Хэррис и сразу отвел глаза.

— Да,— сказал Димирест.— Я именно это имел в виду.

— Так я вам отвечу: нет! — резко сказал Хэррис. И добавил уже более спокойным тоном: — У меня на этот счет вполне определенная точка зрения.

— Потому что это запрещено религией?

Хэррис покачал головой.

— Я атеист.

— Какими же вы тогда руководствуетесь соображениями?

— А вам очень хочется знать?

— Почему бы и нет? У нас еще целая ночь впереди,— сказал Димирест.

Они прислушивались к происходившим по радио переговорам между КДП на земле и самолетом «ТВА», поднявшимся в воздух почти тотчас следом за ними и направлявшимся в Париж. Лайнер летел в десяти милях позади них и на несколько тысяч футов ниже. Они набирали высоту — то же делал и лайнер.

Большинство опытных пилотов, слушая переговоры по радио с другими самолетами, всегда мысленно держат перед глазами картину движения самолетов в зоне их полета. Димирест и Хэррис оба добавили последние зафиксированные ими сведения к имевшимся ранее. Когда радиоразговор воздуха с землей закончился, Димирест напомнил Хэррису:

— Я слушаю.

Хэррис проверил курс и высоту и принялся набивать трубку.

— Я довольно много занимался историей общественных отношений. Заинтересовался ею еще в колледже, и с тех пор так и пошло. Быть может, вы тоже?

— Нет,— сказал Димирест.— Ровно настолько, насколько это было необходимо.

— Ну так вот: многие люди, например, выступают против смертной казни не столько в интересах казнимого, сколько в интересах общества, которое, отнимая у человека — у любого человека — жизнь, тем самым наносит непоправимый вред себе, то есть каждому из нас.

Хэррис умолк. Наклонившись вперед так, что натянулись ремни, он всматривался из полумрака кабины в окружавшую их ночь. В ярком свете луны четко выступали громады облаков далеко внизу. При такой сплошной облачности вплоть до середины Атлантического океана — согласно сводке — земли не будет видно на всем пути их следования. Где-то на несколько тысяч футов ниже промелькнули огни самолета, летевшего в противоположном направлении, и скрылись.

— Но аборт — это же не смертная казнь.

— Не скажите,— возразил Хэррис.— Если вдуматься, то можно прийти к иному выводу. И в том, и в другом случае речь идет об уважении к человеческой жизни, жизни отдельного индивидуума, о том, каким путем развивалась и будет развиваться цивилизация. Не странно ли, что мы ратуем за отмену смертной казни и одновременно за разрешение абортов. И никто не замечает, насколько это нелепо: требовать уважения к человеческой жизни и в то же время распоряжаться ею как вещью, лишенной ценности.

Димиресту вспомнились слова, сказанные им этим вечером Гвен, и он повторил их снова:

— Нерожденное дитя еще не наделено жизнью. Это не индивидуум, это эмбрион.

— А позвольте узнать, видели вы когда-нибудь абортированного ребенка? — спросил Хэррис.— То, что вынуто из чрева?

— Нет, не видел.

— А мне довелось однажды. Он лежал в стеклянной банке с формальдегидом в шкафу у моего приятеля-доктора. Не знаю, откуда он у него взялся, только приятель сказал мне, что если бы жизнь этого эмбриона не оборвали, если бы его не абортировали, получился бы нормальный ребенок, мальчик. Да, это был эмбрион, как вы изволили выразиться, и вместе с тем это был уже маленький, вполне сформирован-

ный человечек: забавное личико, ручки, ножки, пальчики, даже крошечный пенис. Знаете, что я почувствовал, глядя на него? Мне стало стыдно. Я подумал: а где же, черт подери, был я, где были все порядочные, еще не утратившие человеческих чувств люди, когда совершалось убийство этого беззащитного существа? Потому что совершилось именно убийство, хотя мы обычно избегаем употреблять это слово.

— Я же не предлагаю, черт побери, вынимать из утробы матери ребенка, когда он уже сформировался!

— А вам известно,— спросил Хэррис,— что через восемь недель после зачатия у зародыша уже намечено все, чему положено быть у новорожденного ребенка? А на третьем месяце зародыш даже выглядит как ребенок. Так где тут можно провести границу?

— Вам бы следовало стать адвокатом, а не пилотом,— проворчал Димирест. Однако этот разговор невольно заставил его задуматься: на каком месяце может быть сейчас Гвен? Он прикинул: если это случилось в Сан-Франциско, как она утверждает, тогда, значит, восемь-девять недель назад, и, если верить Хэррису, у нее в чреве — почти полностью сформировавшийся ребенок.

Подошло время для очередного рапорта на КДП. Вернон Димирест выполнил это сам. Они поднялись уже на тридцать две тысячи футов над землей, подъем был почти закончен, еще несколько секунд — и они пересекут границу Канады и полетят над югом провинции Онтарио. Детройт и Виндзор, два города-близнеца по обе стороны границы, обычно издалека встречали их яркими всполохами огней. Но сегодня кругом был непроглядный мрак, и только где-то внизу — затянутые облаками города. Димирест вспомнил, что детройтский аэропорт закрыли перед самым их взлетом. В обоих городах сейчас бушевала вьюга, передвигавшаяся на восток.

Димирест знал, что сейчас там, у него за спиной в пассажирских салонах Гвен Мейген и другие стюардессы разносят напитки по второму разу, а в салоне первого класса — еще и горячие закуски на дорогих фарфоровых тарелочках.

— Ну, что ни говорите, а те, кто разделяет вашу точку зрения, неминуемо потерпят фиаско. Все сейчас идет к тому, чтобы облегчить возможность делать аборты. Вероятно даже, они будут производиться свободно, узаконенным путем.

— Если это произойдет,— сказал Хэррис,— мы сделаем шаг назад, к печам Освенцима.

— Чушь! — Димирест оторвался от бортового журнала, куда он занес только что полученные данные о местонахождении самолета. Он уже не скрывал раздражения, которое вообще легко прорывалось у него наружу.— Существует много доводов в пользу абортов: случайное зачатие, например, которое обрекает ребенка на нищету, на прозябание без надежды выбиться в люди, ну, и другие случаи — изнасилование, слабое здоровье матери...

— Особые обстоятельства не могут приниматься в расчет. Это все равно, что сказать: «Ладно, мы с некоторыми оговорками узаконим убийство, если вы приведете убедительные доводы в пользу его необходимости». Но если новая жизнь уже зародилась, значит, возникло еще одно человеческое существо, и вы не имеете права выносить ему смертный приговор. А что касается участи, которая его ждет, то никто из нас не знает своей судьбы; но когда нам дарована жизнь — счастливая или несчастная,— мы стремимся ее сохранить, и мало кто хочет от нее избавиться, сколь бы ни был он несчастен. С нищетой надо бороться, не убивая нерожденных младенцев, а улучшая условия жизни.

На альтиметрах перед каждым из пилотов стрелка дошла до тридцати трех тысяч футов. Самолет набрал заданную высоту. Энсон

Хэррис перевел машину в горизонтальный полет, а Сай Джордан снова отрегулировал подачу топлива двигателям.

Димирест досадовал на себя — не к чему было затевать этот ненужный спор, и, чтобы положить ему конец, он нажал кнопку вызова стюардессы.

— Пусть нам подадут закуски, пока пассажиры первого класса не сожрали все.

— Неплохая идея,— поддержал его Хэррис.

Несколько минут спустя Гвен Мейген, получив распоряжение по телефону, принесла три тарелочки с аппетитной горячей закуской и кофе. На всех лайнерах «Транс-Америки», как и на большинстве самолетов других американских авиакомпаний, пилотов обслуживают молниеносно.

— Спасибо, Гвен,— сказал Вернон Димирест, и, когда Гвен наклонилась, подавая кофе Энсону Хэррису, он скользнул взглядом по ее талии и еще раз убедился в том, что она не претерпела ни малейших изменений: что бы ни происходило там, внутри, талия была такая же тонкая, как прежде. К черту Хэрриса с его стариковскими рассуждениями! Разумеется, Гвен должна сделать аборт, как только они вернутся.

В шестидесяти футах от кабины экипажа, в салоне туристского класса миссис Ада Квонсетт была погружена в оживленную беседу с пассажиром, сидевшим справа от нее,— симпатичным мужчиной средних лет, гобоистом из Чикагского симфонического оркестра, как ей удалось выяснить.

— До чего это замечательно — быть музыкантом! Такая творческая профессия! Мой покойный муж был без ума от классической музыки. Он сам немножко поигрывал на скрипке — по-любительски, конечно.

Миссис Квонсетт чувствовала, как приятная теплота разливается по ее телу после рюмочки хереса, за которую заплатил гобоист, а он уже осведомлялся, не хочет ли она повторить.

Миссис Квонсетт согласилась, сияя улыбкой:

— Вы необыкновенно любезны; мне бы, вероятно, следовало отказаться, но я не откажусь.

Пассажир, сидевший от нее слева — мужчина с тоненькими рыжеватыми усиками и тощей шеей,— был менее общителен. По правде говоря, он просто обескуражил миссис Квонсетт. В ответ на все ее попытки завязать разговор она слышала только какое-то односложное невнятное бормотание; он все так же апатично сидел, не меняя позы и держа чемоданчик на коленях.

Когда всем подали напитки, миссис Квонсетт подумала, что, возможно, теперь ее сосед слева разговорится. Не тут-то было. Он взял у стюардессы порцию шотландского виски, уплатил за него, вытащив из кармана кучу мелочи и отсчитав, сколько требовалось, и одним глотком проглотил содержимое стакана. Благодушно настроенная после рюмки хереса, миссис Квонсетт сказала себе: «Бедняжка, верно, у него неприятности, надо оставить его в покое».

Она заметила, однако, что человек с тощей шеей внезапно оживился, как только один из пилотов начал, вскоре после взлета, делать сообщение относительно маршрута, скорости и продолжительности полета и вдаваться еще в различные подробности, к которым миссис Квонсетт почти никогда не прислушивалась. Пассажир же слева тотчас сделал какие-то пометки на обороте конверта, а затем достал одну из карт «Установите ваше местонахождение», какими снабжает пассажиров авиакомпания, и расстелил ее на своем чемоданчике. Он углубился в изучение карты, делая на ней пометки карандашом и время от времени поглядывая на часы. Миссис Квонсетт все это казалось каким-то глу-

пым ребячеством — на то и штурман где-то там впереди, чтобы беспокоиться, туда ли летит самолет, куда ему положено.

Миссис Квонсетт снова переключила свое внимание на гобоиста, который принялся рассказывать, что лишь совсем недавно, слушая симфонию Брукнера не из оркестра, а из концертного зала, он сделал для себя открытие, что в тот момент, когда в партии духовых идет «помтидди-пом-пом», скрипки играют «аа-дидли-аа-даа». И он для наглядности промурлыкал обе мелодии.

— Подумать только! Как замечательно! Никогда бы в голову не пришло! — воскликнула миссис Квонсетт.— Моему покойному мужу было бы очень интересно познакомиться с вами, хотя вы, разумеется, много его моложе.

Она уже приканчивала вторую рюмку хереса и чувствовала себя на верху блаженства. «Я выбрала чудесный рейс,— думала миссис Квонсетт.— Такой замечательный аэроплан и такое хорошее обслуживание. Стюардессы вежливые, заботливые и пассажиры все такие милые, если не считать этого, что сидит слева, ну, да бог с ним». Скоро по расчетам миссис Квонсетт должны были подать обед, а потом показать фильм — кто-то сказал, что с Майклом Кейном, ее любимым актером, в главной роли. Ну, чего еще желать от жизни?

Миссис Квонсетт заблуждалась, полагая, что где-то там впереди сидит штурман. Никакого штурмана не было. «Транс-Америка», как и большинство крупных авиакомпаний, больше не пользовалась услугами штурманов даже при трансатлантических перелетах — его заменяли многочисленные радары и система радиоуправления, установленная на всех современных лайнерах. Пилоты вели самолет, пользуясь указаниями, поступающими с земли, с контрольно-диспетчерских пунктов.

Впрочем, если бы на борту самолета находился, как в прежние времена, штурман, вычисленное им местонахождение самолета почти совпало бы с результатами Герреро, хотя последний достиг их путем весьма приблизительного расчета. Герреро ориентировочно высчитал, когда они будут пролетать над Детройтом, и его предположения оказались правильными; он убедился в этом, слушая очередное сообщение командира экипажа о том, что скоро они пролетят над Монреалем, затем над Фредериктоном в Нью-Брунсвике, затем над Кейп-Реем и несколько позже над Ньюфаундлендом.

Восточный берег Ньюфаундленда, по расчетам Герреро, должен был остаться позади через два с половиной часа. После этого Герреро, как было у него задумано, подождет еще час, давая самолету залететь подальше над Атлантическим океаном, и, дернув за шнурок, взорвет динамит. При этой мысли пальцы его, лежавшие на чемоданчике, невольно напряглись.

Теперь, когда кульминационный момент был уже близок, ему захотелось ускорить его наступление. Может быть, в конце концов не обязательно, подумал он, выжидать так долго. Как только они пролетят Ньюфаундленд, можно действовать.

От хорошей порции виски он несколько успокоился. Правда, сев в самолет, он уже почувствовал себя увереннее, однако, как только они оторвались от земли, нервное напряжение в нем стало снова нарастать, и особенно когда эта въедливая старая кошка начала приставать к нему с разговорами. Герреро не желал вступать ни с кем в контакт — ни сейчас, ни потом: хватит, все связи с окружающим миром для него уже порваны. Ему хотелось одного: сидеть и мечтать о том, как Инес и двое его ребятишек получат, в самом непродолжительном време-

ни, надо полагать, такую крупную сумму, какой он никогда в жизни не держал в руках,— триста тысяч долларов.

А пока что он бы с удовольствием выпил еще виски, но у него не было денег. После того как ему пришлось заплатить за страховку больше, чем он предполагал, мелочи едва хватило на одну порцию виски. Значит, придется обойтись без выпивки.

Герреро снова закрыл глаза. Теперь он старался представить себе, какое впечатление произведет на Инес и ребятишек сообщение о деньгах. Они будут ему благодарны за то, что он застраховался в их пользу, хотя и не узнают всей правды — не узнают, что он пожертвовал ради этого жизнью. Впрочем, у них может зародиться подозрение. Ему хотелось верить, что в этом случае они правильно расценят его поступок; впрочем, всякое может быть: он знал, что люди иногда крайне неожиданно и странно реагируют на благодеяния.

Удивительное дело: когда он думал об Инес и о детях, ему никак не удавалось представить себе их лица. Словно он думал о ком-то, кого знал лишь понаслышке.

Он вознаградил себя, рисуя в воображении знак американского доллара, цифру три, повторенную несколько раз, и бесконечное множество нулей. Должно быть, тут он задремал, потому что, открыв глаза и быстро взглянув на часы, увидел, что прошло уже двадцать минут, и услышал голос стюардессы — красивой брюнетки, говорившей с английским акцентом. Наклонившись к нему, стюардесса спрашивала:

— Вам можно подавать обед, сэр? В таком случае разрешите убрать ваш чемоданчик.

4

При первом же взгляде на адвоката Эллиота Фримантла, явившегося во главе депутации от жителей Медоувуда, Мел Бейкерсфелд почувствовал к нему инстинктивную неприязнь. А еще через десять минут эта неосознанная антипатия переросла в чувство отвращения.

Казалось, адвокат сознательно старался держаться как можно более вызывающе и оскорбительно. Мел видел, что этот человек нарочно пытается его разозлить, вывести из себя и спровоцировать на какое-нибудь неосмотрительное высказывание в присутствии репортеров. Раскусив его стратегию, Мел вовсе не хотел попадаться на удочку. Он сделал над собой усилие и продолжал говорить рассудительно и вежливо, как всегда.

Про себя Мел решил, что постарается как можно быстрее, не выходя, разумеется, из рамок учтивости, положить конец этим переговорам. Он все время остро ощущал присутствие Синди; она продолжала сидеть, как сидела в момент появления депутации, только теперь всем своим видом показывала, что ее одолевает скука: все, что имело хоть какое-то отношение к служебным делам Мела, неизменно нагоняло на нее тоску. Впрочем, на этот раз Мел готов был ей посочувствовать. Появление медоувудцев он и сам воспринимал сейчас как непрошеное вторжение в его личную жизнь, и притом в самый сложный для него момент.

В то же время Мела не оставляла тревога за Кейза. Как там у него на КДП идут сейчас дела? Может быть, ему следовало настоять, чтобы Кейз прервал работу, и продолжить свою беседу с ним, которая, кажется, могла дать результаты, если бы не помешал руководитель полетов. Пожалуй, и сейчас еще не поздно... Но разговор с Синди не был закончен, и ей, конечно, он должен отдать предпочтение перед Кейзом. А тут еще этот зловредный адвокат продолжает упражняться в красноречии...

— Поскольку вы изволили упомянуть эти, с позволения сказать, меры, которые вы применяете для приглушения звука, разрешите поин-

тересоваться, что с ними стряслось сегодня вечером? — язвительно осведомился Эллиот Фримантл.

Мел вздохнул.

— Третьи сутки свирепствует снежный буран.—Он окинул взглядом остальных членов депутации.— Мне кажется, каждому из вас это очевидно. Буран создает сложности.

— Дело не только в шуме, который сотрясает дома и барабанные перепонки жителей Медоувуда, хотя и он достаточно губителен для здоровья — расшатывает нервы, лишает детей нормального сна... Ваш аэропорт физически вторгается...

На этот раз Мел позволил себе прервать адвоката:

— Вы в самом деле считаете, что единственный выход из возникшей сегодня ситуации один — закрыть аэропорт?

— Я не только так считаю и предлагаю вам этот выход, но мы можем заставить вас закрыть аэропорт. Я только что заявил, что аэропорт физически вторгается в жизнь граждан. Я докажу это в суде от имени моих клиентов, и мы выиграем процесс!

Эллиот Фримантл сделал паузу, чтобы дать своим словам поглубже проникнуть в сознание слушателей, а сам тем временем обдумывал, размышлял. Пожалуй, он зашел достаточно далеко. Досадно было лишь то, что, несмотря на все его усилия, управляющий аэропортом не потерял самообладания.

Фримантл сам, конечно, понимал, что все это — лишь пустое жонглирование словами, которое по существу ничего не дает. Даже если бы ему удалось склонить на свою сторону Бейкерсфелда — что было весьма маловероятно,— все равно Бейкерсфелд был бы бессилен что-либо сделать. Аэропорт существовал и будет существовать в том же виде и там, где он есть. Смысл же этого ночного визита заключался отчасти в том, чтобы привлечь к себе внимание публики, а главным образом (с точки зрения самого Фримантла) в том, чтобы показать жителям Медоувуда, какого стойкого поборника своих интересов они имеют в его лице, что должно было обеспечить непрерывный приток новых соглашений и чеков в контору Фримантла и Сая.

Обидно, конечно, что оставшиеся внизу в зале жители Медоувуда не могут слышать, как он, отстаивая их интересы, дает жару этому Бейкерсфелду. Ну ничего, они прочтут это в завтрашних газетах. К тому же Эллиот Фримантл вовсе не считал, что здесь и завершится ночная схватка Медоувуда с аэропортом. По окончании этих переговоров он выступит по телевидению — он обещал это ребятам из телекомпании, которые не могли тащить сюда свое оборудование и тоже ждут внизу. По его расчетам (и по его же предложению), телевизионные камеры сейчас уже должны быть установлены в центральном зале, и хотя этот негр, лейтенант полиции, заявил, что не допустит никаких демонстраций, он, Фримантл, не сомневался, что если ловко повести дело, его выступление может вызвать и демонстрацию.

Однако Мел отнюдь не намерен был оставлять последнее слово за адвокатом, к которому он с каждой минутой проникался все большей антипатией.

— Ну, коль скоро мы здесь собрались,— начал Мел,— я хотел бы сказать несколько слов о работе любого аэропорта и о шуме вообще.

Тут Синди зевнула, и он это заметил.

Фримантл тотчас перебил его:

— Сомневаюсь, чтобы в этом была какая-либо необходимость. Мы намерены теперь...

— Позвольте! — Это уже прозвучало весьма решительно. Мел отбросил, наконец, свой учтиво-мягкий тон.— Следует ли понимать это так,

что после того, как я терпеливо вас выслушал, вы и остальные члены вашей депутации не расположены оказать такую же любезность мне?

Медоувудцы переглянулись. Один из них сказал:

— Я так полагаю, что мы должны...

Мел произнес резко:

— Я жду ответа от мистера Фримантла.

— Право, я не вижу причин повышать голос и вести себя неучтиво,— уклончиво сказал адвокат.

— В таком случае, почему же вы только этим и занимаетесь с той минуты, как переступили порог моего кабинета?

— Я этого не нахожу...

— А вот я нахожу.

— Вам не кажется, что вы слишком горячитесь, мистер Бейкерсфелд?

— Нет, не кажется.— Мел усмехнулся.— Мне жаль вас огорчать, но я вполне владею собой.— Он почувствовал, что преимущество сейчас на его стороне: его неожиданный отпор застал адвоката врасплох, и тот растерялся. Спеша воспользоваться достигнутым, Мел продолжал: — Вы очень много говорили здесь, господин Фримантл, и не всегда достаточно вежливо. Но и я, со своей стороны, тоже хочу кое-что сказать. И я уверен, что представителям прессы интересно выслушать обе стороны, даже если никого больше из присутствующих моя точка зрения не интересует.

Мел заметил, что медоувудцы — две женщины и четверо мужчин — слушают его так же внимательно, как и репортеры. Даже Синди исподтишка наблюдала за ним. И очень спокойно он продолжал:

— Все вы знаете — во всяком случае, должны бы знать,— какие меры принимались в международном аэропорту Линкольна, чтобы по возможности уменьшить шум и облегчить жизнь тем, кто проживает в непосредственной близости от аэропорта. Некоторые из этих мер вам известны, но помимо них существуют и другие: испытание двигателей, например, производится в наиболее удаленных частях аэропорта и в строго установленные часы. Тем не менее я лично считаю, что шум в дальнейшем будет не уменьшаться, а возрастать. И тут мне хотелось бы напомнить вам, что это отнюдь не новая, внезапно возникшая проблема. Она существует с тех пор, как появился паровоз, а за ним — и легковые автомобили, автобусы, грузовики. Эта же проблема возникала, когда через заселенные местности прокладывались автострады или когда строились аэропорты, постепенно расширяющие свои владения. Все это призвано служить людям — во всяком случае, мы так считаем,— однако все это создает шум и несмотря на все наши усилия продолжает его создавать. Ничего тут не поделаешь: поезда, автомобили, автострады, самолеты и все прочее существуют. Это одна из сторон нашего образа жизни, и, если мы не намерены его менять, нам придется как-то приспосабливаться к шуму.

— Иными словами, мои клиенты должны до конца своей жизни отбросить всякую надежду на покой, тишину, безмятежный сон и возможность уединения?

— Нет,— сказал Мел.— Я думаю, что в конце концов им придется переселиться. Я, разумеется, не делаю сейчас никаких официальных заявлений, но убежден, что рано или поздно и наш аэропорт, и все прочие будут вынуждены пойти на многомиллионные расходы и откупить прилегающие к ним населенные районы. Многие из этих районов могут быть превращены в индустриальные центры, для которых шум не имеет значения. Ну и само собой разумеется, тем, кто окажется вынужденным покинуть свои владения, будет выплачена соответствующая компенсация.

Эллиот Фримантл встал и знаком предложил остальным последовать его примеру.

— Вот единственная здравая мысль, которую я услышал за все то время, что мы провели здесь,— заявил Фримантл, обращаясь к Мелу.— Однако выплата компенсации может произойти раньше, чем вы предполагаете, и сумма может оказаться значительно более крупной. Мы с вами еще встретимся. В суде.

Фримантл сухо кивнул и вышел. Остальные последовали за ним.

Мел услышал, как в дверях одна из женщин воскликнула:

— Вы были бесподобны, мистер Фримантл! Я так всем и скажу.

— Ну что ж, спасибо, спасибо...

Голоса замерли.

Мел пошел притворить за ними дверь.

— Мне очень жаль, что так получилось,— сказал он, оборачиваясь к Синди. Теперь, оставшись с нею вдвоем, он уже не знал, что́ могут они сказать друг другу.

Синди холодно заявила:

— Этого и следовало ожидать. Тебе надо было жениться на аэропорте.

Подойдя к двери, Мел заметил, что один из репортеров — Томлинсон из «Трибюн» — вернулся в приемную.

— Мистер Бейкерсфелд, могу я задержать вас на секунду?

— А в чем дело? — устало спросил Мел.

— У меня создалось впечатление, что мистер Фримантл не слишком вас очаровал.

— Это не для печати?

— Нет, сэр.

— В таком случае, вы не ошиблись.

— И я подумал, что вот это может вас заинтересовать.— Он протянул Мелу одно из отпечатанных на машинке соглашений, которые Фримантл распространял на собрании медоувудских жителей, вербуя себе клиентов.

Прочитав соглашение, Мел спросил:

— Где вы это раздобыли?

Репортер объяснил.

— И много там было народу?

— По моим подсчетам — человек шестьсот.

— А сколько таких соглашений было подписано?

— Ну, этого я не могу с уверенностью сказать, мистер Бейкерсфелд. Думается, штук полтораста. А некоторые обещали подписать и прислать по почте.

«Вот почему он так актерствовал»,— угрюмо подумал Мел. Теперь стало понятно, на кого и с какой целью старался Фримантл произвести впечатление.

— Мне кажется, вы сейчас прикидываете в уме то же, что пытался прикинуть я,— сказал Томлинсон.

Мел кивнул.

— Да, все это вместе складывается в довольно кругленькую сумму.

— Вот именно. Я бы не прочь заработать половину.

— Может быть, мы с вами оба ошиблись в выборе профессии? А вы давали отчет об этом собрании в Медоувуде?

— Да.

— И никто из присутствовавших не пробовал указать на то, что общая сумма гонорара этого адвоката достигнет пятнадцати тысяч долларов по самым скромным подсчетам?

Томлинсон покачал головой.

— Либо никто об этом не подумал, либо им наплевать. Кроме того, Фримантл — это личность. Он, я бы сказал, гипнотически действует на аудиторию. Они смотрят ему в рот как зачарованные.

Мел вернул репортеру соглашение.

— Вы будете об этом писать?

— Я-то напишу, но не слишком удивляйтесь, если заведующий городской хроникой вычеркнет это. Они всегда боятся задевать этих крючкотворов. К тому же с чисто юридической точки зрения здесь, вероятно, нет ничего противозаконного.

— Конечно,— сказал Мел.— Другое дело, что это неэтично и коллегии адвокатов может не очень-то понравиться. Но ничего противозаконного тут нет. А жителям Медоувуда следовало бы, конечно, сговориться и просто сообща нанять юриста. Но если люди легковерны и хотят помочь адвокату разбогатеть — это их личное дело.

Томлинсон усмехнулся:

— Могу я это процитировать?

— Вы только что сказали мне, что ваша газета такого материала не напечатает. К тому же мы ведь договорились, что наша беседа не для печати, вы не забыли?

— Пусть так.

Если бы от этого мог быть какой-нибудь толк, думал Мел, он бы разрешил репортеру сослаться на его слова: а вдруг, чем черт не шутит, напечатают. Но он знал, что толку не будет. И он знал также, что множество крючкотворов вроде Фримантла рыщут по стране, вынюхивают, где что неладно, подстрекают людей, осаждают аэропорты, дирекции авиакомпаний, а иногда и пилотов.

— Я слышал, что Фримантл и его шайка что-то еще затевают там, внизу, в центральном зале,— сказал репортер.

Мел пожал плечами. Если даже там что-то и затевается, решил он, то лейтенант Ордвей со своими полицейскими справится с этим и без него.

5

Попрощавшись с репортером «Трибюн», Мел обернулся. Синди стояла и натягивала перчатки.

— Ну, конечно, как ты и говорил — наваливается сотня всяких непредвиденных дел,— язвительно заметила она.— Не знаю, что представляют собой остальные девяносто девять, но не сомневаюсь, что все они важнее для тебя, чем я.

— Ты прекрасно понимаешь,—сказал Мел,—что я выражался фигурально. И я ведь уже принес тебе извинения. Откуда я мог знать, что это произойдет, во всяком случае, что все будет так — одно к одному?

— Но ты же это любишь, разве нет? Тебе все это нравится. Для тебя все это куда дороже, чем я, дети, наш дом, общество приличных, благовоспитанных людей.

— Вот, вот,— сказал Мел.— Я все ждал, когда ты сядешь на своего конька... А, черт, мы, кажется, опять начинаем ссориться. Мы все решили, так ведь? К чему же снова пререкаться?

— Да, конечно,— сказала Синди. Неожиданно она вдруг присмирела.— Да, вероятно, ты прав.

Наступило тягостное молчание. Мел нарушил его первым.

— Подумай, развод — это очень серьезное дело и для тебя, и для меня, и для девочек. Если ты не вполне уверена... если у тебя есть какие-нибудь сомнения...

— Мы ведь как будто уже все обсудили.

— Конечно, но если ты найдешь нужным, мы обсудим это заново еще пятьдесят раз.

— Я не нахожу это нужным.— Синди решительно тряхнула голо-

вой.— У меня нет никаких сомнений. Да ведь и у тебя, в сущности, тоже, разве не так?

— Да,— сказал Мел.— Боюсь, что так.

Синди хотела что-то сказать, но передумала. Она чуть было не сообщила Мелу о Лайонеле Эркарте, однако в последнюю минуту удержалась. Успеется — Мел сам узнает. Что же касается Дерика Идена, который занимал ее мысли почти все время, пока тут в кабинете находилась депутация от Медоувуда, то о его существовании она не собиралась ставить в известность ни Мела, ни... Лайонела.

В дверь постучали — негромко, но решительно.

— О боже!—пробормотала Синди.—Неужели все время кто-нибудь будет сюда врываться?

— Кто там? — раздраженно крикнул Мел.

Дверь отворилась.

— Это я,— сказала Таня Ливингстон.— Мел, мне нужен ваш совет...— Заметив Синди, она приросла к месту.— Простите. Я думала, что вы один.

— Вы почти не ошиблись,— сказала Синди.— Через несколько секунд меня здесь не будет.

— Нет, прошу вас!..— Таня вспыхнула.— Я могу прийти позднее, миссис Бейкерсфелд. Я не хотела вам мешать.

Синди внимательным взглядом окинула Таню, ее форменный костюм.

— Вероятно, вы помешали нам как раз вовремя,— сказала Синди.— Во всяком случае, прошло уже добрых три минуты с тех пор, как отсюда ушли последние посетители, а мы редко бываем вместе более продолжительный срок.— Она повернулась к Мелу.— Не так ли?

Мел молчал.

— Между прочим,— Синди снова обратилась к Тане,— мне бы хотелось знать, как это вы сразу сообразили, кто я такая?

На секунду Таня растерялась, что было ей совсем не свойственно. Оправившись, она слабо улыбнулась:

— Я почему-то догадалась.

Синди подняла брови.

— Может быть, и я должна проявить такую же догадливость? — Она взглянула на Мела.

— Вовсе нет,— сказал Мел и представил их друг другу.

Мел видел, что Синди мысленно оценивает Таню Ливингстон. У него не было ни малейших сомнений в том, что его жена уже строит умозаключения относительно его отношений с Таней. Синди, как он давно заметил, была наделена каким-то безошибочным чутьем по части всего, что касалось отношений между мужчинами и женщинами. К тому же Мел чувствовал, что, представляя Таню жене, он чем-то выдал себя. Этого не могло не случиться: супруги слишком хорошо знают малейшие оттенки голоса друг друга. Мел даже не очень удивился бы, если бы Синди догадалась о том, что у них с Таней назначено свидание, хотя по зрелом размышлении должен был признать, что воображение заводит его слишком далеко.

Во всяком случае, о чем бы Синди ни догадывалась, это теперь не имеет значения, сказал он себе. Ведь она же первая заговорила о разводе, так что́ ей, собственно, за дело до его отношений с другими женщинами? Какую бы роль ни играла в его жизни Таня, а для него самого эта роль была еще совсем не ясна, Синди, рассуждая логически, это не должно касаться. Но женщины, напомнил себе Мел — в том числе и Синди, а возможно, и Таня,— редко умеют рассуждать логически.

И тут он был прав.

— Как тебе повезло, милый,— притворно нежно проворковала Синди,— что на этот раз сюда не пожаловала еще одна делегация нудных

стариков со своими проблемами! — Она впилась взглядом в Таню.— Вы, кажется, сказали, что у вас какие-то затруднения?

Таня невозмутимо выдержала ее испытующий взгляд.

— Я сказала, что мне нужно посоветоваться.

— Ах, вот как! О чем же вам нужно посоветоваться? По служебным делам или по личным?

— Синди, перестань,—резко сказал Мел.—Какое ты имеешь право...

— Как это — какое я имею право? И почему я должна перестать? — В голосе Синди звучала нескрываемая насмешка. Мелу показалось даже, что она получает от этого разговора какое-то извращенное удовольствие.— Не ты ли сам вечно упрекал меня, что я проявляю слишком мало интереса к твоим проблемам? Так вот, проблема твоей приятельницы пробудила во мне живейший интерес... если, конечно, такая проблема существует.

Таня сказала сухо:

— Я по поводу рейса два.— И пояснила: — Это беспосадочный перелет до Рима, миссис Бейкерсфелд. Самолет поднялся в воздух полчаса тому назад.

— А что там у них? — спросил Мел.

— Да, сказать по правде,— Таня замялась,— я сама не очень понимаю.

— Давайте, давайте,— сказала Синди.— Придумайте что-нибудь.

— Да замолчи же! — взорвался Мел.— В чем все-таки дело? — спросил он Таню.

Таня поглядела на Синди и начала пересказывать свой разговор с таможенным инспектором Стэндишем. Описала мужчину, который как-то подозрительно оберегал свой чемоданчик, сказала, что у Стэндиша возникли подозрения, не везет ли этот пассажир контрабанду.

— Он на борту рейса два? — переспросил Мел.— В таком случае, если даже он и везет контрабанду, то в Италию, и это не должно беспокоить американских таможенников. Европейские страны сами сумеют постоять за себя.

— Я понимаю. УП сказал мне то же, слово в слово.— Таня передала свой разговор с ним и его последние слова, произнесенные с раздражением, но твердо: «Нас это не касается!»

Мел озадаченно посмотрел на нее.

— В таком случае я не понимаю, почему...

— Я же сказала вам, что, может быть, все это пустяки, я сама не знаю, но отделаться от этих мыслей никак не могу. И вот я стала проверять...

— Что проверять?

Они оба уже забыли про Синди.

— Инспектор Стэндиш сказал мне, что этот человек с чемоданчиком вошел в самолет одним из последних. Вероятно, это было так, потому что я сама стояла у выхода и все-таки проглядела одну старушку...— Таня не договорила.— Впрочем, это не имеет отношения к делу. Короче говоря, я вместе с дежурным контролером, пропускавшим на рейс два, проверила список пассажиров и ведомость их регистрации. Контролер не мог припомнить человека с чемоданчиком, но указал примерно пять фамилий пассажиров, которые проходили последними.

— И что дальше?

— Тогда я просто по наитию опросила все регистрационные стойки относительно этих пяти пассажиров — не бросилось ли им что-нибудь в глаза. В аэропорте никто ничего сообщить не мог. А вот один из городских агентов действительно запомнил этого пассажира — того, что с чемоданчиком. Таким образом я узнала его имя... и по описанию все сходится.

— Я все же не понимаю, что вы тут усмотрели. Он ведь должен был зарегистрировать где-то свой билет и предпочел сделать это на городской станции.

— Видите ли, агент запомнил его потому, что у него не было с собой багажа — ничего, кроме чемоданчика. И еще агенту бросилось в глаза, что этот пассажир очень нервничал.

— Тысячи людей нервничают...— Внезапно Мел умолк и нахмурился.— Никакого багажа? И он летел в Рим?..

— Вот именно. Ничего, кроме чемоданчика, который привлек внимание инспектора Стэндиша. Городской агент даже назвал этот чемоданчик портфелем.

— Но кто же отправляется в такое путешествие совсем без вещей? Это как-то нелепо.

— Так подумалось и мне. Нелепо, если только...— Таня запнулась, не решаясь продолжить свою мысль.

— Если только?...

— Если только не знать наперед, что самолет не достигнет места назначения. А вот если вам это заранее известно, то никакой багаж не нужен.

— Таня,— медленно и тихо произнес Мел,— что вы имеете в виду?

Она ответила упавшим голосом:

— Я совсем в этом не уверена, потому и пришла к вам. Когда я начинаю раздумывать, мне самой такая мысль кажется смешной, фантастической, и все же...

— Договаривайте.

— Хорошо. А что, если этот человек не везет с собой никакой контрабанды... во всяком случае, в обычном смысле слова... что, если у него потому и не было с собой никакого багажа и потому он так нервничал и так странно держал чемоданчик — даже привлек к себе внимание инспектора... что, если все это потому, что у него там не контрабанда, а бомба?

Таня и Мел уставились друг на друга. Мел быстро перебирал в уме все обстоятельства, прикидывал... Мысль Тани в первую минуту и ему показалась фантастической, нелепой. А все же... ведь такие случаи хоть редко, но бывали. И тотчас возник вопрос: как можно быть уверенным, что это именно такой случай? Чем больше он размышлял, тем очевиднее ему становилось, что поведение этого пассажира с чемоданчиком может иметь совершенно невинное объяснение, и скорее всего так оно и есть. Если поднять тревогу, а потом она окажется ложной, будешь выглядеть дураком. И никому, понятно, не хочется попадать в такое положение. Однако какое это может иметь значение, если на чашу весов положена жизнь пассажиров, судьба самолета! Абсолютно никакого. Но, с другой стороны, для того чтобы поднять тревогу, нужны более веские основания, чем чьи-то домыслы и предчувствие. Есть ли какая-то возможность предостеречь, принять меры, не сея паники?— думал Мел.

Пока что он такой возможности не видел.

Но проверить кое-что он все-таки мог. Это было тоже лишь предположение... впрочем, для такой проверки достаточно телефонного звонка. Вероятно, его навела на эту мысль сегодняшняя встреча с Верноном Димирестом, напомнившая ему их стычку на заседании Совета уполномоченных.

Во второй раз за нынешний вечер Мел заглянул в свой карманный телефонный справочник. Затем подошел к столу и набрал номер страховой компании, продававшей страховки в центральном зале. Ему ответил хорошо знакомый голос одной из девушек, давно работающей страховым агентом в аэропорту.

— Мардж,— сказал он,— говорит Бейкерсфелд. Много ли вы сегодня продали страховых полисов пассажирам рейса два?

— Немного больше, чем обычно, мистер Бейкерсфелд. Да и на другие рейсы тоже. Это из-за погоды; так всегда бывает. На рейс два я продала, кажется, двенадцать, и Банни—она работает рядом со мной— тоже выписывала.

— Вот что я попрошу вас сделать,—сказал Мел.— Прочтите мне фамилии всех взявших полисы и суммы, на которые они застраховались.— Почувствовав, что девушка колеблется, Мел добавил: — Если нужно, я могу позвонить вашему управляющему и получить разрешение. Но вы знаете, что он не станет возражать, а для меня — можете поверить мне на слово — это очень важно, и я не хочу терять время.

— Хорошо, мистер Бейкерсфелд, как прикажете. Но мне нужно собрать все полисы.

— Я подожду.

Мел услышал, как Мардж положила трубку на стол и извинилась перед клиентом. Потом зашелестели бумаги, и раздался голос другой девушки: «Что-нибудь не в порядке?»

Прикрыв микрофон трубки рукой, Мел обернулся к Тане:

— Как его фамилия — этого пассажира с чемоданчиком?

Таня заглянула в свой список.

— Герреро или Берреро — один раз было записано так, а другой раз — иначе.— Она заметила, что Мел вздрогнул.— Инициалы — Д. О.

Мозг Мела напряженно работал. Фамилия женщины, которую час назад приводили к нему в приемную, была Герреро. Так сказал лейтенант Ордвей, Мел отчетливо это помнил. Полиция обратила на нее внимание, потому что она растерянно бродила по аэровокзалу. По словам Неда Ордвея, женщина была чем-то очень расстроена и плакала, но никто из полицейских не мог добиться от нее толку. Мел собирался сам поговорить с ней, но не успел. Когда явилась делегация из Медоувуда, женщина уже уходила. Конечно, может быть, одно к другому и не имеет отношения...

В телефоне слышны были голоса страховых агентов и пассажиров на фоне шума центрального зала.

— Таня! — Мел старался говорить спокойно.— Примерно двадцать минут назад у меня в приемной была женщина — средних лет, в поношенной и, как мне показалось, порядком промокшей одежде. По-моему, эта женщина ушла, когда сюда набился народ, но возможно, она еще где-нибудь здесь, в пределах аэропорта. Так или иначе, если она вам попадется на глаза, не выпускайте ее из виду.— Заметив Танин озадаченный взгляд, Мел добавил: — Ее зовут миссис Герреро.

Таня поспешно вышла, и в эту минуту в телефоне раздался голос Мардж:

— Я собрала все полисы, мистер Бейкерсфелд. Можно вам прочесть?

— Да, Мардж, читайте.

Мел внимательно слушал. Список подходил к концу, когда он услышал уже ставшую знакомой фамилию, и невольно весь напрягся. Голос его зазвучал настороженно:

— Скажите, кто оформлял этот полис — вы?

— Нет, Банни. Сейчас я передам ей трубку.

Мел выслушал рассказ Банни и задал ей несколько вопросов. Разговор их был краток. Мел положил трубку и тут же стал набирать другой номер. Вошла Таня.

— На административном этаже никого посторонних нет. А внизу по-прежнему миллион народу; нечего и думать найти кого-нибудь в этой толпе. Может быть, объявим по трансляции?

— Что ж, попытаемся, хотя особенной надежды на успех у меня нет.

Судя по тому, что он слышал об этой Герреро, голку от нее добиться будет нелегко, и едва ли объявление по трансляции что-либо даст. К тому же ее, вероятно, давно нет здесь — она уже наверняка где-нибудь на полпути к городу. Мел упрекал себя за то, что не поговорил с нею, он ведь собирался это сделать, но его отвлекли другие дела... Тут он вспомнил, что хотел вернуться на КДП. Теперь и это придется отложить... Да, еще Синди... Он только сейчас заметил, что Синди ушла, и почувствовал себя неловко.

Он взял со стола микрофон и протянул его Тане.

В эту минуту ответил набранный им номер полицейского отделения аэропорта.

— Мне нужен лейтенант Ордвей,— сказал Мел.— Он еще в аэропорту?

— Да, сэр.— Дежурный узнал голос Мела.

— Разыщите его как можно скорее. Я подожду. И, кстати, как имя женщины по фамилии Герреро, на которую кто-то из ваших людей обратил сегодня внимание? Мне говорили, но я хочу проверить.

— Одну минуту, сэр.— Небольшая пауза.— Ее зовут Инес, сэр, Инес Герреро. Мы уже вызвали лейтенанта Ордвея по его рации.

Мел быстро дал Тане необходимые указания и нажал кнопку своего личного микрофона, которая одновременно отключала все другие микрофоны трансляционной сети аэропорта. Дверь в приемную была открыта, и он услышал, как оборвалось на полуслове очередное сообщение о посадке на самолет. За все восемь лет, в течение которых Мел находился на посту управляющего аэропортом, только дважды прибегал он к такой мере. В первом случае — как он врезался Мелу в память! — он сделал это, чтобы объявить о смерти президента Кеннеди. Во втором — это было год назад — к нему в кабинет забрел, рыдая, отставший от родителей малыш. Мел не стал канителиться: отвергнув обычную в таких случаях процедуру, он использовал свой микрофон, чтобы поскорее оповестить родителей, которые, конечно, уже сходили с ума от тревоги.

И сейчас он кивнул Тане, чтобы она начинала свое объявление, а мозг его тем временем сверлила мысль, что, в сущности, он до сих пор не знает, зачем нужна ему эта женщина, Инес Герреро,— ведь у него нет даже уверенности в том, что все это не пустые фантазии. Но подсознательно он чувствовал, что это не так, что произошло — а быть может, еще и продолжает происходить — что-то серьезное. В таких случаях нужно, не теряя времени, проверить каждую мелочь в надежде, что каким-то образом, с помощью других людей удастся все разъяснить.

— Прошу внимания! — начала Таня; голос ее звучал, как всегда, ясно и спокойно, и сейчас он был слышен во всех самых отдаленных уголках аэровокзала.— Миссис Инес Герреро, или Берреро, просят немедленно явиться в кабинет управляющего аэропортом на административном этаже центрального здания аэровокзала. Любой служащий аэропорта или какой угодно авиакомпании покажет вам дорогу. Повторяю...

В телефонной трубке затрещало: лейтенант Ордвей был на проводе.

— Нам нужна эта женщина,— сказал ему Мел.— Та, что была здесь у меня в приемной. Герреро. Мы сейчас передаем....

— Да, да,— сказал Ордвей.— Я слышу.

— Она нужна нам срочно. Объясню все потом. А сейчас можете мне поверить...

— Понятно. Когда вы видели ее в последний раз?

— Когда она была вместе с вами в моей приемной.

— Понятно. Что-нибудь еще?

— Да, это может оказаться очень серьезным. Я просил бы вас все бросить, поставить на ноги всех ваших людей. И в любом случае — найдете вы ее или нет — поскорее загляните ко мне сюда.

— Есть.— В телефоне звякнуло: Ордвей повесил трубку.

Таня закончила свое объявление, и не успела она нажать кнопку и выключить микрофон, как в отворенную дверь донеслось новое сообщение по трансляционной сети: «Внимание! Мистер Лестер Мейнуэринг! Просим мистера Мейнуэринга и сопровождающих его лиц немедленно подойти к центральному входу аэровокзала».

«Лестер Мейнуэринг» на условном языке аэропорта означало «полицейский». Сообщение расшифровывалось так: полицейский, находящийся ближе всего к указанному месту, должен немедленно явиться туда. Под «сопровождающими лицами» подразумевались все полицейские аэровокзала. Большинство аэропортов пользовались таким же кодом, чтобы вызывать полицию, не привлекая внимания пассажиров.

— Позвоните Уэзерби,— сказал Мел Тане.— Попросите его как можно быстрее прийти сюда. Скажите, что это важно.— И добавил как бы про себя: — Для начала соберем всех здесь.

Позвонив, Таня сообщила:

— Он сейчас будет.— В голосе ее слышалась тревога.

Мел подошел к двери в приемную и притворил ее.

— Вы ведь так ничего и не объяснили мне,— сказала Таня.— Что такое вы обнаружили?

Мел сказал с расстановкой, осторожно выбирая слова:

— Этот человек, Герреро, тот, что улетел в Рим без багажа с одним ручным чемоданчиком — вы еще заподозрили, что у него там бомба,— перед вылетом застраховал свою жизнь на триста тысяч долларов в пользу некой Инес Герреро. И, оплачивая страховку, выгребал у себя из карманов последнюю мелочь.

— О господи! — Таня побелела и прошептала еле слышно: — Нет, нет... не может быть!

6

Бывали дни — и сегодня выдался один из таких дней,— когда Джо Патрони радовался, что он работает в техническом секторе авиации, а не в коммерческом.

Эта мысль снова посетила его, когда он наблюдал, как хлопочут рабочие, подкапываясь под занесенный снегом лайнер «Аэрео-Мехикан», который все еще блокировал полосу три-ноль.

Несмотря на присланную другими компаниями подмогу, Патрони не удалось закончить подготовительные работы за час, как он рассчитывал. Две прорытые в снегу перед колесами самолета траншеи удлинялись неуклонно, но медленно из-за того, что все работавшие время от времени бегали греться в два служебных автобуса, где было сравнительно тепло. Забравшись туда, люди тотчас принимались хлопать в ладоши и растирать щеки, онемевшие от колючего ледяного ветра, который все еще бушевал над заметенным снегом аэропортом. На ближайшей рулежной дорожке по-прежнему теснились автобусы, грузовики, снегоочистители и прочие служебные машины, в том числе заправочная цистерна и ревущий передвижной генератор — большинство с «мигалками» на крыше. Лучи прожекторов вырывали этот кусок поля из окружающего мрака, превращая его в ослепительно-белый оазис мерцающего снега.

Две траншеи, каждая в шесть футов шириной, шли под небольшим уклоном вверх от огромных колес лайнера к более твердому грунту, куда, по расчетам Патрони, лайнер должен был выбраться своими си-

лами. В глубине траншеи под снегом была мокрая глина, в которой первоначально и застрял съехавший с полосы лайнер. Мокрый снег смешался с мокрой глиной, но по мере подъема траншей вверх количество слякоти становилось все менее угрожающим. Третья траншея—не такая глубокая и более узкая — прокладывалась для носового колеса. Как только удастся вывести самолет на твердый грунт, освободится полоса три-ноль, перекрытая сейчас крылом лайнера. Сам же лайнер нетрудно будет перегнать на соседнюю рулежную дорожку.

Теперь, когда подготовительные работы подходили к концу, дальнейший успех мероприятия зависел от искусства пилотов «боинга-707», которые дожидались своего часа в кабине экипажа и взирали сверху на копошившихся внизу людей. Пилотам предстояло решить основную задачу: какую мощность должны развить двигатели, чтобы самолет сдвинулся с места и не зарылся носом в снег.

Сам Джо Патрони, с тех пор как прибыл на этот участок, почти не выпускал лопаты из рук и вместе с другими рыл траншею. Бездействие всегда угнетало его. К тому же порой он рад был случаю проверить свою выносливость. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как Джо Патрони покинул любительский бокс, однако и сейчас он был физически крепче своих сверстников и даже многих более молодых. Рабочие наземной службы «Транс-Америки» с удовольствием поглядывали на сильную, коренастую фигуру Джо Патрони, работавшего бок о бок с ними. Он увлекал их за собой и подхлестывал: «А ну, пошевеливайся, сынок, мы же не могильщики, а ты не покойник... Что вас все носит в этот автобус, ребята, может, у вас там любовные свидания?.. Если ты еще постоишь в обнимку со своей лопатой, Джек, мороз превратит тебя в жену Лота... Ребята, нам же нужно сдвинуть это корыто с места, пока его конструкция не устарела».

Джо Патрони еще не разговаривал с командиром экипажа и первым пилотом, предоставив это Ингрему, старшему технику «Аэрео-Мехикан», который возился здесь до него. Ингрем сносился с командой по внутреннему радиотелефону и держал пилотов в курсе того, что происходило внизу.

Теперь Джо Патрони распрямил спину и, воткнув лопату в снег, сказал Ингрему:

— Через пять минут мы закончим. Когда у вас все будет готово, велите людям убраться и убрать технику. Лишь только эта махина сдвинется с места,— он мотнул головой в сторону лайнера,— она поведет себя, как пробка от шампанского.

Ингрем, закутанный до ушей в свою парку и весь съежившийся от холода, молча кивнул.

— Вы пока тут кончайте,— сказал Патрони,— а я перекинусь словечком с пилотами.

Старомодный трап, который несколько часов назад подогнали к самолету, чтобы спустить на землю пассажиров, все еще стоял у передней двери. Джо Патрони взобрался по заснеженным ступенькам, прошел через пассажирский салон и направился в кабину экипажа, с удовольствием раскуривая по дороге свою неизменную сигару.

После мороза и снежной вьюги кабина казалась особенно уютной. Один из радиоприемников был настроен на городскую волну, играла музыка. Когда вошел Патрони, первый пилот, сидевший без пиджака, в одной рубашке, выключил радио, и музыка смолкла.

— Зачем вы, это не мешает.— Главный механик отряхнулся, словно бультерьер, обрушив на пол лавину снега.— Я за то, чтобы никогда не вешать носа. Мы же не просим вас сойти вниз и поработать лопатой.

В кабине не было никого, кроме командира экипажа и первого пилота. Патрони вспомнил, что и бортмеханик, и стюардессы отправились вместе с пассажирами в аэровокзал.

Командир, смуглый, кряжистый, чем-то напоминавший Энтони Куинна, повернулся к Патрони на своем вращающемся кресле и сказал сухо:

— Каждый занимается, чем ему положено,— вы своим делом, мы своим.— Он говорил по-английски безукоризненно.

— Это правильно,— согласился Джо Патрони.— Беда только в том, что наше дело нам часто портят и подваливают работы. Со стороны.

— Если вы имеете в виду то, что здесь произошло,— сказал командир,— то madre de Dios![1] — не думаете же вы, что я нарочно зарыл свой самолет в снег?

— Нет, этого я не думаю.— Патрони выбросил сигару, которая уже никуда не годилась, так он ее изжевал, сунул в рот другую и закурил.— Но раз уж он тут увяз, я хочу быть уверен, что мы его вытащим сразу, с первой же попытки. А если нет, то он увязнет еще глубже, по самые уши. Как и все мы, включая вас.— Он поглядел на командирское кресло.— Что вы скажете, если я сяду сюда и попытаюсь его выволочь?

Командир вспыхнул. У него было четыре нашивки, и он не привык к такому тону — впрочем, никто и не разговаривал так с людьми его ранга, кроме Джо Патрони.

— Нет, благодарю вас! — холодно сказал командир. Он ответил бы еще резче, если бы не чувствовал себя крайне неловко из-за положения, в которое попал. Он знал, что завтра в Мехико-Сити его ждет весьма неприятный разговор со старшим пилотом компании. И все же внутренне он весь кипел: «Jesucristo y por la amor de Dios» [2].

— Там, внизу целая орава полузамерзших ребят, которые работали не за страх, а за совесть,— не сдавался Патрони. — Вытащить отсюда самолет — штука тяжелая. Мне уже приходилось, есть опыт. Так что, может, все-таки дадите мне попробовать еще раз?

Командир с трудом сдержал себя.

— Я знаю, кто вы такой, мистер Патрони, и мне сказали, что вы лучше любого другого сумеете помочь нам выбраться из этого болота. Следовательно, я нисколько не сомневаюсь, что вам разрешено маневрировать на самолете по земле. Но позвольте вам напомнить, что мне и первому пилоту разрешено еще и *летать* на нем. И нам за это платят. Так что управлять самолетом мы будем сами.

— Как вам угодно.— Джо Патрони пожал плечами и сказал, ткнув своей сигарой в сторону рычагов подачи топлива: — Только запомните одно: когда я дам знак, двиньте секторы газа вперед до упора. На полную катушку, понятно? Струсите — все пропало.

И он вышел из кабины, не обращая внимания на сердитые взгляды разъяренных пилотов.

Внизу работы были закончены. Кое-кто побежал греться в автобусе. Все машины отогнали подальше от самолета.

Джо Патрони закрыл за собой дверь кабины и спустился по трапу. Старший техник, закутавшийся уже чуть ли не с головой в свою парку, доложил:

— Все готово.

Джо Патрони сделал еще две-три затяжки и швырнул сигару в снег, где она, зашипев, потухла. Затем он указал на безмолвствовавшие двигатели лайнера:

— О'кей, запускайте все четыре.

---

[1] Матерь божья! *(Исп.)*.

[2] О господи, ради всего святого! *(Исп.)*.

Несколько человек уже шли обратно от автобусов. Четверо рабочих подставили плечи под трап и откатили его от самолета. Двое других, стараясь перекрыть шум ветра, крикнули:

— Есть запускать двигатели! — После чего один из них стал перед самолетом, возле передвижного генератора. На голове у него были наушники, подключенные к радиотелефону в самолете. Другой, со светящимися сигнальными жезлами в руках, прошел дальше и стал так, чтобы его было видно пилотам из кабины.

Джо Патрони, одолжив у кого-то защитный шлем, стал рядом с человеком в наушниках. Все остальные высыпали из автобусов — поглядеть.

В кабине пилоты закончили проверку перед стартом.

На земле человек с наушниками начал обычный ритуал подготовки к старту.

— Запускайте двигатели.

Пауза. Голос командира:

— Готовы запускать и форсировать.

Лопасти воздушной турбины третьего двигателя повернулись, завертелись быстрее, завыли. Когда скорость достигла пятнадцати процентов нормальной, первый пилот включил подачу топлива. Когда топливо воспламенилось, двигатель отрыгнул облако дыма и, глухо взревев, заработал

— Запускайте четвертый двигатель.

Следом за третьим заработал четвертый двигатель, и генераторы обоих начали подавать ток.

Раздался голос командира:

— Перехожу на свои генераторы. Отключайте ваш.

— Отключено. Запускайте второй двигатель.

Заработал второй двигатель. Оглушающий рев трех двигателей. Вихрь снега.

Загудел и заработал первый двигатель.

Лучи прожекторов, освещавшие пространство перед самолетом, сместились в одну сторону.

Патрони поменялся наушниками со служащим, стоявшим перед самолетом. Теперь у него была прямая связь с пилотами.

— Говорит Патрони. Когда у вас там все будет готово, начинайте действовать.

Стоявший впереди служащий поднял вверх светящиеся сигнальные жезлы, готовясь указывать путь самолету по эллиптической дорожке за траншеями, тоже расчищенной от снега по распоряжению Патрони. Если «боинг» выедет на дорожку быстрее, чем предусмотрено, служащему придется удирать бегом.

Патрони присел на корточки перед носовым колесом. Положение тоже не безопасное в случае, если самолет рванет с места. Недаром Патрони сжимал телефонный провод в месте соединения, чтобы сразу же выдернуть вилку из штепселя. Он внимательно следил за стойкой шасси — вот сейчас она начнет перемещаться.

Голос командира:

— Даю газ.

Гул двигателей стал громче. Самолет содрогался от этого гула, напоминавшего укрощенную грозу, земля под ним дрожала, но колеса оставались неподвижны.

Спасаясь от ветра, Патрони прикрыл микрофон ладонями и крикнул:

— Больше газу! Дайте секторы вперед до упора!

Рев двигателей усилился, но лишь слегка. Колеса дрогнули, но не сдвинулись с места.

— До упора, черт подери! До упора!

Несколько секунд двигатели продолжали работать на прежней мощности, потом внезапно мощность упала. В наушниках у Патрони задребезжал голос командира:

— Патрони, por favor[1], если я выведу двигатели на полную мощность, самолет станет на нос, и мы с вами вместо завязшего «боинга» будем иметь обломки «боинга».

Патрони внимательно приглядывался к колесам самолета, откатившимся на прежнее место, и к грунту вокруг них.

— Говорю вам, он вылезет! Наберитесь духу и дайте газ на всю катушку.

— Сами набирайтесь духу! — взбесился командир. — Я выключаю двигатели.

Патрони не своим голосом заорал в микрофон:

— Не выключайте, пусть работают вхолостую! Я сейчас поднимусь! — Выскочив из-под носа самолета, он махнул рукой, чтобы подкатили трап. Но не успели его установить, как все четыре двигателя заглохли.

Когда Патрони поднялся в кабину, оба пилота уже отстегивали ремни.

Патрони сказал с осуждением:

— Струсили!

Ответ командира прозвучал неожиданно кротко:

— Es posible[2]. И возможно также, что это единственный разумный поступок, который я совершил за весь сегодняшний вечер. Ваша бригада готова принять самолет на себя? — официальным тоном осведомился он.

— О'кей.— сказал Патрони.— Примем.

Первый пилот взглянул на часы и сделал пометку в бортовом журнале.

— Когда вы так или иначе вытащите самолет из снега,— сказал капитан,— ваша компания свяжется с нашей. А пока что — buenas noches[3].

Лишь только оба пилота, застегнув на все пуговицы свои куртки, покинули кабину, Джо Патрони быстрым привычным взглядом скользнул по приборам и рычагам управления. Через две-три минуты он следом за пилотами спустился по трапу.

Внизу его ждал Ингрем. Он кивком указал на пилотов, спешивших к одному из служебных автобусов.

— Так же сдрейфили они и раньше: не решились дать двигателям полную нагрузку.— Он угрюмо покосился на стойку шасси.— Потому он с самого начала и зарылся так глубоко. А теперь увяз еще глубже.

Именно этого и боялся Патрони.

Он снова нырнул под фюзеляж — поглядеть на положение шасси; Ингрем посветил ему электрическим фонариком. Колеса ушли в мокрый снег и жидкую глину почти на фут глубже прежнего. Патрони взял фонарик, посветил под крыльями: оси всех четырех колес были в опасной близости к грунту.

— Крюком с неба разве что его теперь вытащишь,— сказал Ингрем.

Главный механик «ТВА» задумался и покачал головой.

— Надо попытаться еще раз. Снова подкопать — поглубже, подвести траншеи под самые колеса и запустить двигатели. Только на этот раз вытаскивать его я буду сам.

[1] Ну, пожалуйста *(исп.)*.

[2] Возможно *(исп.)*.

[3] Доброй ночи *(исп.)*.

Вокруг все еще продолжала завывать вьюга.

Ингрем поежился, сказал с сомнением:

— Как знаете, доктор. Но, конечно, лучше вы, чем я.

Джо Патрони усмехнулся:

— Если мне не удастся его вытащить, тогда, наверно, удастся разнести на куски.

Ингрем направился к одиноко стоявшему автобусу — снова собирать людей. Второй автобус уже уехал — повез пилотов «Аэрео-Мехикан» в аэровокзал.

Патрони прикинул: теперь меньше чем за час никак не управиться. Значит, все это время посадочная полоса три-ноль функционировать не будет.

Он направился к своему «пикапу», оборудованному рацией, чтобы доложить об этом на КДП.

7

Инес Герреро не была знакома с теорией, суть которой сводится к тому, что перенапряженный, истощенный мозг может в целях самосохранения отключаться, и тогда человек впадает в состояние пассивного полузабытья. Однако ее поведение служило наглядным подтверждением этой теории. Инес Герреро действовала бессознательно, как сомнамбула.

Вот уже несколько недель ее томило беспокойство, тревога, близкая к отчаянию, а события этой ночи нанесли ей последний, сокрушительный удар. И мозг ее отключился — так срабатывает предохранитель при коротком замыкании. Пока Инес Герреро пребывала в этом состоянии — временном, конечно,— она не отдавала себе отчета, ни где она находится, ни почему.

Грубоватый, разбитной шофер такси оказал ей не слишком хорошую услугу. Они сторговались, что он отвезет ее в аэропорт за семь долларов. Выйдя из такси, Инес дала шоферу десятидолларовую бумажку — кроме этой бумажки у нее почти ничего не было,— ожидая получить сдачу. Шофер пробормотал, что сдачи у него нет, но он сейчас разменяет, и укатил. Инес напрасно прождала десять минут, стоя как на иголках и не сводя глаз с часов аэровокзала, стрелки которых неумолимо приближались к одиннадцати, когда должен был подняться в воздух самолет, отлетавший в Рим, и, наконец, поняла, что шофер такси и не подумает возвращаться. Инес не запомнила ни номера машины, ни фамилии шофера — на что последний и рассчитывал. А если бы даже и запомнила, то писать жалобы было не в ее привычках, и, как видно, шофер раскусил и эту черту ее характера.

Несмотря на все препятствия, возникшие по дороге, Инес еще успела бы попасть к посадке в самолет, не задержись она в ожидании сдачи. А теперь, когда она отыскала выход на поле, самолет уже бежал по рулежной дорожке.

Все же у Инес хватило ума воспользоваться советом, полученным по телефону от мисс Юнг, девушки из справочного бюро «Транс-Америки», и она прибегла к маленькой хитрости, чтобы выяснить, действительно ли ее муж находится на борту самолета, отлетающего в Рим. Контролер как раз собирался покинуть свой пост у выхода сорок семь, когда к нему обратилась Инес.

По совету мисс Юнг она не стала задавать вопросов, а просто заявила:

— Мой муж находится на борту самолета, на который только что закончилась посадка.— И она объяснила, что опоздала проводить мужа,

но хочет убедиться, что он успел благополучно сесть в самолет. Она достала желтенькую квитанцию, обнаруженную среди вещей мужа, и показала ее контролеру. Мельком взглянув на квитанцию, контролер стал просматривать список пассажиров.

На какую-то секунду в душе Инес затеплилась надежда: а вдруг она ошиблась, вдруг муж ее и не думал никуда улетать; мысль о том, что он мог отправиться в Рим, все еще казалась ей слишком невероятной. Но тут контролер сказал — да, Д. О. Герреро находится на борту самолета, вылетающего рейсом два, и обидно, конечно, что миссис Герреро не успела проводить мужа, но сегодня из-за этого снегопада все пошло кувырком, а теперь он просит его извинить, но ему необходимо...

Контролер ушел, и тут Инес расплакалась: она вдруг почувствовала себя такой одинокой среди всей этой толпы.

Сначала из глаз ее выкатилось несколько слезинок, затем сразу припомнились все несчастья и беды, и слезы хлынули ручьем. Инес скорбела о настоящем и оплакивала прошлое: был у нее дом — теперь его не стало; детей она не может содержать; был у нее муж, хоть и никудышный, но она привыкла к нему, а теперь и он улетел куда-то... Она вспоминала, какой была в молодости, и плакала о том, какой стала теперь; она плакала о том, что у нее нет денег и ей некуда идти — разве что снова в опостылевшую, кишащую тараканами квартиру, да и оттуда ее завтра вышвырнут — ведь от ничтожной суммы, с помощью которой она надеялась умилостивить на время своего квартирного хозяина, ничего не осталось после того, как шофер такси присвоил себе сдачу... Она даже не была уверена, хватит ли у нее мелочи, чтобы добраться до дому. Она плакала, потому что туфли натерли ей ноги, и потому что она была так неприглядно одета, да еще промокла насквозь, и потому что устала, измучилась, и потому что закоченела и ее лихорадило. Она плакала о себе и обо всех разуверившихся и отчаявшихся, как она.

Наконец, заметив, что на нее стали с любопытством поглядывать, она, все так же плача, принялась бесцельно бродить по аэровокзалу. Именно тогда защитные силы мозга пришли ей на выручку, сознание ее затуманилось, и в спасительном отупении она хотя и продолжала горевать, но уже не понимала — почему.

Вскоре после этого она попалась на глаза одному из дежурных полицейских аэровокзала, и он, проявив отзывчивость, которой далеко не всегда отличаются блюстители порядка, усадил ее в укромном уголке и тут же связался по телефону со своим начальством. Лейтенант Ордвей находился неподалеку и сказал, что разберется в этом сам. Он пришел к выводу, что Инес, несмотря на ее подавленное состояние и бессвязную речь, совершенно безопасна, и велел проводить ее в кабинет управляющего аэропортом, считая, что это единственное спокойное и вместе с тем не столь устрашающее, как полицейский участок, место.

Инес покорно поднялась в лифте, прошла по коридору; она как будто даже не сознавала, что ее куда-то ведут, во всяком случае, была к этому равнодушна. Потом она покорно опустилась в указанное ей кресло, радуясь, что может отдохнуть. Какие-то люди входили и выходили, говорили что-то, но все это происходило как во сне, а очнуться у нее не хватало сил.

Однако некоторое время спустя инстинкт самосохранения, заложенный в каждом человеке, сколь бы ни был он беспомощен и забит, заставил ее очнуться и осознать, хотя и смутно, что нужно действовать, двигаться, делать что-то, так как жизнь не стоит на месте и — какие бы удары она ни наносила и как бы ни была беспросветна и пуста — неумолимо движется вперед.

Инес Герреро встала; она еще не отдавала себе отчета, где находится и как сюда попала, но уже приняла решение уйти.

В этот момент медоувудская депутация в сопровождении лейтенанта Ордвея вошла в приемную Мела Бейкерсфелда, где находилась Инес. Депутация проследовала в кабинет, а Нед Ордвей вернулся, и, пока затворялась дверь, Мел успел заметить, что лейтенант разговаривает с посетительницей.

Хотя Инес и не очень хорошо соображала, однако она поняла, что этот здоровенный негр-полицейский хочет ей помочь, и вместе с тем возникло неясное ощущение, что она уже видела его где-то, совсем недавно, и тогда он был тоже добр к ней, как и сейчас, куда-то отвел ее и ничего не пытался выспросить; вот и теперь он вроде понимал — хотя она ничего не говорила,— что ей надо вернуться в город, но она не уверена, хватит ли у нее на это денег. Инес принялась шарить в кошельке, хотела подсчитать, сколько у нее там осталось, но он остановил ее и, повернувшись спиной к двери в кабинет, сунул ей в руку три доллара. Потом вывел ее в коридор, показал, как пройти вниз к остановке автобуса, и добавил, что этих денег ей хватит на обратную дорогу и останется еще немного, чтобы в городе добраться, куда ей нужно.

После этого полицейский ушел, а Инес сделала, как он сказал: спустилась вниз по лестнице; потом почти у самой двери, ведущей наружу к остановке автобуса, ей бросилось в глаза нечто привычно-знакомое — киоск, в котором продавали сосиски,— и чувство голода, жажды и смертельной усталости сразу вернуло ее к действительности. Она порылась в кошельке, нашла тридцать пять центов, купила сосиску и кофе в бумажном стаканчике, и вид этих обыденных предметов подействовал на нее ободряюще. В уголке, рядом с киоском, она увидела стул и примостилась на нем. Она не отдавала себе отчета в том, сколько времени просидела там; сосиска была съедена, кофе выпит, и пробудившееся было восприятие реальности происходящего снова стало ускользать от нее, заменяясь чувством успокоения и довольства. Снующие перед глазами люди, гул голосов, какие-то объявления по радио — все это убаюкивало ее. Дважды Инес показалось, будто она услышала по радио и свое имя, но она решила, что это ей почудилось, что этого не может быть, так как никому на свете нет до нее дела и никто даже не знает, что она здесь.

Она смутно сознавала, что рано или поздно ей придется отсюда уйти, и чувствовала, что это будет трудно. Ну, а пока она тихонечко посидит здесь.

8

Все сотрудники, срочно вызванные в кабинет управляющего аэропортом, явились незамедлительно — за исключением одного. Некоторых Бейкерсфелд вызывал сам, других — через Таню Ливингстон, но во всех случаях подчеркивалась настоятельная необходимость прибыть немедленно, отложив все дела.

Первым явился шеф Тани Ливингстон — управляющий пассажирскими перевозками «Транс-Америки» Берт Уэзерби.

Почти тут же следом за ним пришел лейтенант Ордвей, уже отдавший своим полицейским приказ разыскать Инес Герреро, но еще не имевший ни малейшего представления о том, зачем это нужно.

Берт Уэзерби спросил прямо с порога:

— Что у вас стряслось, Мел?

— Мы еще не знаем наверняка, Берт, и ухватиться пока не за что, но не исключена возможность, что на борту вашего самолета, выполняющего рейс два, находится бомба.

Уэзерби кинул мельком вопросительный взгляд на Таню — почему она тоже здесь? — но не стал терять время на расспросы и снова обратился к Мелу:

— Так что именно вам известно?

Мел вкратце рассказал Уэзерби и Ордвею обо всем, что удалось установить, а также о возникших в связи с этим опасениях.

Пока он говорил, вошел таможенный инспектор Гарри Стэндиш, не успевший даже снять формы, а за ним — Банни. Девушка вошла неуверенно, с опаской поглядывая по сторонам на незнакомых людей и незнакомую обстановку. Когда смысл сообщения Мела дошел до нее, она побледнела и глаза ее округлились от испуга.

Из всех приглашенных не явился только контролер, дежуривший у выхода сорок семь и пропускавший пассажиров на рейс два. Когда Таня позвонила его начальнику, тот сказал, что контролер уже сменился и уехал домой. «Передайте,— попросила Таня,— чтобы он по прибытии домой немедленно позвонил сюда». Таня решила, что вызывать его обратно нет смысла: едва ли он запомнил, сел ли Герреро в самолет. Если же у кого-то возникнут вопросы, тогда их можно будет задать и по телефону.

— Я пригласил сюда всех, кто имеет к этому делу хоть какое-то отношение, на случай если вы или кто-то еще пожелает что-нибудь выяснить,— сказал Мел, обращаясь к Уэзерби.— Я считаю, что нам с вами — и главным образом вам — предстоит решить, должны ли мы на основании имеющихся данных предупредить командира рейса два.— В эту минуту Мелу снова вспомнилось то, что он на время выбросил из головы: ведь командиром рейса два был его зять Вернон Димирест. Потом, сказал себе Мел, он еще успеет хорошенько подумать о некоторых вытекающих отсюда последствиях. А сейчас — не время.

— Вот что.— Вид у Берта Уэзерби был довольно мрачный. Он обернулся к Тане.— Какое бы решение мы ни приняли, я считаю, что следует поставить обо всем в известность главного пилота. Разыщите Ройса Кеттеринга. Если он еще на базе, давайте его сюда.

Капитан Кеттеринг, главный пилот «Транс-Америки», испытывал самолет N-731TA перед его отправкой в рейс два.

— Есть, сэр.

Таня направилась к телефону; в это время зазвонил другой аппарат. Мел взял трубку.

Говорил руководитель полетов:

— Сообщаю запрошенные вами сведения о самолете «Транс-Америки», выполняющем рейс два.

— Давайте.

— Взлетел в двадцать три тринадцать по местному времени.

Мел бросил взгляд на стенные часы. Было десять минут пополуночи: самолет летел уже без малого час.

Руководитель полетов продолжал:

— КДП Чикаго передал самолет Кливлендскому центру в двадцать четыре двадцать семь; Кливленд, в свою очередь, передал самолет Торонто в час ноль три, то есть семь минут назад. По сообщению Торонтского центра, самолет находится в настоящий момент близ Лондона, провинция Онтарио. Если вас интересует, могу сообщить дополнительные данные, высоту, скорость, курс...

— Пока достаточно,— сказал Мел.— Благодарю.

— Тут вот еще что, мистер Бейкерсфелд.— И руководитель полетов пересказал сообщение Джо Патрони: полосой три-ноль нельзя будет пользоваться еще по меньшей мере час.

Мел нетерпеливо слушал. Сейчас на первом плане были другие, более важные дела.

Повесив трубку, Мел передал Уэзерби данные о местонахождении самолета.

Таня тоже положила трубку и сообщила:

— Капитана Кеттеринга нашли. Он сейчас придет.

— А эта женщина — жена подозрительного пассажира... Как, кстати, ее зовут? — спросил Уэзерби.

— Инес Герреро,— сказал Ордвей.

— Где она?

— Пока неизвестно.— Ордвей добавил, что полицейские прочесывают аэропорт, хотя, возможно, этой женщины давно уже здесь нет. Управление городской полиции тоже поставлено в известность, и полицейские проверяют каждый автобус, прибывающий в город из аэропорта.

— Она была здесь,— сказал Мел,— но тогда мы еще ничего не знали...

— Не очень-то мы были поворотливы,— проворчал Уэзерби и поглядел на Таню, а потом на инспектора Стэндиша, который пока не произнес ни слова. Таня поняла, что Уэзерби с досадой вспомнил сейчас, как он от нее отмахнулся: «Бросьте вы!» — Придется нам все-таки информировать командира экипажа,— сказал он.— Пусть у нас пока одни только предположения, он имеет право знать о них.

— Может быть, сообщить приметы Герреро, чтобы капитан Димирест мог последить за ним, не привлекая его внимания?

— Если вы найдете это нужным,— сказал Мел,— тут мы можем вам помочь. Есть люди, которые его видели.

— Хорошо,— сказал Уэзерби,— сейчас мы этим займемся. А пока что, Таня, свяжитесь с нашим диспетчером. Скажите, что через несколько минут нам надо будет передать рейсу два важное сообщение — пусть подключат спецсвязь. Я хочу, чтобы это прошло по закрытому каналу, а не в открытый эфир. Пока еще не время оповещать всех.

Таня снова взяла трубку.

Мел обратился к Банни:

— Вы поняли, о каком пассажире идет речь?

— Я?.. Нет, не совсем...

— Его зовут Д. О. Герреро. Вы, кажется, час назад выписывали ему страховой полис, так?

— Да.

— Вы при этом хорошо к нему присмотрелись?

Банни покачала головой.

— Нет, особенно не присматривалась.— Ответ прозвучал тихо. Банни облизнула губы.

Мел с удивлением на нее поглядел.

— Когда я говорил с вами по телефону, мне показалось...

— Страховалась уйма народу...— попыталась оправдаться Банни.

— Но вы же сказали, что вам запомнился этот пассажир!

— Нет, это был какой-то другой.

— Значит, вы не помните пассажира по фамилии Герреро?

— Нет.

Мел был озадачен.

— Разрешите мне, мистер Бейкерсфелд.— Нед Ордвей шагнул вперед и пригнулся почти к самому лицу Банни.— Не хотите впутываться в это дело, так, что ли? — Голос Ордвея звучал резко — это был типичный голос полицейского; мягкого тона, каким Ордвей разговаривал с Инес Герреро, не было и в помине.

Банни вздрогнула и отшатнулась, но промолчала.

— Так или не так? Отвечайте! — настаивал Ордвей.

— Я ничего не знаю.

— Неправда! Знаете. Вы не хотите помочь, потому что боитесь, как бы для вас чего худого не вышло. Мне таких, как вы, видеть приходилось.— Ордвей говорил презрительно, швыряя слова ей в лицо. Он был груб, беспощаден — Мелу впервые открывалась эта сторона его натуры.— Ну, так вот что я вам скажу, красотка. Если вы боитесь неприятностей, то на них-то вы как раз и нарываетесь. Если же хотите избежать их — *пока не поздно,*— надо отвечать на вопросы. *И отвечать быстро!* Нам каждая секунда дорога.

Банни молчала — ее била дрожь.

— Послушайте, девушка,— сказал Мел.— На этом самолете около двухсот человек. Не исключено, что их жизнь в опасности. Я спрашиваю вас еще раз: вы помните человека по фамилии Герреро?

Банни медленно опустила голову.

— Да.

— Опишите его, пожалуйста.

Сначала запинаясь, потом все увереннее Банни принялась описывать внешность Д. О. Герреро.

Все напряженно слушали, и портрет Герреро возникал перед их мысленным взором: худой, костлявый человек, бледное лицо с ввалившимися щеками, острый подбородок, тонкие губы, рыжеватые усики, длинная тощая шея, трясущиеся руки, все время нервно перебирает пальцами. Оказалось, что у Банни весьма острый, наблюдательный глаз.

Уэзерби, сидя за столом Мела, записывал этот словесный портрет для радиограммы Вернону Димиресту, которую он уже начал составлять.

Когда Банни рассказала, что у Герреро едва набралось десять долларов, чтобы заплатить за страховку, а итальянских денег не было и в помине и что он ужасно нервничал, пересчитывал мелочь, а потом невероятно обрадовался, обнаружив пятидолларовую бумажку во внутреннем кармане пиджака, Уэзерби перестал писать и с испугом и возмущением уставился на Банни.

— Боже милостивый! И вы невзирая на это выписали ему полис? Да вы что — рехнулись?

— Я думала...— растерянно начала Банни.

— Ах, вы *думали!* И все-таки ничего не предприняли, не так ли?

Бледная, перепуганная Банни молчала.

Мел напомнил:

— Мы теряем время, Берт.— Он повернулся к инспектору Стэндишу: — А вы, Гарри, можете добавить что-нибудь по поводу этого Герреро?

— Нет,— сказал Стэндиш.— Я не был так близко от него, как эта молодая особа, и она заметила то, чего не заметил я. Но как он держал чемоданчик — это я заметил. Могу добавить только одно: если там действительно находится то, что вы думаете, пусть никто и не пытается отнять у него чемоданчик.

— Так что же вы предлагаете?

— Я ведь не специалист в таких делах,— сказал таможенник,— что я могу предложить? Но, по-моему, здесь можно действовать только хитростью. Ведь если это бомба, значит, у нее должен быть взрыватель и, вероятно, с таким устройством, чтобы его можно было быстро привести в действие. Сейчас бомба у него в руках. Если кто-нибудь попытается ее отнять, он сообразит, что его планы раскрыты и, значит, ему нечего терять.— Стэндиш помолчал и добавил угрюмо: — А при таком напряжении палец, лежащий на взрывателе, может дрогнуть...

— Нам, конечно, по сути дела еще ничего не известно,— сказал Мел.— Быть может, это просто какой-то чудак и в чемоданчике у него нет ничего, кроме пижамы.

— Если хотите знать мое мнение,— сказал таможенный инспектор,— то я думаю, что это не так. К великому моему сожалению. Тем более что с этим рейсом улетела моя племянница.

Стэндиш был очень расстроен: если случится самое худшее, как сообщит он такую весть своей сестре в Денвер? Ему вспомнилось прощанье с Джуди: какая она прелестная, юная и как беззаботно играла с сидевшим рядом ребенком. «До свиданья, дядя Гарри!» — сказала она и чмокнула его в щеку. В бессильном отчаянии он упрекал теперь себя за то, что не действовал более решительно, не принял никаких мер в отношении человека с чемоданчиком.

— Я хочу добавить еще кое-что.— Все посмотрели на Стэндиша.— Сейчас не до ложной скромности, и потому я скажу напрямик: у меня есть чутье на людей, особенно первое впечатление никогда меня не обманывает, и дурного человека я обычно чувствую сразу, только не спрашивайте меня — как и почему, это инстинкт, ну и еще, может быть, профессиональный навык. Я сразу обратил внимание на этого человека. «Подозрительный субъект»,— сказал я себе, но по профессиональной привычке подумал о контрабанде. Теперь, после того, что нам стало известно — пусть это еще очень немного,— я скажу больше: этот человек, Герреро,—опасная личность.—Стэндиш взглянул на управляющего перевозками.— Мистер Уэзерби, я бы хотел, чтобы вы в своей радиограмме именно так охарактеризовали этого человека.

— Как раз это я и намеревался сделать, инспектор.

Таня все еще разговаривала по телефону с нью-йоркским диспетчером «Транс-Америки».

— Да, сообщение будет длинное. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы была снята копия.

Раздался резкий стук в дверь; вошел высокий мужчина с обветренным, изборожденным морщинами лицом и пронзительным взглядом светло-голубых глаз. Он кивнул Мелу, а Берт Уэзерби сказал:

— Спасибо, Ройс, что явились так быстро. У нас тут вроде не все благополучно.— Он протянул листок блокнота с радиограммой, которую только что набросал.

Капитан Кеттеринг, главный пилот «Транс-Америки», внимательно прочел радиограмму. Он ничем не выдал своего волнения, пока глаза его скользили по строчкам,— только чуть тверже стала линия губ. Главный пилот, как и многие другие, в том числе и управляющий перевозками, обычно не задерживался в аэропорту до такого позднего часа. Но снежная вьюга, бушевавшая трое суток и требовавшая срочных решений с учетом обстановки, не позволила ему уйти домой.

Зазвонил второй телефон, нарушив воцарившуюся на секунду тишину. Мел взял трубку и передал ее Ордвею.

Капитан Кеттеринг дочитал радиограмму. Уэзерби спросил:

— Как вы считаете, стоит ее посылать? Мы уже запросили у диспетчера канал спецсвязи.

— Правильно,— сказал капитан Кеттеринг.— Только я попросил бы добавить: «Предлагаем вернуться или совершить посадку по усмотрению командира». И пусть диспетчер радирует им последнюю метеосводку.

— Да, разумеется.— Уэзерби приписал еще несколько слов, протянул блокнот Тане, и она тут же начала передавать радиограмму.

Капитан Кеттеринг обвел взглядом присутствующих.

— Это все, что нам известно?

— Да,— сказал Мел.— Пока что все.

— Возможно, скоро прибавится еще что-нибудь,— сказал лейтенант Ордвей, кладя телефонную трубку.— Мои ребята только что разыскали жену Герреро.

Радиограмма управляющего пассажирскими перевозками международного аэропорта имени Линкольна командиру рейса два начиналась так:

СОГЛАСНО НЕПРОВЕРЕННЫМ ДАННЫМ, ПАССАЖИР ТУРИСТСКОГО КЛАССА НА БОРТУ ВАШЕГО САМОЛЕТА Д. О. ГЕРРЕРО ИМЕЕТ ПРИ СЕБЕ ВЗРЫВНОЙ МЕХАНИЗМ. ПАССАЖИР ЛЕТИТ БЕЗ БАГАЖА И, ПО-ВИДИМОМУ, БЕЗ ДЕНЕГ. ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ЗАСТРАХОВАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ НА КРУПНУЮ СУММУ. ПОДОЗРИТЕЛЬНО ОБЕРЕГАЕТ ЧЕМОДАНЧИК, НАХОДЯЩИЙСЯ ПРИ НЕМ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОЙ КЛАДИ. ДАЕМ ОПИСАНИЕ ПАССАЖИРА...

Для установления связи с рейсом два по радиоканалам авиакомпании потребовалось несколько минут.

Наконец нью-йоркский диспетчер услышал голос капитана Вернона Димиреста, пролетавшего в этот момент над Канадой, в районе Онтарио:

— Говорит рейс два «Транс-Америки», спецвызов принят.

— Рейс два «Транс-Америки», говорит диспетчерская служба Нью-Йорка. Для вас получено важное сообщение. Примите радиограмму.

Короткая пауза — и снова голос Димиреста:

— О'кей, Нью-Йорк. Давайте ваше сообщение.

— КОМАНДИРУ РЕЙСА ДВА,— начал диспетчер.— СОГЛАСНО НЕПРОВЕРЕННЫМ ДАННЫМ, ПАССАЖИР ТУРИСТСКОГО КЛАССА...

Инес Герреро все еще тихонько сидела в углу у киоска, когда кто-то потряс ее за плечо.

— Инес Герреро! Вы — миссис Инес Герреро?

Инес подняла глаза. Она не сразу собралась с мыслями — они были где-то далеко и так сумбурны,— но все же до ее сознания постепенно дошло, что перед ней стоит полицейский.

Он снова потряс ее за плечо и повторил свой вопрос.

Инес неуверенно кивнула. Она поняла, что это не тот полицейский, который разговаривал с ней раньше. Этот был белый и говорил совсем по-другому — жестко, без всякого сочувствия.

— Ну-ка, леди, подымайтесь! — Полицейский больно ухватил ее за плечо и грубо заставил встать.— Слышите? Пошли! Все уже надорвали глотку, вас вызывая. Подняли на ноги всю полицию.

Когда Инес через десять минут появилась в кабинете Мела, все уставились на нее. Полицейский подвел ее к стулу, стоявшему посреди комнаты, и усадил. Теперь к ней подошел лейтенант Ордвей.

— Миссис Герреро,— начал Нед Ордвей.— Почему ваш муж полетел в Рим?

Инес тупо смотрела на Ордвея и молчала. Полицейский заговорил более жестко, но не грубо.

— Миссис Герреро, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я должен задать вам несколько очень важных вопросов. Они касаются вашего мужа, и вы можете мне помочь. Вы меня понимаете?

— Нет... А почему...

— Вам не нужно понимать, *почему* я задаю эти вопросы. Об этом мы поговорим потом. Сейчас я хочу только, чтобы вы на них отвечали и этим помогли мне. Вы согласны отвечать? Я вас об этом прошу.

Уэзерби не вытерпел:

— Лейтенант, мы не можем возиться всю ночь. Самолет удаляется от нас со скоростью шестьсот миль в час. Раз иначе не выходит, беритесь за нее покрепче.

— Предоставьте это дело мне, мистер Уэзерби,— резко сказал Ордвей.— Если мы все начнем кричать, толку будет вдвое меньше, а времени уйдет вдвое больше.

Уэзерби промолчал, всем своим видом, однако, выражая нетерпение.

— Инес...— снова начал Ордвей.— Можно я буду называть вас Инес?

Инес молча кивнула.

— Инес, вы будете отвечать на мои вопросы?

— Буду... если смогу.

— Почему ваш муж улетел в Рим?

Она прошептала еле слышно:

— Я не знаю.

— У вас есть там друзья? Родственники?

— Нет... В Милане есть дальний родственник, но мы его совсем не знаем.

— Ваш муж состоит в переписке с этим родственником?

— Нет.

— Мог ваш муж почему-либо вдруг пожелать навестить этого родственника?

— Нет.

— Послушайте, лейтенант,— вмешалась Таня,— никто же не летит в Милан рейсом два. Для этого существует «Алиталия» — прямой рейс до Милана, да он и дешевле. И сегодня вечером самолет «Алиталии» улетел тоже.

— Да, видимо, мы можем забыть об этом родственнике,— согласился Ордвей.— Есть у вашего мужа какие-нибудь дела в Риме? — спросил он Инес.

Она отрицательно покачала головой.

— А чем вообще занимается ваш муж?

— Он берет... брал подряды.

— Какого рода подряды?

Мало-помалу Инес начинала приходить в себя.

— На постройку зданий, жилых домов...

— Вы сказали «брал». Он больше этим не занимается? Почему?

— Дела пошли плохо...

— Вы имеете в виду денежную сторону?

— Да... А почему вы спрашиваете?

— Пожалуйста, поверьте мне, Инес, у меня есть на то серьезные основания. Речь идет о жизни вашего мужа... и еще многих других. Поверьте мне на слово.

Инес подняла глаза на Ордвея. Их взгляды встретились.

— Хорошо.

— У вашего мужа и сейчас денежные затруднения?

Инес помедлила лишь секунду.

— Да.

— Серьезные?

Инес молча наклонила голову.

— Он разорился? У него долги?

Совсем шепотом:

— Да.

— А где он раздобыл денег на полет в Рим?

— Мне кажется...— Инес хотела было сказать, что муж заложил ее кольцо, но внезапно вспомнила про квитанцию «Транс-Америки» о выдаче ему билета в кредит. Она вынула измятую желтую бумажку из сумочки и протянула ее Ордвею. Уэзерби тоже подошел взглянуть.

— Она выписана на «Берреро»,— заметил Уэзерби.— А подпись неразборчива — можно понять и так и этак.

— Он и в списке пассажиров значился как Берреро,— напомнила Таня.

— Сейчас это не имеет значения,— сказал Ордвей,— но в общем-то это старый трюк, к которому прибегают, когда человек неплатежеспособен. Заменяют первую букву, чтобы платежеспособность нельзя было проверить — во всяком случае сразу. А потом, когда ошибка обнаруживается, сваливают всю вину на того, кто выписывал квитанцию.— Держа желтую бумажку в руке, Ордвей повернулся к Инес и спросил сурово: — Почему вы на это согласились? Вы же знали, что это мошенничество.

— Я совсем ничего про это не знала,— возмутилась Инес.

— Откуда же у вас эта бумажка?

Инес довольно сбивчиво принялась рассказывать, как она обнаружила квитанцию и поспешила в аэропорт, надеясь перехватить мужа, пока он не сел в самолет.

— Значит, до сегодняшнего вечера вы понятия не имели о том, что ваш муж собирается куда-то лететь?

— Нет, сэр.

— Ни малейшего?

— Нет.

— И даже сейчас вы не понимаете, зачем ему это понадобилось?

Инес поглядела на Ордвея с тревогой.

— Нет.

— Ваш муж совершал когда-либо нелогичные поступки?

Инес колебалась.

— Ну, так как же,— допытывался Ордвей,— случалось с ним такое?

— Случалось, иногда... в последнее время.

— Он был неуравновешен?

Шепотом:

— Да.

— Впадал в ярость?

Помолчав, Инес ответила утвердительно, хотя и с явной неохотой.

— У вашего мужа был сегодня с собой чемоданчик,— спокойно, не меняя тона, проговорил Ордвей.— Маленький чемоданчик, в каком носят бумаги. И, по-видимому, он представлял особую ценность для вашего мужа. Вы не знаете, что у него могло там быть?

— Не знаю, сэр.

— Вы сказали, Инес, что ваш муж брал подряды — строительные подряды. Приходилось ли ему в процессе работы пользоваться взрывчаткой?

Вопрос был задан как бы вскользь и так неожиданно, что не сразу привлек к себе внимание. Но когда он дошел до сознания каждого, в комнате внезапно воцарилась напряженная тишина.

— О да,— сказала Инес — Очень часто.

Ордвей помедлил и спросил:

— Ваш муж хорошо разбирается во взрывчатых веществах?

— Мне кажется, да. Ему нравилось с ними работать... Но он...— внезапно Инес умолкла.

— Что — он, Инес?

— Он обращается с ними очень осторожно...— Апатия Инес прошла, она теперь явно нервничала. Взгляд ее перебегал с одного лица на другое.— А почему вы об этом спрашиваете?

— А вы совсем не догадываетесь почему, Инес? — вкрадчиво спросил Ордвей.

Она молчала, и тогда Ордвей снова спросил, как бы между прочим:

— Где вы проживаете?

Инес назвала адрес, и он его записал.

— Ваш муж был дома сегодня днем или вечером перед тем, как отправиться на аэродром?

Инес подняла испуганные глаза на полицейского.

— Был.

Ордвей повернулся к Тане и сказал вполголоса:

— Соедините меня, пожалуйста, с полицейским отделением этого района.— Он набросал на бумажке несколько цифр.— Пусть не кладут трубку...

Таня поспешила к телефону.

Ордвей снова обратился к Инес:

— Ваш муж держал дома взрывчатку? — Инес явно колебалась и медлила с ответом. Голос Ордвея внезапно стал резок: — Вы до сих пор говорили мне правду. Не лгите же теперь! Была у него взрывчатка?

— Была.

— Какая именно?

— Динамит... и капсюли... Они у него остались...

— С тех пор, когда он работал подрядчиком?

— Да.

— Говорил он вам про них что-нибудь? Объяснял, зачем он их держит?

— Нет. Он говорил только, что это не опасно, если... если знать, как с ними обращаться...

— А где он их хранил?

— Просто в ящике стола.

— Какого стола, где?

— В спальне.— Внезапно Инес покачнулась, лицо ее побелело. Это не укрылось от Ордвея.

— Вы что-то вспомнили! Что именно?

— Ничего! — Но голос и глаза Инес выдавали охвативший ее ужас.

— Да, вспомнили, не запирайтесь! — Ордвей наклонился к Инес, лицо его стало жестким, суровым. Снова от былой обходительности не осталось и следа: перед Инес стоял полицейский, грубый, беспощадный; ему нужен был ответ, и он знал, что получит его.— Не вздумайте запираться или лгать! — выкрикнул Ордвей.— Не поможет. Говорите, о чем вы подумали.— Инес всхлипнула.— Бросьте это! Говорите!

— Сегодня вечером... я как-то не обратила на это внимания сначала... эти штуки....

— Динамит и капсюли?

— Да.

— Ну, что вы тянете! Говорите, в чем дело?

Инес прошептала едва слышно:

— Их не было на месте!

Послышался ровный голос Тани:

— Я вас соединила, лейтенант. Дежурный на проводе.

В комнате царила мертвая тишина.

Ордвей махнул рукой Тане, не отрывая взгляда от Инес.

— Известно ли вам, что сегодня вечером, перед тем как сесть в самолет, ваш муж застраховал свою жизнь на крупную, очень крупную сумму в вашу пользу?

— Нет, сэр, клянусь, я ничего не знаю...

— Я вам верю,— сказал Ордвей. Он умолк, что-то соображая. Когда он снова заговорил, голос его звучал еще резче: — Инес Герреро, слушайте меня внимательно. У нас есть основания полагать, что ваш муж сегодня вечером имел при себе эти взрывчатые вещества, о которых вы нам сообщили, и, улетая в Рим, взял их с собой. Поэтому — так как иного объяснения его поступку нет — мы считаем, что он сделал это с намерением взорвать самолет и убить себя и всех находящихся на борту. Теперь я хочу задать вам еще один вопрос, но прежде чем вы на него ответите, подумайте хорошенько, подумайте о тех, кто находится там, в самолете, обо всех этих ни в чем не повинных людях, среди которых есть дети. Вы знаете вашего мужа, Инес, вы должны знать его лучше, чем кто-либо другой. Способен ли он... ради страховой премии, ради вас... способен ли он сделать то, о чем я только что сказал?

По лицу Инес Герреро струились слезы. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Еле слышно, запинаясь, она пролепетала:

— Да... да, мне кажется, он способен.

Нед Ордвей отвернулся от нее. Он взял у Тани телефонную трубку и заговорил быстро, понизив голос. Потом снова обернулся к Инес Герреро:

— Мы должны обыскать вашу квартиру и можем, разумеется, получить ордер на обыск. Но вы облегчите нам дело, если сами дадите на это согласие. Ну, как?

Инес тупо кивнула.

— Отлично.— В телефонную трубку Ордвей сказал: — Она согласна.— И, опустив трубку на рычаг, повернулся к Уэзерби и Мелу.— Поищем улик у него на квартире. Это все, что мы можем пока предпринять.

Уэзерби проговорил мрачно:

— Да и мы тоже мало что можем сделать — остается только молиться.— Лицо у него сразу осунулось, потемнело; он начал составлять новую радиограмму командиру рейса два.

9

Пилотам рейса два подали горячую закуску, заказанную капитаном Димирестом. Тарталетки, принесенные стюардессой из салона первого класса, быстро исчезали с подносов. Димирест, надкусив тарталетку с омаром и грибами, сдобренными пармезанским сыром, одобрительно хмыкнул.

Стюардессы по обыкновению продолжали усиленно заботиться о тощем Сае Джордане. Украдкой, за спиной двух других летчиков, они сунули ему еще несколько тарталеток на отдельном подносе, а когда Джордан повернулся к своим приборам, за щекой у него был изрядный кусок бекона, нафаршированного куриной печенкой.

Вскоре всем трем пилотам, отдыхавшим по очереди в мягком полумраке кабины, будет подано еще одно изысканное блюдо и десерт, какими авиакомпания потчует своих пассажиров первого класса.

И только столовое вино и шампанское оставались привилегией пассажиров и не подавались команде.

Вернон Димирест посасывал последние сочные кусочки омара, когда в кабине прозвучал громкий сигнал вызова по каналу спецсвязи и на панели вспыхнула желтая лампочка.

Брови Энсона Хэрриса поползли вверх. Радиограмма по спецканалу — явление необычное, а два спецвызова меньше чем за час — нечто вообще из ряда вон выходящее.

— Нет, нужно нам засекретиться,— прозвучал сзади голос Сая Джордана.

Димирест протянул руку к регулятору радио.

— Я приму.

После обмена позывными между рейсом два и нью-йоркским диспетчером Вернон Димирест принялся записывать радиограмму в блокнот, пришпиленный под затененной козырьком лампочкой. По мере того как он писал, лицо его, на которое падали отблески света, становилось все более угрюмым, сосредоточенным. Он подтвердил прием и отключился, не прибавив больше ни слова. Все так же молча он протянул блокнот Энсону Хэррису. Наклонившись к свету, тот прочел радиограмму, негромко свистнул и передал блокнот через плечо Саю Джордану.

Текст заканчивался словами: «ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРНУТЬСЯ ИЛИ СОВЕРШИТЬ ПОСАДКУ ПО УСМОТРЕНИЮ КОМАНДИРА».

Оба старших пилота понимали, что возникает вопрос о том, кто будет принимать решение. Хотя самолет в этом рейсе пилотировал Энсон Хэррис, а Вернон Димирест выполнял обязанности пилота-контролера, все же решающее слово оставалось за ним, как за командиром экипажа.

В ответ на вопросительный взгляд Хэрриса Димирест буркнул:

— Кто в левом кресле — вы или я? Чего же мы ждем?

Хэррис размышлял недолго. Он сказал:

— Повернем обратно, но очень широким виражом — так, чтобы не заметили пассажиры. И пошлем Гвен Мейген опознать этого типа, из-за которого там подняли переполох: никто из нас, само собой разумеется, не может появиться в салоне — это его вспугнет. Ну, а потом,— он пожал плечами,— я полагаю, придется действовать сообразно с обстоятельствами.

— Согласен,— сказал Димирест.— Вы разворачивайте машину, а я возьму на себя салон.— Он трижды нажал кнопку, вызывая Гвен.

Тем временем Энсон Хэррис связался по радио с воздушным диспетчером и кратко сообщил:

— Говорит «Транс-Америка», рейс два! У нас возникли трудности. Прошу разрешения на возвращение в аэропорт Линкольна и на ведение радаром отсюда до аэропорта.

Хэррис уже прикинул в уме возможности посадки в каком-либо другом аэропорту. Оттава, Торонто и Детройт, как им сообщили при взлете, были закрыты из-за снегопада. К тому же, чтобы обезвредить опасного пассажира, команде требовалось время.

Хэррис не сомневался, что Димирест пришел бы к такому же решению.

Откуда-то снизу, преодолев расстояние в шесть миль, до них долетел голос диспетчера Торонтского центра:

— «Транс-Америка», рейс два, вас понял.— И после короткой паузы: — Можете начинать разворот влево, направление два-ноль. Готовьтесь к перемене эшелона.

— Вас понял, Торонто. Начинаем разворот. Будем делать широкий вираж.

— «Транс-Америка», рейс два. Широкий вираж одобрен.

Как обычно в таких случаях, переговоры велись тихо. По характеру полученного сообщения диспетчер на земле сразу понял, что самолет терпит или может потерпеть бедствие. Лайнеры, совершающие рейсовый полет, не прерывают его внезапно и не поворачивают обратно без серьезной причины. Вместе с тем диспетчер знал, что командир корабля в случае необходимости сразу подаст сигнал бедствия и незамедлительно сообщит причину. А пока этого не произошло, диспетчер не должен отвлекать команду и задавать ненужные вопросы.

Любая помощь, какая потребуется, будет оказана с максимальной быстротой и без лишних расспросов.

Но уже и сейчас машина наземных служб заработала вовсю. В Торонтском центре, расположенном в красивом современном здании милях в четырнадцати от города, диспетчер, получив сообщение рейса два, подозвал старшего по группе. Старший немедленно установил контакт с другими секторами и стал расчищать воздушное пространство как впереди попавшего в беду самолета, так и непосредственно под ним — последнее из предосторожности, на всякий случай. Тотчас оповестили Кливлендский центр о том, что рейс два, недавно переданный им Торонтскому центру, возвращается обратно и надо следить за его полетом. Оповестили и Чикагский центр, которому предстояло принять рейс от Кливлендского.

В кабину самолета тем временем поступило указание от диспетчера:

— Начинайте спуск до уровня два-восемь-ноль. Доложите освобождение уровня три-три-ноль.

Энсон Хэррис подтвердил прием:

— Торонтский центр, говорит рейс два «Транс-Америки». Начинаем снижаться.

Сай Джордан по распоряжению Хэрриса уже сообщил диспетчеру авиакомпании по ее радиоканалу о решении возвратиться в аэропорт.

Дверь кабины отворилась. Вошла Гвен Мейген.

— Если меня вызвали потому, что вам нужны еще тарталетки,— сказала она,— то прошу прощения, но вы их не получите. К вашему сведению, у нас на борту кроме вас есть еще и пассажиры.

— Вашим нарушением субординации я займусь позднее,— сказал Димирест.— А сейчас... У нас тут небольшая неприятность.

На первый взгляд, в кабине пилотов ничего не изменилось с тех пор, как здесь была получена радиограмма управляющего перевозками, однако чувствовалось, что от прежнего спокойно-безмятежного настроения не осталось и следа. Несмотря на внешнее спокойствие, все три пилота были собранны, каждый находился в состоянии полной готовности и ощущал эту готовность в других. Положение на борту самолета еще не стало критическим, и при удаче все вообще могло обойтись. Но если катастрофа неизбежна, команда была готова к ней.

— Мне нужно, чтобы вы опознали одного пассажира,— сказал Димирест, повернувшись к Гвен.— Но он не должен знать, что вы ищете его. Мы получили его словесный портрет. Ознакомьтесь с ним.— Он протянул ей блокнот с записью спецсообщения.

Гвен придвинулась ближе — так, чтобы свет из-под козырька падал на листок.

Самолет слегка качнуло: рука Гвен коснулась плеча Вернона Димиреста, он вдохнул тонкий аромат духов и остро ощутил ее близость. Скосив глаза, он увидел в полумраке ее профиль. Она читала радиограмму; лицо ее стало серьезным, но не растерянным. Димиресту вспомнилось, как несколько часов назад она восхитила его силою духа, что отнюдь не уменьшало ее женственности. И мгновенно промелькнула

мысль о том, что дважды за этот вечер он слышал из уст Гвен признание в любви. Это признание заставило его тогда задуматься: а сам он был ли когда-нибудь по-настоящему влюблен?

Человеку, который привык всегда держать свои чувства в узде, трудно ответить на этот вопрос. Однако сейчас он вдруг понял, что его чувства к Гвен больше похожи на любовь, чем все, что он испытывал когда-либо прежде.

Гвен уже вторично, более медленно, перечитывала радиограмму.

На миг Димирестом овладела слепая ярость: из-за этой дурацкой истории, которая разрушала его планы,— теперь ему уже не удастся отдохнуть и развлечься с Гвен в Неаполе. Но он тут же взял себя в руки. Сейчас не время для личных эмоций. К тому же вся эта история может привести всего лишь к задержке — возможно, даже на сутки после их возвращения в аэропорт,— но в конечном счете рейс все равно состоится. Ему и в голову не пришло, что им, быть может, не удастся сразу разделаться с этой бомбой или что эта история может окончиться не так благополучно, как в большинстве подобных случаев.

Сидевший рядом с Димирестом Энсон Хэррис продолжал плавно осуществлять вираж, давая самолету лишь самый ничтожный крен. Хэррис заявил, что пассажиры не заметят изменения курса (и он был прав), разве только кто-нибудь, знакомый с картой звездного неба, случайно глянет в окно и увидит, что восток и запад поменялись местами. В этом случае причина перемены несомненно станет ясна, но другого выхода не было. По счастью, земля была скрыта облаками, и огни городов не могли служить ориентиром. Теперь Хэррис начал понемногу снижаться, нос самолета слегка пошел вниз, дроссели были лишь чуть прикрыты, так что гул двигателей почти не изменил тембра. Хэррис осторожно, сосредоточенно, словно по учебнику, вел самолет, со скрупулезной точностью выполняя все правила, игнорируя Гвен и Димиреста.

Гвен вернула блокнот.

— Идите в салон и отыщите этого субъекта,— инструктировал ее Димирест.— Посмотрите, при нем ли чемоданчик и нет ли способа его отобрать. Вы понимаете, что ни один из нас не должен появляться там — пока, во всяком случае,— чтобы не спугнуть его.

— Конечно,— сказала Гвен.— Я понимаю. Но и мне туда идти незачем.

— Как так?

— Я уже знаю, где он сидит,— спокойно сказала Гвен.— Место четырнадцать А.

Вернон Димирест испытующе на нее поглядел.

— Вероятно, мне не нужно предупреждать вас, как важно, чтобы тут не произошло ошибки. Если есть хоть малейшее сомнение, ступайте и проверьте.

— У меня нет сомнений.

Примерно полчаса назад, пояснила Гвен, после того как пассажиры первого класса отобедали, она прошла в туристский салон, чтобы помочь стюардессам. Один из пассажиров — у окна слева — задремал. Когда Гвен заговорила с ним, он мгновенно проснулся. На коленях у него лежал чемоданчик. Гвен предложила взять его и положить куда-нибудь на время ужина, но пассажир отказался. Он продолжал крепко держать чемоданчик, словно какую-то драгоценность. А потом, вместо того чтобы достать складной столик, пассажир использовал чемоданчик, поставив на него поднос с едой. Гвен, привыкшая к чудачествам пассажиров, не придала этому значения, однако человека этого она, конечно, запомнила. Все приметы, перечисленные в радиограмме, совпадали с его внешностью.

— Я хорошо его запомнила еще и потому, что он сидит как раз рядом со старушенцией — безбилетной пассажиркой.

— Вы сказали, что он сидит у окна, верно?

— Да.

— Это несколько осложняет дело — не так-то легко будет дотянуться и вырвать у него чемоданчик...— Но тут Димиресту вспомнилась та часть радиограммы от УП, которая гласила:

«ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬНО, СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО СКОРЕЕ ВСЕГО НАХОДИТСЯ СНАРУЖИ И МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО ПРИВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ. ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЕСЛИ ВЗДУМАЕТЕ СИЛОЙ ЗАВЛАДЕТЬ ЧЕМОДАНЧИКОМ».

Димирест почувствовал, что Гвен сейчас тоже вспомнила это предостережение.

И впервые не то чтобы страх, но какая-то неуверенность нарушила четкий ход его мыслей. Страх мог прийти потом, пока его еще не было. Возможно ли, что эта угроза взрыва может оказаться не просто угрозой? Вернону Димиресту не раз приходилось обсуждать такого рода ситуации, но у него как-то не укладывалось в голове, что он сам может попасть в такое положение.

Энсон Хэррис теперь так же плавно выводил самолет из разворота. Они уже летели в противоположном направлении.

Сигнал вызова по каналу спецсвязи прозвучал снова. Димирест сделал знак Саю Джордану, тот переключился на спецсвязь, дал сигнал приема и начал записывать радиограмму.

Энсон Хэррис тем временем снова вызвал Торонтский центр.

— Я вот о чем думаю, Гвен,— сказал Вернон Димирест,— нельзя ли под каким-нибудь предлогом убрать оттуда двух соседей Герреро? Когда он останется один, может быть, кому-нибудь из нас удастся подойти сзади, наклониться над пустыми сиденьями и выхватить чемоданчик.

— Он сразу заподозрит неладное,— решительно заявила Гвен.— Я уверена, что он насторожится. Он и так уже весь как на иголках. Если мы уберем его соседей, какой бы мы ни изобрели предлог, он тотчас заподозрит подвох и будет смотреть в оба.

Второй пилот протянул им блокнот с последней радиограммой, полученной по спецсвязи. Радиограмма была от УП аэропорта Линкольна. Димирест и Гвен, наклонившись к свету, прочли:

«ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СВЕДЕНИЯМ, НАЛИЧИЕ У ПАССАЖИРА ГЕРРЕРО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ. ПОВТОРЯЮ: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ. ПАССАЖИР ПСИХИЧЕСКИ НЕУРАВНОВЕШЕН, НЕ КОНТРОЛИРУЕТ СВОИ ПОСТУПКИ. ВТОРИЧНО РЕКОМЕНДУЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ С ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ».

— Вот это последнее мне особенно понравилось,— сказал Сай Джордан.— Ну, как это мило с их стороны, какая трогательная забота.

— Заткнитесь! — резко оборвал его Димирест.

На несколько секунд в кабине воцарилось молчание.

— Если б можно было придумать что-то,— медленно проговорил Димирест,— как-то отвлечь его внимание, чтобы он выпустил из рук чемоданчик. Нам нужно всего несколько секунд, чтобы завладеть им... две секунды, если действовать быстро.

— Он даже на пол его не ставит,— заметила Гвен.

— Я знаю! Знаю! Я просто рассуждаю сам с собой, вот и все.—

Он помолчал.— Давайте обдумаем все сначала. Между Герреро и проходом находятся двое пассажиров. Один из них...

— Один из них мужчина; он сидит у прохода. Кресло посередине занимает миссис Квонсетт. Дальше сидит Герреро.

— Значит, бабуля сидит непосредственно рядом с Герреро, рядом с чемоданчиком?

— Да, конечно, но что нам это дает? Даже если мы посвятим ее во все, едва ли она...

Димирест перебил Гвен:

— Вы еще ничего ей не говорили? Она не знает, что мы ее поймали?

— Нет. Вы же сами не велели.

— Да, да. Просто я хотел еще раз удостовериться.

Снова наступило молчание. Вернон Димирест напряженно думал, взвешивал все «за» и «против». Наконец он проговорил с расстановкой:

— У меня возникла одна идея. Быть может, ее не удастся воплотить в жизнь, но другой возможности я пока не вижу. Теперь слушайте внимательно, я объясню вам, что нужно делать.

В салоне туристского класса большинство пассажиров уже покончили с ужином, и стюардессы собирали подносы. На этот раз ужин прошел быстрее обычного, отчасти потому, что из-за опоздания с отлетом многие пассажиры подкрепились в аэровокзале, и теперь, в этот поздний час, одни совсем отказались от еды, а другие лишь слегка поковыряли вилкой в тарелке.

Миссис Ада Квонсетт продолжала болтать со своим новым приятелем-музыкантом. Одна из стюардесс — бойкая молодая блондинка — обратилась к ним:

— Вы уже закончили, можно взять подносы?

— Да, пожалуйста, мисс,— сказал музыкант.

Миссис Квонсетт приветливо улыбнулась:

— Спасибо, душенька, можете взять мой поднос. Все было очень вкусно.

Угрюмый человек, сидевший по левую руку от миссис Квонсетт, вернул свой поднос, не произнеся ни слова.

И тут маленькая старушка из Сан-Диего заметила другую стюардессу, стоявшую в проходе.

Миссис Квонсетт еще раньше обратила внимание на эту девушку — по-видимому, старшую над остальными стюардессами. Это была жгучая брюнетка с очень привлекательным, широкоскулым лицом и решительным взглядом темных глаз; сейчас взгляд ее был холодно и непреклонно устремлен на Аду Квонсетт.

— Извините, мадам. Разрешите проверить ваш билет.

— Мой билет? Извольте.— Миссис Квонсетт изобразила удивление, хотя мгновенно поняла, что кроется за этой просьбой. Видимо, они уже пронюхали или почему-либо заподозрили, что билета у нее нет. Но миссис Ада Квонсетт еще никогда не сдавалась без боя, и мозг ее тотчас заработал с лихорадочной быстротой. Сейчас главное выяснить — насколько осведомлена эта девица.

Миссис Квонсетт открыла сумочку и сделала вид, что роется в ее содержимом.

— Где-то он у меня здесь, моя дорогая. Должен быть где-то здесь.— Она с самым невинным видом подняла глаза на стюардессу.— Должен быть здесь, если только контролер не отобрал его у меня при выходе из вокзала. Может, он оставил его у себя, а я не обратила внимания.

— Нет,— сказала Гвен Мейген,— он этого сделать не мог. Если это обратный билет, у вас должен остаться купон на обратный полет. А если билет обыкновенный, у вас остался бы корешок от билета и посадочный талон.

— Да, странно...— Миссис Квонсетт продолжала рыться в сумочке.

Гвен сказала жестко:

— Разрешите, я погляжу сама.— Во время этого диалога обычную ее обходительность как рукой сняло.— Если билет лежит у вас в сумке, я его найду. Если же его там нет, это избавит нас с вами от излишней потери времени.

— С какой это стати! — возмутилась миссис Квонсетт. Впрочем, она тут же сбавила тон: — Я понимаю, что вы не хотели меня обидеть, моя дорогая, но у меня здесь, помимо всего прочего, лежат личные бумаги. А вы, особенно вы, как англичанка, должны уважать неприкосновенность личности. Вы ведь англичанка, не правда ли?

— Кто я такая, не имеет ни малейшего отношения к делу. Сейчас нас интересует ваш билет. *Если*, конечно, он у вас есть.— Гвен повысила голос, слова ее были слышны теперь другим пассажирам. Кое-кто повернул голову в их сторону.

— О господи, да есть у меня билет. Вопрос только в том, куда я его сунула.— Миссис Квонсетт дружелюбно улыбнулась.— А вот то, что вы англичанка, я сразу поняла, как только вы заговорили. В устах некоторых людей — вот как в ваших, например,— английская речь звучит так пленительно. Обидно, что мало кто из нас, американцев, обладает таким произношением. Мой покойный супруг не раз, бывало, говорил мне...

— Что говорил ваш супруг, нас не интересует. Где ваш билет?

Нелегко было Гвен держаться так нелюбезно, даже грубо. В обычных обстоятельствах она обошлась бы с этой старушкой хотя и твердо, но вместе с тем дружелюбно и сочувственно: запугивать женщину вдвое старше себя было очень не по душе Гвен. Но когда она покидала кабину пилотов, Вернон дал ей на этот счет строжайшие указания.

Миссис Квонсетт была, казалось, несколько ошеломлена.

— Я терплю ваши грубости, милочка, но как только найду билет, я не премину объяснить вам, что ваше поведение....

— В самом деле, миссис Квонсетт? — От Гвен не укрылось, как вздрогнула старуха, когда она назвала ее по имени: впервые ее спокойное благодушие было поколеблено. А Гвен неумолимо продолжала: — Вы ведь Ада Квонсетт, не так ли?

Старушка приложила к губам кружевной платочек и вздохнула.

— Ну, раз уж вам известно мое имя, было бы бесполезно его скрывать, верно?

— Безусловно, тем более что мы знаем про вас все. Вы настоящая уголовница, миссис Квонсетт.

Теперь уже многие пассажиры смотрели в их сторону и прислушивались к разговору, а некоторые даже покинули свои места и подошли поближе. Симпатии всех были явно на стороне старушки, все неодобрительно поглядывали на Гвен. Пассажир, сидевший у прохода и беседовавший с миссис Квонсетт, когда появилась Гвен, беспокойно заерзал на сиденье и сказал:

— Если произошло недоразумение, может быть, я могу помочь...

— Никакого недоразумения не произошло,— сказала Гвен.— Вы путешествуете вместе с этой дамой?

— Нет.

— Тогда это вас не касается, сэр.

До этой минуты Гвен ни разу не позволила себе взглянуть на пассажира, сидевшего у окна. И он тоже не смотрел на нее, однако его

поза и наклон головы свидетельствовали о том, что он внимательно прислушивается к происходящему. Украдкой бросив взгляд в его сторону, Гвен успела заметить, что он по-прежнему держит чемоданчик на коленях. При мысли о том, что́ он там прячет, она похолодела, предчувствуя беду, и по телу ее побежали мурашки. Ей захотелось повернуться, кинуться в кабину экипажа, сказать Вернону, чтобы он справлялся с этим делом сам. Но она взяла себя в руки и преодолела минутную слабость.

— Я ведь сказала, что нам все про вас известно,— повторила она.— Не далее как сегодня вас уже поймали без билета на одном из наших лос-анджелесских рейсов. Вы даже были сняты с самолета, но вам удалось улизнуть. А потом вы обманом ухитрились пробраться на этот самолет.

Маленькая старушка из Сан-Диего заметила небрежно:

— Если вам все известно или кажется, что все известно, разубеждать вас нет смысла.— Ну что ж, решила она про себя, стоит ли расстраиваться? В конце концов, она ведь была готова к тому, что ее поймают. И все-таки она успела пережить интересное приключение и хорошо поужинать. Да и что такого особенного случилось? Эта рыжеволосая там, в аэропорту, сама сказала, что авиакомпании никогда не возбуждают дела в суде против безбилетных пассажиров.

Однако ей было любопытно, что же последует дальше.

— Мы что же, повернем теперь назад в аэропорт?

— Ну, не такая уж вы важная персона. Мы сдадим вас в Италии тамошним властям.— Вернон Димирест предупредил Гвен, что все должны по-прежнему считать, будто самолет летит в Рим, ни в коем случае нельзя говорить, что они уже повернули обратно. Он несколько раз повторил, что Гвен должна быть груба со старушкой. Гвен вовсе не улыбалось выполнять такую роль, но это было необходимо, чтобы произвести соответствующее впечатление на Герреро и выполнить задуманный Димирестом план.

Герреро, конечно, не подозревал — и в случае удачи догадается, когда будет уже поздно,— что вся эта сцена разыгрывается только для него.

— Пройдемте со мной,— сказала Гвен миссис Квонсетт.— Командиру сообщили о вас, и он должен дать соответствующий ответ. Но сначала он хочет поговорить с вами.— И, обратившись к пассажиру, занимавшему кресло у прохода, она сказала: — Будьте любезны, пропустите эту даму.

Впервые за все время старушка проявила нервозность.

— Командир хочет со мной говорить?

— Да, и ждать он не любит.

С явной неохотой миссис Квонсетт поднялась с места. Музыкант, весьма расстроенный, вышел в проход, чтобы дать ей пройти. Гвен взяла ее под локоть и повела вперед, чувствуя на себе враждебные взгляды остальных пассажиров.

Она с большим трудом преодолела желание обернуться и поглядеть, наблюдает ли за ними пассажир с чемоданчиком.

— Меня зовут капитан Димирест. Пожалуйста, подойдите поближе. Гвен, будьте любезны, закройте дверь — как-нибудь разместимся.— Вернон Димирест улыбнулся миссис Квонсетт.— К сожалению, конструкторы самолета не учли, что сюда могут пожаловать гости.

Старушка из Сан-Диего устремила внимательный взгляд на говорившего. После ярко освещенного салона она еще не успела освоиться

с полумраком кабины. Она различала лишь неясные очертания какой-то фигуры на фоне десятка светящихся красным циферблатов. Но голос звучал несомненно дружелюбно. А миссис Квонсетт уже мужественно приготовилась к разговору в совсем другом тоне.

Сай Джордан откинул подлокотник на свободном кресле позади Энсона Хэрриса. Гвен мягко и предупредительно — совсем не так, как несколько минут назад,— усадила старушку в кресло.

Самолет не качало, поэтому передвигаться в нем было легко. Он продолжал снижаться, но до тех слоев атмосферы, где бушевал снежный буран, было еще далеко, и самолет летел со скоростью пятьсот миль в час легко и плавно, словно плыл по заштилевшему морю.

— Миссис Квонсетт,— сказал Вернон Димирест,— забудьте о том, что произошло за стенами этой кабины. Мы пригласили вас сюда по другой причине.— Он обернулся к Гвен: — Вы были достаточно грубы с этой дамой?

— К сожалению, да.

— Мисс Мейген действовала по моим указаниям. Я ей подробно рассказал, как она должна себя вести. Мы знали, что одно интересующее нас лицо будет за этим наблюдать. Мы хотели, чтобы все выглядело естественно и можно было, не вызывая подозрений, пригласить вас сюда.

Большая темная фигура в кресле справа начинала мало-помалу приобретать более отчетливые очертания. Ада Квонсетт, вглядываясь в лицо этого человека, нашла, что оно не выглядит злым. Пока еще она, разумеется, совсем не понимала, к чему он клонит. Она огляделась по сторонам. Все это было чрезвычайно интересно. Еще ни разу в жизни не доводилось ей бывать в кабине экипажа. Кабина оказалась куда меньше, чем она предполагала. Здесь было очень тесно. И тепло. Все трое мужчин сидели в одних рубашках. Да, теперь уж ей действительно будет что рассказать своей дочери в Нью-Йорке, если она когда-нибудь доберется туда.

— Мамаша,— сказал человек, отрекомендовавшийся капитаном.— Вы ведь не робкого десятка?

Вопрос был странный. Миссис Квонсетт задумалась и ответила не сразу:

— Да, мне кажется, я не особенно труслива. Случается, конечно, и понервничать, но только теперь это реже со мной бывает. С годами начинаешь пугаться все меньше и меньше.

Пристальный, испытующий взгляд капитана был прикован к ее лицу.

— Я решил рассказать вам кое-что, а затем попросить вас помочь нам. Времени у нас мало, я буду краток. Вероятно, вы заметили пассажира, который сидит рядом с вами — у окна.

— Такой тощий, с тоненькими усиками?

— Да,— сказала Гвен.— Этот самый.

— Как же, заметила. Очень странный господин. Ни с кем не разговаривает и не выпускает из рук чемоданчика. Мне кажется, он чем-то очень обеспокоен.

— Мы тоже обеспокоены,— негромко произнес Вернон Димирест.— У нас есть основания предполагать, что у него в чемоданчике бомба. И мы хотим ее забрать. Вот почему нам потребовалась ваша помощь.

«Самое удивительное,— пронеслось у Ады Квонсетт в голове,— что здесь у них такая тишина». В этой тишине и в наступившем после слов Димиреста молчании Ада Квонсетт услышала, как где-то у нее над головой заговорило радио:

— «Транс-Америка», рейс два, говорит Торонтский центр. Вы на-

ходитесь в пятнадцати милях к востоку от Клейнбергского маяка. Сообщите вашу высоту и намерения.

Человек, сидевший впереди слева — Ада Квонсетт не видела его лица,— отвечал:

— Торонтский центр, говорит «Транс-Америка», рейс два. Снижаемся, покидаем уровень два-девять-ноль. Просим разрешения продолжать медленно снижаться. Намерение совершить посадку в аэропорту Линкольна остается неизменным.

— «Транс-Америка», вас понял. Освобождаем вам путь следования. Можете продолжать постепенно снижаться.

Третий человек, сидевший справа от Ады Квонсетт за маленьким столиком, перед которым были расположены еще какие-то приборы, сказал:

— По моим расчетам, мы должны быть на месте через час семнадцать минут. Это — если ветер будет как по сводке; если же фронт шторма приблизился, то прилетим позже.

— Так мы, значит, все-таки возвращаемся? — Голос Ады Квонсетт выдавал охватившее ее волнение.

Димирест кивнул.

— Да, но кроме вас никто из пассажиров этого не знает. И пока вам придется держать это в секрете, причем главное, чтобы Герреро — пассажир с чемоданчиком — ничего не заподозрил.

У Ады Квонсетт даже дух перехватило. «Неужели это в самом деле происходит со мной?» — думала она. Потрясающее приключение, не хуже тех, что показывают по телевизору. Немножко опасное, конечно. Но она тут же сказала себе: об этом не стоит думать. Главное — она здесь, участвует во всем этом, разговаривает запанибрата с командиром корабля, и он доверяет ей свои тайны. Да, будет что порассказать дочери!

— Ну как, согласны вы нам помочь?

— Разумеется, согласна. Как я понимаю, вы хотите, чтобы я попробовала отобрать у него чемоданчик...

— Ни в коем случае! — Вернон Димирест обернулся и для большей убедительности перегнулся к ней через спинку кресла. Он сказал твердо: — И не вздумайте даже прикасаться к этому чемоданчику.

— Раз вы так говорите,— кротко согласилась миссис Квонсетт,— не буду.

— Да, я именно так говорю. И запомните: очень важно, чтобы Герреро не заподозрил, что мы обратили внимание на его чемоданчик и знаем о его содержимом. А теперь я проинструктирую вас — как раньше инструктировал мисс Мейген — насчет того, что вы должны делать, когда вернетесь в салон. Пожалуйста, слушайте меня внимательно.

Когда он закончил, старушка из Сан-Диего позволила себе улыбнуться уголком губ.

— О да, да! Мне кажется, я сумею это проделать.

Она уже вставала с кресла, а Гвен открывала дверь кабины, когда Димирест спросил:

— Мне сказали, что вы летели без билета из Лос-Анджелеса... как будто в Нью-Йорк. Зачем?

Миссис Квонсетт объяснила, что она порой чувствует себя одиноко на Западном побережье и ей хочется повидать дочь, живущую на востоке страны.

— Бабушка,— сказал Димирест,— если мы все это провернем, я лично обещаю вам, что обо всех неприятностях, которые с вами произошли, будет забыто и более того: наша авиакомпания даст вам бесплатный билет до Нью-Йорка и обратно.

Миссис Квонсетт была так растрогана, что едва не расплакалась.

— О, благодарю вас, благодарю! — От волнения голос ее дрогнул. «Какой изумительный человек,— подумала она.— Какой добрый, очаровательный человек!»

Пережитое Адой Квонсетт неподдельное волнение пришлось весьма кстати и немало помогло ей справиться со своей задачей, когда она прошествовала через салон первого класса к своему креслу. Гвен Мейген, крепко ухватив безбилетную пассажирку за локоть, подталкивала ее вперед, а та прикладывала кружевной платочек к глазам и являла собой весьма впечатляющее зрелище донельзя расстроенной пожилой дамы. Утирая слезы, Ада Квонсетт внутренне ликовала: ведь она разыгрывала уже вторую сцену за сегодняшний вечер. Сначала на аэровокзале притворилась больной и одурачила этого мальчишку, Питера Кокли. Ей это прекрасно удалось — значит, все удастся и теперь.

И в самом деле, спектакль был настолько убедителен, что один из пассажиров даже спросил Гвен довольно сердито:

— Послушайте, мисс, я не знаю, чем провинилась эта дама, но почему вы позволяете себе так грубо обращаться с ней?

Гвен, зная, что Герреро уже может ее услышать, ответила резко:

— Прошу вас не вмешиваться, сэр.

Выполняя указание Вернона, Гвен, как только вошла в туристский салон, тут же задернула за собой портьеру, разделяющую салоны. При этом она успела бросить взгляд назад и заметила, что дверь кабины слегка приоткрылась. Гвен знала, что там, за дверью, стоит Вернон, наблюдает и ждет. Как только портьера между салонами первого и туристского класса задернется, Вернон пройдет вперед, станет за портьерой и будет следить за происходящим в щелку, которую Гвен должна была предусмотрительно оставить. А затем в нужный момент он откинет портьеру и быстро шагнет вперед.

При мысли о том, что произойдет через несколько минут — и чем все это может кончиться! — предчувствие беды снова охватило Гвен, и сердце ее сжалось от страха. И снова она нашла в себе силы победить страх. Она заставила себя вспомнить о том, что в ее руках жизнь экипажа и остальных пассажиров, которые даже и не подозревают, какая драма разыгрывается сейчас у них на глазах, и подтолкнула миссис Квонсетт к ее креслу.

Пассажир по фамилии Герреро быстро вскинул на них глаза и тут же отвел взгляд. Гвен заметила, что чемоданчик все так же лежит у него на коленях и он не выпускает его из рук. Третий пассажир, гобоист, поднялся со своего сиденья с краю, когда они подошли ближе. Всем своим видом выражая миссис Квонсетт сочувствие, он вышел в проход, чтобы пропустить старушку на ее место. Гвен проворно шагнула вперед, преградив ему дорогу обратно. Место музыканта должно было оставаться пустым, пока Гвен не отойдет в сторону. Глаза Гвен уловили какое-то движение за портьерой. Значит, Вернон Димирест уже занял свой наблюдательный пост и готов действовать.

— Прошу вас! — Все еще стоя в проходе, миссис Квонсетт с мольбой обратила к Гвен полные слез глаза.— Умоляю: попросите командира отменить свое решение. Я не хочу, чтобы он передавал меня в руки итальянской полиции...

Гвен сказала грубо:

— Об этом надо было думать раньше. И я не могу указывать командиру, что ему делать.

— Но вы можете попросить его!

Герреро повернул голову в их сторону, прислушался и снова отвернулся.

Гвен схватила старушку за плечо.

— Говорят вам — садитесь на свое место!

Ада Квонсетт начала всхлипывать:

— Я же вас только об одном прошу: отправьте меня обратно! Передайте меня полиции, но только дома, не в чужой стране!

За спиной Гвен послышался протестующий голос гобоиста:

— Мисс, неужели вы не видите, как расстроена эта дама?

— Пожалуйста, не вмешивайтесь,— огрызнулась Гвен.— Эта пассажирка вообще не имеет права здесь находиться. У нее нет билета.

Гобоист сказал возмущенно:

— Пусть так, но перед вами все-таки пожилая дама.

Не обращая внимания на гобоиста, Гвен толкнула миссис Квонсетт, и та пошатнулась.

— Вы что, не слышите? Садитесь на свое место и сидите тихо!

Ада Квонсетт упала на сиденье и взвизгнула:

— Вы мне сделали больно! Больно!

Несколько пассажиров, протестуя, вскочили с мест.

Герреро сидел, не поворачивая головы. Гвен видела, что руки его по-прежнему сжимают чемоданчик.

Миссис Квонсетт снова начала всхлипывать.

Гвен сказала холодно:

— У вас истерика! — Она наклонилась вперед и неторопливо, хорошо рассчитанным движением влепила миссис Квонсетт пощечину, внутренне содрогаясь от того, что ей приходится делать. Звук пощечины звонко прокатился по салону. Пассажиры онемели. Вторая стюардесса смотрела на Гвен, разинув от изумления рот. Гобоист схватил Гвен за руку; она поспешно оттолкнула его.

Дальше все произошло с такой стремительностью, что никто из присутствующих не смог бы точно пересказать последовательность событий.

Миссис Квонсетт повернулась к пассажиру слева — к Герреро.

— Сэр, умоляю вас! Помогите мне! Помогите!

Но Герреро продолжал сидеть с каменным лицом, игнорируя ее вопли.

Потеряв, по-видимому, самообладание от волнения и страха, Ада Квонсетт вскинула руки и, истерически всхлипывая, обхватила Герреро за шею.

— Умоляю вас, умоляю!

Герреро завертелся на сиденье, пытаясь высвободиться. Ему это не удалось. Ада Квонсетт лишь крепче сжала его шею.

— Спасите меня!

Лицо Герреро стало пунцовым; чувствуя, что задыхается, он попытался разорвать сжимавшее его шею кольцо рук. Ада Квонсетт мгновенно вцепилась в обе его руки.

В ту же секунду Гвен Мейген наклонилась и одним ловким и, казалось, даже неторопливым движением схватила лежавший на коленях у Герреро чемоданчик. Еще какая-то доля секунды — и чемоданчик находился уже в проходе, а между ним и Герреро встал непреодолимый барьер в лице Ады Квонсетт и Гвен.

Портьера, разделявшая салоны, раздвинулась. Вернон Димирест, высокий, внушительный в своей капитанской форме, стремительно шагнул вперед. Лицо его выражало облегчение; он уже протягивал руку, чтобы взять чемоданчик.

— Отлично сработано, Гвен. Давайте его сюда.

Не вмешайся в дело судьба, на этом все бы и кончилось, если не

считать кары, которая ждала Герреро. Но случилось иначе — единственно по вине некоего Маркуса Расбоуна.

До этой минуты Расбоун был никому не известным и никого не интересующим пассажиром, занимавшим место 14-Д через проход от гобоиста. И хотя никто не обращал на него внимания, этот самодовольный, надутый человек был, как всегда, преисполнен сознания собственной значимости.

В маленьком городке штата Айова мелкий торговец Маркус Расбоун был известен всем как «зануда». Любому делу, любому начинанию своих сограждан он неизменно старался ставить палки в колеса. Его возражения и протесты по любому вопросу — значительному или пустяковому — сделались притчей во языцех. Он возражал против выбора книг для местной библиотеки, против плана установки домовых антенн, против взысканий, наложенных в школе на его сына, против цвета общественных зданий. Незадолго до этой поездки в Рим ему удалось провалить проект единого оформления вывесок, что значительно украсило бы главную улицу их городка. И при этом никто не помнил, чтобы «зануда» сам внес когда-нибудь хоть одно дельное предложение.

Другой отличительной чертой характера Расбоуна было то, что он презирал женщин, в том числе и свою собственную жену. Восставая против чего-либо, он никогда не руководствовался интересами женщин. Вот почему его ничуть не задело унизительное обращение с миссис Квонсетт, но зато когда Гвен Мейген схватила чемоданчик Герреро, этого Расбоун уже стерпеть не мог.

Женщина, да еще в форменной одежде, покушалась на права такого же рядового путешественника, как он сам,— так воспринял это Маркус Расбоун. Пылая негодованием, он поднялся с кресла и встал между Гвен и Верноном Димирестом.

В ту же секунду Герреро, весь побагровев и бормоча что-то нечленораздельное, кое-как высвободился из цепких объятий Ады Квонсетт, вскочил на ноги и шагнул в проход. Маркус Расбоун выхватил у Гвен чемоданчик и с учтивым поклоном протянул его владельцу. Словно дикий зверь, Герреро метнулся вперед и завладел своей собственностью.

Вернон Димирест бросился к нему, но было уже поздно. Он хотел схватить Герреро — и не смог: проход был узок, и в нем стояли Гвен, Расбоун и гобоист. А Герреро, проскочив у них за спиной, уже мчался по проходу. На его пути пассажиры вскакивали с мест. Димирест, видя, что все пропало, крикнул:

— Держите его! У него бомба!

Кто-то взвизгнул, кто-то выскочил в проход, закупорив его еще больше. Но Гвен Мейген, работая локтями, плечами, коленями, сумела оказаться ближе всех к Герреро.

Добежав до конца салона, Герреро обернулся, точно загнанное животное. Позади него были двери трех туалетов; световые указатели оповещали, что два из них свободны, а один занят. Стоя спиной к туалетам, Герреро вытянул вперед руки с чемоданчиком. Одной рукой он держал ручку, другой — петлю шнурка, который теперь был отчетливо всем виден. Сдавленным голосом он предостерегающе прорычал:

— Стойте! Не приближайтесь!

Вернон Димирест снова крикнул, перекрывая шум:

— Герреро, вы слышите меня? Слушайте! Слушайте, что я вам скажу!

На мгновение воцарилась тишина, все замерли — слышно было только, как гудят двигатели.

Герреро стоял, повернувшись лицом к преследователям, и затравленно поглядывал на них.

— Мы знаем, кто вы и что вы задумали,— продолжал Димирест.— Мы знаем про вашу страховку и про бомбу, и на земле об этом тоже известно, так что страховка ваша аннулирована. Вы понимаете? Ваша страховка недействительна, она уже ни гроша не стоит. Если теперь вы взорвете бомбу, то ни за что ни про что убьете себя. Никто от этого не выиграет — и меньше всего ваша семья. Ваша семья, наоборот, только пострадает: ее будут винить во всем и преследовать. Вы слышите меня? Подумайте хорошенько.

Какая-то женщина испуганно вскрикнула. Герреро продолжал стоять в нерешительности.

— Герреро,— снова обратился к нему Вернон Димирест,— успокойте этих людей, пусть они сядут. Тогда, если хотите, мы с вами поговорим. Можете задавать мне любые вопросы. Обещаю, что никто к вам не подойдет, пока вы сами этого не захотите.— Димирест быстро прикидывал: если ему удастся достаточно долго отвлекать внимание Герреро, возможно, за это время проход очистится. После этого он попытается убедить Герреро отдать ему чемоданчик. Если же тот откажется, можно наброситься на него, сбить с ног и выхватить чемоданчик, прежде чем Герреро успеет дернуть за петлю. Риск, конечно, большой, но ничего другого не оставалось.

Пассажиры начали понемногу боязливо возвращаться на свои места.

— Теперь вы знаете, Герреро, что нам все известно, и сами понимаете, что доводить ваш план до конца бессмысленно. Поэтому я предлагаю вам отдать мне чемоданчик.— Димирест старался говорить спокойно, рассудительно, понимая, что сейчас очень важно не делать пауз.— Если вы поступите так, как я предлагаю, даю вам слово: никто вас не тронет.

В глазах Герреро был страх. Он облизнул свои тонкие губы. Гвен Мейген стояла совсем близко от него.

Димирест произнес негромко:

— Спокойнее, Гвен. Сядьте-ка лучше.— Надо, чтобы никого не было между ним и Герреро, если ему придется силой отбирать чемоданчик.

Дверь одного из туалетов отворилась. Молодой человек в круглых очках, делавших его похожим на сову, вышел из туалета и остановился, близоруко щурясь. Он явно ничего не слышал и не подозревал о том, что происходит.

И тут кто-то из пассажиров крикнул:

— Хватайте этого малого, у него в портфеле бомба!

Когда дверь туалета щелкнула у него за спиной, Герреро повернул голову. Услыхав возглас пассажира, он оттолкнул человека в очках и юркнул в туалет, из которого тот только что вышел.

При первом же движении Герреро Гвен Мейген бросилась следом за ним. Позади нее Вернон Димирест, расталкивая пассажиров, устремился туда же.

Дверь туалета уже захлопывалась, когда к ней подбежала Гвен. Она успела просунуть ногу в щель и всем телом налегла на дверь. Нога помешала двери затвориться, но распахнуть ее у Гвен не хватило сил. Она почувствовала острую боль в ноге: Герреро налегал на дверь с другой стороны.

В голове у него был полный сумбур. Он даже не понимал, что произошло в последние минуты, не слышал и половины того, что говорил Димирест. Одно только отчетливо дошло до его сознания и подавило все остальные мысли и чувства: он понял, что и этот замысел, подобно всем его великим начинаниям, потерпел фиаско. Где-то в чем-то он про-

считался, как всегда. Вся жизнь его была сплошной неудачей. И завершающей неудачей будет смерть — теперь он с горечью осознал это.

Он навалился спиною на дверь в туалет. Он чувствовал, как на дверь налегают с противоположной стороны, и понимал, что стоит им надавить посильнее, и его сопротивление будет сломлено, дверь распахнется. Он судорожно нащупал под ручкой чемоданчика шнур, который был присоединен к квадратику плексигласа,— квадратик вылетит, концы защепки сомкнутся, и произойдет взрыв. Когда пальцы Герреро нащупали петлю и потянули за нее, в голове его пронеслась последняя мысль: а что, если и тут осечка, если и бомба тоже подведет...

В последний, предсмертный миг, прежде чем сознание его померкло, Герреро понял, что на этот раз осечки не произошло.

10

Взрыв на борту лайнера «Транс-Америки», выполнявшего рейс «Золотой аргос», был страшен. В герметически закрытом пространстве самолета он прозвучал подобно стократно усиленному удару грома — язык пламени взметнулся вверх, словно вырвавшись из гигантского горна.

Смерть Герреро наступила мгновенно: он находился в центре взрыва, и его разорвало на куски. Миг назад он жил — и вот от человека остались лишь кровавые лохмотья.

Взрывом повредило фюзеляж.

Гвен Мейген, находившуюся ближе всех к Герреро, взрывной волной ударило в грудь и в лицо.

Повреждение фюзеляжа тотчас повлекло за собой разгерметизацию. С оглушительным воем воздух устремился через образовавшееся отверстие в разреженные высокие слои атмосферы. Искусственно поддерживаемое в самолете нормальное давление начало падать; в клубах поднявшейся пыли, подобно обломкам кораблекрушения, пронеслись по салонам — от носа к хвосту самолета — все незакрепленные предметы независимо от их величины и веса: подносы, газеты, винные бутылки, кофейные чашки, одежда, ручной багаж, различные вещи, принадлежащие пассажирам; они уносились, крутясь в воздухе, словно всасываемые гигантским пылесосом. Портьеры слетели с колец. Двери кабин и туалетов сорвало с петель и унесло туда же — в хвост самолета.

Нескольких пассажиров сбило с ног. Те, кто не был пристегнут ремнями к креслу, ухватились за что попало, чтобы их не унесло.

Над сиденьями распахнулись дверцы аварийного устройства и оттуда выпали желтые кислородные маски, соединенные пластмассовой трубкой с цистерной кислорода.

Внезапно вихрь улегся, в салоны проник мглистый ледяной воздух. Рев двигателей и вой ветра заглушали все звуки.

Вернон Димирест, ухватившись за спинку ближайшего сиденья, чтобы удержаться на ногах, крикнул что было сил:

— Надевайте маски! — И сам схватил маску.

Он знал то, чего не знало большинство пассажиров: воздух в самолете был теперь разрежен и не годился для поддержания жизни. Если сейчас люди не получат кислорода, то через пятнадцать секунд их сознание начнет меркнуть.

Небольшое же помутнение сознания — из-за отсутствия необходимого количества кислорода — возникнет через пять секунд.

Еще через пять секунд появится состояние эйфории, после чего многим покажется, что кислородные маски им ни к чему, и тогда они безмятежно лишатся чувств.

Уже давно все, понимавшие опасность разгерметизации, настаивали на том, чтобы авиакомпании перед каждым полетом более тщательно и продуманно разъясняли пассажирам, как пользоваться кислородным оборудованием в случае аварии. Пассажирам надлежит сказать следующее, утверждали они: «Как только перед вами повиснет кислородная маска, хватайте ее и прижимайте к лицу. Вопросы будете задавать потом. Если возникнет разгерметизация, нельзя терять ни секунды. Если же тревога окажется ложной, вы снимете маску, и дело с концом: она не причинит вам вреда».

Пилотам, подвергавшимся испытаниям на разгерметизацию, демонстрировалось действие кислородной недостаточности в разреженной атмосфере. Надев кислородную маску, пилоты должны были поставить на листе бумаги свою подпись, но как только они начинали писать, им предлагали снять маску, и подпись тут же превращалась в каракули или просто обрывалась. Затем, прежде чем пилоты успевали потерять сознание, им снова надевали маску.

Глядя потом на свою подпись, пилоты не верили собственным глазам.

Однако руководство авиакомпании полагало, что слишком пристальное внимание к кислородным маскам может посеять тревогу среди пассажиров, и настаивало на самом поверхностном ознакомлении пассажиров с ними. Улыбающиеся стюардессы со скучающей или иронической миной нарочито небрежно демонстрировали, как пользоваться кислородной маской, а чей-то голос, явно торопясь поскорее покончить с этой ненужной процедурой, трещал тем временем по трансляции: «...в случае крайне маловероятной неполадки... утвержденные правительством правила требуют, чтобы мы объяснили вам...» О необходимости действовать в этом случае быстро не упоминалось вообще.

Все это приводило к тому, что пассажиры с таким же безразличием наблюдали демонстрацию кислородных масок, с каким обслуживающий персонал самолета ее проделывал. Какие-то чиновники-маньяки, размышляли пассажиры, придумали эти коробки у них над головой и эти нудные, из раза в раз повторяющиеся демонстрации с масками. (Зевок!) Им лишь бы изобрести что-нибудь похитрее, чтобы повысить подоходные налоги и оправдать все возрастающую дороговизну. Так какого черта!

И когда на регулярных рейсах над головою пассажира вдруг открывался люк и оттуда вываливалась кислородная маска, большинство с любопытством взирало на нее и даже не пыталось ее надеть. Примерно то же произошло и теперь — только на этот раз опасность была реальной.

Вернон Димирест увидел реакцию пассажиров и чуть не взревел от ярости, вспомнив о том, как он сам и другие пилоты тщетно пытались добиться, чтобы демонстрации с кислородными масками перестали носить полушутовской характер. Но не было времени ни предостеречь людей, ни хотя бы подумать о Гвен, которая, быть может, была уже мертва или умирала в нескольких шагах от него.

Сейчас необходимо было немедленно вернуться на свое место и помочь спасти самолет, если это еще возможно.

Вобрав в легкие кислород из маски, Димирест ринулся вперед.

В салоне туристского класса над каждым рядом кресел по обе стороны от прохода повисли четыре кислородные маски — три для пассажиров, занимающих кресла, и одна на всякий случай — для того, кто может оказаться в проходе. Одну из таких масок и схватил Димирест.

Но чтобы добраться до кабины, он должен был бросить эту маску и взять другую, переносную, с которой можно было бы передвигаться.

Два переносных кислородных баллона находились впереди, в сетке под потолком у входа в салон первого класса. Димирест знал, что если он доберется туда, то с помощью одного из баллонов сможет преодолеть расстояние до пилотской кабины.

Он продолжал продвигаться вперед, хватая одну кислородную маску за другой — из тех, что были свободны. Однако в одном из рядов впереди свободной маски не оказалось: три маски надели пассажиры, а четвертую девочка-подросток прижимала к лицу ребенка, лежавшего на коленях матери. Девочка, судя по всему, уже овладела положением и жестами показывала пассажирам, что надо делать. Димирест повернулся в другую сторону и увидел свободную маску: сделав последний глубокий вдох, он бросил свою маску и устремился к той, свободной. Прижав ее к лицу, он снова глубоко втянул в себя кислород. Он не прошел еще и половины туристского салона.

Он сделал еще рывок вперед и вдруг почувствовал, что самолет резко накренился на правый борт и начал падать.

Димирест замер на месте. Он понял, что сейчас уже ничего не может изменить. Дальнейшее зависело от двух обстоятельств: от того, насколько сильно поврежден самолет и насколько искусен окажется Энсон Хэррис, оставшийся один там, у штурвала.

Для тех, кто находился в пилотской кабине, все, что произошло за эти несколько минут, явилось не меньшей неожиданностью, чем для всех остальных. С тех пор как Гвен Мейген с миссис Квонсетт, а следом за ними и Вернон Димирест покинули кабину, двое оставшихся членов экипажа — Энсон Хэррис и второй пилот Сай Джордан — понятия не имели о том, что происходило у них за спиной, в пассажирских салонах, пока самолет не тряхнуло взрывом, мгновенно вызвавшим разгерметизацию.

Как и в пассажирских салонах, в кабине поднялось густое облако пыли, которая тотчас улетучилась, лишь только дверь сорвало с петель и унесло. И все, что не было прочно прикреплено, унес поднявшийся вихрь.

Под столиком бортинженера надрывно загудел сигнал бедствия. Над креслами обоих пилотов вспыхнули ярко-желтые огни. И звуковые и световые сигналы оповещали об одном — об опасном для жизни низком давлении воздуха.

А на смену облаку пыли в кабину вполз ледяной туман. Энсон Хэррис почувствовал мучительную боль в барабанных перепонках.

Но в это время он уже начал действовать — многолетний опыт и тренировка сделали свое.

В процессе тренировки на разгерметизацию от членов экипажа требуют соблюдения одного основного правила: они прежде всего обязаны позаботиться о себе. Вернон Димирест выполнил это требование. Точно так же поступили Энсон Хэррис и Сай Джордан.

Прежде всего — кислород; им — даже раньше, чем пассажирам. А когда нормальная деятельность мозга будет обеспечена, можно уже принимать решения.

У каждого пилота на спинке кресла с наружной стороны висела кислородная маска, похожая на маску бейсбольного вратаря. Привычным, тысячу раз отработанным движением Хэррис сорвал с головы наушники и закинул руку за спину. Он дернул с такой силой, что отодрал держатель, и мгновенно натянул маску на голову. В маску, подсоединенную к цистерне с кислородом, вмонтирован микрофон. Для приема же Хэррис, после того как снял наушники, включил на бо́льшую громкость динамик над головой.

Сай Джордан, сидевший позади, молниеносно проделал то же самое.

Теперь Энсон Хэррис мог позаботиться и о пассажирах. Система аварийного снабжения кислородом включалась автоматически при первом же признаке разгерметизации, но в качестве дополнительной меры — на случай, если система не сработает,— над головами пилотов имелся специальный рычаг. Пилот нажимал на него, и тогда уже можно было не сомневаться, что предназначенные для пассажиров маски выпадут из своих гнезд и в них начнет поступать кислород. Хэррис нажал на рычаг.

Затем правой рукой он взялся за дроссели и уменьшил подачу топлива. Скорость снизилась.

Необходимо было снизить ее еще больше.

Слева от дросселей находилась рукоятка закрылков. Хэррис до отказа взял рукоятку на себя. На обоих крыльях самолета поднялись щитки закрылков, создавая дополнительное сопротивление, способствуя уменьшению скорости.

Сай Джордан выключил сигнал тревоги.

До этого мгновения все действия производились автоматически. Теперь настало время решать, как быть дальше.

Прежде всего необходимо было снизить самолет, перебраться в те слои атмосферы, где человек может дышать. С двадцати восьми тысяч футов над землей самолет должен спуститься на три с половиной мили — там воздух не так разрежен и можно уже существовать без кислородной маски.

И вот перед Хэррисом встала дилемма: снижаться постепенно или пикировать?

Еще два года назад инструкция безоговорочно предписывала пилотам при разгерметизации в результате взрыва немедленно пикировать. Однако выполнение этой инструкции уже привело к тому, что один самолет разлетелся на куски, в то время как при медленном снижении, быть может, и удалось бы избежать катастрофы. Теперь пилотам было сказано: *Сначала проверьте серьезность повреждений. Если самолет сильно поврежден, пикирование может привести к аварии, в таком случае снижайтесь медленно.*

Но и это было чревато опасностями. И Энсон Хэррис сразу понял, чем грозит им медленное снижение.

В фюзеляже несомненно образовалась пробоина. Это доказывала внезапная разгерметизация; только что прогремевший взрыв мог произвести большие разрушения. При других обстоятельствах Хэррис немедленно послал бы второго пилота выяснить, насколько серьезны повреждения, но отсутствие в кабине командира корабля предписывало второму пилоту оставаться на месте.

Однако независимо от величины повреждений одно было неоспоримо и, быть может, наиболее важно. Температура окружающей среды приближалась к пятидесяти градусам ниже нуля. Судя по парализующему холоду, который ощущал Хэррис, температура внутри самолета упала примерно до такого же уровня. Человек без теплой одежды может прожить при такой температуре лишь несколько минут.

Каков же выбор: погибнуть от холода или рискнуть и спикировать?

Приняв решение, правильность которого могло подтвердить или опровергнуть только будущее, Энсон Хэррис крикнул в микрофон Саю Джордану:

— Предупредите КДП! Мы пикируем.

И тут же резко положил самолет в правый крен, одновременно потянув за рычаг, выпускающий шасси. Вираж перед пикированием преследовал двойную цель: пассажиры и стюардессы, стоявшие или не

успевшие пристегнуться, будут удержаны на месте центробежной силой, в то время как при прямом пикировании их подбросило бы к потолку. И второе: вираж уведет самолет в сторону от трассы и, надо надеяться, от других воздушных кораблей, следующих тем же курсом, но ниже.

Выпущенные же шасси должны еще больше затормозить самолет и позволить ему круче спикировать.

Из репродуктора у себя над головой Хэррис услышал голос Сая Джордана, монотонно оповещавшего о бедствии:

— Майский день, майский день, говорит «Транс-Америка», рейс два. Разгерметизация от взрыва. Мы пикируем, пикируем!

Хэррис резко отдал штурвал и крикнул в микрофон:

— Проси десять!

— Прошу дать эшелон десять тысяч футов,— передал в эфир Сай Джордан.

Энсон Хэррис переключил радар на семьдесят семь — радарный SOS. Теперь там, на земле, на экранах всех радаров вспыхнет «двуцветка» — сигнал, не оставляющий сомнения в том, что самолет терпит бедствие, и точно указывающий, где именно.

Самолет пикировал, обезумевший альтиметр раскручивался, как часы со сломанным анкером. Двадцать шесть тысяч футов... двадцать четыре... двадцать три... Вариометр показывал спуск восемь тысяч футов в минуту... Сверху, из динамика раздался голос диспетчера Торонтского центра:

— Все эшелоны ниже вас свободны. Как только сможете, сообщите ваши намерения. Держитесь, мы с вами...

Хэррис, выведя самолет из виража, отвесно пикировал; предпринимать что-либо против холода не было времени. Если они успеют достаточно быстро спуститься, люди могут выжить... Лишь бы самолет не рассыпался... Хэррис уже заметил, что тяги руля высоты и руля направления неисправны: руль направления заедало... Двадцать одна тысяча футов... Двадцать тысяч... девятнадцать... Судя по поведению самолета, взрывом была повреждена хвостовая часть; насколько сильно — станет ясно, когда он будет выводить машину из пике. В этот момент все решится. Если повреждение серьезно, самолет не выйдет из пике, и тогда... Хэррису сейчас очень не хватало соседа справа, но пересаживать туда Сая Джордана было уже поздно. И, кроме того, второму пилоту надлежало быть на своем месте — закрывать воздушные клапаны, обеспечивая максимальный обогрев салонов, проверять, нет ли повреждений в системе питания и в пожарной сигнализации... Восемнадцать тысяч футов... семнадцать... На четырнадцати тысячах, решил Хэррис, он начнет выходить из пике, с тем чтобы на десяти тысячах перейти на горизонтальный полет... Пятнадцать тысяч... четырнадцать... Ну, вот *теперь* — попробуем!

Тяжело, с трудом, но самолет все же подчинился управлению... Хэррис с силой тянул на себя штурвал. Нос самолета начал подниматься, система управления сработала, самолет выходил из пике. Двенадцать тысяч футов — теперь они уже снижались медленнее... Одиннадцать тысяч... десять с половиной... *десять!*

Самолет вышел из пике! Пока что все прошло благополучно. На этой высоте уже можно было нормально дышать, дополнительного кислорода не требовалось. Термометр показывал минус пять градусов — все еще холодно, конечно, но уже не тот убийственный холод, как там, на высоте.

Весь их спуск продолжался две с половиной минуты.

Динамик над головой снова ожил:

—«Транс-Америка», рейс два, говорит Торонтский центр. Как у вас дела?

Сай Джордан подтвердил прием. В разговор включился Энсон Хэррис:

— Вышли из пике на десяти тысячах, возвращаемся на курс два-семь-ноль. Взрывом поврежден фюзеляж, степень повреждения не выяснена. Запрашиваем погоду, трассу Торонто — Детройт — аэропорт Линкольна.— Перед мысленным взором Хэрриса промелькнули аэропорты — достаточно крупные для «боинга-707», по своим наземным возможностям отвечающие требованиям, обеспечивающим необходимые условия для посадки.

Вернон Димирест, перешагнув через сорванную с петель дверь и кучу еще каких-то обломков, быстро вошел в кабину и опустился на кресло справа.

— Нам не хватало вас,— сказал Энсон Хэррис.

— Машина слушается управления?

Хэррис утвердительно кивнул.

— Если не отвалится хвост, мы еще можем выкарабкаться из этой передряги.— Он добавил, что руль направления заедает.— Кто-то из пассажиров решил устроить небольшой фейерверк?

— Вроде того. И пробил в самолете довольно-таки большую дыру. Забыл измерить.

Их беспечно-небрежный тон был лишь маской, и оба это понимали. Хэррис все еще продолжал выравнивать самолет, выискивая наиболее удобную высоту и курс. Он сказал, желая приободрить коллегу:

— План у вас был отличный, Вернон. Все могло бы пройти как по маслу.

— Могло бы, но не прошло.— Димирест повернулся ко второму пилоту.— Ступайте в туристский салон. Осмотрите повреждения и доложите по внутреннему телефону. Потом помогите, чем сможете, людям. Нам надо знать, много ли пострадавших и насколько серьезно.— И только тут впервые Вернон Димирест позволил себе сформулировать ту мысль, которая подсознательно жгла его мозг: — И выясните, что там с Гвен.

С Торонтского центра начали поступать сведения, которые запросил Энсон Хэррис: аэропорт Торонто все еще закрыт — все взлетно-посадочные полосы заметены снегом. В Детройтском аэропорту все взлетно-посадочные полосы закрыты для регулярных рейсов, но в случае крайней нужды и экстренной посадки снегоуборочные машины могут расчистить полосу три, левую. На полосе—пять-шесть дюймов снега, под ним— лед. Видимость в Детройте — шестьсот футов и перемежающийся шквальный снегопад. В аэропорту Линкольна все взлетно-посадочные полосы расчищены и могут быть использованы, кроме полосы три-ноль, которая временно закрыта. Видимость — одна миля; ветер северо-западный, порывистый, тридцать узлов в час.

Энсон Хэррис сказал Димиресту:

— Я не намерен выливать горючее.

Димирест понял ход мыслей Хэрриса и утвердительно кивнул. Даже если им удастся довести самолет до аэропорта, посадка неизбежно будет трудной и опасной из-за большого запаса горючего, которое они должны были израсходовать в полете до Рима. Тем не менее при наличии повреждения выливать горючее еще рискованнее. В результате взрыва и поломок в хвосте могло возникнуть короткое замыкание или трение металла о металл, вызывающее искры. При сливе горючего в полете одной искры будет достаточно, чтобы лайнер превратился в пылающий жертвенный костер. Оба пилота рассуждали так: лучше не рисковать в воздухе и пойти на тяжелую посадку.

Однако по тем же соображениям посадку в Детройте — ближайшем крупном аэропорту — можно было производить лишь в самом крайнем случае. При большом весе самолет надо сажать быстро, нужна длинная посадочная полоса, чтобы за время пробежки успеть затормозить. А полоса три, левая — самая длинная в Детройтском городском аэропорту— *покрыта снегом и обледенела*, условия — хуже не придумаешь.

Было и еще одно обстоятельство: где бы ни совершил посадку поврежденный самолет, нельзя было предугадать, в какой мере он будет управляем при неисправности руля направления — а то, что он неисправен, пилоты знали, хотя не знали насколько.

Наиболее безопасные условия посадки мог предложить только международный аэропорт имени Линкольна. Но до него оставалось еще по меньшей мере час лета. Они летели теперь со скоростью двести пятьдесят узлов, то есть значительно медленнее, чем на большой высоте, и Энсон Хэррис продолжал снижать скорость, чтобы не усугублять повреждений. К несчастью, и это не облегчало их положения. На десяти тысячах футов самолет начало трясти и появилась вибрация в хвостовой части. На этой высоте все еще бушевала снежная буря, для которой в более высоких слоях атмосферы самолет был недосягаем.

Таким образом, основным и решающим был сейчас вопрос: смогут ли они продержаться в воздухе еще час?

Трудно было поверить, но с момента взрыва и начала разгерметизации прошло меньше пяти минут.

А тем временем воздушный диспетчер запрашивал снова:

— «Транс-Америка», рейс два, сообщите ваши намерения.

Вернон Димирест ответил, запросил курс на Детройт и добавил, что размеры повреждений еще уточняются. А где они будут садиться — в Детройте или где-либо еще,— он сообщит через несколько минут.

—«Транс-Америка», рейс два, вас понял. Детройт освобождает от снегоуборочных машин полосу три, левую. Впредь до дальнейших указаний там будут готовиться к экстренной посадке.

Звякнул телефон внутренней связи. Говорил Сай Джордан, стараясь перекричать рев ветра:

— Капитан, здесь большая пробоина, примерно в шесть футов, позади задней двери. Кухня, туалеты и все вокруг завалено обломками, но, насколько я могу судить, машина пока не рассыпается. Бустер оторвало к черту, но тросы управления как будто в порядке. А кроме того, я вижу снаружи несколько дырок и вмятин, по-моему, от обломков. Но так вроде ничего не болтается — по крайней мере, на виду. Основная сила взрыва, должно быть, пошла вбок.

Этого-то и не предусмотрел Герреро. Он с самого начала ошибся в расчетах. Его и тут постигла неудача.

Он не учел — и в этом заключался его главный просчет,— что, как только фюзеляж будет пробит, взрывная волна устремится наружу и разреженная атмосфера сразу ослабит силу взрыва. Кроме того, он не знал, как прочно сконструирован современный воздушный лайнер, и в этом был его второй просчет. В пассажирском лайнере предусмотрена такая взаимозаменяемость агрегатов, при которой повреждение одного из них не может вывести из строя всю систему управления. Лайнер может быть уничтожен бомбой, но лишь в том случае, если взрывом — случайно или преднамеренно — будут выведены из строя все наиболее важные его узлы. Всего этого и не учел Герреро.

— Сможем мы продержаться в воздухе еще час?— спросил Димирест Сая Джордана.

— Самолет, мне кажется, выдержит. Насчет пассажиров — не уверен.

— Пострадавших много?

— Трудно сказать. Я прежде всего обследовал, как вы велели, повреждения. Пока что веселого мало.

Димирест распорядился:

— Оставайтесь там, сколько потребуется. Сделайте все, что в ваших силах.— Он помедлил, не решаясь задать следующий вопрос, страшась возможного ответа; потом все же спросил:— Гвен не попадалась вам на глаза?— Он ведь до сих пор ничего не знал о судьбе Гвен; ее могло унести за борт взрывной волной. Такие случаи бывали. И даже если этого не произошло, Гвен ведь находилась ближе всех к месту взрыва.

— Гвен тут, но, признаться, в тяжелом состоянии,— ответил Сай Джордан.— На борту оказалось трое врачей, и они занимаются ею и остальными ранеными. Я сообщу, как только что-нибудь прояснится.

Вернон Димирест повесил трубку. Хотя он и позволил себе задать мучивший его вопрос, однако по-прежнему старался гнать прочь все сугубо личные мысли и чувства. Все это потом. Сейчас надо принимать решение, спасать самолет, экипаж, пассажиров. Он коротко пересказал Энсону Хэррису сообщение второго пилота.

Хэррис размышлял, взвешивая все «за» и «против». Вернон Димирест не проявлял желания взять на себя управление самолетом и, по-видимому, одобрял его действия. Даже сейчас он предоставлял Хэррису самому решать вопрос о посадке.

Несмотря на критическую ситуацию, капитан Димирест вел себя так, как положено пилоту-контролеру.

— Попробуем дотянуть до Линкольна,— сказал Хэррис. Главное — спасти самолет; что же до пассажиров, то в каком бы тяжелом положении они ни находились, оставалось надеяться, что они выдержат перелет.

Димирест кивком подтвердил согласие, вызвал КДП Торонто и сообщил о принятом решении. Еще несколько минут — и заботу о них возьмет на себя Кливленд. Димирест попросил, чтобы аэропорт Детройта на всякий случай был готов принять их самолет, хотя намерения у них вряд ли изменятся. И пусть предупредят международный аэропорт Линкольна о том, что самолет, выполняющий рейс два, потребует аварийной посадки.

— «Транс-Америка», рейс два, вас понял. Детройт и Линкольн оповещаются.

После этого самолет несколько изменил курс. Они приближались к западному берегу озера Гурон, недалеко от границы между США и Канадой.

Оба пилота знали, что там, на земле, все внимание теперь сосредоточено на их самолете. Диспетчеры и старшие по смене в соответствующих центрах наблюдения за воздухом напряженно работают, согласовывая свои действия, убирая все машины с их пути. Центры передают их самолет друг другу и расчищают ему путь следования. Любое требование, поступившее с рейса два, будет мгновенно выполнено.

Когда они пересекали границу, диспетчер Торонтского центра, расставаясь с ними, радировал:

— Счастливого пути, желаю успеха.

А через несколько секунд их позывные принимал уже Кливленд.

Когда Димирест бросал взгляд назад, в дверной проем, он различал в неясном полумраке пассажирского салона какие-то движущиеся фигуры. (Сай Джордан, как только сорвало дверь, уменьшил свет в салоне первого класса, чтобы он не бил в кабину.) По-видимому, кто-то пересаживал пассажиров вперед, ближе к носу самолета, скорее всего это был Сай Джордан, и Димирест с минуты на минуту ждал от него сообщения. В самолете, даже в кабине, все еще было нестерпимо холодно, а в салонах, разумеется, и того холоднее. Снова промелькнула мучитель-

ная мысль о Гвен, но Димирест тут же безжалостно прогнал ее и заставил себя сосредоточиться на том, что предпринять дальше.

Смелое решение продержаться в воздухе еще час было принято всего несколько минут назад, однако уже пора было планировать вход в зону аэропорта имени Линкольна и посадку там. Самолет продолжал вести Энсон Хэррис. Вернон Димирест достал карты зоны наблюдения и взлетно-посадочных полос аэродрома и разложил их на коленях.

Международный аэропорт имени Линкольна был воздушной базой и родным домом обоих пилотов, и они как свои пять пальцев знали его воздушную зону и все взлетно-посадочные полосы. Однако опыт и требования безопасности обязывали их не полагаться на память и проверять себя.

Карты подтвердили то, что было им хорошо известно.

Такая посадка, как у них — с большим грузом и на большой скорости,— требовала самой длинной полосы. А неисправность руля поворотов требовала, чтобы эта полоса была и максимально широкой. При этом следовало учитывать направление и силу ветра, а ветер, согласно метеосводке из Линкольна, был северо-западный, порывистый, тридцать узлов. Только одна полоса — три-ноль — отвечала требованиям.

— Нам нужна три-ноль,— сказал Димирест.

— В последнем сообщении говорилось, что эта полоса временно закрыта, там какой-то затор,— заметил Хэррис.

— Я это слышал,— сердито буркнул Димирест.— Она уже черт знает сколько часов закрыта, и все потому, что там застрял мексиканский лайнер.— Он свернул карту зоны наблюдения и прикрепил ее к штурвалу.— Затор, черт бы их побрал! У них есть еще пятьдесят минут, чтобы от него избавиться!

Он нажал кнопку микрофона, чтобы передать сообщение на КДП, и в этот момент Сай Джордан, бледный как смерть, потрясенный всем виденным, вошел в кабину.

11

Адвокат Фримантл был озадачен.

«Как это понять?— недоумевал он.— Никто из администрации аэропорта не обращает внимания на то, что толпа недовольных жителей Медоувуда заполнила добрую половину главного зала ожидания и шумит все больше и больше».

Когда Эллиот Фримантл несколько часов назад обратился к негру, лейтенанту полиции, и попросил у него разрешения провести в зале митинг протеста, ему было самым решительным образом отказано. Однако вот они собрались, а вокруг них — еще целая толпа зевак, и что же? Ни один полицейский даже носа сюда не кажет!

«Это просто загадочно!» — думал Фримантл.

Уже прибыли две телевизионные съемочные бригады — каждая с намерением получить интервью для завтрашней передачи. Фримантл, стреляный воробей, тотчас осведомился, по каким каналам они будут передаваться, и приготовился вести себя соответственно вкусам определенных категорий телезрителей. Первое интервью, как он выяснил, пойдет по первому каналу, весьма популярному, рассчитанному на зрителей, которым подавай горячие споры, стычки, даже эксцентричные выходки. Фримантл был вполне готов подладиться под их вкусы.

Когда с телевизионными интервью было покончено, репортер из «Трибюн» Томлинсон, успевший записать кое-что во время съемок, спросил:

— Что вы думаете предпринять дальше, мистер Фримантл? Вы хотите провести здесь своего рода демонстрацию?

Фримантл покачал головой.

— К сожалению, свобода слова не в почете у администрации аэропорта, и нам было отказано в элементарной просьбе — мы просили разрешения созвать здесь небольшой митинг. Тем не менее я намерен сказать несколько слов этим дамам и господам.

И Фримантл указал на заполнявших зал медоувудцев.

— Разве это не то же самое, что митинг?

— Нет, не то же самое.

Однако, думал про себя Эллиот Фримантл, и это неплохо, тем более что он твердо решил устроить публичную демонстрацию. Он намеревался выступить с яростными нападками на администрацию аэропорта в расчете на то, что местная полиция прикажет ему заткнуться. Фримантл не собирался оказывать полиции сопротивление и попадать под арест. Вполне достаточно будет, если полиция прервет его выступление — желательно в разгар красноречия — и тем самым сделает его в глазах медоувудцев этаким мученником, борцом за правду, а заодно даст неплохую пищу завтрашним газетам.

Но прошло еще минут пятнадцать, и Эллиота Фримантла охватило беспокойство. Хотя митинг и выглядел довольно внушительно, однако если власти не начнут его разгонять, заряд, можно сказать, пропал даром. Куда же, черт подери, думал Фримантл, подевалась вся полиция, почему она не исполняет своих обязанностей?

Наконец на лестнице административного этажа появились лейтенант Ордвей и Мел Бейкерсфелд и стали спускаться вниз.

Минуту назад все, кто находился в кабинете Мела, разошлись по своим делам. После того как Инес Герреро допросили, а «Золотому аргосу» отправили вторую радиограмму с предостережением, оставаться в кабинете начальника было бессмысленно. Таня Ливингстон, управляющий перевозками и старший пилот «Транс-Америки» разошлись по своим служебным помещениям и стали с тревогой ждать новых известий, и все остальные — за исключением Инес Герреро, которую передали для дальнейшего опроса агентам городской полиции,— тоже вернулись к своим непосредственным обязанностям. Таня пообещала таможенному инспектору Стэндишу, чрезвычайно обеспокоенному судьбой своей племянницы, тотчас сообщить ему, как только поступят какие-нибудь новые сведения с борта самолета.

Мел вышел из кабинета вместе с Недом Ордвеем, еще не решив для себя, где он будет нести эту ночную вахту.

Первым толпу медоувудцев и прежде всего Эллиота Фримантла заметил Нед Ордвей.

— Опять этот чертов адвокат! Я же сказал ему: никаких демонстраций!— И Нед быстро направился к собравшимся в зале ожидания.— Ну, я их живо разгоню.

Мел, спеша за ним следом, предупредил:

— Возможно, он именно на это и рассчитывает — хочет стать в их глазах героем.

Они подошли ближе — Ордвей плечами прокладывал путь в толпе — и услышали, как Эллиот Фримантл вещает:

— Невзирая на заверения управляющего аэропортом, который принимал нас не далее как сегодня вечером, огромные тяжелые машины с душераздирающим ревом продолжают взлетать даже в столь поздний час. Даже в эту самую минуту...

— А ну, прекратите,— без церемоний заявил Нед Ордвей.— Я ведь предупреждал вас, чтоб вы не устраивали здесь демонстраций.

— Позвольте, лейтенант, уверяю вас, что это вовсе не демонстрация.— Фримантл по-прежнему говорил в микрофон, и его слова были слышны во всех уголках зала.— Просто я обещал после беседы с адми-

нистрацией вашего аэропорта — беседы, должен признаться, совершенно не удовлетворившей меня,— сказать несколько слов для телевидения, а затем отчитаться перед собравшимися здесь людьми...

— Отчитывайтесь в другом месте!— Ордвей повернулся к нему спиной и обратился к тем, кто стоял ближе:— Давайте, давайте расходитесь!

В толпе сердито зашумели, лица стали злыми, враждебными. Ордвей снова повернулся к Фримантлу, и в этот момент защелкали фотоаппараты, вспыхнули потушенные было прожекторы, услужливо высвечивая для телекамер два лица, и Эллиот Фримантл подумал: наконец-то все пошло как надо.

Стоя несколько в стороне, Мел Бейкерсфелд разговаривал с одним из сотрудников телевизионной компании и Томлинсоном из «Трибюн». Репортер начал проглядывать свои заметки и, перевернув страницу блокнота, прочел какую-то запись вслух. Лицо Бейкерсфелда гневно вспыхнуло.

— Я весьма уважаю вас, лейтенант, и исполнен такого же глубокого уважения к мундиру, который вы носите,— говорил тем временем Эллиот Фримантл, обращаясь к Ордвею.— Тем не менее должен заметить, что мы уже пробовали провести сегодня митинг в другом месте — у нас в Медоувуде,— но из-за шума, который создает ваш аэропорт, мы не слышали самих себя.

— Я здесь не для того, чтобы вступать с вами в споры, мистер Фримантл,— оборвал его Ордвей.— Если вы не подчинитесь, я вас арестую. Приказываю вам увести отсюда этих людей.

Из толпы кто-то крикнул:

— А если мы не уйдем, тогда что?

— Стойте здесь, и все! Всех не арестуют!— крикнул кто-то другой.

— Ни в коем случае!— Эллиот Фримантл, исполненный сознания своей правоты, поднял вверх руку.— Прошу вас, выслушайте меня! Мы не позволим себе никаких непорядков и неповиновения закону. Друзья мои и подопечные! Этот лейтенант полиции приказал нам разойтись и покинуть здание. Мы подчинимся его приказу. Мы имеем основание рассматривать это как грубое посягательство на свободу слова...— Ликующие возгласы в толпе.— Однако никто не посмеет сказать, что мы хоть на йоту нарушили закон.— И уже более деловым тоном он добавил:— Заявление для прессы я сделаю вне стен этого здания.

— Одну минуту...— Голос Мела Бейкерсфелда прозвучал громко и резко. Мел прокладывал себе путь сквозь толпу.— Я позволю себе поинтересоваться, Фримантл, какого рода заявление собираетесь вы делать представителям прессы. Насколько мне известно, мистер Фримантл не счел нужным изложить вам суть тех разъяснений, которые давал я вашей депутации по поводу производимого аэропортом шума. Никакого,— он заглянул в листок из блокнота,— «бесстыдного цинизма» не содержалось в моих словах. Была лишь попытка говорить честно и с полной откровенностью. Теперь я намерен быть столь же откровенным здесь, с вами. Беседуя с вашими представителями, я не упомянул двух обстоятельств, теперь я сделаю и это.— Голос Мела зазвучал жестче.— Боюсь, что вам это может не понравиться. Двенадцать лет тому назад вашего городка не существовало. На этом месте был пустырь — клочок никчемной земли, ценность которого значительно возросла после того, как здесь заложили аэропорт. В этом отношении ваш Медоувуд ничем не отличается от тысяч других городков, которые, словно грибы после дождя, вырастают вокруг всех аэропортов мира.

— Когда мы тут поселились, никто не знал, что от ваших самолетов будет такой адский шум!— крикнула из толпы какая-то женщина.

— Но *мы* это знали! — Мел повернулся к женщине.— Руководство аэропорта знало, что будут выпущены новые сверхмощные лайнеры, знало, какой они будут производить шум, и мы предупреждали об этом отдельных лиц и действующие в этом районе комиссии и уговаривали их *не строить здесь домов.* Я еще не работал тогда в аэропорту, но в нашем архиве сохранились фотографии и протоколы. Аэропорт расставил вокруг стенды — как раз там, где сейчас расположен ваш городок: «САМОЛЕТЫ БУДУТ ВЗЛЕТАТЬ И ИДТИ НА ПОСАДКУ НАД ЭТИМ УЧАСТКОМ». Другие аэропорты делали то же самое. И повсюду торговцы и агенты по продаже земельных участков срывали эти объявления. Потом продавали участки и дома таким же людям, как вы, а насчет шума и насчет того, как будет расти аэропорт, помалкивали, хотя обычно были об этом хорошо осведомлены, так что, насколько я понимаю, эти дельцы перехитрили и вас, и нас.

Теперь выкриков из толпы уже не было, и Мел увидел перед собой море встревоженных лиц; он понял, что его слова не пропали даром, и почувствовал острую жалость к этим людям. Перед ним были не противники, с которыми ему надлежало бороться, а простые, славные люди со своей невыдуманной бедой. И он был бы рад помочь им, как помогают своему ближнему.

Он заметил, что Эллиот Фримантл саркастически усмехнулся.

— Вы, по-видимому, находите, что вели себя крайне мудро, Бейкерсфелд.— Адвокат повернулся к нему спиной и крикнул в толпу, уже не прибегая к помощи микрофона:— Не верьте этой болтовне! Вас пытаются одурачить! Держитесь крепко, держитесь за меня, и мы возьмем этих аэропортовцев за глотку! Так возьмем, что не отвертятся!

— На случай, если кто-нибудь не расслышал,— сказал Мел в микрофон,— я повторю: мистер Фримантл советует вам держаться за него. По этому поводу я тоже хочу кое-что сказать.

Теперь его уже слушали внимательно.

— Многие предприимчивые люди наживались на таких, как вы: они продавали землю и дома в районах, где земельные участки не должны были застраиваться или застраиваться только промышленными предприятиями, которым шум аэропорта не может мешать. Отдав свои деньги, вы не оказались у разбитого корыта: у вас есть участки и дома, но, к сожалению, и то и другое значительно упало в цене.

— Что верно, то верно, черт подери,— мрачно произнес кто-то.

— А теперь появились люди, которые уже разрабатывают новый план, как выманить у вас денежки. Крючкотворы во всех концах страны почуяли, что на этом пресловутом шуме можно нагреть руки, и обшаривают все жилые уголки вблизи аэропортов в поисках поживы.

— Еще одно слово, и я подам на вас в суд за клевету!— взвизгнул Фримантл. Он побагровел, лицо его исказилось от ярости.

— За какую клевету? Или вы уже догадались, о чем я собираюсь говорить?— Что ж, подумал Мел, возможно, впоследствии Фримантл и притянет его к ответу за клевету, хотя едва ли. Он почувствовал, как в нем пробуждается спортивный азарт: захотелось, была не была, идти напролом, взять верх и плевать на последствия. За последние годы это бывало с ним не часто.— Жителей таких городков,— продолжал он,— стараются убедить, что они могут защитить свои права через суд и выиграть процесс. Владельцам домов, расположенных вблизи аэропорта, сулят мешок с деньгами, словно в конце каждой взлетно-посадочной полосы зарыт клад. Что ж, я не хочу сказать, что с аэропортом нельзя судиться или что на свете нет честных, трезвых юристов, которые готовы потягаться с нами. Я хочу только предостеречь вас: среди юристов немало людей и совсем другого сорта. И еще вот что.— Тут Мел поглядел в упор на Фримантла.— Вряд ли какой-нибудь суд одобрительно по-

смотрит на то, что гонорар за юридические услуги весьма сомнительного, мягко выражаясь, свойства составляет около пятнадцати тысяч долларов.

Все получилось резче и грубее, чем хотелось Мелу, и, вероятно, он сильно рисковал, зайдя так далеко. Однако внутреннее чутье подсказывало ему, что Фримантл вовсе не заинтересован в том, чтобы его методы вербовки клиентов и прочие профессиональные уловки выплыли на свет божий. Судья, небезразличный к нарушениям профессиональной этики, может припереть Фримантла к стенке двумя-тремя каверзными вопросами, да и коллегия адвокатов также может доставить ему несколько неприятных минут. Поразмыслив немного, Мел перестал тревожиться.

А мысли Эллиота Фримантла текли в том же направлении, хотя Мелу это и не было известно. Совершенно неожиданно для себя Фримантл обнаружил, что Бейкерсфелд отнюдь не прост — он игрок и умеет рискнуть. Только азартный игрок мог сделать такую ставку, как сделал Бейкерсфелд минуту назад. И только Эллиот Фримантл сразу же понял, что Бейкерсфелд сорвал банк.

В результате усилий Неда Ордвея и еще нескольких полицейских толпа начала постепенно расходиться — в зале ожидания восстанавливалась нормальная циркуляция пассажиров. Микрофоны и телекамеры унесли.

Мел Бейкерсфелд увидел Таню Ливингстон — она пробиралась сквозь редевшую толпу. Подойдя к Мелу, Таня протянула ему сложенный листок бумаги.

Развернув его, Мел прочел отпечатанное на машинке сообщение, носящее явные следы спешки:

«рейс 2 взрыв воздхе.
смлет поврждн есть раненые.
взращается сюда, трбует
экстрнн. посадки, ориент. вр. приб. 0130.
кмдир запрашивает вшп три-ноль.
кдп сообщ. три-ноль блкирована».

12

Доктор Милтон Компаньо, практикующий терапевт-хирург, делал все, что подсказывали ему наука и опыт, чтобы спасти жизнь Гвен Мейген, лежавшей среди груды залитых кровью обломков в конце салона туристского класса. У него не было ни малейшей уверенности в том, что его старания увенчаются успехом.

Когда бомба взорвалась, ближе всех к месту взрыва, если не считать самого Герреро, находилась Гвен Мейген.

Ее могло убить на месте — как Герреро. Но этого не произошло; она еще была жива — в силу двух обстоятельств.

Находясь в непосредственной близости от взрыва, Гвен в то же время была защищена от него дверью туалетной комнаты и телом Герреро. Каждой из этих преград в отдельности было бы недостаточно, чтобы спасти жизнь Гвен, однако вместе они на какую-то долю секунды ослабили силу удара.

В то же мгновение был поврежден фюзеляж, и произошел второй взрыв — взрывная разгерметизация.

Динамитным взрывом тяжело ранило Гвен, и она, обливаясь кровью, отлетела назад; однако силе взрыва теперь противостояла другая сила — волна сжатого воздуха, рвавшаяся наружу в пролом фюзеляжа.

Было так, словно сшиблись два урагана. Но уже в следующую секунду разгерметизация одержала верх, подхватила взрывную волну и увлекла за собой в непроглядный мрак разреженных атмосферных высот.

Динамитный взрыв был мощным, но нанесенные им повреждения ограничились узким участком.

Сильнее всех пострадала Гвен, лежавшая теперь без сознания в проходе. Второй жертвой оказался очкастый молодой человек, который, выйдя из туалета, испугал Герреро. Раненный, оглушенный взрывом, он был весь в крови, но не потерял сознания и устоял на ногах. Еще человек пять-шесть были ранены и контужены различными обломками. Остальные получили ушибы и легкие ранения от пронесшихся через салон предметов, которые волна разгерметизации потащила в пролом фюзеляжа.

В первые мгновения после разгерметизации всех, кто не был пристегнут к сиденью, повлекло к зияющей дыре в фюзеляже, и в наибольшей опасности оказалась снова Гвен Мейген. Однако при падении она инстинктивно, а быть может случайно, зацепилась рукой за ножку кресла. Это спасло ее, а ее тело послужило преградой для других.

Через несколько секунд вихрь, созданный разгерметизацией, начал слабеть.

Теперь самую грозную опасность для всех — как для раненых, так и для не пострадавших — представляла нехватка кислорода.

Хотя кислородные маски тотчас выпали из своих гнезд, лишь немногие пассажиры не растерялись и сразу воспользовались ими.

Впрочем, кое-кто начал действовать тут же, пока было еще не поздно. Все стюардессы, где бы они ни находились, мгновенно — вот когда сказалась тренировка — схватили кислородные маски и показали пассажирам, что надо делать. Среди пассажиров было трое врачей. Понимая, что дорога каждая секунда, они надели маски и заставили окружающих тоже их надеть. Джуди, племянница таможенного инспектора Стэндиша, проворная восемнадцатилетняя девушка, не только сама без промедления надела маску и на себя и на ребенка в соседнем кресле, но и показала знаками родителям ребенка и другим пассажирам через проход от нее, чтобы они сделали то же самое. Миссис Квонсетт, старый опытный «заяц», много раз во время своих полетов без билета наблюдавшая, как стюардессы демонстрируют применение кислородных масок, тоже не растерялась, схватила одну маску для себя, а другую для своего приятеля-гобоиста, которого она силой заставила опуститься в кресло рядом с собой. У миссис Квонсетт уже не было уверенности, что она выйдет из этой переделки живой, но это не слишком ее тревожило; однако как бы ни развернулись дальше события, она хотела присутствовать при них до конца.

Кто-то успел сунуть маску раненому молодому человеку в очках, и тот, едва держась на ногах и, по-видимому, плохо отдавая себе отчет в происходящем, сумел все же прижать ее к лицу.

Тем не менее по истечении критического периода — то есть через пятнадцать секунд после разгерметизации — лишь около половины пассажиров были в кислородных масках. Те же, кто не обеспечил себя кислородом, один за другим начали впадать в дремотное оцепенение, а еще через пятнадцать секунд большинство из них потеряли сознание.

Гвен Мейген в первые мгновения не было оказано помощи, и она лежала без кислородной маски. Ее обморок, вызванный взрывом, стал еще более глубоким вследствие недостатка кислорода.

В эту минуту в пилотской кабине Энсон Хэррис, идя на риск еще сильнее повредить самолет и, быть может, даже разнести его на куски, принял решение пикировать, чтобы спасти жизнь Гвен и всех, кому грозила смерть от удушья.

Самолет вошел в пике на высоте двадцати восьми тысяч футов и вышел из пике на десяти тысячах футов над землей через две с половиной минуты.

А человек может прожить без кислорода от трех до четырех минут без серьезных нарушений мозговой деятельности.

На высоте двенадцати тысяч футов дыхание начало восстанавливаться. На высоте десяти тысяч футов — когда уже истекали последние критические секунды — сознание начало возвращаться ко всем лежавшим без чувств, за исключением Гвен Мейген. Многие не успели даже заметить, что теряли сознание.

Мало-помалу, когда первое потрясение прошло, люди начали ориентироваться в происходящем. Одна из стюардесс, энергичная блондинка, вторая по старшинству после Гвен, поспешно направилась в конец салона к наиболее тяжелораненым, громко спрашивая:

— Нет ли здесь врача? Скажите, нет ли здесь врача?

— Есть врач, мисс! — Доктор Компаньо поднялся с кресла еще прежде, чем услышал этот призыв. Он старался перекричать вой ветра и рев двигателей, ставшие оглушительными после повреждения фюзеляжа.— Я бы перевел всех кого можно вперед, подальше от пролома. Надо постараться как-нибудь их обогреть. А раненых нужно укрыть одеялами.

Стюардесса сказала с сомнением:

— Попытаюсь что-нибудь найти.

Почти все одеяла, лежавшие, как обычно, наверху, в сетках, унесло вместе с одеждой пассажиров и прочими предметами в момент разгерметизации.

Еще двое врачей из той же туристской группы, что и доктор Компаньо, присоединились к нему. Один из них сказал стюардессе:

— Тащите сюда все медикаменты, какие у вас есть для оказания первой помощи.

Доктор Компаньо уже стоял на коленях возле Гвен: из трех врачей только у него оказалась при себе медицинская сумка. Он привык носить ее с собой повсюду.

Милтон Компаньо считал, что врач всегда на дежурстве. Выходец из нью-йоркских трущоб, нелегким трудом выбившийся в люди, он, по утверждению его жены, не занимался медициной лишь в те часы, когда спал. Он хотел быть полезным людям — это давало ему радость. А своей профессией доктор Компаньо дорожил, как высокой наградой, которую он завоевал и должен сохранить. Он не отказывал ни одному пациенту, в какое бы время дня и ночи ни стучались к нему в дверь, и не было случая, чтобы он не поехал по вызову к больному.

В Риме, на родине своих предков, доктор Компаньо предполагал пробыть месяц и ввиду преклонных лет намеревался провести этот месяц в полном покое. И все же он знал, что где-то в пути или в Италии (плевать он хотел на отсутствие итальянского патента!) кому-то может потребоваться его помощь. Если это случится, он должен быть готов. И сейчас, когда его помощь потребовалась, это не застало его врасплох.

Доктор Компаньо прежде всего направился к Гвен, чье положение явно было наиболее тяжелым. На ходу он крикнул своим коллегам:

— А вы займитесь остальными!

В узком проходе между креслами доктор Компаньо осторожно перевернул тело Гвен и наклонился над ней — дышит или не дышит? Гвен еще дышала, но дыхание было почти неприметно. Доктор Компаньо крикнул стюардессе, которая только что говорила с ним:

— Дайте сюда маску.

Стюардесса подбежала к нему с переносной маской; он раскрыл Гвен рот, чтобы проверить, не препятствует ли что-нибудь дыханию. Рот

был полон крови и выбитых зубов; доктор Компаньо извлек их и принял меры, чтобы кровотечение не мешало ей дышать.

— Прикладывайте маску,— сказал он стюардессе.

Послышалось легкое шипенье, кислород начал поступать. Минуты через две мертвенно-бледное лицо Гвен чуть заметно порозовело.

Доктор Компаньо начал обследовать окровавленное лицо и грудь,— то, что сильнее всего пострадало от взрыва. Быстро, с помощью гемостата, он остановил кровотечение из лицевой артерии — здесь оно было наиболее обильным,— затем начал обрабатывать другие раны. Он обнаружил перелом левой ключицы и левой руки — надо было бы наложить гипс, но сейчас это не представлялось возможным. С чувством глубокой жалости доктор Компаньо заметил острые осколки в левом глазу Гвен; правый глаз как будто остался неповрежденным, но поручиться было трудно.

Второй пилот Сай Джордан помогал стюардессам переводить пассажиров в передний отсек самолета. Часть пассажиров перевели из туристского салона в салон первого класса, втиснув, где только можно, по два человека в кресло; других разместили в маленькой полукруглой гостиной первого класса — там было несколько свободных мест. Всю уцелевшую одежду, независимо от принадлежности, распределили между теми, кто больше других в ней нуждался. Как это нередко бывает в часы таких бедствий, люди проявляли готовность помогать друг другу, забывая о себе, и даже не теряли чувства юмора.

Два других врача оказывали помощь пассажирам, получившим различные повреждения; впрочем, особенно тяжело пострадавших не оказалось. Молодой человек в очках, находившийся позади Гвен в момент взрыва, получил глубокую рваную рану в предплечье, но рана была не опасна. Помимо этого ему порезало осколками плечи и лицо. Рану обработали, руку перевязали, впрыснули морфий и сделали все возможное, чтобы обогреть раненого и устроить его поудобнее.

Теперь, когда они спустились, ураган, бушевавший в нижних слоях атмосферы, давал себя знать, и самолет отчаянно болтало, что затрудняло работу врачей и передвижение пассажиров. Самолет тяжело вибрировал, время от времени он словно проваливался вниз или кренился набок. У многих пассажиров ко всем пережитым волнениям прибавилась еще морская болезнь.

Доложив еще раз о положении дел, Сай Джордан вернулся из пилотской кабины к доктору Компаньо.

— Доктор, капитан Димирест просил меня передать вам и вашим коллегам благодарность за оказанную помощь. Он будет вам чрезвычайно признателен, если вы улучите минуту и зайдете в кабину экипажа — ему надо знать, что радировать о состоянии людей.

— Подержите-ка этот бинт,— распорядился доктор Компаньо.— Прижмите покрепче, вот здесь. А теперь помогите мне наложить лубок. Мы используем для этой цели твердые обложки журналов и полотенце. Раздобудьте мне журнал побольше форматом и сорвите с него обложку.

Минуту спустя:

— Я приду, как только смогу. Можете передать вашему командиру, что, по-моему, ему надо бы сказать несколько слов пассажирам. Люди уже начинают приходить в себя после первого потрясения. Их не мешает подбодрить.

— Хорошо, сэр.— Сай Джордан поглядел на Гвен, которая по-прежнему лежала без сознания. Меланхоличное худощавое лицо его стало еще более угрюмым и озабоченным.— А как она, доктор? Есть надежда?

— Надежда есть, сынок, но положение не из легких. Очень многое зависит от ее жизнестойкости.

— Я всегда считал, что этого ей не занимать.

— Она была красива?

Изуродованное, окровавленное лицо, копна спутанных, грязных волос — составить себе представление о ее внешности было трудно.

— Очень.

Компаньо молчал. Как бы ни обернулось дело, девушка, лежавшая на полу самолета, уже не будет красивой... Разве что с помощью пластических операций.

— Я передам командиру ваше пожелание, сэр.— Сай Джордан, явно очень расстроенный, вернулся в пилотскую кабину.

Прошло несколько минут, и пассажиры услышали в репродукторе спокойный голос Вернона Димиреста:

— Леди и джентльмены, говорит капитан Димирест...

Сай Джордан включил радио на полную мощность, и каждое слово командира корабля звучало отчетливо, перекрывая вой ветра и гул двигателей.

— ...Вы все знаете, что нас постигла беда... большая беда. Я не собираюсь приуменьшать ее размеры и не стану пытаться с помощью шутки поднять ваш дух. Здесь, в кабине экипажа, мы не усматриваем ничего смешного в создавшемся положении, и вы, очевидно, тоже. Все мы прошли через такое испытание, какого нам еще не выпадало и, я надеюсь, больше не выпадет. Но мы прошли через него, оно позади. Теперь мы полностью контролируем полет, мы повернули обратно и собираемся осуществить посадку в международном аэропорту имени Линкольна примерно через три четверти часа.

В обоих пассажирских салонах, где пассажиры туристского класса уже смешались с пассажирами первого, все на мгновение затихло и замерло, все взгляды были прикованы к репродукторам; люди напряженно слушали, боясь пропустить хоть слово.

— Вам известно, конечно, что самолет поврежден. Но повреждение могло оказаться куда более значительным — это истинная правда.

В пилотской кабине Вернон Димирест с микрофоном в руке задумался на секунду: в какой мере может он позволить себе быть профессионально точным и... честным. Вернон не одобрял командиров кораблей, которые, заигрывая с пассажирами, в течение всего полета бомбардировали свою пленную аудиторию всевозможными сообщениями. Сам он в полетах сводил обращения к пассажирам до минимума. Однако он чувствовал, что на этот раз ему следует изменить своему правилу, так как сейчас пассажиры должны знать истинное положение вещей.

— Не стану от вас скрывать,— сказал Димирест в микрофон,— что нам еще предстоит разрешить несколько проблем. Посадка будет нелегкой, и мы не знаем, как и в какой мере имеющиеся в самолете повреждения могут осложнить ее. Я говорю вам об этом потому, что, как только я закончу сообщение, члены нашего экипажа начнут инструктировать вас — они скажут, как вы должны сидеть и как вести себя при посадке. Затем вам объяснят, как, если понадобится, быстрее выбраться из самолета после приземления. В этом случае прошу вас действовать быстро, но сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания любого члена экипажа.

Позвольте мне заверить вас, что на земле сейчас делают все возможное, чтобы нам помочь.— Димирест вспомнил про полосу три-ноль и подумал: «Хорошо, если б так».— Но отчасти вам сегодня все-таки повезло, ибо у нас в кабине не один опытный пилот, а целых два — капитан Энсон Хэррис и ваш покорный слуга. Мы — два старых воздушных волка, за плечами у нас больше летных часов и лет, чем нам хотелось бы в этом признаться,— разве что сегодня, когда наш совместный опыт может всем нам весьма и весьма пригодиться. Мы будем всемерно помогать друг другу. Вместе с нами летит второй пилот Сай Джордан, кото-

рый часть времени уделит вам. Прошу и вас в свою очередь помогать нам. В этом случае обещаю, что мы благополучно закончим полет.

Димирест выключил микрофон.

Не отрывая глаз от приборов, Энсон Хэррис пробормотал:

— Очень это у вас здорово получилось. Вам бы политикой заняться.

— Никто не станет за меня голосовать,— угрюмо сказал Димирест.— Люди не любят прямого, откровенного разговора и боятся правды.— Не без горечи вспомнил Димирест заседание Совета уполномоченных, где он яростно выступал против продажи страховок в аэропорту. Откровенный разговор привел его тогда к поражению. Интересно, что скажут члены Совета и его достопочтенный шурин теперь, когда стало известно, что этот маньяк Д. О. Герреро застраховал свою жизнь с намерением взорвать самолет. Очень может быть, думал Димирест, что их и этим не проймешь, и только вместо обычного: «Такого не может случиться» ему заявят: «Это случай из ряда вон выходящий, такие вещи не повторяются». Ну, ладно, лишь бы благополучно посадить самолет, а там уж, будьте спокойны, он задаст им жару с этими их страховками, какую бы чушь они ни пороли. И на сей раз к нему прислушаются. То, что произошло сегодня — чем бы это ни кончилось,— несомненно, привлечет к себе внимание прессы — уж он об этом позаботится. Он выложит репортерам все напрямик — и насчет этих страховок, и насчет Совета уполномоченных, и, уж конечно, насчет его драгоценного родственничка Мела Бейкерсфелда.

Снова прозвучали сигналы радиосвязи.

— «Транс-Америка», рейс два, говорит Кливленд. Аэропорт Линкольна сообщает — полоса три-ноль временно закрыта. Делаются попытки убрать помеху до вашего прибытия. Если не удастся, примут вас на два-пять.

Димирест подтвердил прием. Лицо Энсона Хэрриса помрачнело. Полоса два-пять была на две тысячи футов короче, да еще и у́же и — по последней метеосводке — под скверным поперечным ветром. Посадка на два-пять сильно увеличивала опасность аварии.

Выражение лица Вернона Димиреста, принявшего радиограмму, яснее слов говорило о том, что он по этому поводу думал.

Буря не утихала, продолжало жестоко болтать. Энсон Хэррис старался по возможности выравнивать самолет.

Димирест повернулся ко второму пилоту:

— Сай, ступайте снова к пассажирам, займитесь ими. Проследите, чтобы девушки продемонстрировали все, что может потребоваться при посадке, и постарайтесь, чтобы все это усвоили. Потом отберите несколько пассажиров понадежнее. Объясните им, где расположены аварийные выходы и как ими пользоваться. Если мы выскочим за пределы полосы — а при посадке на два-пять несомненно так оно и будет,— все полетит кувырком. В этом случае мы все, конечно, поспешим на помощь пассажирам, но можем и не успеть.

— Есть, сэр.— Сай Джордан снова, уже в который раз, встал со своего кресла.

Димирест предпочел бы сам пойти в пассажирский салон, поглядеть, что с Гвен, но сейчас ни он, ни Хэррис не могли покинуть кабину.

Не успел Сай Джордан уйти, как появился доктор Компаньо. Джордан уже оттащил в сторону сорванную с петель дверь, и теперь ничто не преграждало доступ в кабину.

Милтон Компаньо коротко представился Вернону Димиресту.

— Капитан,— сказал он,— я готов сделать доклад о пострадавших, как вы просили.

— Будем вам очень признательны, доктор. Если бы не вы...

Но доктор Компаньо нетерпеливо отмахнулся.

— Потом, потом.— Он открыл кожаную записную книжечку, в которой тонким золотым карандашиком была заложена страница. С характерной для него пунктуальностью он уже выяснил фамилии пассажиров, записал, какие у кого повреждения и какая оказана помощь.— Тяжелее всех ранена ваша стюардесса, мисс Мейген. У нее много рваных ран на лице и на груди и большая потеря крови. Кроме того, сложный перелом левой руки и ключицы, ну и, разумеется, сотрясение мозга. Прошу также сообщить кому следует в аэропорт, что нам немедленно по прибытии потребуется помощь хирурга-окулиста.

Вернон Димирест, стараясь сохранять самообладание, записывал сообщение доктора Компаньо в бортовой журнал, лицо его было бледно, как полотно. Внезапно он перестал писать.

— Хирурга-окулиста? Вы хотите сказать... у нее повреждены глаза?..

— Боюсь, что да,— хмуро подтвердил доктор Компаньо.— Во всяком случае, в левом глазу есть осколки,— уточнил он.— Что это — дерево или металл,— сказать не могу. Специалист определит, уцелела ли сетчатка. Правый глаз, насколько можно судить, не пострадал.

— Великий боже! — Димирест закрыл лицо руками; он чувствовал, как тошнота подступает у него к горлу.

— Пока еще рано делать выводы,— сказал доктор Компаньо.— Современная хирургия творит чудеса. Но здесь дорога каждая минута.

— Мы сейчас же пошлем радиограмму,— заверил его Энсон Хэррис.— Они успеют все подготовить к нашему прибытию.

— Тогда я продиктую вам остальное.

Димирест продолжал автоматически записывать то, что говорил ему доктор. По сравнению с Гвен Мейген остальные пассажиры пострадали довольно незначительно.

— Теперь я, пожалуй, вернусь туда,— сказал доктор Компаньо.— Надо поглядеть, все ли там в порядке.

— Обождите,— резко сказал Димирест.

Доктор поглядел на него с недоумением, но приостановился.

— Гвен... мисс Мейген...— Голос Димиреста показался ему самому неестественным и чужим.— Она была... она беременна... Это может как-то сказаться на ее состоянии?

Димирест заметил, что Энсон Хэррис бросил на него изумленный взгляд.

— Как можно знать наперед? — сказал доктор с оттенком раздражения в голосе.— Вероятно, у нее самое начало беременности?

— Да.— Димирест отвел глаза в сторону.— Да, самое начало.— Минуту назад он принял решение не задавать этого вопроса. А потом решил, что должен знать правду.

Доктор Компаньо задумался.

— На способность организма к восстановлению это, разумеется, повлиять не может. Что же касается ребенка, то мать не так долго находилась без кислорода, чтобы это могло оказать воздействие на плод,— никто ведь серьезно от этого не пострадал. А внутренних повреждений у нее нет.— Доктор помолчал и добавил не очень уверенно:— Нет, на ребенке сказаться это не должно. Если мисс Мейген выживет — а при быстрой госпитализации на это, несомненно, есть надежда,— ребенок должен родиться нормальным.

Димирест молча кивнул. Доктор Компаньо постоял с минуту в нерешительности и ушел.

На некоторое время в кабине воцарилось молчание. Первым его нарушил Энсон Хэррис.

— Вернон, я бы хотел немного отдохнуть перед посадкой. Можете сменить меня пока?

Димирест кивнул. Его рука автоматически потянулась к штурвалу.

ноги легли на педали. Он был благодарен Хэррису за то, что тот не стал задавать вопросов и вообще обошел Гвен молчанием. Что бы там Энсон Хэррис ни думал, у него хватило такта оставить это при себе.

Хэррис взял бортовой журнал с записью сообщения доктора Компаньо.

— Я займусь этим,— сказал он и вызвал по радио диспетчерскую «Транс-Америки».

После только что пережитых волнений Вернон Димирест сел за штурвал с чувством физического облегчения. Как знать, быть может, Хэррис предвидел это, обращаясь со своей просьбой. Но так или иначе, решение отдохнуть перед посадкой, чтобы сберечь силы, было, несомненно, разумным.

Посадку же, хотя она и обещала быть тяжелой, Энсон Хэррис, очевидно, намеревался произвести сам, и Димирест не видел оснований возражать против этого, поскольку в течение всего полета самолет пилотировал Хэррис.

Хэррис передал радиограмму и откинул кресло назад, давая отдых телу.

А в соседнем кресле Димирест продолжал терзаться. Он старался сосредоточиться на полете, но это ему никак не удавалось. Искусному и опытному пилоту во время управления самолетом нет необходимости полностью отключаться от всего — даже в таких трудных условиях. И сколько бы Димирест ни гнал от себя мысли о Гвен, они продолжали кружить у него в мозгу.

Гвен... Еще сегодня вечером такая красивая, оживленная и вдруг... «Если мисс Мейген выживет...» И уже никакого Неаполя, рухнули все их планы... Гвен... Всего два-три часа назад она сказала ему: «Дело в том, что я люблю тебя...» Гвен... Ведь он тоже любит ее, к чему себя обманывать...

С мучительной тревогой он думал о ней, и воображение рисовало ему, как она лежит там, на полу самолета, окровавленная, без сознания... с его ребенком во чреве... Он так настойчиво понуждал ее отделаться от этого ребенка... Она сказала ему с горечью: «Я все ждала, как и когда ты заговоришь об этом...» А потом, она была так взволнована: «...Это как подарок... Кажется, что произошло что-то непостижимое — огромное и замечательное. И вдруг мы с тобой должны разом покончить с этим, отказаться от такого чудесного подарка».

Но он был настойчив, и кончилось тем, что она уступила: «Ну, что ж, в конце концов я поступлю так, как подсказывает здравый смысл. Сделаю аборт».

Ни о каком аборте теперь не могло быть и речи. В клинике, куда отправят Гвен, аборт невозможен — разве что встанет вопрос о спасении жизни матери. Но судя по тому, что сказал доктор Компаньо, вопрос так не встанет. А потом, после госпиталя, будет уже поздно.

Значит, если Гвен выйдет живой из этой переделки, ребенок появится на свет. Вернон Димирест не в силах был разобраться сейчас в своих чувствах: не понимал — огорчает его это или радует.

Ему вспомнились и другие слова Гвен:

«Разница между нами в том, что у тебя уже есть ребенок... где-то есть живое существо, и в нем продолжаешься ты».

Она говорила о ребенке, которого он никогда не видел, не знал даже его имени,— о девочке, сразу же после появления на свет навсегда исчезнувшей из его жизни в соответствии с «Тремя пунктами». Когда Гвен стала расспрашивать его, он не мог не признаться, что порой его мучает мысль, что с этой девочкой сталось. Однако он не признался в другом — в том, что эта мысль посещает его чаще, чем ему бы хотелось.

Ей, его дочери, теперь уже должно быть одиннадцать лет. Димирест

помнил день ее рождения, хотя и старался выкинуть эту дату из головы. Каждый год в этот день у него возникало желание что-то сделать для нее — может быть, просто послать поздравление... Вероятно, это потому, думал он, что у них с Сарой нет детей и ему неведома радость, какую доставляет родителям день рождения ребенка... А потом внезапно его начинали терзать вопросы, на которые не было ответа: где его дочь? Какая она? Счастливо ли сложилась ее жизнь? Иной раз он невольно вглядывался в лица девочек на улицах, и, если их возраст казался ему подходящим, мелькала мысль: а вдруг... Потом он издевался над собственным идиотизмом. Иногда его охватывала тревога: может быть, его дочери плохо, может быть, ее обижают и она нуждается в помощи, а он ничего не знает и ничем не в силах ей помочь... Рука Вернона Димереста судорожно сжала штурвал.

Течение его мыслей резко нарушил голос в динамике над головой.

— «Транс-Америка», рейс два, говорит Кливленд. Левым заходом берите курс два-ноль-пять. При готовности начинайте спуск на шесть тысяч. Сообщите, когда уйдете с десяти.

Димерест взял на себя все четыре дросселя и начал спуск. Затем переставил указатель курса и плавно вошел в вираж.

— Говорит «Транс-Америка», рейс два, ложимся на курс два-ноль-пять. Уходим с десяти тысяч,— передал Энсон Хэррис Кливленду.

Когда самолет начал снижаться, болтанка усилилась, но с каждой минутой они были ближе к цели и надежда на спасение росла. Теперь они приближались к невидимой воздушной границе, где Кливлендский центр передаст их Чикагскому. После этого — еще тридцать минут лета, и они войдут в зону наблюдения международного аэропорта имени Линкольна.

Энсон Хэррис проговорил негромко:

— Вернон, вы, конечно, понимаете, как я расстроен из-за Гвен...— Он умолк, потом нерешительно добавил: — Что у вас там с ней — меня не касается, но если я по-товарищески могу быть чем-то полезен...

— Ничего не требуется,— сказал Димерест. Он отнюдь не собирался раскрывать душу Энсону Хэррису, который в его глазах был хотя и отличным пилотом, но типичной старой девой в штанах.

Димерест уже пожалел о том, что так разоткровенничался несколько минут назад, когда чувства взяли верх, а это случалось с капитаном Димерестом не часто. Лицо его стало замкнутым — обычная маска, под которой он привык скрывать свои переживания.

— Восемь тысяч футов, продолжаем снижаться,— передал Энсон Хэррис центру наблюдения за воздухом.

Димерест, следуя заданным курсом, неуклонно вел самолет на снижение. Глаза его в строгой последовательности перебегали с прибора на прибор.

А мысли снова невольно возвратились к этому ребенку — его ребенку, появившемуся на свет одиннадцать лет назад. Он долго колебался тогда — не мог решить, не признаться ли во всем Саре. Они могли бы удочерить эту девочку, вырастить ее как родную дочь. Но у него не хватило духа. Он побоялся, что его признание будет слишком большим потрясением для Сары, что она не согласится взять ребенка — ведь в каком-то смысле он служил бы ей вечным укором.

Но потом — к сожалению, слишком поздно — он понял, что был к Саре несправедлив. Конечно, его признание должно было потрясти и оскорбить ее... Так же, как и теперь она будет потрясена и оскорблена, если узнает про Гвен. Но со временем ее умение применяться к обстоятельствам взяло бы верх. Несмотря на всю ограниченность Сары и ее пустопорожний образ жизни, несмотря на ее мелкобуржуазные замашки, любительские потуги в живописи и клубное честолюбие, Димерест

знал, что он может положиться на ее преданность и здравый смысл. Вероятно, это и делало их брак прочным, думал он,— ведь даже сейчас он не помышлял о разводе.

В конечном счете с помощью Сары все как-нибудь обошлось бы. Она заставила бы его некоторое время помучиться, вымаливая у нее прощение, может быть, довольно долго. Но потом она все же согласилась бы взять ребенка, и уж конечно ребенку страдать бы не пришлось. Об этом Сара позаботилась бы — это в ее характере. Если только...

— Слишком уж много этих «если только», будь они прокляты! — произнес он вслух.

Он снизил самолет до шести тысяч футов и увеличил подачу горючего, чтобы не сбавлять скорость. Гул двигателей усилился.

Энсон Хэррис переключил радио на другую волну — они уже пересекли воздушную границу — и начал вызывать Чикагский центр.

— Вы что-то сказали? — спросил он Димереста.

Димерест промолчал.

Снежный буран продолжал бушевать, самолет швыряло из стороны в сторону.

— «Транс-Америка», рейс два, видим вас на экране,— сказал новый голос: говорил чикагский диспетчер.

Энсон Хэррис продолжал прием.

А Вернон Димерест думал: как бы ни обернулось дело с Гвен, надо принимать решение сейчас, не откладывая. Ну, что ж, придется выдержать все — слезы Сары, ее гнев, упреки,— но он должен сказать ей про Гвен.

И признаться в том, что он — отец ребенка.

Начнутся истерики и, вероятно, будут продолжаться не день и не два, и потом еще долго — неделями, месяцами — ему придется сносить многое. Но в конце концов самое тяжелое останется позади, все малопомалу образуется. Как ни странно, он ни на секунду не усомнился в этом — вероятно потому, что верил в Сару.

Как они все это уладят, он пока еще себе не представлял; многое, конечно, будет зависеть от Гвен. Что бы там ни говорил доктор, а Гвен выкарабкается — Димерест был в этом уверен. У нее такая сила духа, столько мужества. Пусть даже бессознательно, она все равно будет бороться за жизнь, и как бы ее ни искалечило, это ее не сломит, она сумеет справиться и с этим. И в отношении ребенка она, скорее всего, рассудит по-своему. Вполне возможно, что ее будет не так-то легко уговорить отдать его, скорее всего, она и вообще не согласится. Гвен не из тех, кого можно вести на поводу, ею не покомандуешь. У нее своя голова на плечах.

Видимо, он окажется с двумя женщинами на руках... И в довершение всего — с ребенком. Тут будет над чем задуматься!

И снова возникал вопрос: до какого предела можно рассчитывать на благоразумие Сары?

«О черт! Вот история!»

И тем не менее после того, как для себя он принял решение, его не покидала уверенность в том, что рано или поздно все уладится. И он подумал угрюмо: да, уж надо надеяться, особенно если посчитать, чего это будет стоить — каких денег и каких мук.

Стрелка альтиметра показывала, что они снизились до пяти тысяч футов.

Значит, он станет отцом. Теперь это представлялось ему уже в несколько ином свете. Разумеется, распускать по этому поводу слюни, как некоторые, как тот же Энсон Хэррис, ни к чему, но что ни говори, это будет его ребенок. А подлинных отцовских чувств ему еще не доводилось испытывать. Как это сказала Гвен, когда они ехали на машине в

аэропорт? Если это будет мальчик, мы можем назвать его Вернон Димирест-младший. Что ж, может быть, это и не такая уж плохая идея. Димирест хмыкнул.

Энсон Хэррис покосился на командира:

— Почему вы смеетесь?

— Я и не думал смеяться! — вспыхнул Димирест.— Какого черта стал бы я смеяться! Кажется, нам тут не до смеха.

Энсон Хэррис пожал плечами.

— Значит, мне послышалось.

— Вот уже второй раз вам что-то слышится. Когда мы закончим этот проверочный полет, советую вам прежде всего хорошенько проверить ваши уши.

— Можно бы обойтись и без грубостей.

— Можно? Вы в этом уверены? — раздраженно спросил Димирест.— А если при такой ситуации это просто необходимо?

— Ну, если так,— сказал Хэррис,— лучше вас этому никто не обучен.

— В таком случае, когда вы кончите задавать идиотские вопросы, займитесь-ка снова своим делом, а мне дайте поговорить с этими тупицами на земле.

Энсон Хэррис выпрямил свое кресло.

— Как угодно. Я готов.

Оставив штурвал, Димирест включил микрофон. Теперь, придя к решению, он чувствовал себя спокойнее, увереннее. Пора было заняться наиболее неотложными делами. Он заговорил намеренно резко:

— Чикагский центр! Говорит капитан Димирест, самолет «Транс-Америки», рейс два. Вы нас слушаете или уже приняли снотворное и отключились?

— Говорит Чикагский центр. Мы вас слушаем, капитан, и никто не отключался. — В голосе диспетчера прозвучала обида, но Димирест не счел нужным обратить на это внимание.

— Тогда почему, черт подери, вы бездействуете? У нас ЧП. Нам нужна помощь.

— Не отключайтесь, пожалуйста.

Пауза. Затем заговорил другой голос:

— Говорит главный диспетчер Чикагского центра. Командир рейса два «Транс-Америки», я слышал вашу последнюю фразу. Прошу понять, что мы делаем все от нас зависящее. Вас еще не успели передать нам, а у нас уже десять человек расчищали вам путь. И продолжают это делать. Мы даем вам зеленую улицу, первоочередность радиосвязи и прямой курс на международный Линкольна.

— Этого недостаточно,— все так же резко сказал Димирест. Он помолчал, не отключаясь, и продолжал: — Главный диспетчер, слушайте меня внимательно. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на полосу два-пять или любую другую, кроме полосы три-ноль. Не говорите мне, что три-ноль не функционирует. Я это уже слышал и слышал даже — почему. А сейчас запишите то, что я вам скажу, и постарайтесь, чтобы в международном Линкольна это уразумели: самолет тяжело нагружен, садиться будем на большой скорости. А у нас поврежден стабилизатор и ненадежен руль направления. Если нас посадят на полосу два-пять, меньше чем через час вы будете иметь разбитую машину и сотню убитых и раненых. Так что радируйте международному Линкольна, приятель, и прочистите им мозги. Скажите им: нам нужна три-ноль. Меня не касается, как они это сделают — пусть хоть взрывают к черту то, что у них там застряло, если не могут иначе. Вы меня поняли?

— Да, «Транс-Америка», рейс два, мы хорошо вас поняли,— голос главного диспетчера звучал все так же невозмутимо, но уже не столь

холодно-официально.— Вашу радиограмму сейчас же передаем международному Линкольна.

— Отлично.— Димирест сделал паузу и снова нажал кнопку микрофона.— У меня еще одно сообщение. Мелу Бейкерсфелду, управляющему аэропортом имени Линкольна, лично. Передайте ему предыдущую радиограмму, а затем добавьте следующее: «Моему шурину персонально. Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша: ты не хотел слушать, когда я говорил — к дьяволу страховки в аэропорту! Теперь я от лица всех находящихся в этом самолете требую, чтобы ты пошевелил своей поросячьей задницей и очистил для нас три-ноль».

— «Транс-Америка», рейс два, мы записали вашу радиограмму.— Голос главного диспетчера звучал неуверенно.— Вы настаиваете на том, чтобы мы употребили именно эти выражения, капитан?

— Чикагский центр! — рявкнул Димирест.— Извольте употребить именно эти выражения, черт подери! Я требую, чтобы вы передали эту радиограмму немедленно, громко и абсолютно точно.

13

Ведя машину на большой скорости, Мел Бейкерсфелд слышал по радио, как в аэропорту вызывают со стоянок санитарные автомобили и направляют их к месту возможного приземления рейса два.

— Говорит наземный диспетчер, вызываю город двадцать пять.

Это был кодовый номер аэропортовской пожарной команды.

— Город двадцать пять на выезде слушает. Продолжайте.

— Передачу продолжаю. ЧП второй категории ожидается примерно через тридцать пять минут. Упомянутая машина повреждена, будет садиться на полосу три-ноль, если таковую освободят. В противном случае самолет посадят на полосу два-пять.

Диспетчеры аэропорта в своих переговорах по радио старались по возможности умалчивать о том, какой именно самолет терпит аварию. Авиакомпании были чрезвычайно щепетильны в этих вопросах, считая, что чем реже их будут упоминать в связи с несчастными случаями, тем лучше.

— Говорит город двадцать пять. Вызываю наземного диспетчера. Просит ли пилот дать пену на посадочную полосу?

— Пены не требуется. Повторяю: пены не требуется.

Если пилот не требовал пены, значит, шасси не было повреждено и сажать самолет на брюхо не понадобится.

Мел знал, что сейчас уже все машины аварийной колонны — автопомпы, спасательные и пожарные машины, машины «скорой помощи» — приведены в действие и следуют за машиной брандмайора, у которого есть индивидуальная радиосвязь с каждой из них. При ЧП задержек не бывает. Все руководствуются одним правилом: лучше раньше, чем позже. Аварийная колонна остановится сейчас между двумя взлетно-посадочными полосами и затем двинется туда, куда будет надо. Делалось это не по наитию. Передвижение каждой машины было заранее предусмотрено и зафиксировано в подробном плане на случай аварийных ситуаций.

Голоса по радио умолкли, Мел включил свой микрофон.

— Наземный диспетчер, говорит машина номер один.

— Машина номер один, наземный диспетчер слушает.

— Поставлен ли в известность о создавшейся аварийной ситуации Джо Патрони, который занимается самолетом, блокировавшим полосу три-ноль?

— Так точно. Держим с ним связь.

— Что говорит Патрони? Как у него дела?

— Он рассчитывает убрать застрявший самолет через двадцать минут.

— Есть у него стопроцентная уверенность?

— Нет.

Мел отключился. Одна рука на баранке, другая — на кнопке микрофона, он вел машину на максимальной скорости, какую можно было развить при плохой видимости в такую метель. Уже второй раз за этот вечер приходилось ему объезжать на машине аэропорт. Огни рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос, словно путеводные звезды, мелькали мимо. Таня Ливингстон и Томлинсон, репортер из «Трибюн», сидели на переднем сиденье рядом с ним.

Несколько минут назад Таня передала Мелу свою записку с известием о том, что на рейсе два произошел взрыв и самолет возвращается на базу, и Мел, вырвавшись из окружавшей его толпы медоувудских жителей, тотчас бросился к эскалаторам, ведущим в подземный гараж, где стояла его служебная машина. Таня бежала за ним. Сейчас его место — на полосе три-ноль, где, если потребуется, он должен взять все в свои руки. В центральном зале, прокладывая себе путь к эскалаторам, он увидел репортера «Трибюн» и бросил ему на ходу:

— Идемте со мной.— Репортер помог Мелу, сообщив то, что знал об Эллиоте Фримантле, и Мел решил отплатить ему услугой за услугу. Видя, что Томлинсон стоит в нерешительности, Мел крикнул: — Я не могу терять ни минуты! Вы очень пожалеете, если не воспользуетесь возможностью, которую я вам даю!

Томлинсон не стал задавать вопросов и зашагал рядом с Мелом. И сейчас, пока Мел гнал машину, опережая, где только можно было, выруливавшие впереди самолеты, Таня передавала репортеру содержание полученных с рейса два радиограмм.

— Постойте, дайте-ка мне разобраться,— сказал Томлинсон.— У вас здесь, значит, всего только одна полоса имеет достаточную длину для таких посадок и при этом идет в нужном направлении?

— Да, только одна,— угрюмо подтвердил Мел.— Хотя полагалось бы иметь две.— Он с досадой вспомнил о том, как на протяжении трех лет много раз ставил вопрос о постройке еще одной взлетно-посадочной полосы, дублирующей полосу три-ноль. Это было насущно необходимо. Объем работы аэропорта и требования безопасности свидетельствовали о том, что предложение Мела надо претворять в жизнь, тем более что на постройку полосы ушло бы не менее двух лет. Однако сторонники иной точки зрения взяли верх. Денег на новую взлетно-посадочную полосу не нашлось, и она не была построена. Более того — даже не запланирована, несмотря на все старания Мела.

Во многих других случаях Мелу удавалось склонить на свою сторону Совет уполномоченных. По поводу новой взлетно-посадочной полосы он беседовал с каждым из членов Совета в отдельности и заручился поддержкой каждого из них, однако потом все их обещания оказались пустым звуком. Теоретически Совет уполномоченных являлся организацией как бы независимой от политических влияний, но на деле назначение в Совет зависело от мэра города, да и большинство членов Совета сами были политическими деятелями. Если на мэра оказывалось давление с целью продвинуть какой-нибудь другой проект, также требующий финансирования, но зато весьма заманчивый в глазах избирателей, это давление быстро давало результаты. «Вот почему,— с горькой иронией думал Мел,— проект новой взлетно-посадочной полосы заваливали трижды, в то время как строительству трехэтажной стоянки для автомашин, далеко не столь необходимой, но зато более наглядно демонстрирующей заботу об избирателях, не чинили никаких препон».

Кратко и без обиняков Мел обрисовал Томлинсону положение, не

преминув упомянуть о его политической подоплеке, чего он прежде никогда не позволял себе делать, разве что в частных беседах.

— Мне хотелось бы иметь право сослаться на вас.— Голос Томлинсона выдавал охватившее его волнение. Репортер уже понял, что ему дают в руки сенсационный материал.— Вы разрешите?

Мел понимал, что появление этого в печати вызовет черт знает какой вой. Уже в понедельник утром начнутся возмущенные звонки из муниципалитета. Но кто-то должен сказать правду во всеуслышание. Люди имеют право знать, какой опасности они подвергаются.

— Валяйте,— сказал Мел.— Я сейчас в подходящем настроении для такого интервью.

— Я как раз об этом и подумал.— Репортер пытливо, с любопытством поглядел на Мела.— Не обижайтесь, но вы сегодня, что называется, в форме. И сейчас, и раньше — когда разговаривали с этим адвокатом, а потом — с медоувудцами. Совсем как в былые времена. Давненько я не видал вас таким.

Мел смотрел прямо перед собой на рулежную дорожку, намереваясь обогнать самолет компании «Истерн», заворачивавший налево. Он думал: неужели то, что происходило с ним последние два-три года, даже другим бросалось в глаза, неужели этот упадок духа был столь очевиден?

Таня, сидевшая совсем рядом, так что он ощущал ее близость и исходившее от нее тепло, проговорила негромко:

— Мы вот все время толкуем о взлетно-посадочных полосах, об этих медоувудцах, об общественном мнении и всякое такое прочее... а меня не покидает мысль о тех, кто там, в этом самолете. Что они сейчас чувствуют, как им, наверное, страшно...

— Да, им, конечно, страшно,— сказал Мел.— Если они не потеряли сознания и отдают себе отчет в случившемся. Мне бы тоже было страшно на их месте.

Мелу припомнилось, какой ужас пережил он много лет назад, когда у него зажало ногу в потерявшем управление военном самолете. И при этой мысли тотчас заныла старая рана, словно воспоминание пробудило к жизни уснувшую боль. Волнения последних часов заглушили все остальное, но сейчас, как всегда в минуты усталости и перенапряжения, рана снова дала себя знать. Мел, сжав губы, ждал, когда боль утихнет.

Он прислушался по радио к переговорам наземных служб. Затем снова включил свой микрофон.

— Говорит машина номер один, вызываю наземного диспетчера. Вы получили сообщение о том, в каком положении окажется пострадавший самолет, если ему не дадут полосы три-ноль?

— Машина номер один, мы вас слышим, чрезвычайность положения понимаем. Это вы, мистер Бейкерсфелд?

— Да, это я.

— Не отключайтесь, пожалуйста, сэр. Мы сейчас принимаем еще одну радиограмму.

Машина Мела уже приближалась к полосе три-ноль. От того, что сейчас сообщат, будет зависеть, придется ли Мелу прибегнуть к самым крайним, отчаянным мерам, мысль о которых его не покидала ни на секунду.

— Машина номер один, говорит наземный диспетчер. Только что получена радиограмма с интересующего вас самолета,— передал Чикагский центр.— Начинаю: «Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на полосу два-пять... Самолет тяжело нагружен, садиться будем на большой скорости...»

В машине управляющего аэропортом трое людей напряженно слушали радиограмму Вернона Димиреста. При словах: «Если нас посадят на полосу два-пять... вы будете иметь разбитую машину и сотню убитых

и раненых...» Мел услышал, как Таня тихонько ахнула, и почувствовал, что она вся дрожит.

Мел собирался уже подтвердить прием и отключиться, когда наземный диспетчер заговорил снова:

— Машина номер один... мистер Бейкерсфелд, получена еще одна радиограмма, дополнительно к предыдущей, адресована лично вам — от вашего зятя. Можете принять ее по телефону?

— Исключено,— сказал Мел.— Передавайте, я слушаю.

— Мистер Бейкерсфелд,— диспетчер явно колебался.— Радиограмма сугубо личного характера...

Диспетчер, так же как и Мел, знал, что передачу по радио в аэропорту будет слушать много посторонних ушей.

— Радиограмма имеет отношение к создавшейся ситуации?

— Безусловно.

— Тогда читайте.

— Слушаюсь, сэр. Начинаю: «Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша: ты не хотел слушать, когда я говорил — к дьяволу страховки в аэропорту...»

Мел, сжав зубы, прослушал радиограмму до конца, затем бесстрастно подтвердил прием: «Вас понял» — и отключился. «Должно быть, несмотря на катастрофическое положение, в котором находился самолет, Вернон получил большое удовольствие, посылая эту радиограмму,— думал Мел,— а узнай он о том, при каких обстоятельствах была она передана по назначению, это порадовало бы его вдвойне».

По существу же вторая радиограмма была излишней. Мел принял решение уже после первой.

Он выехал на полосу три-ноль. В лучах прожекторов видно было кольцо служебных машин вокруг застрявшего в снегу «боинга». Мел с облегчением отметил, что снега на полосе немного и вся она, за исключением участка, занятого самолетом, уже расчищена.

Мел переключился на волну технических служб аэропорта.

— Машина номер один вызывает пульт управления «снежной командой».

— Пульт управления слушает.— Голос Дэнни Фэрроу звучал устало, что было совсем не удивительно.— Валяй, что там у тебя?

— Дэнни,— сказал Мел,— разъедини «Анаконду». Снегоочистители «ошкош» и тяжелые грейдеры срочно отправь на полосу три-ноль к застрявшему самолету, и пусть ждут там дальнейших распоряжений. Как только они туда двинутся, тотчас сообщи мне.

— Вас понял, исполняю.— Мелу показалось, что Дэнни хотел что-то спросить, но раздумал. Секунду спустя сидевшие в машине услышали, как он на той же волне дает распоряжение «лидеру» «Анаконды».

Репортер «Трибюн» наклонился к Мелу за спиной у Тани.

— Я все пытаюсь как-то увязать одно с другим,— сказал он.— Насчет страховок... Ваш зять — один из наиболее влиятельных членов Ассоциации пилотов гражданской авиации, не так ли?

— Так.— Мел остановил машину в нескольких футах от ярко освещенного прожекторами участка полосы, в центре которого находился огромный лайнер. Работа здесь кипела вовсю. Вокруг самолета и под его брюхом — везде люди трудились лихорадочно, ожесточенно. Мелькнула коренастая фигура Джо Патрони, отдававшего распоряжения. Мел ждал ответа от Дэнни Фэрроу, чтобы затем присоединиться к Патрони.

Томлинсон проговорил с расстановкой.

— Я сейчас припоминаю, что уже слышал как будто об этих страховках. Кажется, ваш зять поднял большой шум по поводу страхования жизни в аэропорту, против которого восставала и Ассоциация пилотов, но вы уложили его на обе лопатки — так?

— Не я уложил, а Совет уполномоченных, но я был согласен с ним.

— Мне бы хотелось, если позволите, задать вам такой вопрос: события этой ночи не заставили вас изменить вашу точку зрения?

— Но послушайте, право же, сейчас не время...— вмешалась Таня.

— Я вам отвечу,— сказал Мел.— Я не изменил своей точки зрения, пока еще не изменил. Но я буду над этим думать.

Мел рассуждал так: сейчас не время менять свою позицию в этом вопросе (если вообще ее следует менять). Нет, во всяком случае, не сейчас, в горячке, в смятении чувств, в обстановке катастрофы. Пройдет день-другой, и трагические события этой ночи получат более ясную и трезвую оценку. Тогда и он сможет решить, надо ли ему настаивать на том, чтобы Совет уполномоченных пересмотрел свое отношение к этому вопросу. Вместе с тем никто, конечно, не станет отрицать, что все случившееся значительно укрепило позицию Вернона Димиреста и Ассоциации пилотов гражданской авиации.

Но хотя Мел и решил не делать пока окончательных выводов, тем не менее он чувствовал, что прежняя его уверенность поколеблена.

Радио, все еще настроенное на волну технических служб, снова заговорило:

— Машина номер один, говорит пульт управления «снежной командой».

— Валяй, Дэнни,— сказал Мел.

— Четыре снегоочистителя и три грейдера во главе с «лидером» направляются, как было велено, к полосе три-ноль. Какие будут приказания?

Мел заговорил неторопливо, тщательно подбирая слова: он знал, что где-то в недрах КДП все записывается на магнитофонную ленту. И за каждое слово ему придется потом держать ответ. Но и помимо этого он хотел, чтобы все, что он скажет, было понято абсолютно точно.

— Пульт управления «снежной командой», говорит машина номер один. Все снегоочистители и грейдеры расположить под руководством «лидера» в непосредственной близости от «боинга-707», застрявшего на полосе три-ноль. Машины не должны, повторяю: не должны преграждать путь самолету, который через несколько минут попытаются своими силами сдвинуть с места. В случае, если эта попытка не даст результатов, снегоочистители и грейдеры получат распоряжение очистить полосу — столкнуть с нее самолет. Это необходимо сделать любой ценой и максимально быстро. Полоса три-ноль должна быть очищена и приведена в готовность не позже, чем через тридцать минут. К этому времени и застрявший самолет, и всю технику нужно отвести на безопасное расстояние. В соответствии с сообщениями КДП я дам указание, когда снегоочистители и грейдеры должны быть приведены в действие, если это окажется необходимым. Подтвердите прием и получение инструкций. Все ли ясно?

Томлинсон негромко свистнул. Таня повернулась к Мелу, пытливо вглядываясь в его лицо.

Радио молчало. Затем послышался голос Дэнни Фэрроу:

— По-моему, ясно. Но проверить не мешает.— И Дэнни кратко повторил основной смысл распоряжения. Мел понимал, что Дэнни сейчас взмок не меньше, чем он сам.

— Правильно,— сказал Мел.— И особенно учти одно: если придется пускать в ход тяжелую технику, делать это будете по моему указанию, только по моему.

— Что ж,— сказал Дэнни,— по мне, лучше ты, чем я. Ты, конечно, понимаешь, Мел, что наша техника сделает с этим «боингом»?

— Она его уберет оттуда,— сказал Мел сухо.— А в настоящий момент это самое главное.

Мел знал, что в распоряжении технических служб аэропорта имеется немало всевозможного оборудования для выполнения такой грубой работы, как расчистка территории, но «Анаконда», уже находившаяся на летном поле, могла сделать это быстрей и надежней.

Томлинсон сказал с сомнением:

— Уберет?! Лайнер стоимостью в шесть миллионов долларов вы будете убирать с помощью снегоочистителей? Но, черт побери, вы же разнесете его в клочья. А потом «Аэрео-Мехикан» и страховые компании сделают то же самое с вами.

— И это меня не удивит,— сказал Мел.— Хотя, конечно, многое зависит от точки зрения. Если бы владельцы и страхователи «боинга» находились сейчас на борту того, другого самолета, который вот-вот должен сесть, они, вероятно, кричали бы: «Давай! Давай!»

— Ну, что ж,— сказал репортер,— одно несомненно: надо обладать большим присутствием духа, чтобы принять такое решение.

Таня украдкой сжала руку Мела; она проговорила негромко, взволнованно:

— Я тоже кричу «Давай!» Вы правильно поступаете. Что бы ни случилось потом, этой минуты я не забуду.

Вдали уже показалась вызванная Мелом колонна снегоочистителей и грейдеров; они быстро приближались, мерцая сигнальными огнями на крыше.

— Но, может быть, еще ничего не понадобится,— Мел стиснул руку Тани, потом отпустил ее и распахнул дверцу машины.— В нашем распоряжении двадцать минут. Будем надеяться, что этого окажется достаточно.

Джо Патрони топал ногами, пытаясь согреться, когда к нему подошел Мел. Если не считать нескольких минут, которые Патрони провел в пилотской кабине после того, как ее покинули командир и первый пилот «Аэрео-Мехикан», все остальное время — уже три с лишним часа — он, невзирая на вьюгу, находился у самолета. Он замерз и отчаянно устал от напряжения и треволнений последних суток, а две неудачные попытки сдвинуть самолет с места довели его до белого каления.

Услыхав, что намерен предпринять Мел, Джо Патрони едва не потерял самообладание.

Будь на месте Мела кто-нибудь другой, Джо Патрони не постеснялся бы и отвел душу. Но Мел был его закадычным другом, и Патрони только уставился на него, словно не веря своим глазам; потом вынул изо рта изжеванную нераскуренную сигару и сказал:

— Сдвигать снегоочистителями совершенно целый самолет? Да ты что — ума лишился?

— Нет,— сказал Мел.— Я лишился нужной мне для посадки полосы.

На какую-то секунду Мела охватило отчаяние: он видел, что никто из ответственных лиц, кроме него самого, не понимает, сколь необходимо очистить полосу три-ноль. Если он осуществит свое намерение — а он готов был это сделать,— явно лишь немногие одобрят его действия. Более того, он нисколько не сомневался, что найдутся и такие — особенно среди представителей компании «Аэрео-Мехикан»,— кто станет задним числом утверждать, что он мог бы попытаться сделать еще и то и это или что поврежденный самолет можно было в конце концов посадить и на полосу два-пять. Да, похоже, что принятое им решение ни у кого, даже у друзей, не найдет поддержки. И все же это не поколебало его решимости.

Поглядев на грейдеры и снегоочистители, выстроившиеся в колонну

справа от лайнера, Джо Патрони швырнул сигару в снег. Потом достал другую и проворчал:

— Попробую спасти тебя от этого безумия. Убери свои заводные игрушки подальше от самолета, да так, чтобы они не мозолили мне глаза. Через пятнадцать минут, а может и раньше, я выкачу его отсюда.

Мел крикнул, стараясь перекрыть шум ветра и рев машин:

— Джо, запомни одно: когда КДП скажет, что наше время истекло — никаких споров, никаких возражений. На карту поставлена жизнь всех, кто прибывает с этим самолетом. Если двигатели будут запущены, ты немедленно заглушишь их. И тотчас уберешь с дороги все свое снаряжение и людей. Предупреди их заранее, чтобы каждому было ясно. Машины приступят к делу по моему указанию. А когда я дам сигнал, времени терять они не станут.

Патрони угрюмо кивнул. Мел видел, что хотя главный механик и отвел душу, его обычная задиристая самоуверенность несколько поколеблена.

Мел вернулся к своей машине. Таня и Томлинсон, поеживаясь от холода, стояли возле нее и смотрели, как подводят траншеи под самолет. Как только Мел залез в машину, они последовали его примеру: приятно было очутиться в тепле.

Мел снова вызвал по радио КДП — на этот раз непосредственно руководителя полетов. В нескольких словах Мел изложил ему свой план.

Он добивался от диспетчерской службы только одного: ему необходимо было знать точно, сколько еще он может ждать, прежде чем приводить в действие снегоочистители и грейдеры, которым потребуется всего несколько минут, чтобы убрать самолет с полосы.

— Согласно последним сообщениям,— сказал руководитель полетов,— упомянутый самолет войдет в нашу зону наблюдения раньше, чем мы предполагали. Чикагский центр рассчитывает передать его нам через двенадцать минут, после чего еще восемь-десять минут мы будем контролировать полет. Приземление произойдет самое позднее в ноль один двадцать восемь.

Мел бросил взгляд на часы. Стрелки на тускло освещенном циферблате показывали час одну минуту пополуночи.

— Решение о том, на какую полосу сажать самолет,— продолжал руководитель полетов,— должно быть принято не позже чем за пять минут до посадки. После этого участь самолета будет решена: мы уже не сможем его завернуть.

Следовательно, мысленно подсчитал Мел, до момента, когда надо принимать окончательное решение, остается семнадцать минут, а может быть и меньше — все зависит от того, когда самолет войдет в зону наблюдения аэропорта. Значит, времени оставалось даже меньше, чем он сказал Джо Патрони.

Мел почувствовал, что снова весь взмок.

Может быть, сказать Патрони, предупредить, что времени у них меньше, чем они рассчитывали? Нет, решил Мел. Главный механик и так не теряет ни секунды. Подгонять его было бы бессмысленно.

Мел снова взял микрофон:

— Говорит машина номер один, вызываю КДП. Мне нужна постоянная информация об идущем к нам на посадку самолете. Прошу оставить эту частоту исключительно в моем распоряжении.

— Есть,— последовал ответ руководителя полетов.— Мы уже переключили все регулярные рейсы на другую частоту. Будем давать вам постоянную информацию.

Мел подтвердил прием и отключился.

— Что теперь будет? — спросила Таня.

— Будем ждать.— Мел снова поглядел на часы.

Прошла минута. Две минуты.

Из автомобиля было видно, как рабочие продолжают лихорадочно рыть траншеи впереди и по бокам застрявшего лайнера. В лучах прожекторов промелькнул черный силуэт еще одного грузовика. Откинув задний борт, рабочие выпрыгнули из кузова и присоединились к тем, кто уже трудился возле самолета. Коренастая фигура Джо Патрони появлялась то здесь, то там; он давал указания, подбадривал.

Снегоочистители и грейдеры стояли, вытянувшись в цепочку, и ждали. «Прямо как стервятники»,— невольно подумалось Мелу.

Молчание нарушил Томлинсон.

— Знаете, о чем я думаю? Когда я был мальчишкой — и ведь не так уж много с тех пор воды утекло,— здесь были еще поля и луга... Летом колосилась пшеница и ячмень, на выгоне паслись коровы. И был маленький травяной аэродром, совсем крошечный — никто и подумать не мог, что он разрастется в такую махину. Рейсовые самолеты принимал только городской аэропорт.

— На то вам и авиация,— сказала Таня. Она рада была перевести разговор на другое, отвлечься на минуту от мыслей о том, чего они все ждали в таком напряжении.— Мне кто-то говорил, что, когда работаешь в авиации, жизнь кажется длинней, потому что все здесь так часто и так быстро меняется.

— Ну, не все и не так уж быстро,— возразил Томлинсон.— В аэропортах, например, перемены происходят не слишком-то быстро. Как вы считаете, мистер Бейкерсфелд, это верно, что через три-четыре года в авиации будет сплошной хаос?

— Хаос — вещь относительная,— сказал Мел. Все его внимание по-прежнему было приковано к тому, что происходило за стеклом его машины.— В жизни мы сталкиваемся с ним в самых разных проявлениях и так или иначе приспосабливаемся.

— Вам не кажется, что вы уклоняетесь от прямого ответа?

— Да,— сказал Мел,— вероятно.

«И не удивительно,— подумал он.— До философии ли сейчас, когда такое происходит». Но он чувствовал стремление Тани хоть как-то — хотя бы внешне — ослабить напряжение. Он без слов остро ощущал все нюансы ее чувств и настроений, и это лишний раз подтверждало ему, как крепнет их духовная связь. К тому же, сказал он себе, ведь этот самолет, которого все они ждут, не зная, сможет ли он сесть без аварии или нет,— это самолет «Транс-Америки», а Таня — одна из служащих этой компании, она помогала отправлять его в полет. Именно она ближе всех соприкоснулась с людьми, которые находились сейчас там, на борту этого самолета.

Сделав над собой усилие, Мел постарался вникнуть в слова Томлинсона.

— Так было всегда,— сказал Мел,— в авиации прогресс в воздухе постоянно опережал прогресс на земле. Временами нам казалось, что мы нагоним и пойдем в ногу — в середине шестидесятых годов мы почти достигли этого. И все же так не получилось. Видимо, самое большее, чего мы можем добиться,— это не слишком плестись в хвосте.

Но репортер не унимался:

— Что же мы *должны* предпринять в отношении аэропортов? Что мы *можем* предпринять?

— Прежде всего, мы должны научиться мыслить шире, давать волю воображению. Нужно освободиться от железнодорожного способа мышления.

— Вы считаете, что мы от него еще не освободились?

— К несчастью, мы сталкиваемся с ним довольно часто. Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорож-

ных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много «вытянутых» аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю.

— А их не перестраивают? — спросил Томлинсон.

— Только кое-где и то очень медленно.— Несмотря на серьезность момента, разговор этот задел Мела за живое.— Кое-где строятся циркообразные аэропорты — вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри; там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных эскалаторов, а кроме того, самолеты подъезжают к пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а не просто приставка к чему-то. Творческая мысль прокладывает себе путь, и мы даже начинаем прислушиваться к заокеанским веяниям. Лос-Анджелес предлагает соорудить большой океанодром; Чикаго — аэропорт на искусственном насыпном острове на озере Мичиган. И это ни у кого не вызывает улыбки. «Американ Эйрлайнз» проектирует постройку гигантского гидравлического лифта, с помощью которого самолеты будут размещаться один над другим на время погрузки и разгрузки. Но все эти нововведения внедряются медленно, авиакомпании действуют несогласованно, и мы строим аэропорты без всякого полета фантазии, как лоскутное одеяло. Это все равно, как если бы каждый абонент сам соорудил себе телефон, а затем все начали бы включать их, кто как сумеет, в общую сеть.

Радиопозывные прервали слова Мела.

— КДП — машине номер один и городу двадцать пять. Чикагский центр сообщает: по его расчетам, интересующий вас самолет войдет в зону наблюдения и будет передан КДП Линкольна в ноль один семнадцать.

На часах Мела было один час шесть минут пополуночи. Значит, самолет прибывал на минуту раньше, чем рассчитывал руководитель полетов. В распоряжении Джо Патрони оставалось на минуту меньше времени; в распоряжении Мела — только одиннадцать минут, после чего он должен будет принять решение.

— Машина номер один, произошли ли изменения на полосе три-ноль?

— Изменений нет.

Не слишком ли он рискует, дотягивая до последнего, думал Мел. Он с трудом удерживался, чтобы не дать сигнала машинам «снежной команды», но все же взял себя в руки. И в том и в другом случае ответственность, ложившаяся на его плечи, велика. Не так-то просто отдать приказ, который превратит в обломки мощный современный лайнер стоимостью в шесть миллионов долларов. Еще оставалась надежда, что Джо Патрони справится со своей задачей, но с каждой секундой это становилось все более сомнительным. Мел увидел, что прожекторы, установленные перед «боингом-707», и некоторое другое оборудование отводят в сторону. Но двигатели еще не были запущены.

— А кто они такие — эти творцы нового, о которых вы говорите? — спросил Томлинсон.— Кто это?

— Ну, перечислить их по именам было бы нелегко,— рассеянно ответил Мел.

Он напряженно наблюдал за происходившим на поле. Теперь все пространство перед «боингом-707» было очищено от машин, и Мел увидел запорошенную снегом фигуру Джо Патрони, поднимавшегося по трапу в пилотскую кабину лайнера. На последней ступеньке Патрони остановился, обернулся и махнул кому-то рукой; видно было, что он

кричит что-то стоявшим внизу. Вот он открыл дверь самолета и исчез за ней, и почти тотчас другая, более стройная и подвижная фигура поднялась по трапу за ним следом. Дверь самолета захлопнулась. Трап откатили.

Томлинсон снова спросил:

— Мистер Бейкерсфелд, не назовете ли вы хоть кого-нибудь из этих людей — из тех, кто не лишен воображения и яснее представляют себе будущее аэропортов.

— Верно,— сказала Таня,— если можете, назовите...

«Они затеяли игру в шарады, когда в доме пожар»,— промелькнуло в голове у Мела. Ну что ж, если Таня хочет, чтобы он принял участие в этой игре — пожалуйста.

— Надо подумать,— сказал он.— Кое-кого я, пожалуй, могу назвать.

— Смотрите! — внезапно воскликнула Таня.— Они запускают двигатели!

Репортер прильнул к окну. Мел почувствовал, как забилось у него сердце.

Позади третьего двигателя появилось сероватое облачко дыма, сгустилось и взвилось вверх. Двигатель завыл, вой перешел в ровное гудение. Струя воздуха прорвала и рассеяла пелену снега.

Второе облачко дыма поднялось над четвертым двигателем, и снова закрутился снежный вихрь, уносящийся прочь.

— Машина номер один и город двадцать пять, говорит наземный диспетчер.— Радиоголос прозвучал так внезапно, что Мел почувствовал, как вздрогнула Таня.— Чикагский центр передает новые данные. Упомянутый самолет войдет в зону приближения в ноль один шестнадцать, то есть через семь минут.

Самолет прибывает еще раньше, понял Мел, и, следовательно, в их распоряжении остается еще на минуту меньше.

Мел снова бросил взгляд на часы.

На самолете запустили второй двигатель, затем — первый. Мел сказал тихо:

— Он еще может успеть.— И тут же вспомнил, что все четыре двигателя уже дважды запускались сегодня вечером и обе попытки выкатить самолет потерпели неудачу.

Темная фигура со светящимися жезлами, маячившая перед застрявшим самолетом, отодвинулась дальше, чтобы ее было видно из пилотской кабины. Сигнальщик поднял жезлы над головой. Это означало: «Путь свободен». Мел прислушивался к гулу моторов и понимал, что они работают еще не на полную мощность.

Оставалось шесть минут. «Почему Патрони не дает до отказа?»

Таня произнесла каким-то чужим, странным голосом:

— Нет, я, кажется, не в состоянии этого выдержать.

— А меня даже пот прошиб,— сказал репортер.

«Джо Патрони дает полный! Наконец-то!» — подумал Мел, услышав нарастающий, оглушительный рев двигателей и всем телом почувствовав их вибрацию. За хвостом самолета во мраке, прорезанном мерцанием ограничительных огней, бешено взметнулись ввысь снежные вихри.

— Машина номер один,— прозвучал резкий радиоголос.— Говорит наземный диспетчер. Как с полосой три-ноль? Есть ли какие-нибудь изменения?

Мел взглянул на часы: в распоряжении Патрони оставалось три минуты.

— Самолет не стронулся с места,— сказала Таня, тоже прильнувшая к ветровому стеклу машины.— Все двигатели работают, но он не трогается с места.

Однако там еще не сложили оружия. Об этом говорили снежные вихри. И все же Мел видел, что Таня права. Самолет был недвижим.

Снегоочистители и грейдеры подошли ближе. Ярко поблескивали сигнальные мигалки.

— Подождите еще,— сказал Мел в микрофон.— Воздержитесь направлять самолет на полосу два-пять. Положение на три-ноль сейчас изменится.

И он переключил радио на волну пульта управления «снежной командой», чтобы двинуть вперед технику.

14

Обычно после полуночи напряжение в диспетчерской немного спадало. Но сегодня этого не произошло. Из-за бурана аэропорт имени Линкольна продолжал принимать и отправлять самолеты с опозданием уже на несколько часов.

Большинство диспетчеров закончили в полночь свою восьмичасовую вахту и, еле волоча ноги, отправились домой. На их место заступили другие. Поскольку людей вообще не хватало, да к тому же кто-то еще был болен, некоторых попросили остаться и сверхурочно поработать до двух часов утра, и в том числе руководителя полетов, главного диспетчера радарной Уэйна Тевиса и Кейза Бейкерсфелда.

Полтора часа назад, после волнующего и столь внезапно оборвавшегося на полуслове разговора с братом, Кейз, стараясь обрести душевное равновесие, сосредоточил все внимание на экране радара, перед которым он сидел. Если ему удастся не отвлекаться мыслями ни на что другое, решил он, оставшееся время — последняя в его жизни вахта — пролетит быстро. Кейз продолжал принимать самолеты с востока; слева от него сидел помощник — молодой человек, проходивший обучение на радаре. Уэйн Тевис продолжал наблюдать за работой, разъезжая по диспетчерской на своем высоком табурете.

Кейзу как будто бы удалось сконцентрировать свое внимание на экране, и в то же время он чувствовал, что это удалось ему не вполне. У него было странное ощущение, что мозг его раскололся и он мыслит сразу в двух плоскостях. Какая-то часть мозга была занята самолетами, прибывавшими с востока,— в данную минуту никаких проблем тут не возникало. А другая часть раздумывала над его собственной судьбой и занималась самоанализом. Такое положение, конечно, не могло длиться долго; Кейзу казалось, что его мозг подобен электрической лампочке, которая перед тем, как погаснуть, вспыхивает особенно ярко.

О себе он думал сейчас гораздо бесстрастнее и спокойнее, чем раньше,— возможно, помог разговор с Мелом. Все было продумано и решено. В нем зрело убеждение, что его жизнь уже отделена от окружающих и ничто больше не связывает его ни с Натали, ни с Мелом, ни с Брайаном или с Тео... как и их — с ним. Он принадлежит уже к мертвым. Да, он уже с теми, кто ушел,— с Редфернами, с маленькой Валери... Ведь в этом же вся суть! Почему только теперь стало ему ясно, что смертью он искупает свою вину перед Редфернами? «Интересно, уж не сумасшедший ли я?» — бесстрастно размышлял Кейз. Говорят, что жизнь кончают самоубийством сумасшедшие. Впрочем, какое это имеет значение? Он сделал выбор между мучением и покоем, и еще до наступления утра к нему придет покой.

А другая часть его мозга, та, что еще сохранила прежнее чутье, продолжала следить за самолетами, прилетавшими с востока. И лишь постепенно до сознания Кейза дошло, что рейс два «Транс-Америки» терпит бедствие.

Сообщение о намерении самолета вернуться в аэропорт поступило на КДП примерно час назад.

Руководитель полетов лично явился в радарную и поставил Уэйна Тевиса в известность о взрыве на рейсе два, о предполагаемом времени его прилета и о том, куда сажать самолет — на полосу два-пять или три-ноль.

Тем временем наземная диспетчерская предупредила аэропортовскую аварийку: будьте наготове и, как только самолет начнет снижаться, выезжайте на поле.

Наземный диспетчер по радиотелефону связался с Джо Патрони и сообщил ему, что срочно нужна полоса три-ноль. Джо Патрони уже знал об этом.

Затем на резервной волне был установлен контакт между КДП и кабиной самолета «Аэрео-Мехикан», чтобы заранее обеспечить двустороннюю связь, которая могла понадобиться, когда Патрони сядет за штурвал.

В радарной Уэйн Тевис, выслушав сообщение руководителя полетов, невольно взглянул на Кейза. Если оставить все так, как оно есть, то именно Кейзу придется принимать рейс два от Чикагского центра и сажать самолет.

Тевис тихо спросил руководителя полетов:

— Может, нам снять Кейза и заменить кем-то другим?

Тот был в нерешительности. Когда человек не очень уверен в себе и может в любую минуту утратить последнюю уверенность, достаточно пустяка, чтобы перетянуть в гибельную сторону чашу весов. А руководитель полетов уже и так чувствовал себя неловко оттого, что помешал разговору Кейза с его братом в коридоре. Он вполне мог бы подождать несколько минут, но не подождал.

Кроме того, руководитель полетов сам до смерти устал — не только за сегодняшний день, но и за все предыдущие. Это пробуждало в нем сочувствие к Кейзу — бледному, худому, напряженному как струна, да и не только к Кейзу — ко всем, кого доводила до такого состояния существующая система организации труда.

Все так же тихо Уэйн Тевис повторил:

— Так снимать его или нет?

Руководитель полетов отрицательно покачал головой. И понизив голос, ответил:

— Не будем ускорять ход событий. Не снимайте Кейза, но и не отходите от него.

Тут Кейз заметил двух шептавшихся начальников и догадался, что надвигается нечто серьезное. Как-никак, он был старый матерый волк, которому хорошо знакомы признаки близкой беды.

Кроме того, инстинкт подсказывал ему, что речь шла и о нем. И он понимал почему. Теперь Кейз уже не сомневался, что через несколько минут его освободят от работы или же переведут на менее важное направление. Как ни странно, ему было все равно.

Он был очень удивлен, когда Тевис, не делая никаких перемещений, оповестил всех диспетчеров о том, что самолет «Транс-Америки» рейс два терпит бедствие, возвращается на базу и его надо сажать в первую очередь.

И уже отдельно Кейзу Тевис изложил проблему посадки: решение о том, на какую полосу сажать самолет, предстояло принять в последнюю минуту.

— Разработай свой план посадки, мальчик,— сказал ему Тевис, на техасский манер растягивая слова.— И когда самолет передадут тебе, займись только им. Всех остальных мы возьмем на себя.

Сначала Кейз только кивнул, нимало не обеспокоенный поставленной

перед ним задачей. И машинально принялся производить расчет подхода самолета. Такого рода расчеты всегда производят в уме. На бумагу наносить их нет времени, да и потом, как правило, приходится на ходу все менять.

Как только Чикагский центр передаст ему самолет, решил Кейз, он поведет его к полосе три-ноль, но с таким допуском, чтобы можно было завернуть машину влево, если придется сажать ее на полосу два-пять.

Кейз подсчитал: вести самолет ему предстоит минут десять. А Тевис предупредил его, что, по-видимому, лишь минут за пять до посадки он узнает о том, на какую полосу можно будет сажать машину. Времени, конечно, в обрез, и в радарной все изрядно вспотеют — как и в воздухе. Но справиться можно — хотя будет и нелегко. И Кейз снова мысленно прочертил траекторию полета и закомпассировал направление.

А на КДП уже стали просачиваться — неофициальным путем — некоторые подробности. В свободные минуты диспетчеры сообщали их друг другу.

И теперь заволновались даже они, привыкшие к сложностям воздушного транспорта.

Помощник, сидевший рядом с Кейзом, рассказывал ему о случившемся по мере того, как узнавал сам.

Кейз понимал и уже страшился того, что на него свалилось. *Не хочет он принимать в этом участия — ни малейшего, никакого!* Не стремится он — да и не может — что-то там такое доказать себе! И даже если он хорошо справится с задачей — разве этим что-нибудь изменишь? А если не справится, если где-то ошибется? И погибнет самолет, полный людей, *как уже погиб один?*

На другом конце радарной Уэйна Тевиса вызвал по прямому телефону руководитель полетов.

Опустив на рычаг трубку, Тевис на своем табурете подкатил к Кейзу.

— Старик только что получил сигнал из Чикагского центра. Рейс два передадут нам через три минуты.

И главный переехал к диспетчеру, сидевшему на вылетах, и проверил, нет ли на пути рейса два вылетающих самолетов.

Помощник сообщил Кейзу, что на поле все еще стараются вытащить застрявший самолет и освободить полосу три-ноль. Они уже включали двигатели, но самолет так и не двинулся с места. За дело взялся сам брат Кейза (так сказал помощник), и, если самолет не пойдет, он велит убрать его снегоочистителями, чтобы освободить полосу. Но всех волнует, хватит ли на это времени.

Раз Мел принял такое решение, подумал Кейз, значит, он уверен, что хватит. Мел всегда со всем справляется, он умеет подчинить себе ход событий. А вот у Кейза не выходит — или, во всяком случае, не всегда и не так, как у Мела. В том-то и разница между ними.

Прошло уже почти две минуты.

Помощник, стараясь говорить спокойно, заметил:

— Самолет появился на экране.

В самом углу экрана Кейз увидел двойную звездочку — сигнал бедствия, несомненно исходивший от рейса два.

Скорее бежать отсюда! Ему с этим не справиться. Пусть кто-то другой возьмет это на себя — хотя бы Уэйн Тевис. Пока еще есть время.

Кейз резко повернулся, ища глазами Тевиса. Тот в этот момент стоял спиной к Кейзу возле диспетчера по вылетам.

Кейз открыл было рот, чтобы позвать его, но, к своему ужасу, не смог издать ни звука. Он попытался снова — безуспешно.

Все было как во сне, как в том кошмаре, который преследовал его:

у отказал голос... Но ведь это не сон — это происходит на самом деле! *зве?!..* Паника охватила его.

А на табло над экраном загорелся белый свет: их вызывал Чикагский центр. Помощник снял трубку прямого телефона и сказал:

— Валяй, центр.— Потом повернулся к селектору и передвинул рычажок, включив динамик над головой, чтобы и Кейз мог слышать.

— Линкольн, рейс два находится в тридцати милях к юго-востоку т аэропорта. Направление два-пять-ноль.

— Центр, вас понял. Он появился у нас на радаре. Переключайте о на нашу частоту.— И помощник повесил трубку.

Сейчас центр даст указание самолету переключиться на другую адиоволну и пожелает ему благополучной посадки. Самолету, который рпит бедствие, всегда желают благополучной посадки: они-то на земле аходятся в безопасности, так надо же хоть как-то приободрить тех, кто воздухе. Вот и теперь, сидя в этой теплой, надежно изолированной от нешнего мира, тихой комнате, трудно было поверить, что где-то там, высоко в ночном небе, где гуляют ветер и метель, раненый самолет пробивает себе путь на землю и может погибнуть, не долетев.

Заработало радио на частоте прибывавших с востока самолетов. Раздался резкий голос — это Вернон Димирест, его ни с кем не спутаешь. Кейз только сейчас вспомнил, кто командир потерпевшего аварию самолета..

— Диспетчерская Линкольна, говорит «Транс-Америка», рейс два, держимся на высоте шесть тысяч футов, направление два-пять-ноль.

Помощник молчал. Теперь Кейз должен подтвердить прием и взять на себя руководство полетом. *Но он не хочет, не хочет!* А Уэйн Тевис по-прежнему сидит спиной к нему. И голос по-прежнему не слушается Кейза.

— Диспетчерская Линкольна,— снова затрещало радио,— куда вы провалились, черт побери!

Да что же не поворачивается Тевис!

Безудержная ярость охватила вдруг Кейза. *Черт бы побрал этого Тэвиса! Черт бы побрал диспетчерскую! Черт бы побрал его покойного отца, который заставил сыновей заняться тем, что никогда не было по душе ему, Кейзу! Черт бы побрал Мела с этой его уверенностью в себе и умением справиться с любым делом! Черт бы побрал все на свете, всех и вся!*

Помощник недоуменно смотрел на Кейза. Рейс два сейчас снова вызовет диспетчерскую. Кейз понимал, что он в ловушке. Вовсе не уверенный в том, что голос его послушается, он включил микрофон.

— «Транс-Америка», рейс два,— сказал Кейз,— говорит диспетчерская Линкольна. Извините за задержку. Мы все еще рассчитываем посадить вас на полосу три-ноль — будем знать точно через три-пять минут.

Радио в ответ прорычало:

— Вас понял, Линкольн. Информируйте нас дальше.

Теперь Кейз был весь внимание: та часть его мозга, которая была занята посторонними мыслями, выключилась. Он забыл про Тевиса, про своего отца, про Мела, про самого себя. Все исчезло, кроме рейса два.

И он спокойно и четко произнес:

— «Транс-Америка», рейс два, вы находитесь в двадцати пяти милях к востоку от границы поля. Начинайте спуск по собственному усмотрению. Заворачивайте вправо на направление два-шесть-ноль...

Наземный диспетчер, сидевший в своей стеклянной будке этажом выше, сообщил Мелу Бейкерсфелду о том, что Чикагский центр передал им рейс два для посадки.

Мел ответил по радио:

— Снегоочистителям и грейдерам дано указание убрать самолет «Аэрео-Мехикан» с полосы. Сообщите Патрони, чтобы немедленно выключил двигатели. Скажите ему: если может, пусть вылезает оттуда, если не может — пусть держится покрепче. Не отключайтесь — как только полоса освободится, нужно будет посоветоваться.

Руководитель полетов на другой волне уже сообщал Джо Патрони о принятом решении.

15

Джо Патрони и сам уже знал, что время его истекло.

Он намеренно не включал двигатели «боинга» до последней минуты: ему хотелось дать возможность рабочим получше расчистить пространство под самолетом и вокруг него.

Когда Патрони понял, что ждать дольше нельзя, он в последний раз огляделся по сторонам. И то, что он увидел, отнюдь его не воодушевило.

Шасси все еще не удалось полностью очистить от грязи и снега. Да и траншеи, проложенные от основных колес вверх до заасфальтированной полосы, не были достаточно широкими и глубокими. Чтобы сделать все как надо, не хватало каких-нибудь пятнадцати минут.

Но Патрони знал, что этих пятнадцати минут у него нет.

Нехотя взошел он по трапу, чтобы вторично попытаться сдвинуть с места самолет,— только теперь он уже сам сядет за штурвал.

Он крикнул Ингрему:

— Велите всем убраться подальше! Включаю двигатели!

Из-под самолета вынырнули фигуры людей.

Снег все еще падал, но уже не валил, как два-три часа назад.

Джо Патрони снова крикнул с высоты трапа:

— Мне нужен механик сюда наверх, но чтоб был полегче. Пошлите какого-нибудь тощего парня, который бывал в кабине экипажа.

И он вошел в самолет.

Из кабины Патрони увидел служебную машину Мела Бейкерсфелда — она казалась ярко-желтым пятном среди окружающей тьмы. Машина стояла на полосе, ближе к левому краю. Подле нее вытянулись в ряд снегоочистители и грейдеры — напоминание о том, что в распоряжении Джо Патрони осталось всего несколько минут.

Главный механик ушам своим не поверил, когда узнал о намерении Мела убрать самолет с полосы, если понадобится, с помощью механической силы. И реакция его была вполне естественна, хотя его не меньше, чем других, волновала судьба тех, кто находился на борту самолета «Транс-Америки». Но Джо Патрони всю жизнь заботился о сохранности самолетов, в этом состояла его работа. У него просто не укладывалось в голове, что такой красавец самолет можно своими руками разом превратить в груду лома. В глазах Патрони самолет — любой самолет — был плодом ума, самопожертвования, инженерной сноровки, многих часов труда и порой даже любви. И вдруг взять и разрушить все это? *Да как можно!*

И Патрони решил попытаться спасти самолет.

За его спиной отворилась и снова захлопнулась дверь. Отряхиваясь от снега, подошел молодой механик, маленький, худенький. Джо Патрони уже скинул с себя парку и пристегивался в левом кресле.

— Как тебя зовут, сынок?

— Роллинг, сэр.

Пока Роллинг сбрасывал парку и усаживался в правое кресло, Патрони посмотрел в окно. Трап уже отогнали.

Звякнул внутренний телефон, и Патрони поднял трубку. Звонил Ингрем снизу:

— Мы готовы.

Джо Патрони кинул взгляд на соседа:

— Порядок, сынок?

Тот кивнул.

— Включить третий двигатель.

Молодой механик включил стартер.

— Третий двигатель включен.

Один за другим заработали четвертый, второй и первый двигатели.

По внутреннему телефону голос Ингрема, заглушаемый наземным ветром и ревом двигателей, произнес:

— Все машины внизу убраны.

— О'кей! — крикнул Патрони.— Отсоедините внутренний телефон и сами убирайтесь подальше.— И, обращаясь к Роллингу, посоветовал: — Держись крепче, сынок, прижмись к спинке.— Главный механик «ТВА» перекинул в самый угол рта сигару, которую он вопреки обыкновению раскурил, не изжевав, несколько минут назад. Затем, растопырив короткие пальцы, двинул от себя все четыре дросселя.

Гул двигателей усилился.

Перед самолетом стоял человек, держа высоко над головой светящиеся сигнальные жезлы. Патрони усмехнулся:

— Надеюсь, этот малый хорошо умеет бегать, а то вдруг мы рванем.

Взглянув в окно, он снова увидел машину Мела Бейкерсфелда. Джо Патрони знал, что остаются считанные минуты — может быть, даже секунды.

Теперь двигатели работали уже на две трети мощности. По высокому тону их гула он определил, что они работают на бóльшую мощность, чем в тот раз, когда пилот «Аэрео-Мехикан» пытался сдвинуть самолет с места. А вибрация фюзеляжа объяснила Патрони, почему пилот тогда отступил. При нормальном положении вещей самолет уже быстро катил бы по взлетно-посадочной полосе. Но сейчас он стоял на месте, сдерживаемый глубоко застрявшими в грязи колесами, и весь трясся, как в лихорадке. Было ясно, что он вот-вот встанет на нос. Молодой механик, которому явно уже было не по себе, искоса взглянул на Патрони.

Патрони перехватил этот взгляд и буркнул:

— Если машина сейчас не сдвинется, из нее сделают дохлую утку.

Но, как и во время двух предыдущих попыток, самолет упрямо стоял на месте.

Патрони решил раскачать колеса, надеясь таким образом высвободить их из грязи. Он сбавил мощность двигателей, потом снова резко ее увеличил.

Но самолет по-прежнему не двигался.

Изжеванная сигара во рту Патрони потухла. Он с омерзением выплюнул ее и полез за другой. В кармане оказалось пусто — сигара была последней.

Патрони ругнулся и снова взялся за дроссели. Двинув их еще больше вперед, он рявкнул:

— Да вылезай же! Вылезай, сукин ты сын!

— Мистер Патрони! — крикнул ему механик.— Машина больше не выдержит.

Внезапно у них над головой ожило радио. Послышался голос руководителя полетов:

— Джо Патрони, говорит КДП. Мистер Бейкерсфелд передал: «Время истекло. Заглушите двигатели».

Глянув наружу, Патрони увидел, что снегоочистители и грейдеры пришли в движение. Он знал, что они не подойдут до тех пор, пока на са-

молете работают двигатели. Но он вспомнил предупреждение Мела: «Когда КДП скажет, что время истекло,— никаких споров».

Он подумал: «А кто спорит?»

Снова раздался настойчивый голос по радио:

— Джо Патрони, вы меня слышите? Подтвердите прием.

— Мистер Патрони! — заорал молодой механик.— Вы слышали? Глушите двигатели!

Патрони крикнул в ответ:

— Ни черта не слышу, сынок. Слишком много шума.

Любой дошлый аварийщик знает, что в его распоряжении есть еще минута, когда эти паникеры у себя там, наверху, говорят, что время истекло.

Ох, как ему нужна была сейчас сигара!

И вдруг Джо Патрони вспомнил: несколько часов назад Мел Бейкерсфелд поспорил с ним на коробку сигар, что он не сдвинет этот самолет с места.

И он крикнул механику:

— Я проигрываю пари. Иду ва-банк! — И быстрым, решительным движением двинул вперед дроссели до упора.

Звон и вибрация и прежде были устрашающими. А теперь они стали просто невыносимы. Самолет трясло так, что казалось, он вот-вот развалится. Джо Патрони изо всей силы нажал на резиновые педали.

— Температура выхлопного газа — триста семьдесят один градус.— В голосе молодого механика слышалась тревога.

По радио продолжали сыпаться приказы, в том числе и приказ поскорее убраться из самолета. Патрони и сам чувствовал, что пора это сделать. Рука его, лежавшая на дросселях, напряглась.

И вдруг машина качнулась. Сначала она только чуть-чуть сдвинулась с места, а потом со все возрастающей скоростью рванулась вперед к рулежной дорожке. Молодой механик что-то крикнул предостерегающе. Патрони мгновенно оттянул назад все четыре дросселя и скомандовал:

— Выпустить закрылки!

Оба видели, как от самолета бросились врассыпную фигурки людей.

До рулежной дорожки оставалось всего пятьдесят футов, а самолет еще катил вовсю. Если его не завернуть, он промчится по бетону и снова увязнет в снегу по другую сторону дорожки. Почувствовав под колесами бетон, Патрони изо всех сил налег на левый тормоз и двинул вперед два правых дросселя. Самолет, описав крутую дугу, завернул влево. Патрони снова убрал оба дросселя и налег на все тормоза. «Боинг» еще немного прокатился, замедлил бег и стал как вкопанный.

Джо Патрони осклабился: самолет стоял как раз посредине рулежной дорожки.

Взлетно-посадочная полоса три-ноль — в двухстах футах позади них — была свободна.

В машине Мела Бейкерсфелда раздался возглас Тани:

— Он сделал это! Сделал!

Мел, сидевший рядом с ней, уже связался по радио с пультом управления «снежной командой» и приказал убрать с поля снегоочистители и грейдеры.

А всего несколько секунд назад Мел в третий раз гневно потребовал, чтобы КДП велел Джо Патрони немедленно выключить двигатели. Мелу ответили, что его требование передано, но Патрони не подчиняется.

Мел до сих пор еще не остыл и готов был устроить разнос Джо Патрони, не подчинившемуся приказу и даже не подтвердившему его полу-

чение. В то же время Мел знал, что никакого разноса он не устроит: Патрони с честью вышел из тяжелейшего положения, а ни одному разумному человеку и в голову не придет выносить порицание за успех.

Снегоочистители и грейдеры уже уходили с полосы три-ноль.

Мел снова переключился на частоту КДП:

— Машина номер один вызывает наземного диспетчера. Самолет, мешавший движению, убран с полосы три-ноль. Машины тоже покидают полосу. Остаюсь для проведения инспекции.

Мел включил прожектор и направил его луч на поверхность взлетно-посадочной полосы. Случалось, что после таких происшествий рабочие оставляли на полосе инструменты или материалы, что могло причинить серьезный ущерб взлетающим или садящимся самолетам. Однако сейчас при свете прожектора не видно было ничего, кроме неровной поверхности, занесенной снегом.

Снегоочистители один за другим сворачивали с полосы на ближайшем перекрестке. Мел нажал на газ и последовал за ними.

Когда его машина в свою очередь свернула влево, Мел радировал:

— Полоса три-ноль очищена и свободна для эксплуатации.

16

Самолет, летевший рейсом два «Золотой аргос», находился в облаках в десяти милях от аэропорта на высоте полутора тысяч футов.

Энсон Хэррис, отдохнув немного, снова взялся за штурвал.

Аэропортовский диспетчер — голос его показался Вернону Димиресту смутно знакомым — последовательно менял им курс, слегка заворачивая самолет по мере того, как они снижались.

Оба пилота понимали, что курс им прокладывает человек опытный и, следовательно, посадку на любую из двух полос можно будет осуществить без особого маневрирования. Решение о том, на какую полосу их будут сажать, могло поступить в любую минуту.

И по мере того как приближалась эта минута, напряжение у обоих пилотов росло.

Позади них появился доктор Компаньо.

— Хочу сообщить вам, что ваша стюардесса мисс Мейген держится молодцом. Если нам удастся быстро доставить ее в больницу, я почти убежден, что она выкарабкается.

Димирест, чувствуя, что голос может выдать его волнение, промолчал. А Энсон Хэррис обернулся и сказал:

— Благодарю вас, доктор, нам осталось лететь всего несколько минут.

В обоих пассажирских салонах были приняты все меры предосторожности для посадки. Всех раненых, за исключением Гвен Мейген, пристегнули поясами к сиденьям. Два врача находились по бокам Гвен, чтобы поддержать ее, если самолет тряхнет. Остальным пассажирам объяснили, как они должны вести себя в условиях предстоящей тяжелой посадки, чреватой любыми неожиданностями.

Вернон Димирест взглянул на показатели загрузки и скорости, рассчитанные вторым пилотом, и сухо произнес:

— Держите скорость сто пятьдесят узлов.

Хэррис кивнул.

Даже на длинной полосе посадка будет опасной.

Скорость в сто пятьдесят узлов была дьявольски высокой для посадки. Оба пилота знали, что при такой скорости самолету надо долго бежать после того, как он коснется земли. А скорость из-за их большого ве-

са будет при этом спадать очень медленно. Однако подлетать на скорости ниже той, какую только что установил Димирест, было бы самоубийством. Потеряв скорость, самолет может камнем упасть вниз.

Димирест потянулся к радиомикрофону, но прежде чем он успел что-либо сказать, голос Кейза Бейкерсфелда произнес:

— «Транс-Америка», рейс два, заворачивайте вправо, направление два-восемь-пять. Полоса три-ноль свободна.

— О господи! — вырвалось у Димиреста.— Самое время!

Он включил микрофон и подтвердил прием.

Раздался глухой стук — выпустились шасси.

— Да,— сказал Хэррис,— скоро будем садиться... Нам и этой-то полосы дай бог, чтобы хватило.

Димирест что-то буркнул в знак согласия. Он напряженно смотрел вперед, словно хотел пробить взглядом облака и тьму и увидеть сквозь них огни аэропорта, которые вот-вот должны были появиться. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень волновался. Они до сих пор не знали, насколько серьезно повреждена взрывом машина и какие еще поломки произошли во время весьма нелегкого обратного полета. Во-первых, была эта чертова дыра в хвосте, а при тяжелой посадке на большой скорости... *Да, вся хвостовая часть может отлететь к черту...* И если это произойдет, думал Димирест, то при скорости сто пятьдесят узлов... *Какая все-таки сволочь этот мерзавец с бомбой! Жаль, что он подох!* Димирест с радостью растерзал бы его своими руками, сам прикончил бы гада...

Рядом с ним Энсон Хэррис, сажая самолет по приборам, увеличил скорость спуска с семисот до восьмисот футов в минуту.

Димирест искренне жалел, что не он пилотирует машину. Будь на месте Хэрриса пилот помоложе или младше по чину, Димирест принял бы на себя командование. Но Хэрриса он не мог пока упрекнуть ни в чем... Оставалось только надеяться, что он так же безупречно проведет и посадку...

Мысли Димиреста вернулись к тому, что происходило в пассажирском салоне. «Гвен, мы почти прилетели! Продержись еще немного!» Он уже не сомневался, что они втроем — он, Гвен и Сара — сумеют все уладить, если Гвен и ребенок останутся живы.

Снова раздался голос Кейза Бейкерсфелда:

— «Транс-Америка», рейс два, идете и снижаетесь хорошо. На полосе легкое снежное покрытие. Ветер северо-западный, тридцать узлов. Вам дается первоочередность при посадке.

Через несколько секунд они вынырнули из облаков и увидели прямо впереди огни взлетно-посадочной полосы.

— КДП Линкольна! — вызвал по радио Димирест.— Видим полосу.

— Рейс два, вас понял.— В голосе диспетчера звучало явное облегчение.— Даем разрешение на посадку. Переключайтесь на частоту наземного диспетчера. Благополучной посадки. Все.

Вернон Димирест дважды нажал на кнопку микрофона: по авиационному коду это означало «спасибо».

Энсон Хэррис сухо скомандовал:

— Включить посадочные огни. Закрылки — под углом пятьдесят градусов.

Димирест выполнил команду.

Самолет стремительно снижался.

Хэррис предупредил:

— Если не справлюсь с рулем направления, поможете.

— Есть.

Димирест поставил обе ноги на педали руля. Когда скорость спадет, руль из-за испорченного стабилизатора заест, и на земле обоим пилотам придется пустить в ход всю свою силу, чтобы удержать управление.

Они с ревом пронеслись над краем поля — вдаль жемчужной цепочкой убегали огни взлетно-посадочной полосы. По обеим сторонам полосы высились сугробы, за ними — тьма. Близость земли делала ощутимей необычную скорость полета. Обоим пилотам эти две мили бетона впереди никогда еще не казались такими короткими.

Хэррис выровнял машину и прикрыл все четыре дросселя. Рев реактивных двигателей затих, и стал слышен пронзительный вой ветра. Когда они подлетали к самой полосе, перед глазами Димиреста промелькнули сгрудившиеся машины «скорой помощи» и аварийки — он знал, что они сейчас помчатся следом за ними по полосе. И подумал: «А они ведь могут нам понадобиться! Держись, держись, Гвен!»

Самолет все еще был в воздухе — скорость его почти не уменьшилась.

И вдруг он сел. Тяжело. И помчался вперед.

Хэррис быстро поднял закрылки и включил реверс. Двигатели действовали теперь уже как тормоз.

Пробежав три четверти полосы, самолет стал замедлять ход, но очень незначительно.

— Право руля! — крикнул Хэррис.

Самолет уводило влево. Димирест и Хэррис совместными усилиями старались удержать самолет на полосе. Но край полосы, за которым во мраке громоздились сугробы, быстро приближался. Энсон Хэррис изо всех сил нажал на педали тормозов. Металл повизгивал, скрипела резина. А мрак все приближался. Но вот машина замедлила бег... пошла медленнее... еще медленнее...

Самолет остановился в трех футах от конца полосы.

17

Взглянув на часы в радарной, Кейз Бейкерсфелд увидел, что до конца смены осталось еще полчаса. Ему было все равно.

Он отодвинул табурет от консоли, снял наушники и встал. Окинул взглядом комнату, понимая, что видит все это в последний раз.

— Эй,— окликнул его Уэйн Тевис,— в чем дело?

— Вот,— сказал ему Кейз,— возьми. Кому-нибудь пригодятся.— Он сунул наушники в руки Тевису и вышел из комнаты. Кейз понимал, что должен был так поступить много лет тому назад.

Он чувствовал какую-то странную приподнятость, почти облегчение. И, выйдя в коридор, подумал: отчего бы это?

Не потому же, что он посадил рейс два: на этот счет иллюзий у него не было. Да, конечно, Кейз квалифицированно провел посадку, но любой другой на его месте провел бы ее так же, а может быть, и лучше. И притом события сегодняшнего дня — как он и предугадывал — ничего не изменили: ни искупить прошлое, ни зачеркнуть его они не могли.

Не имело значения и то, что ему удалось преодолеть внутреннюю скованность, которая овладела им десять минут назад. Все было ему сейчас безразлично — он только хотел побыстрее отсюда уйти. Ничто не могло поколебать его решимости.

Он вошел в гардеробную, где стояли деревянные скамьи и висела заклеенная объявлениями доска. Открыл свой шкафчик и снял с вешалки костюм. На полках лежало несколько его личных вещей. Пусть они лежат. Ему хотелось взять с собой только цветную фотографию Натали. Он осторожно отодрал ее от дверцы шкафчика.

Натали — в бикини; озорное смеющееся лицо эльфа в веснушках...

распущенные волосы... Он посмотрел на снимок и чуть не расплакался. За паспарту фотографии была заткнута записка:

Я счастлива, милый, что нежность и страсть
Имеют над нами особую власть.

Кейз сунул снимок и записку в карман. Остальные вещи кто-нибудь выбросит отсюда. А ему не нужно ничего, что напоминало бы об этом месте.

И вдруг он замер.

Замер, осознав, что незаметно для самого себя пришел к новому решению. Он еще не знал, к чему это решение приведет, каким оно покажется ему завтра и даже — сможет ли он жить, приняв его. Но если не сможет, выход у него всегда есть: бежать из жизни с помощью пилюль, лежащих в кармане.

А пока главное то, что он не пойдет в гостиницу «О'Хейген». Он поедет домой.

Только одно он теперь уже знал твердо: если он останется жить, авиации в его новой жизни не будет места. Правда, осуществить это не так-то просто, как уже обнаружили до него многие, кто раньше работали диспетчерами.

«И даже если удастся вырваться,— сказал себе Кейз,— учти: прошлое то и дело будет напоминать о себе». Он будет вспоминать международный аэропорт Линкольна, Вашингтонский центр в Лисберге — и то, что произошло и здесь и там. Можно от всего убежать, но нельзя убежать от воспоминаний. А воспоминание о гибели семейства Редфернов... о маленькой Валери Редферн... никогда не покинет его.

Но ведь Редферны мертвы, а в Библии сказано «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Что было, то прошло.

И Кейз подумал: может быть... может быть, теперь... он сумеет жить, если будет думать прежде всего о Натали и о своих детях, а Редферны останутся грустным воспоминанием, и только.

Он не был уверен, что ему это удастся. Не был уверен, что у него хватит моральных и физических сил. Давно прошло то время, когда он был вообще в чем-то уверен. Но попытаться можно.

Он сел в лифт и спустился вниз.

На дворе, по дороге к своей машине, Кейз остановился. Движимый внезапным импульсом, сознавая, что, может быть, позже он пожалеет об этом, Кейз вынул из кармана коробочку и высыпал пилюли в снег.

18

Из своего автомобиля, стоявшего на ближайшей к полосе три-ноль рулежной дорожке, Мел Бейкерсфелд видел, как самолет «Транс-Америки», не задерживаясь, покатил к аэровокзалу. Мела отделяла от самолета уже половина летного поля, однако, несмотря на дальность расстояния, ему отчетливо были видны быстро удалявшиеся огни. По радио, настроенному на «землю», Мел слышал, как диспетчеры задерживают у перекрестков другие самолеты, чтобы дать пройти пострадавшей машине. Ведь на борту ее находились раненые. Рейсу два было приказано подрулить прямо к выходу сорок семь, где их ждала «скорая помощь» и служащие компании.

Таня и Томлинсон были уже на пути к аэровокзалу.

Таня непременно хотела быть у выхода сорок семь, когда с самолета начнут сходить пассажиры. Похоже, что она могла там понадобиться.

Прежде чем расстаться с Мелом, она спокойно спросила:

— Вы все-таки приедете ко мне?

— Мне бы очень хотелось,— сказал он.— Если вы не считаете, что уже слишком поздно.

Он смотрел на Таню. Она отбросила с лица прядь рыжих волос, посмотрела на него своим прямым, открытым взглядом и улыбнулась.

— Нет, не поздно.

Они условились встретиться у главного выхода через три четверти часа.

Мел увидел, как покатили куда-то «боинг» компании «Аэрео-Мехикан». Самолет был, видимо, целехонек. Теперь его вымоют, тщательно обследуют и отправят в беспосадочный полет в Акапулько.

Следом за ним двигались разнообразные служебные машины, неотлучно находившиеся при нем, пока он был в плену у стихий.

Мел тоже мог больше не задерживаться на поле. Он сейчас уедет — через минуту-другую. Но уединенность летного поля, непосредственная близость к полетам — все это настраивало на размышления.

Именно здесь несколько часов назад, вспомнил Мел, у него возникло предчувствие беды. Ну, и в известной степени оно оправдалось. Беда случилась, хотя, по счастью, и без рокового конца.

А ведь катастрофа могла произойти в аэропорту — и тогда она была бы грандиозной,— и все из-за несоответствия аэропорта современным требованиям авиации; Мел ясно видел это несоответствие, но все его попытки как-то исправить положение оставались безрезультатными.

И сейчас Мел твердо решил: те, кто забыл о его существовании, скоро услышат о нем.

Ему предстоит много дел, а если он к тому же возьмется за прежнее — активно включится в борьбу за прогресс не только в воздухе, но и на земле,— это займет его ум и отвлечет от личных проблем. Во всяком случае, Мел очень на это надеялся. Тут он вспомнил, что надо будет позвонить Синди — быть может, даже завтра — и условиться, когда он заберет свои вещи. Это будет неприятная процедура, и оставалось только надеяться, что удастся осуществить все в отсутствие дочерей. Для начала, решил Мел, он переедет в гостиницу, а потом присмотрит себе квартиру.

Но одно он знал твердо: его решение о разводе — как и решение Синди — бесповоротно. Оба понимали это и сегодня просто решили убрать фасад, за которым уже не оставалось ничего. И сами они, и дети ничего бы не выиграли, оттягивая неизбежное.

Ну, а Таня? Мел не был уверен, что их что-то ждет впереди. Во всяком случае время для решительного шага в этом направлении — если таковой вообще будет им предпринят — пока не настало. Однако он сознавал, что сегодня, в конце этого долгого и трудного рабочего дня ему очень хочется тепла, нежности и дружеского участия. А из всех его друзей только Таня могла ему это дать.

Мел включил мотор и свернул на дорогу, огибавшую поле. Справа от него уходила в даль полоса три-ноль.

Он видел, как несмотря на поздний час на нее непрерывной чередой, один за другим садились самолеты.

Уже третья машина шла на посадку. Мел понял, что, значит, облака поднялись, и только тут обнаружил, что снегопад прекратился, а на южной стороне неба даже проглядывает синева. И с облегчением подумал: буран кончился.

О романе «Аэропорт»

Это произошло в аэропорту американского города Денвер. Приближалось время посадки на самолет, следовавший рейсом № 629. Джек Грэхем провожал свою мать, летевшую на Аляску в гости к замужней дочери. При взвешивании багажа оказалось, что он тянет несколько больше, чем полагается на одного пассажира. Когда контролер предложил уплатить за лишний вес еще 27 долларов, мать обратилась к сыну: «Может быть, вынуть кое-какие вещи из чемоданов? Или ты думаешь, мне это понадобится?» Джек торопливо ответил: «Да, мама. Я уверен, что это тебе понадобится». Мать вздохнула и уплатила деньги.

Самолет взмыл в воздух...

Уже через полчаса телеграфные агентства отстукивали скорбную весть: самолет, следовавший рейсом 629, разбился в 32 милях к северу от Денвера. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Началось расследование. Оно показало, что в самолете произошел взрыв. После трехнедельных поисков был найден и виновник воздушной катастрофы. Им оказался 23-летний Джек Грэхем.

За несколько дней до отлета матери на Аляску он купил 20 пачек динамита. Пристроив к ним часовой механизм, он вложил все это в один из чемоданов. Перед самым отлетом купил в аэропорту страховой полис, по которому в случае гибели матери он должен был получить 37 500 долларов. Дьявольский план был осуществлен.

История эта лет десять назад наделала много шума в Соединенных Штатах. О ней писали все американские газеты. По радио и телевидению передавались репортажи из здания суда, где после долгого разбирательства Грэхем был приговорен к смертной казни. Видимо, случай в Денвере и послужил в какой-то степени основой для создания американским писателем Артуром Хейли романа «Аэропорт».

Произведения Хейли всегда остросюжетны. Один из его первых романов, принесших ему известность — «В высоких сферах» (1962),— рассказывал об интригах в правящих кругах Канады и Соединенных Штатов. Достаточно динамичным был и следующий роман, «Отель» (1965). В «Аэропорте» (1968) Хейли драматически спрессовал судьбы многих людей в повествование, в котором время действия ограничено всего лишь несколькими часами, а местом действия является международный аэропорт имени Линкольна в штате Иллинойс, рядом с городком Медоувуд.

Такого города не найти на географических картах. Как нет в действительности и такого аэропорта. Но есть подобные ему в Чикаго и Нью-Йорке, Сан-Франциско и Майами. Каждый день тысячи американцев проходят через эти и десятки других аэровокзалов. Одни отправляются в деловые поездки, навестить родных или посмотреть Старый Свет. Другие возвращаются домой, попадая в объятия близких. Но и те и другие стараются не задерживаться в этих современных перевалочных пунктах. И меньше всего авиапассажиры знают о том, какое это громадное хозяйство — нынешний аэровокзал. Там трудятся сотни людей, обеспечивая бесперебойную работу всех наземных служб и регулируя движение самолетов в воздухе. Если, конечно, позволяют погодные условия.

О работе такого сложного наземного механизма, да еще в условиях снежного бурана, Хейли рассказывает увлеченно. Он находится под впечатлением современной техники, которой оснащен американский аэропорт. Правда, он признает, что развитие реактивной авиации приводит к быстрому устареванию еще недавно казавшихся современными аэропортов. В результате эксплуатация их чревата опасностью для жизни людей. «Никого не интересовало то,— пишет Хейли,— что так же обстояли дела и в других аэропортах — в Нью-Йоркском, Сан-Францисском, Чикагском и прочих...»

У писателя есть все основания для беспокойства — реальная американская действительность дает тому немало подтверждений. В июне нынешнего года произошли подряд две катастрофы пассажирских самолетов. Одна из них в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где турбовинтовой самолет компании «Аллегени Эйрлайнз» разбился, немного не дотянув до посадочной полосы. Эта полоса была объявлена «опасной» еще в сентябре 1969 года в докладе главы Ассоциации пилотов гражданской авиации, посвященном безопасности аэропортов страны. Крушение произошло из-за отсутствия соответствующей системы приборов, обеспечивающих посадку самолетов. Введению же этой системы мешает судебная тяжба, начатая жителями находящегося поблизости города Ист-Хейвен. Возбуждая против аэропорта одно дело за другим, они препятствуют его расширению и развитию — ситуация, удивительно напоминающая события, описываемые на страницах романа.

Вот еще несколько фактов из того же доклада Ассоциации пилотов гражданской авиации: из 530 американских аэропортов, используемых коммерческими авиалиниями, более 300 не имеют надежных систем приборов для обеспечения посадки, у многих чересчур короткие взлетно-посадочные полосы, плохие системы посадочных огней. В докладе 10 аэропортов назывались «опасными», среди них такие крупные, как международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, международный аэропорт в

Майами, аэропорт в Брэдфорде, где в течение двух недель 1968 года произошло две катастрофы, аэропорт в Цинциннати — место гибели двух самолетов в 1967 году.

Как ни много места уделено в романе Хейли аэропорту с его проблемами и напряженными буднями, все же он — лишь фон, на котором раскрываются судьбы американцев, оказавшихся сопричастными драме, разыгравшейся в воздухе. Необходимо сразу же подчеркнуть, что за рамками повествования остаются коренные вопросы жизни Соединенных Штатов конца 60-х годов. Более того, в этом романе, как, впрочем, и во всем своем творчестве, Хейли — приверженец «американского образа жизни» со многими его атрибутами.

И все же роман интересен для нас. Интересен тем, что перед читателем проходит вереница американцев, яркие образы которых не оставляют сомнения — это нынешняя Америка. Причем Америка сложная, противоречивая. Страна, где контрастом могучему расцвету техники выступает низкая мораль стяжателей и лихоимцев, где власть денег диктует жестокое отношение к людям.

Жертва беспощадной эксплуатации — Кейз Бейкерсфелд, работающий уже пятнадцать лет в радарной командно-диспетчерского пункта. Круглый год диспетчер работает в полутьме при температуре двадцать восемь градусов, а главное — в постоянном нервном напряжении. «Наряду с умением обострять мысли и чувства от диспетчера требовалась еще и собранность, и железное спокойствие. Эти два требования, трудно совместимые в одном человеке, изнуряли нервную систему и в конечном счете разрушали здоровье». Вот почему у многих диспетчеров развиваются нервное истощение, стенокардия, язва желудка, психические расстройства и другие болезни. Вот почему «на этой работе человек в сорок пять — пятьдесят лет уже полностью изнашивался и чувствовал себя стариком», а до выхода на пенсию надо было тянуть еще десять—пятнадцать лет. Многим воздушным диспетчерам это оказывалось не под силу, и они не дотягивали до конца».

Оплата труда явно не соответствует той страшной ответственности, которая лежит на диспетчере. Особенно, когда есть семья и дети. Но уйти, вырваться из этого пекла нельзя. Профессия авиадиспетчера нигде больше не нужна. В итоге, раздумывает Кейз, «ты находишься в капкане». Поэтому-то диспетчеры, боясь потерять работу, несмотря на наличие бесплатной медицинской помощи, предоставляемой авиакомпаниями, обращаются к частным врачам. Они прячут лекарства в своих шкафчиках и принимают их потихоньку, чтобы никто не видел. Кейз Бейкерсфелд готовится расстаться с жизнью, где он «вечно один».

Не менее одинок и неудачник Д. О. Герреро — бывший строитель-подрядчик. Как и многие его сограждане, он мечтал разбогатеть. Однако жизнь круто обошлась с ним, и он оказался в итоге у разбитого корыта.

Сколько таких американцев, в молодости всеми правдами и неправдами пытавшихся сколотить себе капиталец и подняться по социальной лестнице вверх, в конце концов оказываются на дне жизни, без средств, без любви, без надежд. Озлобленный и доведенный до крайности неудачами, Герреро готовится осуществить свой отчаянный план, который должен принести его семье большую сумму денег. Что ж, по-своему он в этом даже благороден. Однако, как показывает история Грэхема, о которой мы рассказали вначале, американская действительность бывает куда более жестокой и беспощадной.

Воплощением стяжателя и беспринципного деляги выступает в романе адвокат Эллиот Фримантл. Его слава зиждется в основном на умении подать себя, привлечь внимание прессы. Отсюда и его высокие гонорары. Его меньше всего интересует успех дела, да он в него и не верит. Главное — заполучить бланки с обязательствами жителей Медоувуда выплатить ему гонорар по сто долларов с домовладения. «А когда Эллиот Фримантл положит денежки в банк, их мнение будет уже меньше интересовать его».

Такого же юриста-дельца, пекущегося больше всего о гонорарах и рекламе, мы помним по процессу Джека Руби. То был адвокат Бейли, устраивавший из каждого судебного заседания целый спектакль.

Симпатии автора явно не на стороне Фримантла. Однако в романе немало и других персонажей; каждый из них в меру своих возможностей старается обмануть, нажиться нечестным путем, украсть. У стюардессы Гвен Мейген в шкафу стоят бутылочки с виски, джином, вином, украденные во время рейсов. Чашки на ее столе оказываются тоже с маркой авиакомпании. Выясняется, что многие стюардессы обзавелись за счет компании одеялами, подушками, полотенцами, льняными салфетками, рюмками, столовыми приборами. «Никто не попадается, хотя все это делают»,— объясняет Гвен своему любовнику капитану Димиресту. Впрочем, он и сам это хорошо знает: ему доводилось посещать «гнездышки», где почти все предметы повседневного обихода были явно заимствованы из кладовых авиакомпаний. Он знает все это, но молчит.

Вот мельком появляющаяся на страницах романа миссис Гарриет дю Барри-Моссмен. Ее задержали на таможне, когда она хотела без пошлины провезти из Европы купленные там одежду и драгоценности. Таможенного чиновника Гарри Стэндиша «угнетала мысль о том, что таких, как она,— слишком много».

Банни, девушка, оформлявшая страхование в аэропорту, заметила, что с пассажиром Герреро что-то неладно. Но ей было необходимо набрать 45 очков, недостаю-

щих для победы в конкурсе. «И Банни не стала задавать лишних вопросов, тем самым разрешив одну из своих проблем — как выйти на первое место в конкурсе и получить электрическую зубную щетку».

Погоня за долларами, жажда наживы диктуют не только поведение таких людей, как Фримантл или Моссмен. Стремление получить максимальную прибыль объясняет и ту «доброту», которую авиакомпании вроде бы проявляют по отношению к своим пассажирам и служащим. Но это вынужденное человеколюбие, в основе которого лежит все тот же точный расчет — не потерять лишних долларов. Миссис Ада Квонсетт — представитель большого племени «зайцев». Однако авиакомпании снисходительны к безбилетникам, ибо в случае задержки самолета на земле для выявления «зайца» «потеря в долларах и нервах намного превысит стоимость поездки одного человека».

Одна из главных линий романа — любовная связь Гвен Мейген с командиром корабля Верноном Димирестом. Когда выясняется, что «на донышке бокала остался осадок», Димирест сразу же вспоминает о существовании документа «Один-три», или «Три пункта о беременности». Так как подобные ситуации возникают довольно часто, то у авиакомпаний существуют программы помощи попавшим в беду стюардессам. Расчет при этом простой: обучение стюардесс стоит дорого и «квалифицированная стюардесса является крупным капиталовложением». Поэтому компании готовы пойти на определенные затраты, лишь бы сохранить свои капиталовложения. «Видишь ли, программа тем хороша, что ты постоянно будешь чувствовать внимание и заботу о себе»,— говорит Димирест Гвен. Но какова цена этой «заботы»? Димирест не понимает, насколько лицемерно и чудовищно звучат слова о «внимании» и «помощи». Ведь сразу после рождения ребенка стюардесса обязана отдать его в приют для усыновления. «Впоследствии ей никогда не сообщалось о том, кто его усыновил, и таким образом ребенок навсегда уходил из ее жизни». Так «человеколюбие» компании на деле оборачивается жестокостью и подлостью по отношению к юным матерям.

Да, все это нынешняя Америка с ее алчностью и бездушием, порочностью и мещанством. Мы слышим отголоски негритянской проблемы в истории Перри Юнта. Когда этот молодой негр находился в больнице после нервного шока, он получил по почте злобный расистский листок, напечатанный одной из правых групп в Калифорнии,— штрих, очень характерный для современных Соединенных Штатов.

Мы узнаем Америку в толпе медоувудцев — чиновников средней руки, ремесленников, торговцев, ждущих появления сильного лидера. Это те самые «молчаливые американцы», к которым апеллирует реакция, на которых делают ставку политики типа Голдуотера и Уоллеса. Мы видим, как пытается штурмовать светские вершины типичная американская мещанка Синди. Она участвует во всех благотворительных мероприятиях города. Но совсем не ради помощи бедным и страждущим. Ее цель — попасть в «Справочник именитых людей».

Роман Хейли своей динамичностью и построением напоминает литературный сценарий для кино. (По нему действительно был снят кинофильм.) А в любой американской кинокартине обязательно должен быть «хэппи энд» — счастливый конец. Таков и финал только что прочитанного романа. Благополучно приземляется подорванный самолет. Мел порывает с Синди и, очевидно, свяжет свою жизнь с Таней Ливингстон. Фримантл оказывается разоблаченным. Вернон Димирест, которого автор в начале романа наделял самыми нелестными эпитетами, готов совершить благородный поступок — усыновить будущего ребенка тяжело раненной Гвен. Кейз, в отчаянии собиравшийся покончить с собой, отказывается от своего намерения.

Быть может, читателю не все эти поступки покажутся достаточно мотивированными. Ну что же, ведь такой «хэппи энд» — это тоже Америка.

О. ВАСИЛЬЕВ

Литературное наследие

КАСТРУ АЛВЕС

К столетию со дня смерти

Перевод с португальского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

ИЗ КНИГИ «ВОДОПАД ПАУЛУ АФОНСУ»

Сумерки в сертанах

День умирал! На воде помутнённой
Тень берегов расстилалась далёко;
С вышек деревьев над заводью сонной
Плыл арапонги рыдающий клекот.

День умирал! И с цветущих азалий,
С мшистых камней, с подорожников ярых,
Чревом к земле припадая, вползали
Черные сумерки, как ягуары.

День умирал! И, к воде простираясь,
Ниже прибрежная ветка свисала...
Пальма, под режущим ветром качаясь,
Пела, скрипела и зябко дрожала.

Шепот таинственный! Ропот огромный!
Ты — тишина!.. Ты — оркестра звучанье...
С листьев, и с крыльев, и с заводи темной,
С атома — к звездам, с червя — в мирозданье!..

Клюв под крыло укрывая червлёный,
Цапля в крепчающем ветре застыла;
Тихо земля в беспредельности сонной
Голову перьями ночи укрыла...

Веет прохладой с далеких прогалин...
Только порою из заводи длинной
Бык одинокий, свиреп и печален,
Голову вздернет, покрытую тиной.

И, как шальные, взмывают турпаны,
Только что плывшие с чинностью ходкой,
И, устремясь в неизвестные страны,
С криком летят над случайною лодкой!..

ИЗ КНИГИ «РАБЫ»

Пророк

I

Бразильским вечером, когда с уступов горных
Ползет толпа теней, задумчивых и черных,
И будит селянин струну своей гитары,
И с озера бредут поющих прачек пары,
И, свой орган настроив тонкоствольный,
Монашка-ночь псалом выводит вольный,
Бывало, как иду пустынною тропою,
Что прячется, змеясь, за ближнею скалою,
Найду в траве я место карабину,
Где дремлет пес мой, вытянувши спину...
И арфой, что дрожит под пальцами Эола,
Когда, стремительный, он налетает с дола,
Становится душа... звенящей, вдохновенной...
Бог! Вижу тень твою над бездною вселенной,
Сбирающую дань крылатых упований,
И росы слез на лилиях страданий...
И внемлю я земли и неба песнопенью,
И сумрак полнится, о бог, твоею тенью!

II

Я слышу хор светил на высоте небесной,
Я слышу ветра стон в глухой тени древесной;
И падают лучи, и ароматы тают,
И звезды, как цветы, в лазури расцветают...
Поэзией тогда я полон неземною:
Пророчеством великим предо мною
Вселенная раскрыта... Вдохновенной
Я мыслю жизнь грядущую вселенной
И веку новому смятенным сердцем внемлю;
И вижу: дивный свет в лицо целует землю.
И от священных тех прикосновений
Не станет рабства, гнета, преступлений,

И нивы всех эпох зазеленеют новью —
Надеждой, славою, свободой и любовью!
И внемлю я земли и неба песнопенью...
Пространство полнится, о бог, твоею тенью!

III

И во времен грядущих звонком гимне
Безумные утопии слышны мне,
Народов и веков надежды зрю живые...
Орел фантазии в пространства мировые
Меня влечет, пересекая эры...
У ног моих роятся звезды, сферы,
Моя душа кипит в восторге созерцанья
Пред полотном великим мирозданья...
Я неба и земли внимаю песнопенью,
И полнится простор, о бог, твоею тенью!

IV

Свободной землю зрю... Разубрана цветами,
Омыв свое чело душистыми ветрами,
Из чаши сумерек она свой аромат
По небу разлила, где сотни звезд горят,
И человечество семьей собралось тесной
Пред солнечный очаг под кровлею небесной...
Священный день! Счастливые потомки!
Сквозь прошлого забытые обломки
Святая справедливость засияла...
Как в бурном море ветка из коралла,
Цветет во храме орхидея веры,
Уж не смущают ум сомненья и химеры;
И разума орел из глубины познанья
Свершает свой полет в пространства мирозданья.
А скиптр, народы ранивший жестоко,
Сменен расцветшим посохом пророка.
Горбунья злобная, уродливая плаха,
Костлявою рукой закрыв лицо от страха,
К позорному столбу веков на посмеянье
Пригвождена... А солнце льет сиянье...

Взгляните: сонм детей белоголовых
Познанью старец учит истин новых,
Поют крестьянки, подстригая лозы,
И в косы черные, смеясь, вплетают розы.
У всех в душе любовь, и свет у всех во взоре,
Все в звездах небеса, луга в цветном уборе.
И раздается в потрясенном мире —
Из знойной Африки, из ледяной Сибири,
С кавказских гор, с полей земли иберов,
С колонн, украсивших священный край Гомеров,
С равнин Америки в ее величье диком —
Свободный гимн труда!.. И в гимне том великом
В рабочий хор, в оркестр наковальный
Печатного станка ворвался рокот дальный.

И дружно все куют свободы эпопею
Рукой мозолистой и волею своею.
И Независимости солнечным восходом
На горизонте путь всем освещен нарсдам.

V

О, внемлите! Гром слышен отдаленный...
Он раздавался уж, когда во мрак бездонный
Был сброшен сатана всемощною рукою.
Но этот гром рожден грозой другою:
То рушатся дворцы и мрачные серали,
То пал развратный двор и с ним монархи пали,
Сатурны из гранита с жаждой власти,
Что кровь народа пили в сладострастьи...

VI

Земля свободна! И с Голгофы темной
Орел свободы путь вершит огромный
От Геркулесовых столбов навстречу тучам,
К андийским пикам, к гималайским кручам!
Разбиты цепи, сброшены вериги...
Идет под знаменем священной книги
Все человечество, вещая счастье миру;
Нет более рабов... Беру я в руки лиру,
Хочу, чтоб смелый гимн запели эти струны,
Чтоб вторили ему все ветры, все буруны,
Моря и океаны, все стихии
И звезд далеких арфы золотые!

. . . .

Но что я слышу?! Что за звук печальный?
То тяжкий стон рабов, то звон кандальный,
Упреки, вопли, жалобы, стенанья:
«Безумный юноша, о чем твои мечтанья?»...
И я стою один, поникнув головою,
Как будто молнией пронзенный грозовою,
И, лиру скорбную связав прутом железным,
Шлю песнь агонии лесам, полям, и безднам,
И небу, и земле, что предана мученью,

И черной пустоте, о бог, с твоею тенью!..

Критика

И. ТЕРТЕРЯН

СМЕНА СТИЛЯ — СМЕНА ОРИЕНТИРОВ?

В начале 60-х годов в испанской критике все чаще стали раздаваться тревожные возгласы: «Молодой испанский реализм находится в кризисе!» Новые книги уже не были встречены такой же бурей восторгов и споров, как первые романы Хуана Гойтисоло, Рафаэля Санчеса Ферлосио или Хуана Гарсиа Ортелано. Объективная проза (как это хорошо уже известно советским читателям и по многочисленным переводам, и по нескольким критическим статьям) основывалась на документально точном воспроизведении социальной реальности и на беспристрастной фиксации поведения людей в условиях этой реальности. Писатель воздерживался от психологических домыслов или идейных комментариев — читателю предлагалось самому оценить показанные ему факты. Романист мог подтолкнуть читателя к нужному выводу лишь отбором фактов и выделением детали (реплики, жеста и т. п.).

Однако успех объективной прозы объяснялся не только и даже, может быть, не столько ее эстетической оригинальностью, сколько обстоятельствами внеэстетического порядка. В пору самовластия франкистской цензуры писатели оппозиционного направления должны были научиться писать, а читатели — читать «между строк». Объективная проза стала своеобразной разновидностью эзопова языка. Бесстрастное описание, случайная реплика, упоминание имени, факта, даты — вот все возможные тогда способы критики режима, способы выражения своей точки зрения на прошлое и настоящее. И надо сказать, молодые испанские писатели научились пользоваться этим скудным арсеналом. Объективный роман сыграл важную роль в пробуждении общественной активности, особенно в приобщении молодежи к антифранкистскому движению.

На рубеже 60-х годов ситуация в Испании начала ощутимо меняться. После мощной забастовки горняков Астурии в 1962 году борьба испанского народа за политические и социальные преобразования непрерывно разрастается. В стране существует широкая и неоднородная оппозиция. Наибольший авторитет среди рабочих имеют организации коммунистической партии. Но существуют также социалистические, анархистские и левокатолические группы. В Каталонии и Стране басков весьма решительно выступают сторонники национальной автономии. В то же время влиятельной полуофициальной (поскольку официально политические партии запрещены) партией стали демохристиане, или правые католики, усматривающие наиболее удобный путь к власти в восстановлении монархии. Политическая база режима сузилась, франкистская партия «Национальное движение» практически распалась. Политический плюрализм отражается во всех сферах идеологии.

Существенно новым фактором явились перемены в экономической жизни страны и во внутренней политике диктатуры. К концу 50-х годов стало ясно, что экономика Испании заведена в тупик. Диктатор счел необходимым пойти на серьезные меры. Широкое использование такого источника быстрого обогащения, как иностранный туризм стимулирование массовой эмиграции испанских рабочих (чьи денежные переводы родным дают большой приток валюты), привлечение иностранного капитала — все это принесло Испании некоторый подъем жизненного уровня. Броско разрекламированное «испанское чудо» не смогло разрешить острейших проблем испанской экономики (такой, например, как запустение и обнищание деревни), но все же положение рабочих в ряде отраслей и в нескольких промышленных районах заметно изменилось.

Новый экономический курс был дополнен пресловутой либерализацией, сопровождавшейся грозными предупреждениями относительно того, что свободу не надо смешивать с вольнодумством и что свобода должна

служить только добру (разумеется, «добру» в понимании франкистских властей). Впрочем, и без того либерализация была обставлена оговорками, которые делают ее весьма куцей. Отменена, например, обязательная предварительная цензура, но установлена система конфискации и наказаний для издателей и редакторов и тому подобное...

Несмотря на трудности и ограничения, в испанской прессе началось обсуждение некоторых кардинальных вопросов национальной жизни. Появляются статьи о катастрофическом положении деревни, о необходимости структурных изменений в экономике, о неизжитом расколе нации на «победителей» и «побежденных». Раздаются голоса в защиту многопартийной системы — с требованием «диалога» между испанцами всех убеждений. Не раз конфисковывались номера журналов, содержащие особенно острые выступления против официальной линии, не раз эти журналы запрещались на какой-то срок, а их редакторы подвергались штрафам, но процесс раскрепощения общественной мысли неуклонен и непрекратим.

В Испании 60-х годов объективная проза оказалась бессильной. По сути своей статичная, показывающая явление таким, каково оно есть, объективная проза умела обличать — и эту задачу она выполнила. Но теперь читатель нуждается в ориентации более глубокой и дифференцированной, и объективные романы раздражают его репортажностью, плакатностью, а во многих случаях и художественной тусклостью. Х. М. Кастельет резко и не всегда справедливо критикует своих товарищей за примитивность, однообразие, стертость языка, провинциальность, старомодность. Теперь ему кажется, что объективный роман с самого своего возникновения не соответствовал требованиям XX века и причина кризиса заключается в том, что «вместо реализма брехтовского типа предлагался натурализм в духе XIX века». Рассуждения Кастельета вызвали прямо-таки улюлюканье в лагере врагов реалистической литературы, злорадно закричавших «о признании провала, а если посмотреть строже — так и о предательстве» [1], имея в виду, что Кастельет был духовным наставником молодых писателей и в свое время восхвалял их за тот самый «натурализм», за который сейчас безжалостно уничтожает.

Позицию Кастельета нельзя признать удачной прежде всего потому, что она грешит неисторичностью. Объективный роман имел свою историческую задачу, которую выполнил,— и об этом не должно забывать. Тогда критический разбор не превратится в «сжиганье всего, чему поклонялся».

Иначе подошел к проблеме кризиса Хуан Гойтисоло в статьях, собранных в книгу «Хвостовой вагон» (1967). Гойтисоло тоже остро и притом самокритично переживает явное несоответствие объективного романа эстетическим потребностям дня, но не ограничивается обвинениями или самообвинениями в натурализме, а устраивает «экзамен сознанию» (так и озаглавлена одна из его статей).

Гойтисоло рассказывает в этих статьях, приближающихся по тону к исповеди, как он и его друзья, молодые испанские интеллигенты, связавшие все свои устремления с борьбой против франкистского режима, по прошествии десяти лет обнаружили, что «страна меняется, но не так, как мы ожидали. Мы, левые интеллигенты, готовили себя к тому, чего не произошло... Вместо революции, о которой мы мечтали, мы столкнулись с неблагодарной реальностью страны, вступившей в период индустриального развития и, видимо, приспособившейся к «прогрессу», не требующему элементарных свобод». В статьях разбросаны скептические замечания о революционных возможностях рабочего класса, о конформизме, распространяющемся среди рабочих, как только они отведают благ неокапиталистического прогресса. Со свойственной художнику повышенно эмоциональной реакцией Гойтисоло явно преувеличивает готовность испанского народа принять «прогресс без свободы». История не всегда движима могучими локомотивами — иногда она ползет мучительно медленно. Как быть перед лицом медлительности истории испанскому писателю, который «сгорает от нетерпения»? «...как объяснить, почему эта проклятая структура, против которой мы сражаемся без перемирия, никак не рухнет?» — недоумевает Гойтисоло и находит пока всего лишь один ответ: он и его друзья жестоко ошибались, считая, что испанский народ сохранил нерастраченными революционные потенции. Идейная задача, определившая художественные принципы объективного романа, состояла именно в том, чтобы, разоблачая угнетение, стимулировать протест. А оказалось, как пишет Х. Гойтисоло, «что наши книги ни на вершок не подвинули революцию. Вот оно, наше болезненное потрясение: движение мира не зависит от нас, мы ошибались, когда верили в реальное могущество литературы».

Как адаптироваться к миру неожиданному и нежеланному, но, по-видимому, бесповоротно реальному? Хуан Гойтисоло выдвигает несколько линий, по которым, считает он, должно пойти творческое освоение новой действительности.

Во-первых, линия, как мы бы ее назвали, национальной самокритики. Писатель должен разобраться в подлинных свойствах народа, вместо того чтобы грезить мифическим «народом-борцом», вместо того чтобы «идеализировать народ, скрывать его слабости».

Во-вторых, писатель должен углубленно и беспристрастно исследовать свое сознание, сознание испанского интеллигента. По мнению Гойтисоло, испанская интеллигенция не выполнила своей роли, превратилась в «хвостовой вагон» нации (отсюда и название сборника). Следовательно, левый интеллигент, бунтующий против франкистского общества, должен признать и проанализировать бессилие своего бунта. Наконец, в качестве третьей задачи художественного исследования Гойтисоло называет критический

[1] Indice de artes y letras. Madrid, 1968, octubre.

пересмотр социальной мифологии, при помощи которой правые силы порабощают испанское общество. Эту, действительно насущную, задачу он, однако, сводит к языковому взрыву. «Разрушение старых реакционных мифов нужно начать с анализа и разоблачения их языка. Вступив в бой со священными словами, мы тем самым вступим в бой и с ценностями, обозначенными этими словами» [1].

Такова программа Хуана Гойтисоло. В те годы, когда эта программа постепенно формулировалась и высказывалась (статьи, включенные в «Хвостовой вагон», публиковались в периодике примерно с 1960 по 1966 год), появилось произведение, автор которого пришел к сходным выводам и даже попытался применить их на практике.

Луис Мартин-Сантос, молодой врач-психиатр, останется в истории испанской литературы автором всего одного романа — «Время молчания» (1962). Вскоре после выхода книги в свет Мартин-Сантос погиб в автомобильной катастрофе. В его бумагах нашли фрагменты нового романа, обещавшего, по свидетельству друзей писателя, быть более значительным, чем первый...

Мартин-Сантос писал критику Р. Доменечу, посылая ему свою первую книгу: «Боюсь, что тебе покажется, что я не во всем следую предписаниям социального реализма, но, надеюсь, ты увидишь, что я хотел достичь реализма диалектического. Я думаю, что надо перейти от простого статичного описания отчуждения к исследованию реальной динамики борющихся противоречий».

Термин, употребленный Мартин-Сантосом («диалектический реализм») не очень нов и удачен. Но важно ведь не закрепить за методом Мартин-Сантоса тот или иной термин, а разобраться в возможностях и в направленности этого метода. Важно, что молодой писатель видит в своем методе развитие социального реализма, его следующий шаг, следующую ступень.

История, рассказанная во «Времени молчания», происходит где-то в конце 40-х или начале 50-х годов и состоит в том, что молодой биолог Педро, живший дотоле тихой, нудной, мышиной жизнью, по роковому стечению обстоятельств оказывается замешанным в грязное уголовное дело с подпольным абортом, смертью девушки, местью ее обожателя-бандита. Перед угрозой уголовного обвинения попавший ненадолго в тюрьму Педро обнаруживает душевную дряблость и растерянность.

В примитивности этой истории есть смысл, заявленный названием романа. Время молчания — время, когда все существенное в людях не может высказаться открыто и уходит куда-то вглубь, в толщу частной жизни. Время, когда в человеке «перегорают» нерастраченные силы. Время, когда поэт имеет право сказать своему современнику: «...не можешь, дай тоске и скуке в тебе копиться и гореть...» Тоска, и скука, и жажда деятельности копятся в Педро, пока он корпит над пробирками с никому не нужными (потому что их лаборатории все равно не отпускают средств довести исследование до конца) опытами, пока он выслушивает пустопорожнюю болтовню в артистических кафе и на лекциях знаменитых философов, пока он по вечерам погружается в уютную слизь мещанской гостиной. И цепь трагических происшествий тянется от одной-единственной ночи, когда Педро решил, что ему представился случай действовать...

Авторы объективных романов опирались на активность читательского восприятия, на умение читать подтекст. Мартин-Сантос нуждается в читателе, умеющем читать текст: распознавать реминисценции, следить за ассоциацией, улавливать иронию, скрытую в стилистической вычурности. «Время молчания» — в определенном смысле интеллектуальный роман, он адресован читателю, обладающему интеллектуальным опытом, достаточно широкой и утонченной культурой чтения.

Мартин-Сантос отказывается от сухости и сдержанности объективной прозы. Он готов сгустить краски, напугать, ошарашить читателя. Быт трущоб предстает в его изображении как нечто инфернальное. Педро приходит в лачугу Муэкаса, поставляющего лаборатории лягушек, крыс и других подопытных животных. Потолок и стены жилища увешаны клетками с крысами, маленьких крысят дочери Муэкаса выхаживают у себя на груди, согревая теплом своего тела. За стеной воют кошки и собаки, которых ловит и ворует отец, рядом — свалка, где роются все члены семьи. Все спят вповалку на полу, под одним одеялом, в этой скученности отец незаметно совращает дочь... Грязь физическая и моральная, какая-то нечеловеческая помойная яма...

Неужели это — народ, тот народ, перед страданиями и мужеством которого преклонялись молодые писатели? И Мартин-Сантос смело вводит мотив, неожиданный для этой гротескно-инфернальной обстановки и убеждающий нас в том, что это все-таки народ, правда, народ «времени молчания». Этот мотив — упрямая справедливость матери погибшей девушки, старухи, казалось бы превращенной нищетой и побоями мужа в тупой, ничего не сознающий и даже не страдающий кусок неживой природы и вдруг наперекор всем свидетельствующей правду и спасающей Педро от тюрьмы.

Мартин-Сантос употребляет самые различные приемы сатирической деформации, иногда лобовые. Так, откровенно шаржирован образ «модного философа» — его лекция абсурдна, но логический ход, связывающий рассуждения о предметах, не стоящих выеденного яйца, напоминает логические построения Ортеги-и-Гассета. Злая и довольно грубая пародия пущена в ход, чтобы заявить о претенциозности и пустомыслии сегодняшней философии, уклоняющейся от острых социальных проблем.

Однако гротеск и пародия — не единст-

[1] J. Goytisolo. El furgón de cola. Paris, 1967, p. 56, 173, 177, 178, 183.

И. ТЕРТЕРЯН

СМЕНА СТИЛЯ — СМЕНА ОРИЕНТИРОВ?

венные краски в палитре Мартин-Сантоса. «Время молчания» многослойно — автор с гибкостью меняет орудия, переходя от одного пласта к другому.

Повествовательный пласт — рассказ о событиях от третьего лица. Для этого пласта характерно и тяготение к сатире, к гротеску и вмешательство автора-рассказчика. Автор рассуждает, комментирует поступки героя, обнаруживает себя речью: витиеватой, даже вычурной, пересыпанной медицинскими, биологическими, философскими терминами.

Другой пласт — монологи персонажей, обращенные к невидимому собеседнику, как к некоему интервьюеру или социологу, заполняющему анкету. В этих монологах искусно стилизована социальная типажность речи. Содержательница недорогого пансиона или бандит-трущобник — их социальный характер овеществляется в слове: в лексике, в специфических оборотах, в повторах.

Наконец, третий пласт — психологический анализ. Здесь применены многочисленные приемы: внутренний монолог Педро, его разговор с самим собой, оценка автором сменяющихся мыслей Педро, контрапункт внутренних монологов разных людей. Автор вторгается во внутренний монолог, расчленяет, классифицирует его элементы. Наталкивая нас на определенные ассоциации, автор руководит нами в путешествии по внутреннему миру героя. Так, однажды Педро размышляет о событиях своей жизни в экзистенциалистских терминах: «выбор», «жизненный проект», «потерпеть поражение», «осмелиться». Благодаря этому мы понимаем, что решение Педро делать операцию, которую он не умел и не имел права делать, было продиктовано не только жалостью к истекающей кровью девушке, не только профессиональным самолюбием,— но что это бессмысленное и безумное решение было для него проверкой «способности» осмелиться, совершить выбор, как совершают его герои экзистенциалистских романов и драм.

Внутренний монолог дает нам понять, зачем введено в роман подробнейшее описание тюрьмы, вовсе не обязательное по ходу сюжета — ведь Педро пробыл в тюремной камере всего несколько часов. В этом монологе он обращается к себе на «ты»: «Теперь ты узнаешь, что пережили другие, что значит сидеть тут внизу, ты ведь знал, что другие тут сидели. Ты узнаешь, чего ты стоишь, на что ты способен. Неужели ты вправду трус...» Значит, в это «время молчания» Педро думал о «других», об ином выборе, ином участии в жизни, думал и взвешивал последствия! И проверяя себя таким нелепым способом, он проверял и свою способность примкнуть к «другим»! Грязная история с крысами и абортом обретает общественный смысл, когда вот так просматриваются скрытые, подспудные побуждения героя.

Важное место в структуре книги занимают философско-лирические отступления. Они начинаются как внутренний монолог героя, а потом подхватываются автором, в том иронически декламационном и вычурном стиле, который выделяет авторскую речь. Эти совместные размышления автора и героя всегда порождены каким-нибудь значительным образом испанской культуры (Дон-Кихот, картина Гойи) и всегда заканчиваются горькими словами о национальном характере, о готовности отказаться от исторического действия ради сохранения традиционного специфического мирка (того, что обычно называют «испанщиной»).

Всевозможные традиционные образы вообще широко используются в романе. Последний внутренний монолог Педро — в поезде — вращается вокруг легендарного мученика, святого Лоренцо, которого неверные поджаривали на солнце и который, когда стало невмоготу, смиренно попросил палача перевернуть его на другой бок. Ассоциация ведет к самому Педро, смиренно принявшему подачку — должность в провинции, а через Педро — к народу, не ропщущему ни на угнетателей, ни на бога и старающемуся лишь сделать сносным свое подневольное существование.

Таким образом, в романе Мартин-Сантоса реализуются те же программные пункты, что выдвинул Гойтисоло. Мартин-Сантос пытается критически — пока еще обобщенно, без конкретно-исторического анализа — подойти к свойствам испанского национального характера вообще и испанского интеллигента в частности. Но самое главное — Мартин-Сантос начал разрабатывать тип романа, показавшийся испанским писателям более пригодным, нежели объективный роман, для критического анализа современности.

Хуан Гойтисоло в «Особых приметах» (1967) применяет и монологи персонажей, обращенные к невидимому собеседнику, и разговор героя на «ты» с самим собой, а кроме того, и новые приемы подобного же рода: монологи общественного мнения, этакое безликое и безличное «говорят», контрапункт внутреннего монолога и документа. Гойтисоло сталкивает поток сознания и откровенную пародию, шарж — вообще следует за Мартин-Сантосом в принципиальной многослойности, разностильности романа. Альфонсо Гроссо в «Тайфун Инес приближается» (1968) широко использует стилизацию речи как средство характеристики социального типа, как средство социологического исследования. Как и Мартин-Сантос, Гойтисоло и Гроссо отказываются от голой прямоты и однозначности слова объективной прозы и предпочитают отныне фразу, лексически богатую, насыщенную эпитетами, метафорами, часто аллегорическими образами, литературными, историческими, художественными реминисценциями.

Разумеется, далеко не все эти приемы были изобретены испанскими писателями. Многое они почерпнули из опыта французского «нового романа» (например, на монологе героя, обращенном во втором лице к самому себе, строится роман М. Бютора «Изменение»). В 50-х годах молодые испанские писатели на международных литературных встречах выступали против своих французских сверстников, обвиняя тех в формализме и забвении социально-обличительных задач литературы. Теперь испанцы вниматель-

нее присматриваются ко всему, что казалось им формалистическими экзерсисами. Они как будто задают себе вопрос — а вдруг «новый роман», сложившийся в условиях неокапиталистической действительности, умеет с ней бороться, нашел заветное «слово», снимающее дьявольские чары?

В 50-е годы целью испанской оппозиционной литературы было познание и разоблачение. Казалось ясным — как только люди узнают, сколько вокруг них нищеты, несправедливости, угнетения, они не станут больше с этим мириться. Другое дело — неокапиталистическое общество, способное легко обмануть доверчивого наблюдателя своей внешней потребительской стороной. Тут бесстрастное, документально точное изображение может оказаться апологетическим. В отношении писателя к неокапиталистическому обществу есть страх, которого не было в отношении к действительности первых десятилетий франкизма. Страх, что человек примет за чистую монету это изобильное потребление, примет эту действительность как закон, и притом благотворный закон («прогресс без свободы», по определению Гойтисоло), и станет ее маленьким, неутомимо вращающимся подшипником.

Посмотрим с этой точки зрения на одну из стилистических особенностей новой испанской прозы. В критике стиль Мартин-Сантоса и последних романов Гойтисоло и Гроссо уже был окрещен термином «барокко». Обилие метафор, нагромождение эпитетов, нанизывание синтаксических многочленов — все это в испанском литературном языке связывается с барокко. Но в обращении современных писателей к той или иной традиции — тем более к традиции, многократно развенчанной и преодоленной, как это было с барокко,— нужно видеть не художнический каприз, не жажду новизны во что бы то ни стало, но внутреннюю обусловленность, созвучность какому-то ладу в мироозерцании давно отошедшей эпохи. Человек барокко понимал и чувствовал великолепное изобилие мира, сложность его законов, разнообразие материи — и вместе с тем ощущал себя не властелином и не творцом этого мира, но маленькой частицей его, вовлеченной в борение враждующих сил. Человек барокко признавал свою беспомощность не только перед внешними силами, но и перед стихиями, бушующими в нем самом: разум не мог возобладать над чувственностью, дух отступал перед плотью. Но через эти драматические столкновения человек барокко поднимался к уяснению и возвращению себе цельности, духовной независимости и стойкости.

Роман Альфонсо Гроссо «Тайфун Инес приближается» написан по впечатлениям от поездки на Кубу. Но это не роман о кубинской революции — Куба взята как модель, подобно условным ситуациям в современных фантастических романах. В данном случае нам предлагается условная ситуация революционного преобразования общества. В такую ситуацию попадает человек западного мира. И модель, построенная Гроссо, служит выяснению, насколько готов этот человек (в нескольких его социальных разновидностях) принять преобразование и участвовать в нем.

Три персонажа романа Гроссо представляют собой три таких социальных разновидности. Дионисио, инженер из Европы, давно уже до тошноты сытый и благополучием, к которому надо продираться, в кровь разбивая колени и локти, и социальным престижем, завоеванным после многих унижений, и безвкусным развратом, выдаваемым за моральный прогресс. Элена, буржуазка, переполненная социальными предрассудками и потребительской алчностью. Мелания, простолюдинка, сохранившая обаятельные качества народного характера, но уже прислушивающаяся к рассказам о неокапиталистических чудесах. Все трое, будучи подвергнуты художественному анализу, оказываются неготовыми к построению нового общества, неспособными на полную самоотдачу. Все трое — такие разные — оказываются скованными одной цепью. Гроссо называет эту цепь обществом потребления, обществом изобилия.

Миф об обществе изобилия владеет умами миллионов людей на Западе. Этот миф внушает, что современное общество находится на такой ступени развития, когда может не только избранным, но в той или иной степени всем своим членам предоставить возможность наслаждаться благами достигнутого прогресса. Наслаждение этими благами и есть цель жизни, цель труда, цель усилий человека. Насладись тем, что приготовило для тебя общество: скоростью, удобствами, вкусом, новизной,— и будешь счастлив! Есть в западном мире чемпионы наслаждения — сверхбогатые люди, кинозвезды,— но и ты можешь следовать за ними, не забудь только, не упусти ничего из наставлений: вот в каком доме надо жить, вот куда надо ездить зимой, вот как надо проводить утро и вечер, когда и какой надо пить коктейль. И жизнь предстает перед человеком в виде стопки ослепительных открыток, на которых он видит себя уподобившимся герою кинофильма или иллюстрированного журнала.

В недавно вышедшем сборнике новелл Хуана Гарсиа Ортелано «Мадридцы» есть разговор двух подруг, скромных мадридских конторщиц:

«— Иногда я ничего не понимаю. Ничего в жизни не понимаю.

— У меня это тоже бывает,— вдруг сказала Ньевес.— Ничего не понимаешь, правда? Но я думаю, что есть люди, которые знают секрет.

— Какой секрет?

— Ну, есть же секрет, как понимать жизнь. Настоящие люди это знают, ну там графини, или киноартисты, или миллионеры, или короли».

Этот «секрет», который «знают» миллионеры или киноартисты,— не что иное, как способ извлечь максимум наслаждения из возможностей, якобы предоставленных сов-

---

И. ТЕРТЕРЯН
СМЕНА СТИЛЯ — СМЕНА ОРИЕНТИРОВ?

ременным обществом. Все человеческие отношения включаются в миф, даже любовь: любовь аристократическая (в обстановке роскошной спальни) или любовь романтическая (у старой яхты на берегу моря),— могут быть разные «стили» любви, но любовь, обязательно обставленная аксессуарами, продуманно доведенная до совершенства, подобно туалету или званому ужину...

Миф начинается с тех красивых и недорогих вещичек, которые так простодушно выпрашивает Мелания у Дионисио, а превращается в цепь, опутавшую Дионисио по рукам и ногам. В смятении героя перед стихией, оказавшейся более цепкой и вездесущей, чем он предполагал, перед стихией, проникающей вовнутрь его самого, используя чувственность, которую он не может превозмочь, перед стихией, толкающей его назад к обществу, из которого он мечтал вырваться,— в этом смятении улавливается созвучие барочному миросозерцанию, оправдывающее тяжелый, громоздкий, пышный стиль романа. В особенности это относится к описаниям — описаниям городов, отелей, вещей, всего «мира изобилия», в котором человек чувствует временами головокружение и тоску от невозможности освоить и «очеловечить» этот мир.

В драме, пережитой Дионисио, отразилась важная сторона той психологической ситуации, в которой оказался левый испанский интеллигент в 60-х годах (той ситуации, которую призывал беспристрастно и самокритично исследовать Хуан Гойтисоло в статьях из «Хвостового вагона»),— а именно: растерянность и душевная смута перед лицом неокапитализма, начавшего мало-помалу менять образ жизни и в Испании. Миф об «обществе изобилия», миф, подтвержденный броскими внешними приметами, угрожает — так кажется теперь романистам — самому революционному потенциалу народа.

Смысл и цель всего стилистического переворота, совершенного испанскими писателями, состоит как раз в том, чтобы победить неокапиталистическую действительность, лишить ее монолитности, внушительности, уничтожить в читателе уверенность в ее законности. Поэтому романист кромсает реальность, поворачивает ее то так, то этак. Романист заставляет читателя превращаться то в собеседника, то в двойника героя, то в социолога, тасующего колоду анкет, то в естествоиспытателя, с любопытством рассматривающего под микроскопом какую-то низшую форму жизни. Приемы повествования безостановочно дробят материал, резко меняющийся языковой стиль меняет нашу точку зрения на предмет. Романист уподобляется полной квадрилье пикадоров и бандерильеров, атакующих быка — реальность — с разных сторон. Но как известно, от тореро требуется еще и особый талант, особая точность, чтобы в нужный момент нанести завершающий удар. Как в корриде, так и в литературе всегда есть опасность, что каскад проворных технических приемов не закончится таким безошибочным финалом.

В опытах совсем молодых, «новых молодых» (Гойтисоло и Гроссо, которых часто по инерции называют молодыми, уже перешагнули сорокалетие), реально ощутима опасность потерять цель того шквала стилистических ударов, которые они обрушивают на жизненный материал (а вместе, добавим, и на восприятие читателя).

Романы Хуана Бенета «Вернешься в Край» (1968) и «Размышление» (1970) были встречены единодушным признанием как одно из самых ярких и значительных литературных явлений последнего десятилетия («Размышление» еще в рукописи получило крупную литературную премию). Две книги Бенета составляют две части цикла (предположительно — трилогии) о Крае. Край — это город и окружающая его область, отделенная от остальной Испании горной цепью и пустынными степями. В замкнутый мирок Края доходят лишь отголоски больших событий Испании, но по какому-то закону резонанса отголоски звучат здесь как усиленные, пронзительные звуки. Этим, пожалуй, более всего Край напоминает Йокнапатофу — место действия большинства романов Фолкнера. Влияние Фолкнера, равно как и влияние классиков английской и американской прозы Томаса Гарди и Германа Мелвила, Хуан Бенет считает определяющим для своего творчества.

В первом романе Бенета описывается Край (география, занятия обитателей) и кратко излагаются события гражданской войны, потрясшей Край, как и всю Испанию. Остальная часть (три четверти) романа — один длинный диалог, который ведут уже в наши дни два человека в пустом, угрюмом, обветшавшем доме. Хозяин, Доктор Себастьян, и Женщина, вернувшаяся в родные места, в Край, откуда она бежала двадцать лет назад, после окончания войны, длинно и сбивчиво рассказывают друг другу эпизоды из прошлого, открывают друг другу душу, признаются в крахе, разочаровании, отчаянии...

О войне в романе говорится детально, но отстраненно. Автор не оценивает событий, не ищет ни правых, ни виноватых. Просто война — это время, когда герои и весь Край жили, действовали, а когда война окончилась — все остановилось, замерло, погрузилось в оцепенение. «Жители Края предпочли забыть свою собственную историю; лишь немногие из них еще помнят своих отцов, свои первые шаги, детство и отрочество, кончившиеся внезапно ошеломлением и потерянностью». Изредка в монологах Доктора и Женщины мелькает деталь, связывающая их душевную агонию с реальностью последнего двадцатилетия. Так, Женщина слышит, как радио без умолку твердит: «во имя семьи», «враги очага», «благосостояние твоей семьи», «гнев бога», «благо родины», «ненависть, ненависть». Это, разумеется, типично франкистская фразеология, и к ее изобретателям обращает Женщина свое пророчество: «...мы скоро увидим их поверженными в прах, бьющимися, задохнувшимися в той атмосфере, которую они сами постарались отравить».

Война предстает в романе как разрыв исторической последовательности, как уничтожение того, что могло бы развиваться, уничтожение будущего. «Вот что нам осталось с тех пор: голоса, вздохи, редкие выстрелы — вот весь хлеб наших послевоенных лет; мы живем слухами и кормимся ворожбой, но наше время прошло, прошло навсегда...» Тема медленной агонии послевоенной Испании детальнее раскрыта в следующем романе Бенета «Размышление».

«Размышление» — длинный и непоследовательный рассказ одного из жителей Края, рассказ, начинающийся с далекого довоенного детства и доведенный до наших дней. Сам рассказчик выступает лишь как наблюдатель и историк — рассказывает он не о себе, а о родных, соседях, бывших друзьях, о нескольких людях, за чьими судьбами он следил на протяжении четырех десятилетий. Нам, читателям, уследить за этими судьбами чрезвычайно трудно — рассказчик то и дело отвлекается, перескакивает через годы, по многу раз возвращается к одному и тому же эпизоду, вообще запутывает нить воспоминаний, насколько это возможно. Очевидно, имеется в виду, что память рассказчика травмирована так же, как судьбы его близких, что он, о себе самом почти ничего не сообщающий,— такой же ущербный, больной, маниакально обращенный в прошлое человек, как и все герои его повествования.

Трудно перечислить все формы духовной и физической агонии, которые проходят перед нами в этом размышлении. Тут и ужасная болезнь (Мэри), и иссыхающий поэтический талант (Хорхе), и злобная зависть отца к талантливому сыну (старый Руан), и садистское безумие (поэт Хорхе, сжигающий живьем крыс), и похоть, не умеющая стать любовью (Лео), и страшное одиночество, неосуществимая жажда любви (Каэтано Корраль и Бонаваль), и разные другие виды безумия и несчастья. Даже проходящий где-то на заднем плане рассказа жандармский капрал тоже в конце концов приходит к самоубийству.

Но в безумии этих безумных, образующих своего рода «пляску смерти» на страницах «Размышления», есть своя система. Слово «поколение» часто употребляется рассказчиком — поколение, которого уже нет, поколение, которое было уничтожено. Это поколение, чья молодость совпала с гражданской войной. Персонажи романа — лишь обломки этого уничтоженного поколения. Случайно уцелевшие, они доживают свою жизнь — и все рассказанные в романе истории суть истории конца: конец Мэри, конец Лео, конец Хорхе, конец Каэтано. «...разрозненные факты связываются нитями трагедии,— замечает рассказчик,— и весь Край, как мумия, обернут в ткань из гнили, отвращения, одиночества». И только один образ не вплетается в эту трагическую ткань разложения и отчаяния — образ молчаливого, спокойного Энрике, «который умел понять и определить подлинное значение каждого момента и каждой вещи». Энрике погиб в партизанском отряде.

Поразительно горькими нотами исторического пессимизма заканчиваются обе книги. Бенет не видит в Крае никаких обнадеживающих проблесков, никаких, даже подземных, чистых ключей.

Ощущение безнадежности и умирания достигается не столько самими историями, рассказанными в обоих романах, сколько тем, *как* они рассказываются. Сложные, запутанные, длинные предложения, книжная и несколько архаичная лексика, бесконечная вязь оттенков, оговорок, парафраз—все это оставляет впечатление неподвижности и нереальности. В романах Бенета полностью отсутствует речевая индивидуализация: язык автора, персонажей, документов, включенных в романы (например, письмо Каэтано Бонавалю в «Размышлении»), абсолютно един. О смерти человека говорится с такой же ровной, скрупулезной детальностью, как о тряпицах и засохших насекомых. Язык создает «метаатмосферу» повествования, которая обволакивает и вещи и людей. Не человек владеет языком, отбирая языковые средства, соответствующие его характеру, намерениям и т. п., а язык владеет человеком, формируя весь духовный облик этого человека. А так как в длинных, бесконечных фразах движение — движение мысли, движение реальности — гасится в выписывании мельчайших подробностей, в самокопании и самопоедании, то и люди Края предстают беспомощными марионетками, порабощенными какой-то внешней силой, воплотившейся в языке.

Бенет моделирует в языке своих произведений — прежде всего именно в языке, а не в сюжетах — духовное состояние испанского общества, как он его понимает. Разочарование в историческом процессе, отказ от действия, апатия и бесплодный самоанализ — вот что читается в неудобочитаемой фразе Бенета. Стилистический эксперимент Бенета перекликается с новейшими экспериментами французских, итальянских и западногерманских писателей. Недаром Хуан Бенет вкупе с несколькими другими испанскими писателями уже был зачислен критикой в ряды европейского неоавангарда. Однако Бенет проявляет несвойственное неоавангардистам глубокое внимание к истории. История остается его темой, более того — единственной его темой.

Первая книга Бенета — сборник новелл «Ты никогда ничего не добьешься» — вышла еще в 1961 году. В трех новеллах из этого сборника был уже разработан характерный для Бенета языковой стиль и была представлена странная обстановка Края: запущенные, полузаброшенные дома со стенами, покрытыми плесенью и паутиной, усталые, доживающие свой бессмысленный век люди. Сборник «Ты никогда ничего не добьешься» прошел незамеченным ни читателями, ни критикой. А через несколько лет роман «Вернешься в Край» уже вызвал всеобщий интерес. Это не случайность — просто в романе Бенет сумел выявить историческое

И. ТЕРТЕРЯН

СМЕНА СТИЛЯ — СМЕНА ОРИЕНТИРОВ?

объяснение судьбы Края, сумел претворить эксцентрический образ в символ испанской истории.

В этом и сказывается преемственность течений в испанской литературе. Объективный роман в свое время стал реалистической закваской в испанской прозе — эта закваска не выдохлась, она и сегодня действует на талантливых и серьезных писателей. На первый взгляд книги Бенета весьма отличаются от романов Мартин-Сантоса, Гойтисоло, Гроссо. Там — безостановочное дробление реальности, смена точек зрения на реальность, здесь, напротив,— единая стилевая доминанта, создающая, как мы ее назвали, «метаатмосферу» произведения. Бросается в глаза различие в проблематике: Бенет как будто вовсе не замечает наступления неокапитализма на Испанию, перемен в образе жизни и мышлении испанцев, принесенных «либерализацией» и «экономическим чудом». Но внимательный анализ откроет нам за этими различиями общее и в проблематике и в стиле.

Мысль всех этих писателей направлена на один и тот же предмет — на способность испанского народа к историческому действию, способность испанского интеллигента к осознанию своего долга перед национальной историей. Бенет, по существу, выполняет те же задачи национальной самокритики, которые ставило перед собой и своими единомышленниками поколение «сорокалетних». Только Бенет не анализирует (с большей или меньшей степенью исторической конкретности), а формулирует свою мысль в символическом образе агонизирующего Края. И Бенет (как и Гойтисоло в статьях из «Хвостового вагона») явно недооценивает революционные возможности испанского народа, не замечает свежих и уже проявивших себя сил. Неудовлетворенность замедленным ходом истории, сконцентрированная в художественном символе всеобщего упадка и умирания, превращается в безысходное, угнетающее отчаяние.

Общность стиля состоит в стилизации, в создании искусственной языковой системы (единообразной или многообразной для произведения). Но уже опыт Бенета демонстрирует опасность, угрожающую произведению, построенному на такой искусственной языковой системе. Призванная воплотить мысль — и даже важную мысль — об историческом процессе, стилизация доводит эту мысль до устрашающей крайности, лишает читателя возможности соотнести идею произведения с реальностью, сопоставлять, анализировать, принимать или отвергать. Чем дальше уходит испанский роман по пути языковой искусственности (а Бенет с языковой «метаатмосферой» его романов является, конечно, следующим шагом на этом пути), тем очевиднее эта опасность. Ведь власть человека над словом может переходить в бессмысленный произвол.

Печальным свидетельством злоупотребления этой властью стали книги других молодых испанцев, причисленных к неоавангарду: «Ртуть» Х. Гелбенсу, «Эксперимент с Книгой Бытия» Х. Санчеса Эспесо. Второй из этих романов заслуживает большего внимания благодаря нескольким искренним лирическим нотам, пробивающимся в хаотичном потоке внутреннего монолога героя. Монолог состоит из детальнейших описаний предметного мира и повторяющихся записей каких-то разрозненных сцен, иногда реальных, иногда воображаемых героем. Перед читателем встает прежде всего техническая задача — связать последовательность и причинность событий в реальной жизни монологиста. Задача нелегкая, головоломная и малопродуктивная. Когда контуры этой жизненной драмы уже вырисовываются перед нашими глазами, мы с разочарованием обнаруживаем ненатуральность и незначительность всего происходящего с персонажами (хижина в горах, бегство от общества, треугольник, «третий», преследуемый полицией, и т. п.). Сознание героя работает, по существу, вхолостую, только этот холостой ход, эти безостановочные и бесполезные обороты мыслительной машины почему-то фиксируются писателем с такой же механической тщательностью.

Разумеется, по авторскому замыслу все это не бесцельно. Романист хотел раскрыть психическое состояние современного «отчужденного» человека, выключенного из социальных связей, для которого весь внешний мир — природа, вещи, другие люди — является чем-то посторонним, давящим на сознание, наблюдаемым только извне. Уже отмеченные нами немногие искренние лирические ноты связаны как раз с тягостным ощущением полного разлада между внутренним и внешним (многократно вспоминаемая героем первая встреча с девушкой в мясной лавке) и с возникающей к концу книги смутной потребностью преодолеть разлад, вернуться с гор на «землю людей». Но таких эмоционально подлинных моментов немного, и читатель все-таки чувствует себя как в тренировочном зале, где проделываются упражнения в умении контрапунктировать темы внутреннего монолога, с остраняющей детальностью описывать всякий пустячный предмет. Листаемые страницы остаются только «текстом» и не превращаются в художественный мир. Название романа Санчеса Эспесо подчеркивает экспериментальный характер книги. Но, очевидно, в ходе эксперимента был нарушен какой-то важнейший контакт, перерезан нерв, соединяющий наше читательское восприятие с повествованием.

Херман Санчес Эспесо, кажется, самый молодой среди ныне пишущих испанских прозаиков. Это юноша с нелегкой судьбой: с детства он воспитывался иезуитами, готовился к пострижению, но внезапно воспротивился этой участи и ушел из монастыря. Автору статьи привелось общаться с Херманом Санчесом Эспесо — молодой писатель производит впечатление человека глубокого и вдумчивого, отнюдь не претенциозного шарлатана, ищущего быстрой славы «новатора». Умозрительность психологических построений, явная надуманность фабулы объясняется скорее всего недостатком жизненного опыта, реальных наблюдений («Эксперимент с Книгой Бытия» писал-

ся еще в монастыре). Неудовлетворенность первым романом никак не лишает нас ни веры в талант Санчеса Эспесо, ни надежд на его плодотворное литературное будущее. Но какое направление изберет новый писатель, сумеет ли он почувствовать опасность, таящуюся в создании особых, искусственных, стилизованных «языковых структур»?

Сопоставление романов Санчеса Эспесо и Бенета заставляет задуматься над этим вопросом. Ведь и чтение книг Бенета требует известных усилий по «дешифровке» читаемого, ведь и у Бенета действие фрагментарно, неоднозначно, допускает различные толкования. Тем не менее, при всех издержках, Бенету удается создать впечатляющий художественный образ, формирующий эмоциональное отношение читателя к предмету романа — истории испанского общества. Было бы несправедливо отказать неоавангардистскому, как его называет критика, эксперименту в возможности добиться нового художественного эффекта. К тому же необходимо видеть и учитывать общественные причины увлечения стилистическим экспериментом — причины, в испанской ситуации весьма наглядные. Художественная система, сложившаяся в предыдущую общественную эпоху, не помогает уже ориентироваться в новой эпохе, изобилующей неведомыми и грозными социальными факторами. Всевозможные литературные эксцентричности суть лишь метания в поисках надежной защиты от сложностей общественной жизни. К сожалению, действенность и современность новой системы защиты часто оказываются иллюзорными, нет прямой зависимости между разрушением стереотипов литературного повествования и разрушением духовного стереотипа читателя таких повествований, между разрушением «мифа о реализме» и разрушением социальных мифов. Наивно полагать, что лучшим средством защиты от социального отчуждения или лучшим выражением протеста против отчуждения будет демонстрация человеческой речи, превращенной в служанку отчуждения. Даже в случае бесспорной художественной убедительности — в случае Бенета — такая демонстрация вызывает горечь и ужас от податливости человеческого сознания и бессилия внутреннего сопротивления, но не наталкивает на мысль о возможном преодолении зла.

Испанский писатель-реалист Мигель Делибес в последнем романе «Парабола о тонущем» грустно-иронически высказался о стилистических опытах своих юных коллег. Герой этого романа Хасинто Сан-Хосе решает возглавить движение «Через немоту — к миру». Хасинто пришел к выводу, что во всех бедствиях человека виноваты слова: «Слово всегда служило только оружием агрессии, средством выражения глупости. При помощи слов возводились райские кущи, до которых не дойти ногам...» И вот Хасинто корпит над составлением словаря из немногих необходимых, точных и кратких слов. Но — увы! — четверо учредителей общества, даже объясняясь на новом языке, насмерть ссорятся при первой же ошибке мнений. Не с языка надо начинать или уж, во всяком случае, не только с языка...

Разрушение реакционных мифов путем разрушения их языка за пять-шесть последних лет, не без влияния европейского неоавангарда, в творческом сознании иных испанских романистов заняло центральное место, абсолютизировалось. Из средства — средства борьбы с реакционными мифами — борьба со словами грозит превратиться в цель. В восторженной издательской аннотации к роману Х. Бенета «Размышление» автор-рассказчик сравнивается с художником, у которого завязаны глаза и который поэтому не замечает, что пишет пейзаж за пейзажем на одном и том же полотне. В применении к роману Бенета такое сравнение кажется несправедливым: странный и уродливый, написанный им пейзаж все же отчетливо проступает на полотне перед нашими глазами. Но ведь найдутся, да и есть уже, писатели, которые готовы поверить авторитетным критикам и издателям, что сегодняшняя задача искусства состоит в превращении художественного языка в хаотичную мешанину красочных пятен и мазков. Художнику нужно только выполнить несложное условие — завязать себе глаза.

Критика

М. ЛАНДОР

ТОМАС ВУЛФ

Время, ход которого так остро и неотступно чувствовал Вулф, оставляет все дальше позади отцову мастерскую на площади его детства с извозчиками и пожарными по соседству. И нынешние читатели Вулфа в Америке мегалополисов — а читают его ныне куда больше, чем при жизни,— с грустью возвращаются в провинцию начала века. Но, устанавливая перспективу, время и приблизило Вулфа к нашим дням. Оно помогло увидеть, сколько проницательного и по-прежнему насущного в его романах, соотносящих провинцию и «миллионностопый» город, Америку и Старый Свет, национальную историю и XX век. При этом, несмотря на мировое признание, Вулф остается спорной фигурой. И потому, что его недолгая творческая жизнь поставила вопросы, остающиеся открытыми и сегодня. И потому, что в искусстве XX века немного найдется таких писателей-амфибий, чувствующих себя «дома» в разных художественных системах, как этот американец, стремившийся освоить всю мировую прозу — от древнейших традиций до новейших поисков. Не утихшие споры о писателе отразились в нескольких посвященных ему критических антологиях,— первая из них называлась «Загадка Томаса Вулфа».

1

В 1929 году преподаватель одного из нью-йоркских колледжей — позднее он иронически окрестит этот колледж Школой Утилитарных Культур — выпустил свой первый роман, «Оглянись на дом свой, Ангел». Год спустя в Стокгольме в известной речи Синклер Льюис сказал, что этот роман «выдержит сравнение с лучшими в нашей литературе» — это «раблезианское творение по масштабу и вкусу к жизни».

Сатирика, открывшего миру бесцветно-удобный жизненный уклад Бэббита, поразила книга, в центре которой был камнерез — полный антипод его Агента по Продаже Недвижимости. Ибо непоседливый Гант, добравшийся до южного городка из Пенсильвании, воспринимается там как легендарная фигура, решительно во всем выходящая из ряда. И дом себе он не строит, а творит — «чертыхаясь и воя, со страстью»; это человек, словно мнущий в руках глину жизни, неумеренный и в речах, и в поступках; и даже когда он растягивается во весь рост, фантастически напившись, он вызывает некое почтение, ибо горожане чувствуют, что «что-то странное, и гордое, и славное потеряно в этом пьяном обломке Вавилонской башни». Тем более в глазах младшего сына, Юджина, с чьей точки зрения и ведется рассказ, Гант становится гигантом из мифа: от каменных глыб своей мастерской он возвращается домой с аппетитом Гаргантюа, а яростные, под стать библейскому пророку, речи Ганта и излюбленные им шекспировские монологи празднично окрашивают повседневную жизнь семьи.

Но Юджину, с его рано пробудившимся критическим духом, многое и виднее, чем горожанам. Все Ганты для соседей — это чужаки, опрокинувшие распорядок «всякой пристойной жизни»; а младший сын с тонкой иронией передает эпизоды, в которых бог его детства вполне вписывается в «нормальный» быт города — ведет ли он назидательный разговор о детях, которым пристало, по американским понятиям, с ранних лет самим себя содержать, или в качестве доморощенного политика увлекает публику пылкой речью во славу милитаристских затей «Тедди» Рузвельта. Одна из лучших

юмористических сцен романа посвящена Ганту, включившемуся в поход за трезвость вместе с набожными леди и ангелочками из воскресных школ и обрушивающему на гнусных винопийц всю силу своего красноречия. Однако юмор ситуации лишь оттеняет уникальность Ганта, и постоянные переходы от самого мифического к самому реальному помогают этому многогранному и живому характеру обрести тот высший поэтический смысл, который важен не только для этого романа, но и для всего творчества Вулфа.

С начала века, с детских лет, резец и молоток отца неотделимы для будущего писателя от жизнелюбия старой Америки. Отцова мастерская представляет особый мир, чуждый пуританским запретам, отрицающий сумрачную набожность, все стертое и пресное. С идущим из детства ощущением материала и инструмента связано художественное полнокровие Вулфовых книг,— и если проза Вулфа по своему строю лирична, то мир ремесла неизменно пробуждает у него тяготение к эпической «полноте объекта». За отцом, чужаком в южном городке, писателю видится Пенсильвания, а там и Европа: камнерез представляет на американском Юге много веков ремесла и странствий; в образе мастера и бродяги воплощена эпическая память человечества. И это неуемная натура, встретившая XX век и пережившая первую мировую войну в замшело-буржуазном городке. Когда Гант приближается к своему закату, раблезианское полнокровие сменяется горькой современной лирикой и джойсовские приемы вводят человека эпического измерения в смутную пору остановившегося времени. Однако в освещении Вулфа сама тема долгого умирания отца, столь прочно укорененного в жизни, оказывается вызовом бесплодно-бэббитовской современности. И мир отца, со всем, что он представлял для художника, оживал едва ли не в каждой его вещи: без этого Вулф просто не мог ни оставаться собой, ни идти вперед.

Неисчерпаема для него и вся история Гантов, ибо за жизнью семьи ему видится целая эпоха американской истории. Во втором романе Вулфа, «О времени и реке» (1935), старый камнерез вспоминает перед смертью жаркий летний день во время гражданской войны и запыленных солдат армии мятежников, проходящих по дороге Пенсильвании мимо него, мальчишки. Эти времена вспоминает и жена Ганта, Элиза, в повести «Паутина земли» (1932)[1]: на ее глазах босые и пыльные солдаты армии южан возвращались домой. Эти воспоминания намечают рубеж, успевший стать легендарным,— и в них предвестье будущих конфликтов. Ибо для северянина Ганта, чей старший брат погиб в бою при Геттисберге, это первая встреча с земляками и родней его жены, с теми, среди кого он проживет чужаком долгие годы. А к Элизе, после бедных и тяжких лет войны, приходит твердое решение — «иметь какую-нибудь собственность».

Историю Гантов Вулф поворачивал и освещал по-разному — и в этом непосредственно сказывалось его восприятие современной истории. «Паутина земли» несет отпечаток мирового кризиса 30-х годов. Элизе эта пора принесла финансовые неудачи и как бы вернула ее к дальним и самым надежным истокам; сама непринужденная форма этой повести-монолога передает ощущение внутренней несвязанности, которое пришло к героине в дни невзгод. Слыша свистки в нью-йоркской гавани, она признается, что охотно уплыла бы в Европу,— непоседливость мужа не чужда и этой женщине из цепкого крестьянского рода. И невзгоды заставили ее еще острее почувствовать свою всегдашнюю связь с землей — самый ее рассказ о драматичной жизни полносочен, рассказчица перечисляет одним духом, с радостью называния, массу блюд, плодов, растений. Конечно, Элиза остается и здесь суеверной и деловитой южанкой; сам Вулф говорил, что в этой повести о жизни он хочет показать и «жадность». Но поэтический акцент он ставил на другом — на «огромном неосознанном мужестве», столь важном для него в год кризиса. Его героиня не только стойко переносит удары судьбы, уже в старости, но и не расстается с шуткой и всем тоном своего рассказа утверждает: банки не все захватили, земля с нами, да и вся прожитая жизнь.

Образ матери в первом романе Вулфа тоже был сложен и разнопланов. Но писался роман в пору процветания 20-х годов; американская перспектива, в которой виделась молодому бунтарю его семейная хроника, была совсем иной. Родной дом представал в романе как «дом разделенный»: непрактичного камнереза вечно приводила в ярость «мания приобретательства» его жены. Сам он в коммерческие новые времена уступает одну позицию в жизни за другой: старому бродяге после путешествия в Калифорнию уже нелегко сняться с места, мастеру, продавшему любимого ангела с крыльца мастерской, уже не воплотить своей мечты. А Элиза своим воспитанием подготовлена к коммерческим подвигам. Ее родня, Пентленды, освещена в романе как особое племя, неистово балагурящее и без устали толкующее о смертях и могилах, сумрак истории — за этим крепким племенем, без труда входящим в новые времена.

«Не только владеть собственностью, но и извлекать из нее доход: это составляло часть религии ее семьи...» Так сказано об Элизе,— и портрет матери, поражающей город своим неистовым скопидомством, с неизменной религиозной окраской, принадлежит к самым впечатляющим в американской прозе. Ворочая тысячами, она хранит мину смиренного и богобоязненного бедня-

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 7 за 1971 г.

ка. И когда дети ропщут, а то и бунтуют, что по-прежнему идет в счет каждый пятицентовик, отвечает, «поджав губы», своими излюбленными сентенциями о пагубной гордыне и божьем наказании за дерзость. Даже Юджин бросает ей в сердцах: «Разве у тебя мало всего? Ты что — хочешь захватить весь город?» Эту пентлендовскую манию он переживает тем более болезненно, что к нему мать относится с особой нежностью, как к последнему своему ребенку, и он не забывает ни о тяготах, которых хватало в ее жизни, ни о незаурядности ее натуры.

Если дом, возведенный отцом, был делом рук ремесленника и творца, то открытая Элизой гостиница «Диксиленд», потребовавшая от нее яростной энергии, была такой жертвой на алтарь ее веры, какую не приносил никто из ее родни (ибо для остальных Пентлендов свой дом был крепостью — бизнес на него не распространялся). И вот уже каменные изваяния отца, казавшиеся Юджину вечными рядом с мимолетностями бакалейщика, словно тускнеют как символ долговечности рядом с сумрачной и непреклонной владелицей «Диксиленда». Забота о гостинице подавила все, и, даже навещая Юджина в университете, мать пытается рекламировать «Диксиленд» среди его товарищей.

Младший сын заново пережил здесь то, что годами оскорбляло его любовь к матери. Но не забыл он и ее гуманных и добрых порывов — бессмысленных с точки зрения пентлендовской религии. И само его бунтарство проникнуто жалостью и нежностью: в судьбах близких ему видится печать упадка и утрат, и Элиза, с муравьиным усердием предавшаяся «слепому накоплению», оказывается в его мыслях рядом с «поверженным титаном» Гантом, безразличным к окружающему, обращенным взором к далям прошлого. Порой и мать, при всем ее коммерческом торжестве, кажется странной и одинокой. И в какие-то самые важные минуты чувствует сама, как неладно все в семье — и в ее жизни.

Город возникает в романе часто затемно. Перед рассветом наполняется жизнью закусочная «Сальная Ложка» — и там многое открывается с изнанки. Особенно мишурными выглядят в эту пору социальные претензии, когда модный доктор хвастает своими успехами в местном свете. Полна гротескного юмора речь гробовщика во славу своей профессии — донельзя возвышенная чушь, оборачивающаяся пародией на весь высокопарный стиль расхожего морализма. И здесь же острые на язык врачи, изможденный Кокер и пьяный добряк Макгайр, один — после работы, другой — перед операцией. В их демократических, «снижающих» шутках слышится грубоватый смех старой Америки на пороге дня, перед «нежным рассветом».

Следуя за историей Юджина, роман переносит нас и в университет штата, и в портовый город с его пестрым населением и бытом во время мировой войны. Но жизнь Америки в целом автор стремится показать прежде всего через жизнь родного города. И через историю своей многочисленной родни — ибо братья и сестры Юджина представляют самые разные американские судьбы и возможности.

Одни из них не покидают проторенных дорог, другие ищут себя в стороне от них. Лишенный чего-то своего, плывущий по воле волн Стив банально и бездумно растрачивает дар жизни; и почтенная женитьба — это едва ли не единственный его успех, когда уж потеряны и задор, и молодость. А лихорадочно-живая, нервная Элен унаследовала натуру отца — скитальческую, чуждую респектабельности. И за несбывшейся ее мечтой о карьере певицы младший брат чувствует грызущий ее голод по «разнообразию, красоте и независимости», тягу к жизни, в которой было бы нечто новое и свободное.

По-своему не менее контрастны Люк и Бен. Один легко попадает на американскую стезю: с тем же азартом сбывает мальчишкой «Сатердей ивнинг пост», с каким позднее рекламирует участки на аукционе. При этом в свои обыденные занятия Люк вкладывает гантовскую одаренность; нечто изобильно-раблезианское младший брат видит и в его энергии, и в его неожиданных сравнениях и метафорах. А другой, думающий и полный горечи тихоня с вечной сигаретой в ночной закусочной в компании язвительных врачей, рано усомнился в азах американизма. И, не найдя себе достойной дороги, словно принадлежа и при жизни к миру теней, он в отчаянии говорит Юджину, который оценил его молчаливую и сосредоточенную значительность: «Из нас-то всех, остальных, ни черта не выйдет. Постарайся ты чем-то стать».

В Юджине рано пробуждается художник: он и бежит от грубого и банального — и жадно впитывает все, что видит. В романе тонко показана эта диалектика. Элен не раскорит брата, сторонящегося толпы и блуждающего по «Диксиленду» с отсутствующим видом, что он «не Гант»,— она не видит у этого «уродца» отцовой вовлеченности в жизненные дела. Но и сам Юджин может укорять мать, что ее скопидомство отдаляет всю семью от людей,— а ведь нельзя жить без конца «одним, одним». Он тем более отталкивается от чуждого себе, когда оно проявляется у родных. Ему особенно горько слышать, когда Бен, боясь, что и младший брат не найдет выхода в жизнь, преподносит ему американские прописи из «Пост». Но в том-то и дело, что на этот раз в роли «простого послушного попугая» оказался «неистовый кондор», самый близкий из братьев, чья недолгая жизнь и внезапная смерть пережиты в романе с наибольшей силой.

Смерть Бена написана с поразительным сочетанием неуступчивого реализма и нежности к исчезнувшему брату и ко всей семье, для которой это — неожиданно горькая развязка давно завязавшегося конфликта и потрясение, объединившее всех. Бен, чье нездоровье родные просмотрели так же, как и его внутреннюю значительность, когда уже

недалеко до конца, отчаянно бунтует против «пентлендовского» нрава Элизы — стяжать и непрестанно жаловаться на жизнь. А ее затверженная защита звучит абсурдно — ведь мать обращается к человеку-тени, живому призраку: «Не накопи твой папа и я небольшого состояния, у тебя никогда не было бы крыши, которую ты мог бы назвать своей». Последние дни Бена, трагически обнажившие бессмысленность того, что принесли этой семье коммерческое возвышение и «Диксиленд», несут и очищение. Тут дети, высказавшие, наконец, то, что тяготило их не один год. Мать, слишком поздно понявшая многое, очнувшаяся, выйдя из деловой инерции, и сжимающая руку мертвого сына. И вся семья, где все так сблизились в последние часы Бена,— и никто не может поверить, что его уже нет.

В подзаголовке этой книги стояло: «История погребенной жизни». У читателя 20-х годов этот эпитет — buried [1] — ассоциировался с художественным миром Шервуда Андерсона, проникающего за поверхность жизней и находившего скрытую и неразвернувшуюся красоту за стенами домов, за валом лет. В этом, андерсоновском смысле эпитет употреблен в конце романа, там, где говорится о Юджине: «Он верил, что внутри каждого из миллиона невзрачных домишек есть странная скрытая жизнь, тонкое и разбитое чувство, нечто неясное и неведомое». Сами герои романа, в особенности Элен и Бен, входили в андерсоновскую галерею «гротесков». Но многозначный эпитет, проходящий через все творчество Вулфа, с самого начала получил для него личный оттенок. Роман стремился захватить весь круг американской жизни, и молодой писатель отождествлял себя в нем с действительно погребенным братом. Если отец олицетворяет в книге возможности и бесконечность жизни, то Бен — это современная судьба и конец. Но в финальной сцене, когда Юджин слышит у отцовой мастерской на площади голос Бена — это и его внутренний голос,— нам ясно: писатель навсегда «погребен» в детстве, пережитое в Алтамонте останется для него самым ярким и важным. И как писатель, он может быть жив, лишь продолжая поиск тех, кого уже нет. Время отца уходит в прошлое, на месте его мастерской скоро построят небоскреб, но остается его стремление изваять голову ангела — символ неуемности, тоски по красоте. И Бен, с его горькой современной мудростью, говорит, что поиск вечен — не удастся найти счастливую землю, конца стремлению нет.

В начале этой книги, где ребенок узнает мир и многое в нем, «ликуя», настойчиво звучит и мотив космической потерянности; и желание найти «дверь», то есть нечто теплое и свое в чуждом и холодном мире, в творчестве Вулфа — выходца из патриархального городка — ассоциируется с потерянностью в Нью-Йорке, которому он и посвятил свой рассказ «Нет двери». А в последней главе, где детство исчезает, как засыпанная песками цивилизация, звучит уитменовский мотив вечной земли и шири: вопреки всему «гигантские ритмы земли остались. Проходили времена года своей божественной чередой, и обновляющая весна вечно возвращалась на поле — а с ней новые урожаи, новые люди, новые жатвы и новые боги». Риторические пассажи, сопровождающие всю непрерывно развивающуюся перед нами историю писателя Юджина Ганта, так же обобщают и «остраняют» ее, как фрагментарное построение, пропуски и переходы от довоенного детства к жестоким впечатлениям послевоенной Европы обобщали и «остраняли» историю молодого писателя, который у Хемингуэя часто назывался Ником Адамсом, а под именем Джейка Барнса появился в той самой «Фиесте», которой были предпосланы эпиграфы о «потерянном поколении» и о «земле, которая пребудет вовеки». Как художники, Вулф и Хемингуэй были во многом антиподами, и склонный к лаконизму Хемингуэй не принимал недостаточно организованного, на его взгляд, вулфовского романа-потока, не говоря уж о его риторическом обрамлении. Но любопытно, что прозу Вулфа он называл среди тех достижений своего поколения, которые не дают оснований считать его потерянным.

Когда книга Вулфа еще искала своего издателя, к ней была приложена авторская заметка с предупреждением: «Ясно само собой, что книга «автобиографична». Но в смысле буквальной точности она, вероятно, не более автобиографична, чем «Путешествия Гулливера». Этим сравнением, к которому Вулф возвращался постоянно, он хотел сказать, что стремился дать поэтическую квинтэссенцию ушедшего периода жизни. Однако это предупреждение, перешедшее на страницы изданной книги, не подействовало на земляков Вулфа: Эшвилл узнал себя в изображенном им Алтамонте — и засыпал писателя негодующими письмами, в одном ему даже угрожали судом Линча. А вера в буквальную точность всего рассказанного Вулфом доходила до того, что нашлись «свидетели» некоторых ключевых эпизодов, бывших всецело плодом его фантазии. Зато почитатели книги по обе стороны Атлантики сразу отметили, в какой художественно концентрированной форме предстало тут местное и провинциальное. В 1933 году, после того как вышел немецкий перевод «Ангела», Герман Гессе написал: «Эпос семьи Гантов — это самая сильная поэзия современной Америки, какую я знаю».

2

Сразу после первой книги Вулф принимается писать вторую. В том же 1935 году, когда появился его роман «О времени и реке», он открыто и прямо рассказал о всем ходе своей работы в лекции «История одного романа». Из нее мы знаем, что все опуб-

[1] Погребенный, скрытый *(англ.)*.

ликованное Вулфом к тому времени представляло собой лишь какие-то части огромного романа-потока, план и замысел которого, не раз меняясь, не переставали занимать автора. Им были написаны сотни и сотни страниц, оставшихся за пределами его новых книг. Вулф стремится придать масштабность индивидуальному — и закрепить все уходящее, мимолетное, неуловимое. Он углубляется в историю своей семьи со всеми ее разветвлениями, а за семейным прошлым и прошлым родных мест ему видятся национальные истоки: Новый Свет возникает перед ним в постоянных сопоставлениях со Старым, и самые далекие и летучие американские впечатления оживают в безлюдном лондонском доме и парижском кафе; в свою книгу жизни Вулф стремится вместить весь мир, как он видится американскому писателю его бунтарского поколения. После успеха «Ангела» Вулф не перестает искать, и большая форма, к которой он тяготеет, оказывается для него как-то соизмеримой с толстовской эпикой.

В 1930 году он пишет из Европы своему ближайшему другу и редактору Максуэллу Перкинсу, поклоннику «Войны и мира», об этом «изумительном и гигантском творении». Тут и собственное кредо Вулфа: «...Я замечаю в этой книге, что личная история переплетена со всемирной,— вам открываются личные судьбы, в особенности членов собственной семьи Толстого, и открывается вся огромная панорама наций и России. Вот как великий писатель использует свой материал, вот в каком смысле каждое хорошее произведение «автобиографично»,— и я не стыжусь следовать этому в своей книге». А в 1935 году, в Вулфовом перечне книг, доставивших ему недавно наслаждение, есть такая фраза: «Война и мир», которую я прочел дважды или трижды за последние четыре года и которая — насколько я знаю и могу судить — величайший из прочитанных мною романов».

Разумеется, литературная культура Вулфа была далеко не однолинейной. Его перечень 1935 года открывался Экклесиастом, а в письмах Вулфа «Война и мир» соседствует с «Улиссом». Но его пересмотр прежних позиций в 30-е годы коснулся и Джойса: возвращаясь постоянно к кумиру своей молодости, Вулф выражает, порою полемически, свои новые творческие устремления.

Для всего Вулфова поколения, блудных детей коммерческой и пуританской Америки, Джойс как независимый художник был личностью легендарной. «Одним из нынешних богов» назвал его в 1926 году Вулф, с упоением повествуя, как ехал с ним на Ватерлоо в обычном туристском автобусе. Позднее он оглядывался на эту пору как на далекую уже пору ученичества, всегда признавая при этом, что в «Ангеле» сильно чувствуется влияние «Улисса». Но новизна Джойсовой прозы побуждала молодых американцев к творческой смелости скорее, чем к подражанию; и Вулф, также стремившийся перекинуть мост от жалкой повседневности к высшей поэзии мифа, рано понял, как далеки его Ганты от обывателей «Улисса» с их нагой жизнью. Уже в конце 20-х годов он повторял что в центре его романа — «великие люди», достойные эпоса, а в 1932 году заметил по поводу написанной только что «Паутины земли»: «Я действительно верю, хотя это и отдает ужасным хвастовством, что знаю эту женщину лучше, чем Джойс знал ту женщину в конце «Улисса», и, кроме того, что моя старушка — фигура более грандиозная, богатая и потрясающая, чем у него».

Но именно в 30-е годы, когда «джойсовский» период его творчества для Вулфа уже позади, он находит в «Улиссе» не бегство от реальности, а попытку проникнуть вглубь нее. В пору кризиса для него по-прежнему важна общая картина современной жизни, возникающая в романе о Дублине начала века. Нетрудно заметить, что без города, столь неприкрашенно изображенного в «Улиссе», не было бы и поэтического Нью-Йорка Вулфа.

Это вполне проявилось в его повести «Смерть — гордая сестра» [1], которая складывалась у него в горькие кризисные годы, в Бруклине. В несчастном ирландце, умершем среди городской сутолоки, в подземке, писатель безжалостно увидел прозаически-заурядного скитальца по тротуарам вроде джойсовского Блума, и не к одному обывателю «Улисса», евшему на ходу, подошло бы Вулфово обращение к ирландцу: «О ты, несчастное создание из жира и студня, ты, жеватель скверной пищи и глотатель дрянного пойла». Однако самой теме смерти Вулф стремится придать классическое достоинство: она разом нарушает в его повести всю мертвую жизнь бойко-стандартного города. Репортаж обретает масштаб: за площадкой у спуска к поездам Вулфу видится вся сцена современной жизни. И после обыденно-жестоких картин, столь лично пережитых рассказчиком в подземке, над головой его показывается звездное небо — в полчетвертого, перед рассветом. Повесть Вулфа вошла в его сборник 1935 года «От смерти к заре» — в этом названии один из основных мотивов всего его творчества.

И в Нью-Йорке, и во время неоднократных поездок в Европу Вулф без устали работает над большой книгой. В середине 30-х годов для него была уже далеко за чертой вся пора дебюта, пора «Ангела», а скоро за чертой осталась и история Юджина, продолженная во второй книге. Стремясь собрать воедино все, что знал и пережил, от дальних истоков до жгучей современности, Вулф выбирает нового героя, Джорджа Веббера, и ведет его через все этапы своей духовной биографии. В предисловии, которое Вулф предпослал своей вчерне законченной рукописи (май 1938-го), он заявил, что с новой вещью для него связана художественная и духовная перемена: «Это самый объективный роман из

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 7 за 1971 г.

всех, что я написал». Весь насыщенный социальными потрясениями мир 30-х годов, а в первую очередь кризис в Америке и нацизм в Германии, многому научил Вулфа,— в свете опыта последних драматических лет иной предстала перед ним жизнь как целое. Иным стал и его герой. Некоторые критики нападали на романтические претензии и позу Юджина, на его «гениальничание». Но Вулф судил своего прежнего героя едва ли не строже, называя его «снобом»; кстати, он отмечал снобизм и джойсовского героя-интеллигента Дедалуса. Поэтому отнюдь не в угоду кому-то Вулф наделил своего нового героя отчаянно непоэтическим сходством с обезьяной, отсюда и его устойчивое прозвище «Монк» (от англ. monkey — обезьяна). В своем предисловии автор высказал надежду, что читатель не воспримет его героя как лицо исключительное и уловит нечто всеобщее в его открытии жизни и годах учения — причем учения часто на собственных ошибках. Вулф предупредил и о том, что в новом его романе сильный элемент сатирического преувеличения, «не только потому, что этого требует природа рассказа — «простодушный» открывает жизнь,— но и потому, что сатирическое преувеличение также принадлежит к природе жизни, и особенно американской жизни». Гигантская рукопись увидела свет, однако, лишь после неожиданной смерти Вулфа, немного не дожившего до 38 лет. В 1939 году второй преданный Вулфу редактор, его сверстник Эдвард Асвелл, выпустил «Паутину и скалу», в которой история Монка доходит до начала кризиса в Америке. Это естественный рубеж в жизни героя — как и всей Америки; поэтому следующий том повествования о Монке, «Домой не вернешься», вышедший в 1940 году, органически связан с предыдущим и вполне самостоятелен. К ним примыкает появившийся в 1941 году сборник рассказов Вулфа «Там, за холмами».

«Вебберовская» семейная хроника несколько отличалась от «гантовской» — отец, каменщик и строитель, нарушающий нормы южной добродетели, даже не появлялся тут на авансцене, а воспитывала героя в сумрачном духе этой добродетели его тетя Мо. Но для Вулфа 30-х годов приобрел особую важность «скрытый» уже в далеком прошлом мир отца — мир ремесла и странствий, опрокидывающего пуританские запреты жизнелюбия и бунта. Погружение в детские воспоминания со всей их теплотой и красками, с давними запахами и звуками совершенно необходимо для понимания натуры Монка и его пути. Детский, воображаемый мир совершенно реален для будущего писателя, и его фантазия о бродячем цирке, столь понятная у сына провинции, рвущегося из провинции, это и проекция отцова жизнелюбия (ибо в представлении Монка работяги-циркачи наделены вебберовской ненасытностью), и проекция унаследованной Монком отцовой непоседливости (ибо в мечтах он вместе с цирком добирается до родины Вебберов, Пенсильвании) «Погребенный» в прошлом мир отца оживает во всей жизни Монка, бунтаря и скитальца; и ему, писателю, работающему ночи напролет, с детства близки люди, не знающие филистерски размеренного распорядка,— среди них и водители фургонов и грузовиков, совершающие ночью большие перегоны и тем острее чувствующие среди тьмы, какую радость может принести обжигающий кофе на остановке и курево. Так отцов мир и фантазия о циркачах приводят к тому миру труда, в котором Вулф, живя в Бруклине, был не чужим в самые тяжелые, кризисные годы. И среди впечатлений детства он находит и такие, что под стать самым мрачно-кризисным. То же слово «buried» возникает на его страшных своей неприкрашенностью страницах о своего рода подполье его благопристойного южного города,— а вернее, городе трущоб и нищеты внутри этого, по видимости благопристойного,— и изнуренных, изношенных, задавленных жизнью и вечно беременных женах бедняков: Монка преследует образ этих «ведьм», чье чрево приносит все новых и новых «рахитиков», и мир неизбывной нищеты с детства оказывается его миром: «Он преследовал его с того момента, что он его увидел, оживляя погребенное в памяти, заставляя пережить ужасающее открытие вновь; и ему казалось, что, отнюдь не отличаясь от этих людей, он один из них...» Беременные карги, ничего не оставляющие от волшебства юности, пробуждают горькую память о вековом оскудении: они из той же породы крестьянок с гор, что и его мать. И если улица детства, поблекшая и сжавшаяся для выросшего Монка, тем не менее полна для него ярких воспоминаний о прошлой, «погребенной жизни», то есть волшебстве и аромате мальчишеской повседневности, то гротескное открытие города в городе, пробудившее Монкову прапамять, словно и не отодвигалось никуда для писателя 30-х годов. Сын жизнелюба каменщика узнал себя в ужасающе унылых фигурах, символизирующих оскорбленную жизнь. А в романе «Домой не вернешься» Монк — уже известный писатель — по поводу лондонского мелкого люда и жалкого мальчишки-рассыльного из винной лавки вспоминает то же, столь лично окрашенное для него слово: чахлые лица и тела этих лондонцев свидетельствуют об их «погребенных жизнях», причем ни еды и ни солнца не хватало поколениям и поколениям этих людей-гномов.

И тут родной город, Либия Хилл, представляет всю Америку,— и возвращается в него писатель, уже повидавший свет. Но в то же время это начало Монкова путешествия и открытия жизни — зрелый и умудренный взгляд вглубь сочетается тут с заново пережитыми мальчишескими грезами о Золотом Городе, свистки экспрессов вечно напоминают о манящем юного про-

винциала большом мире. И среди массы людей, с которыми Монка сводит жизнь, особенно выделяются фигуры, этапные для его развития и познания американской жизни.

В детстве это друг и защитник Монка по имени Небраска Крейн, не расстающийся с бейсбольной битой и готовый убить Монкова обидчика. Его товарищеская теплота делает особенно поразительными это спокойствие и невозмутимость перед возможным убийством. Хладнокровием Небраска не уступает своему отцу — полицейскому, бывшему борцу-профессионалу, неизменно побеждающему и в солидном возрасте своих соперников на арене местного цирка. Это кумир мальчишек, и его взгляды Небраска передает как нечто само собой разумеющееся. Убить для полицейского — совершенно будничное занятие, очередной «прихлопнутый» негр — даже не повод для разговора с женой, и он без церемоний готов убрать любого, стоящего ему поперек дороги,— «у нас *свободная* страна». Так в волшебство детства входит привычная американская жестокость — в легендарном ореоле.

В колледже это Джим Рэндолф и Джерри Олсоп. Джим — само мужество, футболист из легенды, герой, нуждающийся в поклонниках, и нескладный Монк, которому лестно покровительство героя,— в числе самых близких и верных. Закат Джима неожидан: он вернулся с мировой войны, из Европы, как храбрый офицер — и человек будущего «потерянного поколения»; в этом качестве он непонятен колледжу, чужой в нем — некогда легендарный спортсмен, выпавший из своей среды; и сразу очевидной стала условность и временность его геройской роли. Джерри же — не олицетворение студента как героя, а студент как пастырь, как замена мамаши вдали от дома. Гостеприимный, добродушный, склонный к юмору, он устраивает сборища и собеседования, которых не пропускает Монк. Однако «грешный» юнец, да еще увлекшийся Достоевским, отдаляется от пастыря с его прописной моралью и тягой к уравновешенности и «закругленности» в литературе. Джим и Джерри оказываются рядом с Монком и в Нью-Йорке, но тут они заметно тускнеют,— он перерос своих прежних идолов.

Герой встречает свою любовь после долгих месяцев горького нью-йоркского одиночества, когда он, до изнеможения бродя по бесконечным улицам, так остро чувствует себя чужим и потерянным в городе, где для него «нет двери». А его несколько растиньяковские мечты обращены к незнакомке из высшего и более чем обеспеченного круга. Эти не без иронии воспроизведенные мечты Монка предваряют его встречу с Эстер Джек на пароходе по пути из Европы. Эстер именно из того круга, о котором грезил Монк,— выросшая в городе, среди стали и камня, она чувствует себя здесь так же «дома», как скромный нью-йоркский преподаватель с Юга среди родных просторов: после встречи с нею герою куда легче «обжить» огромный и пугающе холодный город. Но совсем уж неожиданно и не «предусмотрено» его мечтой, что Эстер — работяга и художница по натуре, что жизнерадостностью она не уступит его отцу. и фламандские блюда, которые она готовит для ненасытного Монка, под стать праздничности лучшего года их любви; наконец, что мечта Монка о писательстве могла и не сбыться, ибо герой слишком склонен, после работы запоем, к тяжелым настроениям, унынию и неверию в себя, если бы о его писательском будущем не мечтала и Эстер. Но она — человек театра, а эти слова: «театр», «представление», «великолепное зрелище»,—излюбленные у Вулфа, слишком по-разному бывают для него окрашены в разных контекстах.

Еще до встречи с Эстер, в грезах об идеальной возлюбленной, Монк не забыл в обстановке ее дома и идеальной для него библиотеки; там, между прочим, сотни пьес елизаветинских драматургов, «бурлящие непристойной и прекрасной речью того времени». Сам Вулф начинал как драматург, и, хотя этот выбор литературного рода был для него неудачен, в его тяге к драме было нечто устойчивое. И в риторических обрамлениях, и в глубоко и масштабно пережитых сценах, и в речевых переходах от грубо земного к парящему он был своего рода елизаветинцем в современном романе. Это вполне относится и ко всей истории Монковой любви: в рассказах Эстер Джек жизнь Нью-Йорка со своими контрастами возникает как повседневное и красочное зрелище; а сама поэтическая хроника любви со всеми перипетиями, трещинами, непрочными примирениями и надвигающимся концом дана под сильным театральным освещением; оно выявляет все больше обнаруживающееся с движением сцен несходство за поразительным поначалу сродством: резко освещаются не только разные натуры, возрасты, истоки, но и разное жизненное воспитание. От порочного и поддельного во всем уклада театральной жизни, с лихорадочным блеском премьер, дежурными остротами и комплиментами манерных рецензий, Монк переходит к миру завсегдатаев премьер, где так оживлен и радостен муж Эстер, Фредерик Джек. Прослеженная во всех деталях вечеринка в доме Джеков становится для Монка символом театральной искусственности и непрочности всей жизни деловой Америки накануне биржевого краха 1929 года. Вечеринка означает для Монка бесповоротный конец его романа и того периода жизни, который проходил при театральных декорациях просперити. Герой поселяется в Бруклине в неприглядной дыре среди иммигрантов и неистово трудится над новой книгой, находя поддержку в самые безысходные часы у своего друга — великого редактора, «Фокса».

Надо иметь в виду, что реально пережитое Вулфом, сохраняя отпечаток личной вовлеченности и неповторимости, преображается, входя как этап в воспитательный роман о Монке. Конечно, это относится к

годам его близости с прообразом Эстер, театральной художницей Э. Бернстайн, о которой уже в 1930 году Вулф писал матери как о самом близком и надежном друге, встреченном им в жизни. Это относится и к его дружбе с Максуэллом Перкинсом [1], освещенной в последнем романе. С юмором набросан портрет Фокса, при всей сдержанности уроженца Новой Англии очень не чуждого вечной детскости и вечному чудачеству, с трудом расстающегося со шляпой и под душем,— друга писателей, не отступающего от них и в беде и помогающего им так, что каждый полнее является самим собой,— человека гуманного и умудренного жизнью. В плане воспитания Монка глубоко пережитые кризисные годы делают неизбежным отталкивание от Фокса, ибо для того за газетным сообщением о самоубийце в Бруклине — извечно и неизменно трагический мир, а для Монка, яростно пережившего все бруклинское горе, придавшего рассказу о неведомом самоубийце с 12 этажа отеля «Адмирал Фрэнсис Дрейк» подлинно елизаветинский масштаб,— для Монка тут мир, который просто не может оставаться прежним, какими бы безрассудными ни были надежды на его изменение. Поэтому прощание с Фоксом, заключающее «Домой не вернешься», это прощание с фатализмом и скептическим всепониманием, мешающим оттолкнуться от недостойного статус-кво. Разумеется, подлинная история отношений Вулфа и Перкинса выглядела сложнее — в том, что они расстались, был виноват отнюдь не Перкинс,— и в последнем письме, посланном Вулфом из больницы тайком от врачей, он напомнил другу о счастливейшем моменте, пережитом ими вместе, когда вышел его второй роман, и с грустью заметил, что не все задуманное удалось осуществить.

Жизнь, изображенная в последних двух романах Вулфа, как он и предупреждал, нередко предстает в сатирическом ракурсе. Неудивительно, что так выделяется тут портрет американского сатирика Макхарга, в котором нетрудно узнать Синклера Льюиса. Угол зрения берется острый, но за эксцентрическим и изношенным в его облике быстро открывается ребячье-драчливое и незащищенное,— для Монка это встреча с подлинным писательским величием, и в то же время он впервые видит пустоту за мировой славой. Сам Вулф, размышлявший над «Бэббитом», отлично продолжил его традицию в последних книгах. Тут и острая глава о «Компании», мастерски снижающая идеал современного капитализма, то «создание рынка», за которое фараоны технологического века готовы заплатить любую человеческую цену. Тут и американские провинциалы в Европе, которым не по нутру тамошняя еда и ни к чему тамошняя культура.

В некоторых главах о Европе — идет ли речь о мюнхенском «пивном рае» или парижском пороке — Вулф и сам порой смахивает на твеновского простака за границей; свой в мире европейской культуры, он скользит в этих случаях лишь по поверхности — порою туристской — иностранного быта. Но есть тут и подлинное проникновение в жизнь, прежде всего — в разделе о нацистской Германии. Зловеще пышным зрелищем предстает Берлин 1936 года, разукрашенный флагами,— и темноволосый, негнущийся фюрер, проезжающий на Олимпийский стадион мимо бессчетных военных в коричневых рубашках и жалкого берлинского люда, религиозно глядящего на этого сумрачного «мессию». Рассказ Вулфа приводит за кулисы этого нацистского театра: арест еврея, стремящегося эмигрировать, в поезде, идущем в Париж, относится к самым драматичным его сценам. В арестованном, не слишком приятном соседе по купе, поначалу раздражавшем всех, открываются черты исчезнувшего брата.

Куда конкретнее после поездок в третий рейх стало для Вулфа само понятие социальной несправедливости. Жестокость нацизма ассоциируется у него с жестокостью, в атмосфере которой он воспитывался на Юге; рассказ о стране новоявленного «мессии» в последнем романе предваряет в «Паутине и скале» рассказ о линчующей толпе, о захватившей весь город погоне и изрешеченном пулями негре. Снова и снова возвращается Вулф и к тому, сколь пагубен «мотив выгоды»,— принципиально важный для себя рассказ о «Компании» он публикует в левом журнале «Нью Мэссиз». Но драматичный мир 30-х годов, осветивший для Вулфа столь резким светом лицо Врага, поддерживал и его уитменовскую уверенность, что подлинное открытие любимой им и столь полно воспринятой им Америки — впереди.

Сколько бы ни повторял Вулф, что его Монк — один из тысяч, если не миллионов, герой остается резко индивидуальным: идет ли речь о его работе ночи напролет или о его многочасовых скитаниях по спящему городу, о его сильных привязанностях и столь же сильных отталкиваниях, порою не подвластных рассудку и нередко столь же мучительных для него, как и для его близких, наконец, о его стойкой и в чем-то очень косной провинциальности и о стремлении вобрать в себя всю Америку, весь мир. Когда Вулф представляет своего Монка как тип, это кажется нам достаточно наивным. Но в последних двух книгах вполне сложился самый его тип воспитательного романа. Если прежде бунтующий герой, по известной гегелевской характеристике, обламывал себе рога и вписывался в буржуазную жизнь, то тут самый бунт против несправедливости становится все более серьезным и осмысленным. Оглядываясь на весь свой путь в письме к Фоксу, Монк видит в начале его любимого преподавателя

[1] Блестящую характеристику Перкинса, знаменитого редактора издательства «Скрибнерс» и деятеля американской культуры, дал И. А. Кашкин в своей биографии Хемингуэя.

колледжа, почитателя Гегеля, представлявшего в глазах молодежи критическую мысль; выходцев из консервативной среды он учил не принимать на веру «самые священные из наших национальных предрассудков и суеверий». А повтор «Домой не вернешься» означает и то, что с годами тем более невозможно вернуться «на круги своя», и то, что герой (и автор) продолжает учиться у жизни, оставив позади все наивно-романтическое и чисто эстетическое в бунте 20-х годов. Горизонты писателя-бунтаря и соответственно воспитательного романа расширяются.

3

Спор о Вулфе давно уже обернулся спором о путях американского реализма и связях американского писателя с современной историей. Разумеется, приверженность Вулфа к критическому направлению от начала и до конца не вызывает сомнений. Несомненно и то, что, ценя в этом направлении и Драйзера, и Льюиса, он считал себя особенно обязанным Шервуду Андерсону. В первом письме его Андерсону, в 1935 году, говорится: «Мне всегда казалось, с тех пор как я начал читать Ваши книги двадцатилетним парнишкой, что Вы проникли за поверхность наших жизней и открыли нечто ужасное и таинственное, безобразное и прекрасное в Америке лучше, чем кто-либо еще». И в последнем письме Андерсону, написанном в конце 1937-го, после нескольких дружеских встреч и неожиданной ссоры в пору Вулфовой депрессии и бесконтрольной ярости, он продолжает считать «Уайнсбург» «лучшей прозой, появившейся в этой стране в этом веке». Для многих писателей поколения Вулфа и следующего эта книга была творческим стимулом и отправным пунктом собственных поисков: схематически говоря, их движение шло от провинции к большому миру, от новеллистического романа — к большой форме, более широко захватывающей американский опыт, от национальных истоков — ко всей многовековой культуре Старого Света. К Вулфу, с его верностью пережитому в детстве — и творческой ненасытностью и мощью,— у Андерсона было особое чувство. Он сравнивал его, человека и творца, с Миссисипи и после смерти Вулфа написал о нем письмо Перкинсу, полное горечи утраты: «У Тома было столько того, что нужно,— жизненная сила, огромный и богатый талант», и потом: «Немного у нас писателей класса Тома».

Но именно потому, что развитие Вулфа шло в общем для его поколения русле, а выделяло его столь явно стремление захватить все, вложить весь американский опыт в одну огромную книгу жизни, о нем столько и спорили. Самым авторитетным для писателя оппонентом выступил его друг Скотт Фицджеральд. Исключительно высоко оценивая дар Вулфа и его возможности, он отдавал предпочтение сравнительно небольшим его вещам — среди них был известный у нас мрачный и сжатый, весь на диалоге, рассказ «Только мертвые знают Бруклин». А в большой прозе Вулфа 30-х годов он ставил выше всего те места, где видел сочетание лиризма с силой наблюдательности. Расхождение же Фицджеральда с другом касалось проблемы отбора. Поток Вулфовых эпитетов и весь его роман-поток он находил поэтически неоднородным и далеко не безупречным с точки зрения строгого артистизма; он отмечал в романе Вулфа виртуозно воспроизведенную манеру самых разных писателей — от старых до новейших, но не видел какой-то своей художественной линии. В письме Вулфу, призывая его отсекать лишнее, Фицджеральд ставил в пример «Мадам Бовари» как образец безупречного мастерства и точного отбора.

Вулф, которого задело письмо друга, защищал свое стремление к максимальному охвату жизни, настаивая, что классики умели прежде всего вобрать как можно больше, а уж потом думали, как опустить лишнее. В качестве контробразца он выдвинул «Тристрама Шенди», находя в свободно текущем романе Стерна нечто близкое своему роману-потоку и полемически провозглашая эту книгу великой благодаря ее *«невыборочному* отбору».

Этот спор был словно продолжен, когда уже не было в живых обоих писателей. Фолкнер в своем известном перечне мастеров своего поколения отвел Вулфу первое место, демонстративно лишив «призового» места Хемингуэя. Это дало повод к бесконечным кривотолкам; суть же дела — и в споре Вулфа с Фицджеральдом, и в фолкнеровском предпочтении Вулфа Хемингуэю — была в том, какая из двух творческих позиций более перспективна и важна сейчас для развития американской прозы. Хемингуэй как автор «Мужчин без женщин» и «Фиесты» оставался для Фолкнера самым законченным и непревзойденным мастером. Но парадоксальный перечень был составлен по парадоксальному принципу: кто больше дерзал и рисковал и — если считать, что все потерпели поражение,— чье поражение было самым «великолепным»? Тут Вулф с его дерзкими стремлениями и выдвигается на первый план; в письме Р. Уолсеру, приведенном в начале антологии «Загадка Томаса Вулфа», Фолкнер пояснял, что его восхищает стремление Вулфа в краткий жизненный срок «сказать все», не считаясь с эстетическими ограничениями. Речь шла не о совершенстве достигнутого, а о творческой дерзости, столь необходимой, по мнению Фолкнера, современной американской прозе.

Подобные полярные оценки давали Вулфу и европейские его почитатели.

«Очень значительным писателем» назвал его, на пороге 40-х годов, итальянский антифашист Элио Витторини: колоритный портрет американского «идеалиста» дяди Баскома, скарединого проповедника и речистого делового человека, был особенно близок этому писателю-бунтарю. А в общей характеристике Вулфа, которую Витто-

рини набросал в предисловии к своей изъятой властями антологии «Американа» (1941), были удивительные совпадения с тем, что высказал незадолго до того Фицджералд в своих письмах. Если американский друг видел у Вулфа прекрасный ум, очень многое «включающий в себя», то Витторини говорил об особом складе его «писательской души», ни от чего не отказывающейся, откликающейся на все. Он отмечал в «густой прозе» Вулфа, многослойной и многосоставной, чудеса импрессионизма, а из небольших вещей Вулфа, в пору работы над «Американой», обращал внимание именно на те, что Фицджералд считал его шедеврами: «Только мертвые знают Бруклин» и «Четверо потерянных мужчин». Оценивая Вулфа на фоне художественного развития Америки между войнами, Витторини замечал, что он был бы кульминационным пунктом, достигнутым прозой в 30-е годы, если бы Фолкнер и Хемингуэй, каждый по-своему, не проложили иных путей.

Совсем другие отправные точки в статье о Вулфе, опубликованной в 1953 году Генрихом Бёлем. Здесь акцентируется «неисчерпаемость» американского писателя, то, насколько новы картины Юга и детства в «Паутине и скале» для читателя «Ангела» и как неожиданно и глубоко разработаны там фигуры, по видимости нам знакомые. Нетрудно уловить в этой статье перекличку с фолкнеровским письмом Р. Уолсеру, отправленным за год до того. И Бёль чувствует, как связан дерзкий масштаб и самый склад Вулфовой прозы с постоянно угрожавшей и ему «тенью, поглотившей Бена». Поток Вулфовых эпитетов отнюдь не смущает Бёля,— особо выделяет он эпитет «горький», столь частый у Вулфа, когда речь идет о жизни. «Ни одно произведение Томаса Вулфа не является совершенным,— пишет Бёль,— но все они наполнены, в них вошел Томас Вулф полностью...»

Спор вокруг Вулфа, идущий не одно десятилетие, далек от разрешения. Это и естественно, коль скоро речь идет о разных творческих позициях — при ощущении духовного родства. Но важно видеть, как проявилось в ходе самого спора движение времени. Оценка Вулфа и у Фицджералда, и у Витторини определялась поисками собственной поэтики, причем оба они тяготели к хемингуэевским художественным нормам. А в 50-е годы, к которым относятся и статья Бёля, и письмо Фолкнера Р. Уолсеру, эти нормы успели получить мировое признание, но вслед за тем пришло и ощущение, что за пределами хемингуэевской вселенной остается слишком многое. И Вулф, со всеми его шероховатостями, выдвигается ныне как художник, чей широкий контакт с нашим сложным и меняющимся миром был немыслим без эстетической разомкнутости, без связи с самыми разными художественными системами и традициями.

За статьей Бёля стоит и иная полемика о Вулфе, завязавшаяся в 30-е годы: уже не чисто творческая, а непосредственно политическая. Книги о Гантах и Пентлендах получили в Германии того времени особенный резонанс; об этом говорит сам Вулф в четвертом романе. Многие немцы, отрезанные нацистской «культурной политикой» от мировой культуры, видели в Вулфе напоминание обо всем, чего лишилась литература в третьем рейхе. А когда он выступил со своим обвинением режиму рейха, критик-нацист Ганс Франке с солдафонской прямолинейностью напал не только на Вулфа, но и на его энтузиастов в Германии; о самом типе Вулфова романа он написал: «бесформенный жанр, проникнутый духом отрицания и даже нигилизма,— это противоположность всему, что мы должны сегодня требовать от литературы в Германии». Так спору о писателе придавался политический смысл.

И в современной Америке в спорах о Вулфе нередко присутствует политика; когда дискутируют о развитии писателя, это часть общего спора о наследии 30-х годов. Конечно, по своим истокам Вулф был достаточно далек от проблематики, увлекавшей американских левых. Но острое чувство реальности неумолимо толкало его к этой проблематике. Не удивительно, что в «Паутине и скале» он упоминает о России, «где развертывается самый важный политический эксперимент нового времени», и то, что Джима Рэндолфа не тянуло в эту страну, дорисовывает портрет человека, утратившего контакт с изменившимся миром. Интересно и упоминание в одном из писем Вулфа об увиденном им «необычайном фильме», «Ленин в Октябре»,— он даже приводит поразившие его слова Ленина, что после революции спать не придется. Искренний интерес писателя ко всему левому имел, разумеется, свои границы. Но особенно важно, что все повествование о Монке проникнуто ощущением эпохи кризиса как переломной и очень многое осветившей в национальной истории.

Этой эпохой во многом воспитан и сам Вулф. Американские критики порою акцентируют те черты его книг, в которых сказалось воспринятое им влияние косной среды с ее предубеждением против «некоренных», пришлых американцев. В изображении таких критиков Вулф оказывается чистой воды провинциалом на мировой арене. Но эти судьи не хотят видеть, как часто Вулф шел наперекор привычному для него с детства: кризис менял само его представление о своем народе. Консервативные стереотипы цепко держались в его сознании; они иногда отзывались даже в том, что он говорил и писал в последние годы. Но тем большего стоит фраза о соседях Монка по невзрачному кварталу Южного Бруклина. С каким вызовом и даже нажимом говорит Вулф, что жили там по боль-

шей части «армяне, итальянцы, испанцы, ирландцы и евреи — короче, американцы». И журнал «Нью Мэссиз», откликаясь на смерть Вулфа, не скрыл присущих ему предрассудков, которые сам писатель стремился преодолеть. Но журнал по праву видел в нем человека, который мог бы быть и начал становиться «очень крупным радикальным писателем».

Впрочем, развивался ли Вулф? Есть авторитетные суждения, что обещание «Ангела» было лишь обещанием, что Вулф так и не вышел из первоначального круга тем и остался поэтом юности. Недавно против этого решительно выступил романист Гарви Сводос: для него Вулфовы картины кризиса, жестокие и поэтичные,— это пример неустаревшего и столь нужного ныне «великого взгляда» на Америку. Большой подборкой сцен и отрывков из последнего романа Вулфа Сводос заключил свою антологию «Американский писатель и Великая Депрессия» (1966). Развитие Вулфа предстает тут в актуальном контексте: самоизоляции и апатии, столь частым в послевоенные годы, Сводос противопоставляет широкую трактовку национальной темы в литературе о кризисе. В антологии четко сказано, что значила современная история для поэта юности и как созревал он, «входя в 30-е годы». Эта антология показала, что ныне между всем путем Вулфа и путями радикально настроенной американской интеллигенции нет никакого средостения, никакого разрыва.

И весь путь Вулфа — недолгий, рано оборвавшийся, незавершенный — предстал как внутренне логичный и закономерный. Ангел отца — символ бесконечного поиска и труда — поэтически освещает как нечто целостное все четыре его воспитательных романа и тот порыв к зрелости, опыту, широкому охвату «всей Америки», «всего мира», которым пронизаны эти книги.

Культура и современность

Заметки на полях
зарубежных газет и журналов

КОНЕЦ ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

Несколько лет назад преподаватель литературы одного из английских университетов рассказал мне анекдотический случай из своей практики. Пришла как-то к нему на экзамен студентка и (очевидно, во избежание недоразумений) с места в карьер заявила, что за истекший год она не прочла ни одной книги и не собирается читать их в дальнейшем.

— Почему? — спросил он, несколько ошарашенный таким заявлением будущего филолога.

— Да потому,— с митинговым пылом ответила студентка,— что чтение — это индивидуальная и, значит, индивидуалистическая форма деятельности. А всякая индивидуалистическая деятельность — буржуазна. И как таковая она способствует интеграции индивида в рамках капиталистического общества. Мы признаем только непосредственно коллективные способы постижения науки — диспуты, митинги, демонстрации и т. д.

Мне тут же вспомнились аналогичные ситуации, встречавшиеся еще в двадцатые годы, о чем я и сообщил собеседнику. Но его не тронула эта ассоциация. Его гораздо больше интересовала связь упомянутого анекдотического случая с общим ростом активности студенческой молодежи и спонтанными поисками ею новых форм самовыражения и самопроявления, которые имели бы непосредственно коллективный характер.

Совсем недавно рассказ преподавателя снова пришел мне на память. О нем мне живо напомнила статья Г. М. Энценсбергера «Составные части теории средств информации», опубликованная в двадцатом выпуске издаваемого им «Курсбуха». Одним из основных ее тезисов служит то же самое утверждение — о «буржуазности» письменной литературы как таковой. Поставленные в связь друг с другом, две, казалось бы, разнопорядковые вещи — отказ студентки-филолога читать книги и теоретическое ниспровержение письменной литературы известным поэтом и публицистом Г. М. Энценсбергером — «провоцируют» три умозаключения. 1. В русле молодежного движения протеста трудно найти такой экстравагантный продукт буйной фантазии, который не получил бы со временем «теоретического обоснования». 2. В ходе подобного «обоснования» непременно обретается определенная идейная традиция, в лоне которой «теоретически обосновываемое» явление предстает как выражение определенного типа сознания. 3. На фоне этого типа сознания, имеющего не только исторические, но и духовные корни, данное явление (скажем, тот же «казус», происшедший на экзамене по литературе) не представляется уже чем-то случайным, связанным с мимолетными умонастроениями.

Обо всем этом и пойдет речь дальше.

Упреки Г. М. Энценсбергера по адресу письменной литературы суммируются следующим образом. Книга, как и другие — «старые» (а значит — «устаревшие») средства коммуникации, например, станковая живопись, «имеет исключительно классовый характер». «Классовый характер» писательского труда «не подлежит сомнению даже в век всеобщего обязательного образования». Письменная литература вообще возникла и оформилась как орудие «прогрессивной буржуазии», которое, естественно, должно потерять свое прогрессивное значение в «позднебуржуазную» эпоху, когда господствующий класс становится реакционным. В аспекте структурном буржуазность книгопечатания

связана хотя бы с тем, что оно представляет собою «монологичное» средство коммуникации. Книга — как орудие такого способа коммуникации — изолирует производителя и потребителя друг от друга, исключает диалог (дискуссию) между ними в коммуникативном процессе. Кроме того, писательский труд предполагает высокий уровень специализации и тем самым углубляет пропасть между производителями книжной продукции и ее потребителями, порождая склонность первых к «кастовому мышлению», вызывая у них иллюзию «избранности», превосходства над вторыми. С точки зрения содержательной кастовое мышление есть не что иное, как результат приспособления писательского сословия к буржуазному обществу — его нормам и табу.

Приспособление это предполагает многолетнюю тренировку, изощренный тренаж. Уже сам процесс обучения литературе, элементарному письму (чистописание) предстает как род дрессировки, осуществляемой буржуазным обществом с помощью школы. Ведь эстетика письменной литературы выражает явное презрение к жизни: паузы, запинки, оговорки, повторы рассматриваются как нарушение литературных правил. С малых лет детей учат регулированию языковых форм без оглядки на содержание, замазыванию — с помощью формализованной гладкописи — реальных противоречий жизни. Наконец, письменно-литературная дрессировка не выдерживает критики и с чисто физиологической точки зрения. Самый процесс писания предполагает неестественное («окоченелое») положение человеческого тела. Это становится особенно очевидным при сравнении писания с говорением — не случайно «почти все люди говорят лучше, чем пишут».

Не ограничиваясь критикой письменной литературы с «классовых», антропологических и физиологических позиций, Г. М. Энценсбергер пытается доказать относительность ее ценности с точки зрения всемирной истории.

> «Рассмотренная исторически, писаная литература,— заявляет он,— играла доминирующую роль только в течение нескольких столетий. Сегодня преобладание книги воспринимается уже как эпизод. Ему предшествовал несравненно больший временной период, когда литература была устной; а теперь ему на смену пришел век электронных средств массовой коммуникации, снова заставляющий человека говорить».

Впрочем, по Энценсбергеру, нет насущной необходимости не только в письменном литературном тексте, но и в литературно оформленном тексте вообще. В качестве «момента» системы электронных средств коммуникации, как она видится Энценсбергеру, должна была бы фигурировать (слава богу, «в будущем») уже и не устная литература, а обыденная разговорная речь, взятая до осознания говорящим ее норм и законов.

> «Микрофон и телекамера,— пишет Энценсбергер,— снимают классовый характер способа производства в сфере массовой коммуникации. Нормативные правила (которые предписываются «книжной» формой коммуникации.— **Ю. Д.**) отступают на задний план. Устное интервью, спор, демонстрации не требуют и не допускают никакой орфографии и никакой «стилистики». Телеэкран разоблачает эстетическое сглаживание неразрешенных противоречий как камуфляж».

В принципе любой первый встречный может быть теперь «производителем» в системе коммуникации, и чем меньше он отшлифован «книжной» культурой, тем лучше: тем интереснее будет наблюдать его на телеэкране.

Итак, в каком бы разрезе ни брать письменную (и, как мы видели, не только письменную) литературу, вывод — по Энценсбергеру — будет одним и тем же. Она обречена, ее должны вытеснить «более современные» — электронные — средства массовой коммуникации.

> «Правда,— спохватывается Энценсбергер,— крайне невероятно, чтобы писание исчезло в обозримое время как специальная техника. Это относится также и к книге, практические преимущества которой для многих целей очевидны, как и прежде. Хотя она и менее удобна и компактна, чем другие системы аккумуляции, все же она до сих пор предоставляет более простые возможности использования, чем, например, микрофильм или магнитофонная пленка. Она, возможно, будет интегрирована как пограничный случай в системе новых средств коммуникации...»

Эта оговорка, однако, не меняет главной установки Энценсбергера, которая заключается в том, что процесс вытеснения «книжной» системы коммуникации (до степени «пограничного случая») необходим, в качестве необходимого—истинен, в качестве истинного — благотворен, нравственно оправдан и т. д. и т. п. Ибо все эти определения совпадают друг с другом, согласно общему представлению Энценсбергера, как аспекты одной и той же исторической Необходимости. В таком виде предстает перед нами общая методологическая позиция Энценсбергера, хотя сам он далеко не всегда осознает ее мировоззренческие истоки и возможные «экспликации» из нее.

Первую (и, пожалуй, важнейшую) особенность электронных средств массовой коммуникации Энценсбергер видит в том, что они «эгалитарны по самой своей структуре».

«Каждый может принять в них участие с помощью простого нажатия кнопок. Теле- и радиопрограммы — вещи нематериальные и могут по желанию воспроизводиться в любой момент. В этом смысле электронные средства коммуникации полностью отличаются от старых, таких как книга или станковая живопись, классовый характер которых очевиден (разрядка моя.— Ю. Д.). Телепрограммы для привилегированных групп технически, конечно, возможны... но противоречат структуре электронных коммуникаций. В потенции новые средства уничтожат все привилегии образования и тем самым покончат с культурной монополией буржуазной интеллигенции. В этом кроется одна из причин злобы, которую питают мнимые элиты к новой индустрии. Что же касается «духа», который они пытаются защитить от «обезличивания» и «омассовления», то чем скорее они его испустят, тем лучше».

Ибо дух, ориентированный личностно и сопротивляющийся «омассовлению», Энценсбергер не в состоянии представить себе иначе, чем с эпитетом «буржуазный».

Вторую положительную особенность новых средств коммуникации Энценсбергер видит в том, что они «ориентированы активно, а не созерцательно». (Соответственно «книжно-письменные» средства коммуникации уличаются в грехе пассивности и созерцательности.) К сожалению, он не раскрывает, что означает это утверждение, хотя как раз оно вызывает едва ли не наибольшее количество вопросов и сомнений. Существует ведь целая литература, достаточно убедительно свидетельствующая о том, что электронные средства массовой коммуникации в гораздо меньшей степени предполагают активность воспринимающего, чем это имеет место, скажем, при восприятии художественной литературы (и даже любого письменного текста). Для того чтобы прочитать определенный текст, все-таки нужно сделать над собою некоторое усилие. А вот для того, чтобы смотреть телепередачу, таких усилий вообще не нужно: достаточно лишь не закрывать глаза — все остальное сделает за вас движущееся изображение. Оно даже зрачками вашими завладеет и будет «манипулировать» ими независимо от вас. Эти факты нельзя обойти, тем более что их как раз и имели в виду те, кого Энценсбергер объединяет под общей рубрикой «новые левые шестидесятых годов». Он должен был бы дать этим фактам свое истолкование, коль скоро они не помешали ему сделать вывод об «активной» ориентации электронных средств коммуникации. Или — возможен и такой случай — он должен был бы дать новое истолкование понятия «активности» и «активной ориентации» восприятия и сознания вообще.

Третьим принципиально важным преимуществом новейших средств коммуникации является — по утверждению Энценсбергера — то, что они ориентированы не на прошлое, а на настоящее, не на традицию, а на актуальность, злободневность, на быстротечное мгновение.

«Их отношение к времени прямо противоположно отношению буржуазной культуры, которая стремится к обладанию, то есть к долговечности, в идеале — к вечности. Средства массовой коммуникации не производят предметов, которые можно было бы коллекционировать, скупать или продавать с аукциона. Они начисто отменяют «духовную собственность» и ликвидируют «наследство», то есть специфически классовую передачу имматериального капитала».

При этом Энценсбергер не замечает, что, если продумать эту мысль до конца, ему придется предложить в качестве идеального человека существо без памяти, живущее только настоящим, вроде тех, что грезились Оруэллу в его антиутопии «1984 год». И словно желая утвердить читателя в этом подозрении, Энценсбергер с удовлетворением пишет о том, что электронные средства коммуникации позволяют «осовременить» историю, отдав исторический материал «в распоряжение современным целям», то есть, выражаясь языком двадцатых годов, превратив историческую науку в «политику, опрокинутую в прошлое». Он убежден в неизбежности, а следовательно, оправданности манипуляторского подхода к человеческому сознанию в условиях современной (и не только современной) системы коммуникаций.

«Всякое использование средств коммуникации,— пишет Энценсбергер,— предполагает манипуляцию. Элементарный процесс производства в области средств коммуникации, начиная от выбора коммуникативного средства — через съемку (запись), разрезание, синхронизацию, смешивание — вплоть до распространения, в целом представляет собою вмешательство в наличный материал. Свободные от манипуляции писание, съемка фильма, подготовка радиопередачи не существуют. Поэтому вопрос не в том, манипулируют ли в области средств коммуникации или нет, а в том, кто ими манипулирует. Революционный проект не должен вести к исчезновению манипуляторства; наоборот, он должен сделать манипулятором каждого».

Книга, картина (и «станковые» средства коммуникации вообще) не удовлетворяют Энценсбергера потому, что здесь, с одной стороны, «манипуляция», как правило, скрыта, а с другой — имеет односторонний характер. Коль скоро книга написана и предложена читателю в виде завершенного творения, автор может с ее помощью манипулировать сознанием читателя (схему такого манипулирования он заложил в этом своем

произведении), тогда как читатель не может сделать этого в отношении автора. Словом, книга, как и любое другое завершенное и замкнутое на себя произведение, рожденное в системе «доэлектронных» средств коммуникации, в принципе исключает взаимность манипуляции. Манипуляция возможна здесь только в одном направлении — сверху вниз: от поставщика информации (коммуникатора) к потребителю (реципиенту). Что же касается электронных средств коммуникации, то в принципе они допускают и даже предполагают взаимность манипуляции. В их технической структуре уже заложена возможность так организовать коммуникативный процесс, чтобы каждый мог вторгнуться в него, превратившись из «реципиента» в «коммуникатора», из объекта манипуляции — в манипулятора. И стоит только ликвидировать буржуазную монополию на средства массовой коммуникации, как эта возможность начнет превращаться в действительность.

Энценсбергер не скрывает, что он — не единственный автор этой «впечатляющей» концепции универсального манипулирования, имеющего быть в «Грядущем» (на развалинах «книжно-письменной» и иных «станковых» форм коммуникации и культуры). Свое теоретическое построение он считает последовательным развитием точки зрения «лево»-марксистского социолога 30-х годов Вальтера Беньямина, изложенной в работе последнего «Произведение искусства в век технической репродуцируемости художественных произведений». Правда, Беньямин не был склонен универсализировать свою точку зрения, как это делает его последователь. Он ограничился одной проблемой—проблемой эволюции изображения в западноевропейской живописи в связи с развитием техники репродуцирования. В итоге своего исследования он пришел к выводу, что изобразительное искусство эволюционировало по пути выделения изображения из целостности религиозного культа и ритуала. Затем — по мере развития гравюры и иных форм репродуцирования изображения—оно обнаружило тенденцию отделения и от того материала, в котором было воплощено, с помощью которого было создано. В конце концов этот процесс привел к полному освобождению изображения от всех тех зависимостей, которыми оно было связано в уникальном произведении искусства живописи. И если первоначально изображение рассматривалось как нечто «однократное», раз и навсегда связанное с той ситуацией, внутри которой оно возникло (будучи нанесено на стену здания, холст или лист бумаги), то теперь его можно было перенести в любую иную ситуацию, нанести на любой другой предмет — будь это спичечный коробок, конфетная обертка или кинолента.

Вместе с этим — согласно Беньямину — изображение (и произведение живописи вообще) окончательно утрачивало то, что оно несло с собою еще со времени своего возникновения в лоне религиозного культа и ритуала. Оно утрачивало ауру — некое «мистическое» сияние, распространявшееся вокруг него, окружавшее его так же, как золотой нимб окружал головы святых, изображенных на иконах. Таким образом, изображение (как и искусство вообще) окончательно «демистифицировалось».

Но как раз эта заключительная фаза эволюции изображения, полностью «демистифицировавшегося» и освободившегося от всех и всяких связей с религией, обнаружила, по мысли Беньямина, противоречивость искусства живописи, да и всего искусства. Оказалось, утверждал Беньямин, что искусство не имеет своего собственного фундамента и представляет собою нечто в высшей степени субъективное, поддающееся любому истолкованию и любому применению. Особенно выразительно это продемонстрировал, по его мнению, кинематограф. Изображение стало чем-то зыблющимся, призрачным: оно одновременно существует и не существует, оно и «есть» и в то же время «не есть» — потому-то и можно сделать с ним все что угодно, превратив его в инструмент любой манипуляции. Да и сама эстетическая функция искусства, как оказалось, не была решающей: она характеризовала искусство в период переходного, промежуточного состояния, когда искусство освободилось от власти религии, но еще не нашло себе нового господина.

Кто же должен стать новым господином искусства (а может, уже стал)? Где оно снова обретет, наконец, свое «достаточное основание»?

Таким абсолютным господином искусства Беньямин, а вслед за ним и Энценсбергер, считает политику. Эстетическая функция искусства, подчеркивает Энценсбергер, оказалась случайной: она характеризовала искусство в условиях буржуазно-индивидуалистической эпохи, когда оно пыталось апеллировать к отдельным личностям и достигало на этом пути определенных успехов. Теперь же, в век масс и массовых движений, оно не может найти опору в этой своей функции, черпать там энергию для дальнейшего существования; XIX век, рассматривавший эту функцию искусства как основную, универсальную, в конечном счете оказался неправ. XX век показал, что базой искусства, «равномощной» той, какую оно имело в религиозном культе и ритуале, может быть только политика; и, соответственно, решающей функцией искусства следует считать не эстетическую, а ту, которую оно выполняет в составе массового политического действия.

> «Тенденции,— пишет Энценсбергер,— которые Беньямин в свое время обнаружил на примере кинематографа, постигнув теоретически их важность, сегодня проявились вместе со стремительным ростом индустрии сознания. То, что до сих пор называлось искусством, диалектически — в строго гегелевском смысле слова — отрицается средствами коммуникации и в них. Спор о конце искусства

является праздным, если этот конец не понимается как диалектический. Художественное творчество раскрывается как крайний, пограничный случай гораздо более всеобщей продуктивности и общественно значимо лишь в той мере, в какой оно отказывается от всяких претензий на автономию и признает себя пограничным случаем... Для эстетической теории это означает необходимость решительного изменения перспективы. Вместо того чтобы рассматривать новые средства коммуникации с точки зрения более старых способов производства, она должна, наоборот, анализировать с точки зрения современных условий производства то, что производится с помощью традиционных «художественных» средств».

В рамках такого «решительного изменения перспективы» специфически эстетические проблемы искусства и литературы «отрицаются» — уже совсем не в гегелевском смысле. За «общеэстетическое» решение проблемы выдается решение специфических проблем кино или телевидения — на том основании, что в них в «подвергнутом отрицанию» виде представлены и литература и искусство (а если не представлены — тем хуже для них). Так выглядит, в частности, решение двух острейших эстетических проблем современности: проблема документализма и проблема произведения искусства.

«Растерянность критики перед лицом документализма,— пишет Энценсбергер,— показывает, насколько сильно мышление критиков отстало от состояния производительных сил. Это происходит оттого, что электронные средства коммуникации лишили значения одну из фундаментальнейших категорий эстетики прошлого — категорию вымысла. Противопоставление «вымысел — не вымысел» (fiction—non-fiction) снято с повестки дня точно так же, как было снято излюбленное в XIX веке диалектическое противопоставление «искусство — жизнь».

По утверждению Энценсбергера, отныне уже нет разницы между репортажем и комедией. «Факт», показанный с помощью телекамеры или «сконструированный» так, чтобы его не отличили от реальности, имеет одну и ту же ценность, определяемую функционально — той ролью, которую упомянутый «факт» играет в системе воздействий на массовую публику, эффективностью этой роли.

«Материал, будь он «документальным» или «вымышленным»,— в каждом случае лишь сырье, полуфабрикат, и чем обстоятельнее исследуется его происхождение, тем более расплывается упомянутое различие. (Реальность, в которой обнаруживается телекамера, всегда — выставочная. Пример: показ высадки на Луне.)»

Рассуждая, таким образом, в духе Беньямина, Энценсбергер повторяет здесь ошибки своего учителя. Вслед за последним он рассматривает в качестве единственной формы достоверности только эмпирически-чувственную достоверность (уже — зрительно воспринимаемую достоверность). И как только современные средства коммуникации обнаруживают диалектически противоречивый, преходящий, условный характер этой достоверности, Энценсбергеру начинает казаться, что рушится принцип достоверности вообще. Отсюда — полнейший субъективизм и релятивизм Энценсбергера, спасаясь от которого он готов ухватиться за первую попавшуюся соломинку (лишь бы она была потолще). В качестве такой «соломинки» в его поле зрения и оказывается Политика; она выступает в его рассуждениях как единственная реальность, а homo politicus — как единственно реальный человек.

К тем же результатам приходит Энценсбергер в процессе решения проблемы произведения искусства. Здесь он также отправляется от «модели», возникшей у него в связи с размышлениями о перспективах электронных средств коммуникации (главным образом телевидения), взятых к тому же только в одном — политическом — аспекте, в аспекте политического воздействия на массы. Он, вполне естественно, примыкает к лагерю тех, кто критикует идею целостного художественного произведения как давно и безнадежно устаревшее наследие идеалистической философии и эстетики XIX века. По его мнению, распадение целостности художественного произведения опять-таки имеет своей причиной развитие средств массовой коммуникации, в рамках которых рушится былая замкнутость, обособленность предмета вообще, а потому и произведение искусства не может уже мыслиться как «целостный предмет». Оно мыслится теперь как «открытая форма», то есть как некоторый «импульс», посылаемый телезрителю, радиослушателю с целью вызвать его ответную активность. Эта ответная реакция и должна, во-первых, обеспечить «открытой форме» ее дальнейшее развитие, учитывающее реакцию-поправку публики, а во-вторых, наполнить эту форму содержанием, меняющимся от одного ответного импульса к другому. Поскольку форма «открыта» любой ответной реакции, постольку взаимодействие между «коммуникатором» и «реципиентом» неизбежно должно оказаться достаточно хаотическим. В этом случае должно получиться что-то вроде хэппенинга. На него-то и ориентируется Энценсбергер, когда пытается представить, что же должно получиться в результате неожиданного пересечения неожиданных реакций и импульсов в лоне «открытой формы». По его мнению, сегодняшний хэппенинг, как и вчерашний дадаизм,

«обнаруживает сознание того, что монологические средства коммуникации соответствуют сегодня только остаточной потребительной стоимости».

Хэппенинг привлекает Энценсбергера как «модель» идеального сочетания, с одной стороны, абсолютной стихийности, ничем не обусловленного волеизъявления индивидов, а с другой — политической тенденциозности, призванной, в конечном счете, выразить единую волю масс. Он — хэппенинг,— кажется ему, обещает перспективу слияния раскаленности массового экстаза и холодной трезвости политики. Между этими противоположными полюсами не предполагается опосредствующего звена, да оно и не нужно. Ибо в общем-то здесь идет речь лишь об одном типе страстей — о политических страстях, об одном измерении реальности — политическом измерении. Все представления Энценсбергера об идеальных способах общения людей в условиях электронной коммуникации восходят к одному и тому же образу, витающему в его воображении,— к образу политического митинга: яростные речи ораторов, выкрики с мест, шум, свист, топот и т. д. И в общем в подобных симпатиях нет ничего незаконного. Только возникает вопрос: почему реальность, соответствующая этому образу, должна утверждаться как единственно законная и единственно допустимая? Почему она должна играть роль гегелевского Абсолюта? Нет ли здесь односторонности, которая, между прочим, особенно опасна именно в политике? Не в этой ли односторонности таятся, в частности, источники левого экстремизма Энценсбергера, который привел его на неотроцкистские позиции? И не с этой ли односторонностью связано его стремление трактовать идею культурной революции в маоистском духе «революции» против культуры? (Вспомним пресловутое энценсбергеровское: «Культура — последний оплот буржуазии».)

Свою позицию Энценсбергер противопоставляет позиции «новых левых шестидесятых годов», которые, по его мнению, представляли ретроградную (чтобы не сказать — реакционную) точку зрения.

> «С одной стороны, эти товарищи,— пишет он о «новых левых»,— ищут прибежище в устарелых формах коммуникации и эзотерическом ремесленном рукоделии, вместо того чтобы углубиться в анализ противоречия между современным положением средств коммуникации и их революционным потенциалом; с другой стороны, они не могут отделаться от влияния индустрии сознания и ее эстетики».

Энценсбергер считает себя антиподом «новых левых шестидесятых годов». На самом же деле он выражает новейшую тенденцию этого же движения, перешедшего — к концу прошлого десятилетия — от балансирования на грани культуры и не-культуры, искусства и не-искусства (к чему призывал Т. В. Адорно) к отрицанию искусства и культуры вообще. Между прочим, в сфере более близкой к искусству, этот переход ознаменовался превращением авангардизма в неоавангардизм.

Возвышая «новейшие» средства массовой коммуникации за счет принижения «устарелых», Энценсбергер сделал гораздо больше, чем это было нужно для преодоления пессимизма «новых левых шестидесятых годов», и впал в противоположную крайность «некритического позитивизма», если воспользоваться здесь выражением молодого Маркса. Ассоциация с марксовой критикой «некритического позитивизма» Гегеля возникла здесь не случайно. Маркс критиковал великого немецкого идеалиста за то, что его философия с логической необходимостью приходит к освящению самой убогой «эмпирической реальности». То же самое происходит и у Энценсбергера, который возвеличивает электронные средства коммуникации за то, что они — факт более позднего происхождения, что за ними — сила. (Хотя — во всяком случае, в настоящее время — это чисто количественная сила, которой очень и очень далеко до качественного уровня «устарелых» средств коммуникации.) И все положительные моменты, которые он «усматривает» в новейших средствах коммуникации, по сути дела, выводятся из этого обстоятельства и являются его грубой апологетикой, полемически противопоставленной гиперкритицизму «новых левых шестидесятых годов».

Отказав литературе и искусству в праве на самостоятельное существование в «Будущем», Энценсбергер не заметил, что в результате подобной операции это «Будущее» — увы! — не стало более привлекательным для тех, кто борется за счастье человечества, во имя более полной реализации его высших духовных устремлений.

Ю. ДАВЫДОВ

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ: РЕВОЛЮЦИЯ, ПОЭЗИЯ

В последнее время в католической церкви стран Латинской Америки происходят весьма значительные процессы, отражающие обострение социальных конфликтов в этих странах, усиливающуюся борьбу масс против нищеты, бесправия, против империалистического гнета. На континенте, где католицизм имеет прочные и глубокие корни, нарастающая освободительная борьба поставила церковь перед необходимостью занять более активную позицию по социальным вопросам.

Соответственно и перед революционными силами континента и прежде всего перед коммунистами встала задача проведения новой, более гибкой политики по отношению к широким массам католиков. Проблема эта отнюдь не локальная, о чем свидетельствует одно из положений в документе, принятом на Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве в 1969 году: «...в некоторых странах развивается сотрудничество и совместные действия коммунистов с широкими демократическими массами католиков и верующими других религий; приобрел большую актуальность диалог между ними по таким проблемам, как война и мир, капитализм и социализм, неоколониализм и развивающиеся страны; совместные действия против империализма, за демократию и социализм являются весьма актуальными». Сегодня подобные совместные действия стали неотъемлемой частью общественно-политической жизни Латинской Америки.

«У нас много общего с марксизмом, хотя мы можем расходиться с ним в отношении методов,— заявил недавно известный никарагуанский поэт и священник Эрнесто Карденаль.— Я считаю, что христианство должно быть революционным».

Человек, весьма популярный в Латинской Америке, он представляет новые тенденции как в общественной жизни этого континента, так и в его поэзии. С творчеством Карденаля читатели нашего журнала уже знакомы (№ 6, 1969, № 3, 1970). Интервью, которое дал Эрнесто Карденаль уругвайскому писателю Марио Бенедетти и которое было опубликовано в кубинском журнале «Каса де лас Американас», представляет немалый интерес для уяснения его «христианского радикализма», как явления, симптоматичного для сегодняшних настроений католических масс.

Карденаль стремится сочетать евангельские заповеди с программой социальной революции и считает, что последовательные христиане должны видеть в революции осуществление своих идеалов:

«Великие задачи Революции... состоят в том, чтобы покончить с эксплуатацией человека человеком, что уже осуществлено на Кубе; покончить с безграмотностью, проституцией, и не только в специфическом смысле слова, но и вообще со всякого рода проституцией; покончить с разделением на классы, с безработицей, с детской смертностью, с зонами нищеты, с отчуждением земли, со множеством несправедливостей, которые все не перечислишь».

Острейшие социальные проблемы Латинской Америки — господство феодализма, колониализма, диктаторские режимы, массовая нищета — с особой силой и драматизмом проявляются в Никарагуа, где сорок шесть лет тому назад родился Эрнесто Карденаль.

Одна из самых малых стран Латинской Америки вошла в историю континента как родина великого реформатора испаноязычной поэзии Рубена Дарио, а затем как родина отважного революционера Аугусто Сесара Сандино, первым поднявшего партизанскую борьбу против североамериканских оккупантов. И хотя прошло больше пяти десятилетий, как преждевременно скончался Дарио, и больше тридцати лет, как трагически погиб Сандино, подвиги новых патриотов и стихи новых поэтов неизменно несут на себе их печать. В стране, живущей под игом наследственной власти тиранического семейства Сомосы, не умирает освободительная борьба, не иссякает река поэзии, взаимно питающие друг друга. В 1956 году на основателя диктаторской династии Анастасио Сомосу было совершено покушение безвестным молодым человеком, начинающим поэтом Ригоберто Лопесом. Он был прямым наследником Сандино и мог бы стать наследником Рубена Дарио, если бы не пожертвовал своей жизнью.

Поэзия и борьба сплелись и в жизни Эрнесто Карденаля. За два года до того, как пуля Ригоберто Лопеса отправила на тот свет старшего Сомосу, в апреле 1954 года был подготовлен заговор против диктатора. Предполагалось захватить Сомосу в президентском дворце ночью и лишить его власти. Заговор, в котором принял активное участие Эрнесто Карденаль, окончился провалом, многие из товарищей Карденаля подверглись мучительным пыткам, прежде чем быть уничтоженными. Карденалю чудом удалось спастись, но пережитая трагедия оставила в нем неизгладимый след. Несколько лет он проводит в монастырях разных стран, а с 1966 года сам становится главой монастырской колонии на крошечном острове архипелага Солентинаме, омываемого волнами озера Никарагуа. Здесь Карденаль попытался сочетать проповедь христианства с активной социальной практикой и политической пропагандой.

Уклад жизни в колонии Солентинаме не похож на монастырский. Эта жизнь — трудовая: колонисты работают вместе с местными крестьянами, которых они еще и обучают ремеслу и художественным промыслам. Но главное — Карденаль и его спутники стремятся пробудить в своих прихожанах социальную активность. Можно сказать, что колония Солентинаме — это практическая реализация того, что Карденаль назвал «процессом революционизирования церкви» и в чем он видит залог успеха освободительной борьбы.

Конечно, единичный опыт колонии Солентинаме отнюдь не может рассматриваться как всеобщий и как действенный способ преобразования латиноамериканской церкви.

Поэтому, когда Карденаль высказывает надежды на то, что может произойти «революционизирование церкви» как института, он явно утопичен. Он наивно предполагает, что

«если бы вся церковь стала революционной, то революция смогла бы осуществиться с меньшими жертвами и с меньшей кровью. И, конечно, она осуществилась бы скорее».

Опыт же Солентинаме свидетельствует, как нам кажется, более всего не об изменениях в структуре церкви и ее догмах, а о политической радикализации католических масс, о том, что снизу стихийно нарастает движение за обновление католицизма.

Одним из ярких явлений этого движения была деятельность героически погибшего колумбийского священника Камило Торреса. Он не только выдвинул программу революционной борьбы за социальные права народа, но и сам принял участие в партизанском движении. И хотя Эрнесто Карденаль лично является сторонником ненасильственных способов борьбы, он последовательно демонстрирует свое стремление к решительной перестройке общества и признает справедливость и возможность вооруженной борьбы в случаях, когда того требует историческая обстановка:

«Я думаю, что ненасилие — это наиболее прямой путь к освобождению, наиболее эффективная форма борьбы за него. Для проведения политики ненасилия также требуется немало героизма, требуются особые человеческие данные и лидеры, убежденные в правильности этой тактики. Нельзя сказать заранее, сложится ли в стране такая ситуация или не сложится... Однако с точки зрения христианской можно защищать и справедливую войну, можно защищать справедливую партизанскую борьбу, можно считать ее дозволенной и даже необходимой, как считал отец Камило».

Тот факт, что Э. Карденаль отнюдь не абсолютизирует методы ненасильственной борьбы, делает его сторонником объединения самых широких политических сил, борющихся за осуществление социальных требований народа. Поэтому на вопрос Марио Бенедетти, считает ли он осуществимым «альянс» между марксистами и левыми силами католицизма, он отвечает утвердительно:

«Я считаю, что осуществить такой альянс возможно и что он на практике уже осуществляется».

А на вполне конкретный вопрос, могут ли объединиться марксисты и католики в совместной борьбе против империализма, как главного врага Латинской Америки, Карденаль дает такой ответ:

«Да, и это подтверждено примером отца Камило».

«Каждый христианин должен стать революционером» — таков был лозунг участников встречи левых католиков в память Камило Торреса, состоявшейся в Монтевидео в 1968 году. Этот лозунг защищает сегодня Эрнесто Карденаль. Защищает как священник и как поэт.

«Я думаю, что поэт должен выполнять социальную функцию, хотя главная его социальная функция — в самой поэзии. Я считаю, что поэт должен быть революционером, но также считаю, что всякий хороший поэт уже делает революцию тем, что революционизирует язык и поэзию, даже если он не занимает активную революционную позицию и не ведет активную политическую жизнь. Мне кажется, что поэт должен быть человеком прямым, цельным, должен быть человеком, интересующимся проблемами своего народа, политическим, экономическим положением; тогда он невольно встает на революционный путь».

Карденаль лишь в тридцать пять лет заявил о себе как о поэте, опубликовав в 1960 году сразу две книги стихов. Поэма «Час 0» — это поэма о жестокой борьбе, которую выдержали патриоты Никарагуа, защищая страну, отданную на разграбление Соединенным Штатам. Карденаль вспоминает о народном восстании против оккупантов во главе с Сандино и о трагической попытке других отважных героев покончить с тиранией и бесчестьем. В этой поэме Карденаль выступает приверженцем поэзии непосредственного факта, строящим стихи на сопряжении реально зримых картин действительности. Поэт черпает свои образы из того, что его окружает, что происходит вокруг него. Заявляя о себе как о принципиальном противнике сугубо интимной лирики, он избегает и религиозных тем.

«Религиозное чувство я высказываю скорее косвенно в стихах политического, экономического или социального содержания... Я сказал бы, что не бог, а любовь... является одним из постоянных мотивов моей поэзии».

Таким образом, собственно творческие принципы Карденаля находятся в прямой связи с его позицией политически активного левого католика.

Свою поэзию Эрнесто Карденаль определил словом «экстериоризм», что означает — обращенность поэта к внешнему, окружающему миру. Эту тенденцию Карденаль рассматривает не только как лично ему присущую, но и характеризующую в целом сегодняшнюю никарагуанскую поэзию. Он прямо противопоставляет ее стихотворчеству субъективного плана.

> «Экстериоризм» — это поэзия, строящаяся на элементах внешнего мира, который нас окружает. Она основывается на фактах, конкретных людях, вещах. Она может включать в себя самые обыденные вещи, собственные имена людей и названия местностей, в том числе реальных людей и реальные географические названия, а если необходимо, даты и цифры. «Экстериористскую» поэму поэтому легко распознать даже по первому взгляду — еще до того, как ее прочтешь,— по обилию слов с большой буквы».

Перечислив многие поэтические явления прошлого, в котором, по его мнению, были предвосхищены принципы «экстериористской» поэзии, Карденаль заявляет:

> «И, конечно, всякая настоящая социальная, политическая поэзия и вся революционная поэзия должна быть по неизбежности «экстериористской».

Это признание Карденаля представляет особенный интерес, поскольку тенденция, им отмеченная, уже не раз с предельной наглядностью обнаруживала себя в истории латиноамериканской поэзии XX века. Каждый раз, когда поэты прорывались в своем творчестве к художественному освоению внешнего мира, к воплощению страданий, тревог и надежд окружающих их людей, их ожидали счастливые открытия. Такими поэтами были в свое время Габриэла Мистраль, Сесар Вальехо. Таков и Пабло Неруда.

Примечательно, что, как и его предшественники, Карденаль считает себя поэтом всей Латинской Америки. Он даже поправляет Марио Бенедетти, когда тот называет Никарагуа одной из констант его творчества.

> «Слово «Никарагуа» я заменил бы словом «Америка». Меня всегда интересовала история Америки, в частности, диктаторские режимы эпохи независимости, эпизоды пиратской борьбы и, конечно, конкисты. За последнее время я углубился в историю доколумбовой Америки. Поэтому я не ограничивался бы одним словом «Никарагуа», определяя постоянный мотив моей поэзии».

Политический деятель, монах, поэт, священник — Эрнесто Карденаль предстает человеком необычной судьбы и характера. Отшельник Солентинаме полон забот и тревог большого мира; в его проповедях, как и в стихах, бьется пульс современной жизни, в которой он нашел свое место и призвание. Можно обнаружить, конечно, немало спорных пунктов в его концепции, равно как и эклектизм в его богословско-политических тезисах. Но безусловно, что общественная, жизненная и творческая практика Эрнесто Карденаля, поставленная на службу освободительной борьбе,— это явление не только индивидуально яркое, но и характерное для новейших тенденций в идеологическом, художественном и духовном развитии Латинской Америки.

В. АЛЕКСАНДРОВА

В. КУЛАКОВ

ВСТРЕЧА С ВАН ГОГОМ

Автопортрет. 1887 г.

Смятенное. Трагичное. Протестующее. Жизнеутверждающее. Напрасно пытаться словами исчерпать характеристику искусства Ван Гога. Оно вобрало оптимизм социальных иллюзий своего времени и безмерность одиночества «пróклятого» обществом художника. Огромный диапазон чувств, необъятный образный мир...

Более ста картин и графических листов из голландского музея Крёллер-Мюллер (в Оттерло) представили на недавней выставке в Москве и Ленинграде почти все

Мельницы близ Дордрехта. 1881 г.

периоды творчества, стремительную эволюцию этого мастера, которая укладывается всего лишь в одно десятилетие. Непосредственное наше знакомство с Ван Гогом ограничивалось до сих пор только немногими поздними работами. В отечественных музеях нет ванголовских произведений дофранцузского периода. Выставка позволила увидеть, как именно в эти годы формировалась индивидуальность мастера. Об этом рассказывают графика и живопись 1880—1885 гг.

Известно, что Ван Гог стал художником поздно, в 27 лет. Его, проповедника на угольных шахтах Боринажа, взяться за карандаш и кисть заставило разочарование в деятельности миссионера. Страстные проповеди ничем не могли улучшить бедственного положения тружеников бельгийских шахт. Что же мог сделать карандаш художника? Ван Гог с убедительной, почти документальной правдивостью изображает бедные жилища углекопов. Зрителю открывается картина нищеты и бесчеловечной эксплуатации. Подобно своему любимому художнику Милле, Ван Гог пишет окружающих его простых людей. Рисунок «Землекопы» выполнен по офорту этого французского мастера. Графические листы «Штопальщица», «Шахтер», «Старик из богадельни» привлекают глубоким сочувствием к обездоленным, задавленным непосильным трудом. Фигуры людей подчеркнуто пластичны, акцентирована выразительность рук. Под внешней суровостью облика всегда скрыта человеческая душа.

«Нет ничего более художественного, как любить людей». В отвлеченном гуманизме Ван Гога — протест против обесценения личности в буржуазном обществе. Художник смотрит на мир глазами своих персонажей, стремится слиться с людьми труда, жить их невзгодами и редкими радостями. Даже «чистые» пейзажи этих лет, как акварель «Мельницы близ Дордрехта», согреты присутствием человека. Хмурый «Вид Паддемуса» (старый еврейский квартал в Гааге) с одинокими фигурками людей впечатляет социальной патетикой не меньше, чем согбенные под тяжестью ноши «Женщины, несущие уголь». Поэзия и правда слиты воедино в этих работах. Поэзия суровой жизни. Правда, нигде не становящаяся бесстрастной. В этом смысле Ван Гог меньше всего натуралист. Его искусство всегда несет обобщение. «Я чувствую, что работа моя — постижение сердца народа, что я должен держаться этого пути, должен вгрызаться в глубину жизни...»

Ранние рисунки выполнены чаще в сложной технике (черный мел с акварелью и белилами, с проработкой пером). Смягчая с помощью растушевки либо обостряя контраст двух цветов — черного и белого, Ван Гог добивается многообразных художественных эффектов. Уже в ранних произведениях вырабатывается почерк мастера: острая экспрессия линии, контура, ломкость штриха. Динамичность композиции, любовь к диагональным построениям. Все более отточенный лаконизм решений.

Живопись тех же лет еще продолжает традиции голландского искусства. Глядя на его портретные зарисовки, представленные на выставке,— «Голова крестьянки в белом чепце», «Голова крестьянина с трубкой»,— нельзя не вспомнить рембрандтовские изображения. Сначала — человеческое, содержательное и уже потом — стиль. Знакомство с искусством старых мастеров выдает тонкость цветовых сопоставлений в «Натюрморте с сабо». Стоптанные крестьянские башмаки — спутники трудовой жизни простого человека позднее не раз еще встретятся в произведениях Ван Гога.

Излюбленный художником в эти годы тональный колорит обладает особой силой эмоционального воздействия. Темная, коричневато-оливковая красочная гамма, замкнутая в себе композиция одной из картин 1884 года должны, по мысли автора, выразить охвативший его ужас перед черным ткацким станком, в котором, как в клетке, заточен ткач.

Первые пять лет работы Ван Гога — становление мастера. От полотна «Гаагский лес с девушкой в белом», с его беспокойным ритмом композиции и «рваной» фактурой мазка, художник приходит к трагическому мотиву жизни и смерти в «Башне в Нюэнене». Сумрачный пейзаж — затянутое облаками небо, одинокая часовня — символ вечного покоя. Меланхолия безбрежного пространства, тонкие модуляции серых тонов напоминают голландские пейзажи Яна ван Гойена. «Нюэненская башня» воплотила мысли о родине, которую Ван Гог скоро покинет. Навсегда. Но навсегда сохранит любовь к людям, возле которых прошла большая часть его жизни. Как память об этом возникает знаменитая композиция «Едоки картофеля» (на выставке — литография по второму варианту картины, 1885). От ранних портретов, этюдов, через замечательную сюиту рисунков, изображающих крестьян за работой, протягивается нить к этой вершине и итогу первой половины творческого пути Ван Гога.

Голова крестьянина с трубкой. 1884 г.

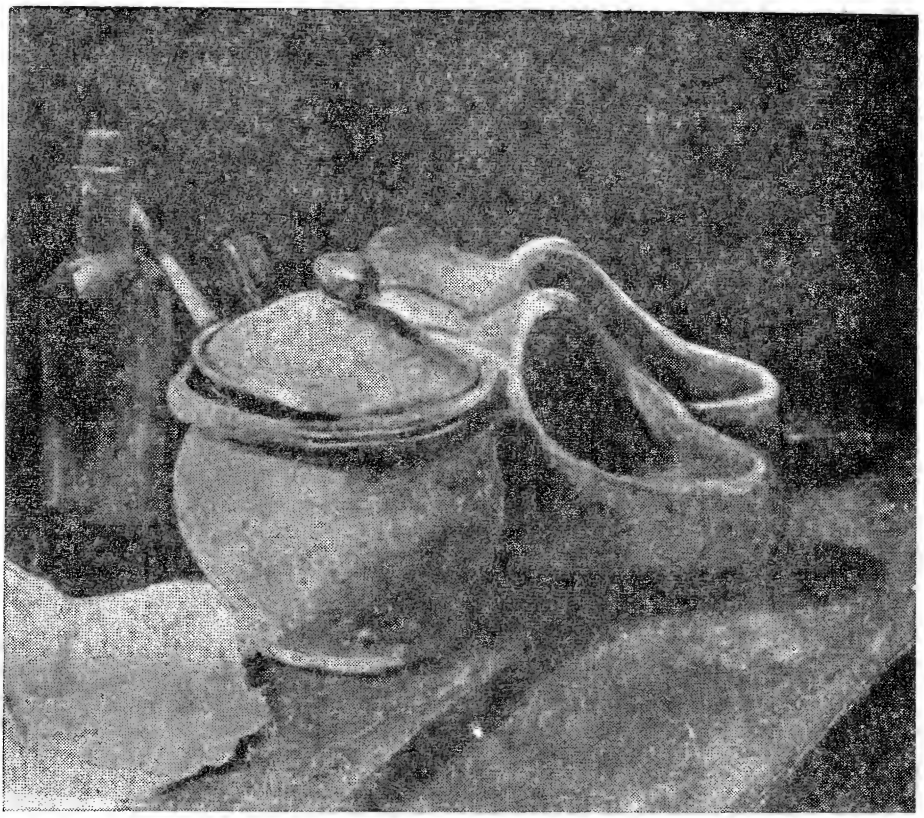
«Не дана ли нам жизнь для того, чтобы обогатить наше сердце, даже когда тело страдает?» Эта строка из письма к брату Тео может быть эпиграфом к последним годам жизни художника во Франции. Париж, Арль, лечебница для душевнобольных в Сен-Реми, Овер-сюр-Уаз... Четыре года скитаний, неустанного труда, одновременно изнуряющего и радостного.

По приезде в Париж в 1886 году Винцент оказывается в самой гуще художественной жизни французской столицы. Новые впечатления нахлынули на него. Художник по-своему воспринимает уроки романтиков и современных мастеров. «Темная» палитра не отвечает теперь его устремлениям. Пейзаж «Мулен де ля Галетт» — работа переходного характера. В ней ощущается поиск новой манеры. Мазку еще недостает подвижности, цвет зависит от формы, подчинен общей тональности.

Под воздействием Ренуара и еще больше полотен Монтичелли с их удивительной насыщенностью цвета (вспомним хотя бы «Букет роз» на недавней выставке картин из музеев Франции) Винцент пишет около полусотни своих «букетов», бесконечно варьируя живописные приемы. «Розы в зеленой вазе», «Белые гвоздики» говорят о меняющихся взглядах художника. Влияние угасающего импрессионизма и рассудочного творчества Сёра было для Ван Гога кратковременным. Оно заметно в другом натюрморте выставки из Оттерло — «Цветы в голубой вазе», где импрессионистское письмо своеобразно сочетается с живописными приемами пуантелистов. Однако Ван Гог отвергает догматизм системы Сёра и Синьяка, строгую упорядоченность техники точечных мазков. Он воспринимает от этих художников любовь к несмешанным (спектральным) тонам. Изменчивой, словно истаивающей цветовой структуре импрессионистских полотен Ван Гог предпочитает палитру более интенсивных красок.

«Просветление» палитры в первых же картинах парижского периода нельзя объяснить лишь встречей с импрессионистами. Еще перед отъездом во Францию Ван Гог изучает в Антверпене Рубенса, восхищаясь умением великого фламандца передать «атмосферу радости, безмятежного покоя или скорби одними сочетаниями тонов». Незабываемо для художника было и знакомство с японским эстампом. Следы увлечения рафинированным, изощренно «примитивным» искусством Хокусаи и Хиросиге — в соединении чистого графизма с ясностью цветового строя в ванговских работах.

В одном из лучших пейзажей собрания Крёллер-Мюллер — «Деревья в цвету» мазок еще импрессионистичен, но как свежо и изысканно звучит сопоставление нежно-розового тона цветущих персиков с голубизной неба! В прозрачности весенних



Натюрморт с сабо. 1885 г.

красок, четкости силуэта больше своеобразно понятого «японизма», чем отзвуков искусства Писарро и Моне. Картина — дань памяти Антона Мауве, у которого Ван Гог недолгое время брал уроки в Гааге.

Отныне стихия чистого цвета заполняет картины Ван Гога. Подобной звонкости — и независимости! — цвета еще не знала французская живопись. Красочные созвучия в полотнах Ван Гога порою резко диссонируют. Ритмика цветового построения определяет эмоциональный настрой его работ. Но не только цвет. Стремительный, нервно-возбужденный мазок создает ощущение вибрации формы, изменчивости предметных очертаний. «Почему я в такой малой степени художник,— пишет он,— что всегда сожалею, что статуя или картина не живет?..» Живопись Ван Гога отвечает на этот вопрос. Она никогда не кажется застывшей.

Глубокая внутренняя связь с голландским искусством сохраняется у Ван Гога на протяжении всей жизни. Франция стала для него второй родиной. Однако в искусстве Ван Гога слишком многое идет вразрез с вековыми традициями французской культуры: пренебрежение красотой формы, отсутствие внутреннего равновесия и сдержанности, обжигающая эмоциональность. Этих качеств нет у современников мастера. Рядом с ним Поль Гоген, «друг и неприятель»,— художник умозрительный, воспринимающий мир во внешней красочности. Эпически-уравновешенный Сезанн, с его поисками вечного и неизменного в природе и человеке,— прямая противоположность Ван Гогу. История искусства объединяет всех трех общим именем «постимпрессионисты». На самом деле общей у них была только судьба. Не признанные буржуазным обществом, «находящимся,— как говорил Ван Гог,— в состоянии распада», они — каждый по-своему — отразили трагедию гуманизма эпохи, приведшую к потере изначальных человеческих ценностей.

Не встречая понимания, Ван Гог бежит из душной атмосферы Парижа на юг, к солнцу. Он полон радужных надежд, мечтает о братстве художников, которые поддерживали бы друг друга. Очень скоро жизнь разобьет эти иллюзии. Но в краткие

месяцы в Арле Ван Гог переживает необыкновенный творческий подъем. Здесь художник создает один за другим свои шедевры. Они напоены синевой небесной лазури, расплавленным золотом пшеничных полей, кровавыми отсветами заката. Создатель знаменитых «Подсолнухов» чутко ощущает «заразительную радость» природы и стремится перенести свои ощущения на холст. Он пишет с лихорадочной поспешностью, словно чувствуя, что совсем скоро ему придется свести счеты с жизнью.

Пейзажи последних лет удивительны многообразием заключенного в них настроения. В осенней лирике «Аликанов», их мирном ритме уходящих в бесконечность стволов деревьев, бесплотности человеческих фигурок, «врезанных» в пространственные паузы,— печаль прощания с жизнью... Стремительно убегает от зрителя пустующая терраса «Ночного кафе на площади Форума». Столики залиты ослепительным светом, загадочно мерцают на ночном небе огромные золотые звезды. Это — мир, в котором человек потерян и одинок. Резкий аккорд синего и желтого усиливает настроение тревожащего ожидания, почти отчаяния, которым веет от этой картины.

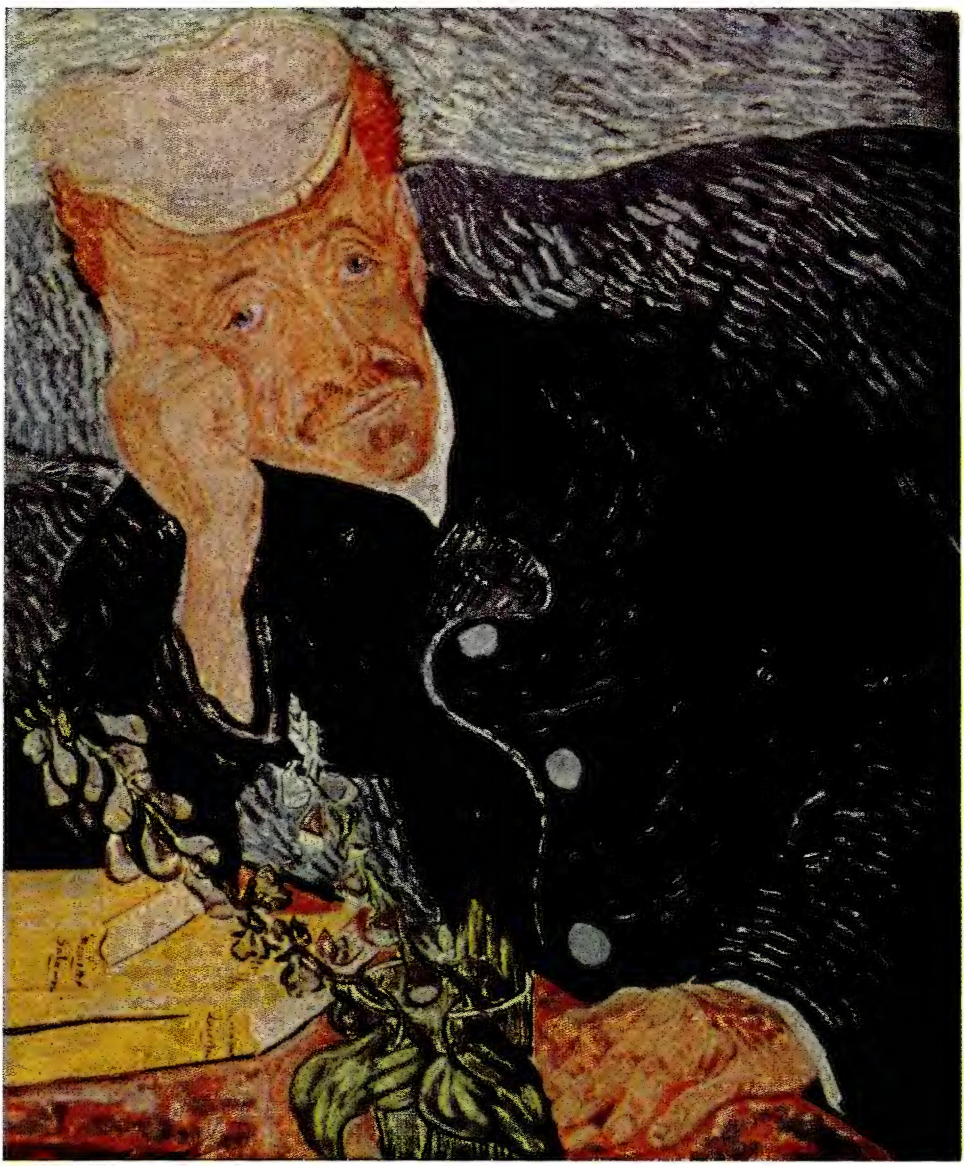
Человек и природа — один из лейтмотивов искусства Ван Гога. В позднем творчестве эта тема приобретает трагическое звучание. Пейзажи все чаще безлюдны. Кусочек неба, видимый в левом верхнем углу картины «Огороженное хлебное поле»,— как маленькое тюремное оконце. Пейзаж пронизан ощущением духоты, несвободы, одиночества. Изображение не простирается в глубину: вздымаясь вверх, это поле как бы «обрушивается» на нас. В мире Ван Гога отныне нет устойчивости. Деревья в «Оливковой роще» вздымают вверх кроны, по-

Едоки картофеля. 1885 г.

Женщины, несущие уголь. 1882 г.

Винцент Ван Гог

(с выставки 1971 года в Москве)



Портрет доктора Гаше. 1890 г.

Гаагский лес с девушкой в белом. 1882 г.

Предгорье Альп (около Сен-Реми). 1890 г.

добные языкам пламени. «Вздыбленная» природа живет своей странной, обособленной жизнью. В изображении «панорамы мироздания» рушатся формы, рвутся пространственные связи. Какая-то неведомая сила удерживает рассыпающиеся здания на поверхности земли, ураган проносит над высоким горизонтом мрачные облака, стаи воронов застилают небо...

Все более напряженной становится фактура картин. Благодаря плотному наложению мазков осязаемо рельефна красочная поверхность. Мазки сталкиваются, сплетаются, образуют прихотливый арабеск. В пейзаже «Стог сена в дождливый день» ритмическая игра мазков выявляет «падающую» диагональ, основу композиции. Меняется и цветовой строй. Символическая отвлеченность цвета у позднего Ван Гога говорит об углубляющемся — трагическом — разрыве художника с живой действительностью. Знаменитый «Жнец» на выставке — желтое поле под палящим желтым небом, фиолетовая линия холмов вдали. «В этом олицетворении смерти нет ничего печального. Все происходит на ярком свету, под солнцем, заливающим все своими лучами цвета червонного золота». И рядом — удивительное признание художника: «Я-то ведь смотрел на пейзаж сквозь зарешеченное окно одиночки...»

Несмотря на возрастающий субъективизм, человек по-прежнему остается для Ван Гога мерою всех вещей, смыслом и конечной целью его деятельности художника. Вечно живой материнской любви он посвятил свою «Колыбельную». Картина могла бы висеть в кабине рыбацкой шхуны и напоминать морякам, оторванным от земли, теплый уют домашнего очага. Вот о чем мечтал Ван Гог, создавая эту работу. Плавная линия контура отделяет одну от другой чистые цветовые зоны. В письме к брату Винцент пишет о «музыке цвета» в безмолвной «Колыбельной». Но едва ли не более, чем мажорная декоративность колорита этой «лубочной картинки», привлекает этическая значительность человеческого образа (для «Колыбельной» художнику позировала г-жа Рулен, жена арльского почтальона).

Психологизм ванговских портретов не описателен и не иллюстративен. Состояние, в которое погружены его герои,— сосредоточение. Внутренняя энергия образа достигается за счет экспрессии контура («Портрет г-жи Жину»), динамики композиции — смещенного расположения фигуры в поле картины, деформации объемов («Портрет актера»). За счет предельной психологичности цвета. Терпкой красочной гармонией воздействует на зрителя «Портрет Милье». Мучительный диалог с самим собой в автопортретах (на выставке — один из них) выливается в их болезненно-напряженную цветовую гамму. Эту жесткость красочных сочетаний, свободный мазок, манеру «рисовать цветом» мы находим в искусстве «диких» («фовистов»). Усвоив внешние приемы, они не поняли, что было главным для Ван Гога: «Человеческая душа, даже если это душа жалкого нищего или уличной девчонки, для меня гораздо интереснее, чем собор».

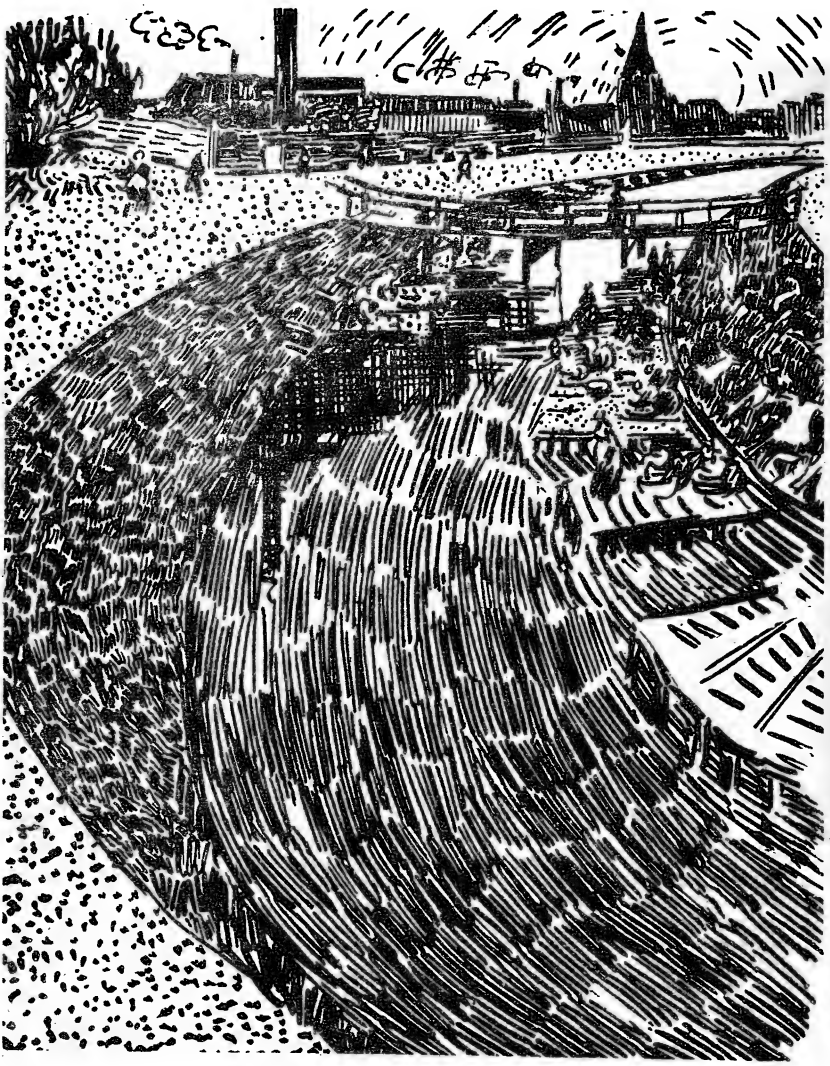
Поздняя графика Ван Гога продолжает, а зачастую и предвосхищает живописные искания тех же лет. Их сближает виртуозность техники, смелая «обнаженность» приема. Сложной системой точек, коротких и прерывистых штрихов и запятых Ван Гог передает в пейзаже «Больница св. Павла» эффект солнечного освещения, намечает пространственную форму. Беспокойна и очень действенна ритмическая пульсация светлых и темных пятен в рисунке «Сад с низкой оградой». Ван Гог создает образ одновременно целостный, законченный — и как бы продолжающий становление, меняющийся. В рисунке «Женщины на берегу канала» парадоксально совмещены две будто бы взаимоисключающие точки зрения: река, наблюдаемая с птичьего полета, и видимый на уровне глаз пейзаж в глубине. Реальный мир свободно перевоссоздан художником в образах, подсказанных личным переживанием увиденного. Главное для Ван Гога — не слепая верность натуре, а правда чувства.

Потрясающе выразителен «Портрет Гаше» («Мужчина с трубкой»). Этот единственный ванговский офорт выполнен им за два месяца до смерти. В изображениях доктора Гаше, последнего друга на коротком жизненном пути Ван Гога, читается «горестное выражение своей эпохи» (Л. Вентури). Работы, подобные «Портрету Гаше» или пейзажу «Предгорье Альп», отдельными чертами прямо подготавливают европейский экспрессионизм XX века. Но трагический надлом, который наметился у Ван Гога в последний год его жизни, еще не позволяет считать его духовным учителем Мунка, Кубина, Кокошки, Энсора. Автор «Оливковой рощи» никогда не возводил в абсолют принцип самовыражения художника. Сохраняя — до самого конца! — связь с миром реальных ценностей, Ван Гог не пришел к безнадежной утрате веры в человека. В отличие от экспрессионистов, художник верил в лучшее будущее. Он был убежден в неизбежности социальных преобразований. Смутно представляя себе контуры нового общества, он писал: «Такое общество — не сомневаюсь в этом — будет претворено в жизнь, когда социалисты возведут свое логичное социальное здание... Пока же мы пребываем в состоянии полного хаоса и анархии...» И в другом месте: «Да здравствует грядущее поколение, а не мы!» В этом разрыве мечты, светлой идеи и безрадостной действительности, ощущаемой каждодневно, ежечасно,— трагедия художника и человека.

«Черное солнце славы» светило Ван Гогу на кратком пути художника. Время признания пришло слишком поздно. Среди мастеров второй половины прошлого века Ван Гог ныне — один из самых любимых, самых современных. Он словно выпадает из своего времени, весь принадлежит нашему «сегодня». Потому, что был беспре-

дельно искренен даже в самых субъективных произведениях. Потому, что видел человеческие страдания, но никогда не верил в бесконечность и неистребимость зла.

В борьбе за жизнь, за право творить личность Ван Гога была сломлена, но дух его восторжествовал. Художник, ясно видевший ростки добра в окружавших его простых людях, веривший в целительную силу природы, бросил — подобно Рембрандту — своим искусством вызов больному обществу, прозаически-торгашеской буржуазной действительности. И он победил.



Женщины, стирающие на берегу канала Ля Рубин дю Руа. 1888 г.

Писатель и время

«Я — РОМАНИСТ, А НЕ ПИСАТЕЛЬ ВООБЩЕ...»

Мы печатаем в этом номере интервью, которое Жорж Сименон дал для «Иностранной литературы» исследователю его творчества и переводчице его романов Э. Шрайбер. Нам кажется, читателю будет интересно познакомиться с высказываниями этого популярного романиста о влиянии на его творчество больших писателей прошлого, в том числе классиков русской литературы. Заслуживают внимания, как мы полагаем, и его рассказы о художниках, актерах, музыкантах, при всей субъективности его оценок, с которыми иногда трудно согласиться.

Вопрос: Вы не раз говорили, что многим обязаны Гоголю, Чехову и Достоевскому. Хотелось бы знать, каким образом они способствовали формированию вашего творчества?

Ответ: Прежде всего, хочу предупредить, что я — романист, и только романист, а не писатель *вообще*. Иначе говоря, у меня не критический склад ума, и я не умею писать научные статьи, вести литературные или философские дискуссии. Видимо, у меня преобладает не интеллект, а интуиция. Поэтому в ответах на ваши вопросы будет отражено лишь мое личное мнение в данный момент. Не ждите от меня научной аргументации. Боюсь, что мои ответы покажутся вам довольно туманными или банальными...

Впервые я прочел Гоголя, когда мне было лет тринадцать. Он произвел на меня потрясающее впечатление. В ту пору я еще не знал Фолкнера. Об американском писателе я упоминаю потому, что люблю сравнивать их — оба они воссоздали целый мир и сделали всеобщим достоянием маленький, совсем маленький личный космос.

Казалось бы, что я — подросток, француз (вернее — бельгиец), не имеющий никакого представления о России, не смогу найти в произведениях Гоголя доступную для моего ума духовную пищу: ведь автор описывал совершенно чуждые мне края, нравы и обычаи. Однако он сразу же ввел меня в свой мир, и я словно переселялся из своей комнаты в Россию, приобщаясь в то же время ко всему миру.

Гоголь как бы взял человека таким, каким мы его видим, разъял его на составные части, затем воссоздал на свой лад, и этот заново сотворенный писателем человек делается нам ближе, чем тот, которого мы встречаем повседневно.

Поразило меня (и поражает до сих пор) у Гоголя чрезвычайно редкое для писателя свойство — органическое сочетание комического и трагического, то, что так удавалось Шекспиру.

Вот что я думаю о Гоголе и почему считаю его одним из величайших писателей XIX века.

Вопрос: Ваши герои — тоже простые, ничем не примечательные люди, жизнь которых внезапно и трагически меняется в силу, казалось бы, чисто внешних, порой незначительных обстоятельств. Можно ли считать, что судьба «маленького человека» в современном обществе особенно привлекла ваше внимание после чтения Гоголя?

Ответ: Именно этим я обязан Гоголю. Всю жизнь я не искал ни героев, ни подвигов, ни трагических ситуаций, но, взяв самых обыкновенных людей и сохраняя всю их достоверность, не выводя их за рамки привычного существования, стремился придать в то же время героическое звучание их жизни.

Вопрос: А как вы относитесь к Гоголю-сатирику?

Ответ: Как я уже сказал, грагическое и комическое слито у Гоголя воедино. Он не просто отбрасывает все мнимые ценности, но своим хлестким юмором (я не сказал бы сатирой) доводит их до такой степени нелепости, что они разбиваются вдребезги.

Вопрос: Каким образом вы познакомились с произведениями Гоголя?

Ответ: В детстве, когда человек наиболее впечатлителен, я провел много лет в Льеже в обществе русских студентов. Моя мать держала пансион, и ежегодно к нам приезжали молодые люди. Почти все они были бедны, даже очень бедны. Почти все в той или иной мере участвовали в революционном движении. Они относились ко мне дружелюбно, и я частенько слушал их беседы. Студентов удивляло, что такой желторотый юнец интересуется литературными и политическими спорами. А когда они узнали, что я умею читать (мне шел десятый год), стали давать мне книги русских писателей. Они рассказывали мне о Пушкине и Тургеневе, но больше всего о Гоголе, Достоевском, Чехове и Горьком. Благодаря этой молодежи я соприкоснулся с тем, что называют «русской душой», вернее, складом ума, потому что когда с утра до вечера находишься в обществе пяти-шести русских — неизбежно приобщаешься к их образу мыслей и жизни.

Много лет спустя я с радостью убедился, насколько полезен был для меня такой контакт.

Вопрос: Кого вы считаете своим «главным» писателем?

Ответ: Чехова. Я не просто восхищаюсь им, а питаю к нему поистине братскую любовь. В его произведениях я нахожу почти все мои замыслы в более совершенном исполнении.

Прежде всего, о том, как Чехов видит человека и чему он научил меня. Хотя иногда очень трудно точно определить меру чужого влияния или отграничить его от того, что свойственно тебе самому.

Я считаю, что в литературе Чехов был первый, кто взял человека не как нечто замкнутое в себе, а в его среде, в биении жизни. В произведениях Чехова не только узнаешь персонажей, но и состояния их души — в зависимости от времени года, от отношений друг с другом или с природой, что придает им как бы третье измерение.

Персонаж Чехова раскрыт всесторонне; автор не пытается объяснить его, но дает почувствовать всю его сложность. При этом, в отличие от персонажей большинства романистов, герой Чехова сам еще не до конца познал себя и стремится найти себя, как многие из нас ищут свое место в жизни.

Я уже давно убедился, что понимание и познание — эквиваленты любви. То есть, если знаешь человека, понимаешь его, то в конце концов начинаешь его любить. Это страх порождает ненависть. Вообще, человек склонен ненавидеть то, чего он боится. Проходит страх — исчезает ненависть. Как-то, говоря о Гоголе и Чехове, вы употребили слово, которое мне лично не очень нравится,— «жалость». Я предпочитаю слово «любовь». Гоголь, так же как Чехов, так любит людей, что никогда не осуждает их до конца. Вот почему их творчество — гуманно и полезно. Я думаю, что можно достичь гораздо большего для братства людей, стараясь научить их понимать друг друга, чем если преподносить им абстрактные истины.

Вопрос: Какова, по-вашему, роль театра Чехова?

Ответ: Меня очень радует необычная судьба чеховского наследия. В 10-х и даже в 20-х годах его имя было почти неизвестно в западных странах. Мне кажется, что вначале даже в России у него не было широкой аудитории. А нынче — если взять только один сегодняшний вечер — его пьесы идут по меньшей мере в сорока театрах мира [1], и, если обратиться к статистике, я уверен, что Чехов окажется одним из самых популярных драматургов. По-моему, его влияние на сегодняшний театр, так же как и на театр вчерашний (как, например, на Пиранделло), не подлежит сомнению. За последние годы я не видел чеховских пьес на сцене, но между 1922 и 1935 годами их ставили Питоевы, которые тогда считались одной из лучших русских трупп в Париже. Позднее я видел кинофильмы и телевизионные постановки, которые мне не понравились. Единственное исключение — кинокартина «Дама с собачкой» [2]. Я был председателем жюри кинофестиваля в Брюсселе,

---

[1] Не считая театров Советского Союза. *(Прим. перев.)*

[2] Имеется в виду советский фильм режиссера И. Хейфица. *(Прим. перев.)*

когда этот фильм представили на конкурс. Он привел меня в восторг. Впервые мне довелось увидеть, как на экран перенесены тончайшие нюансы замысла автора.

В кино очень трудно передать атмосферу произведения, ауру, присущую персонажам. Киноаппарат фиксирует лишь контуры, светотени и чаще всего не может передать таинственную жизнь, приданную автором персонажам. Однако в «Даме с собачкой» кинематографисты блестяще справились с этой задачей, и создается впечатление, что перед вами подлинное произведение Чехова.

Вопрос: Что вы думаете о чеховской манере письма?

Ответ: Здесь мы подошли к вопросу, который я назвал бы вопросом литературной техники Меня восхищает у Чехова полное отсутствие искусственного блеска, нарочито подстроенного эффекта. Он пишет «under key», как говорят англичане, или — если можно так выразиться — в полутонах. Автор вместо того, чтобы дать резкое освещение, всегда остается как бы в глубине, спокойный и мягкий. Именно благодаря этому стилю всеохватывающей простоты (насколько можно судить по переводу) он придает произведению истинную жизнь. Наверно, некоторые читатели иногда думают: «Так написать мог бы и я!» Но как трудно достичь подобной простоты!

Вопрос: В какой мере вы испытывали влияние Льва Толстого?

Ответ: Начну с последних слов о Чехове. Насколько Чехову присущи мягкость, «полутона», настолько Толстой могуч и ослепителен, как наш Виктор Гюго. Меня восхищает монументализм «Войны и мира», а «Анну Каренину» я считаю совершенным романом. Если бы в школе читали курс по истории романа, следовало бы взять за образец «Анну Каренину», во Франции — «Мадам Бовари».

Но мне лично больше нравятся две небольшие повести Толстого — «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». В них Толстой не стремится блеснуть могуществом своего таланта: видимо, он сам был захвачен описываемыми им событиями, и потому в этих вещах больше ощущается взволнованность автора, чем изумительная техника. Что же касается «Воскресения» — оно почти не произвело на меня впечатления.

А статей Толстого я не читал. Признаюсь, если писатель хочет что-либо доказать, то есть исходит из какой-либо идеи, а не из личности героев, он никогда не волнует меня, ибо я считаю, что художественное произведение должно создаваться почти независимо от его творца. Нельзя заранее решить: «Я буду писать о ревности». Описываешь любовную сцену и вдруг замечаешь, что невольно перешел к ревности.

Большинство произведений Толстого мне не нравится, ибо они написаны в подтверждение заранее избранной автором философии.

Вопрос: Как вы расцениваете значение Достоевского для мировой литературы?

Ответ: Достоевский — один из редких феноменов в мировой истории. Его творчество — явление не меньшего размаха, чем театр Шекспира.

Достоевский был в такой степени одержим всеми человеческими страстями, что он был одновременно чудовищем и гением, гением и безумцем. Это — сгусток человечности, которая вдруг прорвалась в двух десятках романов-шедевров. Достаточно прочесть несколько строчек из любого его произведения, и вам ясно, что автор — феномен.

Вот почему каждый человек, независимо от национальности и вкусов, может найти у него нечто близкое себе.

Вам, разумеется, известно, что за истекшее столетие были написаны целые фолианты о том, как следует толковать ту или иную роль в пьесах Шекспира. То же можно сказать и о Достоевском. В его произведениях есть многое, над чем можно задуматься. Каждый читатель находит в его романах пищу для ума и души. Как говорят французы: «Найдется, чем утолить и голод и жажду».

Вопрос: В основе многих ваших, как вы их называете, «трудных» романов лежит внутренний конфликт героев, связанный с их чувством вины перед окружающими и моральной ответственностью перед самим собою. В этих романах, по-моему, особенно ясно ощущается влияние Достоевского. Верно ли, что самый значительный из них — «Грязь на снегу», где ставится проблема падения и возрождения человека?

Ответ: Мне кажется, что если проанализировать произведения любого современного романиста, всегда найдется что-нибудь «от Достоевского», который, как и Шекспир, коснулся почти всех состояний души человека.

Фрейд писал кому-то, что идея психоанализа возникла у него после чтения Достоевского Без него психоанализ, может быть, и не существовал бы.

Я считаю, что главное у Достоевского — новая трактовка понятия вины. Это понятие весьма сложное, далеко не столь ясное и четкое, как оно изложено в уго-

ловном кодексе. Оно лежит в основе личной драмы, существующей в душе каждого человека.

Многие из тех, кого называют святыми, не стали бы святыми, не пройди они через страшные испытания. Простите меня за банальность и бессвязность, но я предупредил, что мои ответы основываются не на логике, а на личном восприятии.

По возрасту я был слишком молод, чтобы стать солдатом в первую мировую войну, и слишком стар для участия во второй. Следовательно, я не знаю фронтовой жизни. Но я пережил две оккупации и считаю, что оккупация может быть не менее страшной, чем война. На фронте молодой человек действует под влиянием общего патриотического порыва. А в тылу герои живут вперемешку с подлецами. Потому-то и случалось, что те, кого считали храбрецами, оказывались трусами, и наоборот.

Я хотел описать махинации и гнусности оккупации в романе «Грязь на снегу», их воздействие на юношу, полного жажды жизни, идеалиста и циника одновременно, как это бывает в шестнадцать лет.

Вопрос: Когда вы впервые прочли Горького?

Ответ: В детстве. Я любил забираться с книгой Горького куда-нибудь во двор, где мама стирала белье. Особенно нравились мне места, где действие происходит на берегах Волги. Я ощущал запах степных трав, видел плывущие мимо суда, слышал пение птиц. Я упивался этой жизнью до того, что забывал, где я. И еще одна книга произвела на меня сильное впечатление — роман «Мать».

Вопрос: Чем вы можете объяснить, что в ваших произведениях обычно дается образ эгоистичной в своей любви и деспотичной матери?

Ответ: Я мог бы вам ответить, что мать — обычно самый консервативный член семьи. Это ее предназначение, ибо она должна оберегать свое потомство и хранить традиции. Отец ведет менее замкнутую жизнь. Во всяком случае, так было сорок лет назад, когда я начинал писать. Мать являлась монолитной, жесткой опорой семейного очага. Поэтому дети чаще возмущались строгостью материнского воспитания, чем отцовского, которое было мягче.

Вероятно, это поразит вас, но я исхожу из данных полицейской статистики. Всегда говорят о нежной, любящей матери. Так оно и бывает в большинстве случаев. Однако матери чаще, чем отцы, бросают своих детей и чаще истязают их. Для матери ребенок до двух-трех лет — это существо, которое целиком принадлежит ей. Но как только в нем определяется индивидуальность и дитя превращается в маленького человека, мать начинает как бы ревновать его. Ей трудно примириться с тем, что это рожденное ею существо ускользает от ее влияния. Я тоже писал о матерях нежных и снисходительных, даже жертвующих собой. Но и других не меньше — дела этого рода я с интересом читал в полицейских рапортах.

Вопрос: Видели ли вы Горького на сцене?

Ответ: Я видел несколько его пьес в исполнении талантливой русской семьи актеров Питоевых. Они ставили Горького в Париже. Как только театр оказывался на мели — а иногда наступало такое безденежье, что нечем было даже заплатить за электричество! — Питоевы знали, что стоит им показать парижанам «На дне», как полный сбор обеспечен.

Вопрос: Согласны ли вы, что образы «клошаров» в ваших романах напоминают бродяг, обитателей горьковского «дна»? Например, доктор Келлер в романе «Мегрэ и бродяга».

Ответ: В любом крупном городе любой страны существуют люди, не сумевшие приспособиться к современным условиям жизни. По тем или иным причинам они порывают с организованным обществом. В Париже вы увидите их на набережных Сены. У Горького они живут в подвалах или в бараках. В Нью-Йорке — в Бауэри или под присмотром Армии Спасения. В Лондоне — в доках. Это феноменальное явление. Эти отброшенные обществом люди обладают часто исключительным благородством. Они живут без идеала потому, что слишком стремились к нему и не нашли его.

Вопрос: Читали ли вы кого-нибудь из современных русских писателей, например, Алексея Толстого?

Ответ: Да, я читал его, но мало, так как с 28 лет я перестал читать романы и позволяю себе знакомиться только с мемуарами и письмами — от Юнга, Черчилля и Хемингуэя до Наполеона и Талейрана. Читаю я не систематически. По существу, я почти не знаю новой русской литературы, так же как и французской («нового романа») и американской.

В литературе США я остановился на эпохе Фолкнера, Хемингуэя, Стейнбека и Дос Пассоса.

Вопрос: Были ли вы знакомы с Ильей Эренбургом?

Ответ: Я близко знал Илью Эренбурга в 1933—1935 годах. Одно время мы встречались каждое воскресенье у общего друга — Эжена Мерля. Эренбург упоми-

нает о нем в своих мемуарах. Мерль жил под Парижем, и так как у Ильи не было своей машины, я обычно подвозил его домой.

Эренбург был очень приятным, несколько странным человеком. Он больше слушал, чем говорил. Сидит где-нибудь в углу, словно его тут и нет, и, кажется, что он ничего не слышит. Однако он помнил все, о чем мы говорили... Мне очень хотелось встретиться с ним либо здесь, либо в России Его мемуары произвели на меня огромное впечатление.

Илья был старше меня на одиннадцать лет. Он знал многих моих приятелей за одиннадцать лет до меня, главным образом, художников, с которыми я подружился только в 1922 году: Вламинка, Дерена, Модильяни и других. Он был близок с ними еще в довоенные годы — а этот период представляет для меня загадку, к которой я снова возвращаюсь благодаря мемуарам Эренбурга.

Не знаю, случайность ли это или преднамеренный выбор, но по приезде в Париж у меня оказалось больше друзей среди художников, чем среди писателей. Даже теперь я почти не поддерживаю связи с писательской братией. У меня такое ощущение, что мне нечего им сказать и что мне будет с ними скучно, чего никогда не бывает в обществе художников.

1922 год, когда я приехал в Париж, был еще великой эпохой Монпарнаса, туда съезжались художники из всех стран мира. На террасах кафе «Ротонда», «Дом», «Куполь» говорили на всех языках и целыми днями обсуждали новое искусство. Я стал безвестным товарищем художников, которые были чаще всего старше меня, как Вламинк, Дерен, Пикассо,— его другом я остался до сих пор. Среди этих художников многие очень бедствовали, потому что их вещи еще не продавались.

Вопрос: Прообразом художника в романе «Маленький святой» можно ли в какой-то мере считать Сутина?

Ответ: Сутин был самым бедным. Он жил в похожей на сарай мастерской, где-то на заднем дворе. Начав новое полотно, он нередко оставался взаперти по три-четыре дня. Мы всегда недоумевали — ест он что-нибудь в это время или нет?

Для того чтобы написать свою самую знаменитую картину «Освежеванный бык», Сутин купил за бесценок полтуши попавшего под поезд быка. Он работал над ним не отрываясь целую неделю. Можете представить себе, сколько там развелось мух и червей и какой стоял ужасный запах! Но художник ничего не замечал и продолжал писать — это был настоящий фанатик. Для него ничего не существовало, кроме его полотна. А когда Сутин продавал что-нибудь, он клал деньги на блюдо — как в моем романе «Маленький святой». И каждый, кто нуждался в деньгах, приходил и брал себе, сколько ему было нужно. Деньги для него не имели никакого значения. Сутин был художник-идеалист, вроде Ван Гога.

Вопрос: Встречались ли вы с Шагалом?

Ответ: Шагал в то время был известен меньше, чем Сутин, и делал главным образом иллюстрации. Он редко принимал участие в ночных сборищах.

Мне только что удалось купить картину Сутина — вы видели ее в моем бюро. В то время я мог бы приобрести его картину за 50 франков, но у меня не было их, так же как и у него.

Вопрос: «Маленький святой» — ваш единственный роман, посвященный судьбе художника. Как понимать его название?

Ответ: Мне всегда хотелось описать человека, живущего в мире с самим собой, наслаждающегося душевным покоем. Так вот эту душевную ясность я наблюдал у Цадкина, например, и она свойственна, без сомнения, Шагалу.

Они близки друг другу по душевному складу — живут в состоянии непрерывного творческого горения, которое сродни блаженству. Можно сказать, что жизнь омывает их, как свежая вода. У большинства художников, которых я знал, было стремление к этой душевной ясности и покою. Может быть, поэтому они дожили до глубокой старости?

Вопрос: Но ведь «Маленький святой» достигает душевного покоя ценой полного отключения от волнений окружающих, даже самых близких ему людей?

Ответ: А я и не предлагаю «Маленького святого» как идеального человека. В последней главе романа он сам осознает, что черпал силу для своего творчества в жизни и смерти своих братьев и сестер, во всех пережитых ими трагедиях. Для него важно было только его творчество.

А, впрочем, не были ли все святые эгоистами, равнодушными к окружающим их людям? Я взял выражение «Маленький святой» именно в этом смысле. Он не был ни настоящим братом, ни настоящим сыном. Он жил в своем внутреннем мире и брал — совершенно естественно, может быть, и бессознательно — все, что ему было нужно, у других людей.

Вопрос: Любите ли вы Пикассо? Какой период его творчества вам больше по душе?

Ответ: Некоторые его произведения меня трогают сильнее, другие — меньше, то же относится и к периодам его творчества. Если бы мне предложили выбрать три его полотна, я взял бы одно — голубого периода, другое — кубистского и третье — современное.

Не знаю, каким будет его место в живописи. Иные видят в нем созидателя, иные — разрушителя. Он настолько демонтировал живопись, разъял ее на мелкие части, проанализировал ее тайное тайных — это человек столь исключительного интеллекта, что мы не можем еще судить о нем.

«Герника», безусловно, шедевр, нечто непостижимое. Это — самое жестокое, самое кровавое и самое страшное изображение войны. А «Голубь мира» — очаровательный символ, которым восхищаются все — и стар и млад.

Вопрос: А как вы относитесь к абстрактной живописи?

Ответ: Я имел возможность наблюдать за художниками, начиная с примитивистов и кончая «дикими», и до сих пор восхищаюсь импрессионистами, кубистами и экспрессионистами. Но чисто абстрактное искусство мне непонятно. Может быть, это пробел в моем образовании? А вот мои дети любят некоторые абстрактные картины и, кажется, понимают их. Может быть, через 10 или 15 лет они будут воспринимать фигуративную живопись как нечто чуждое им? Абстрактное необязательно бесчеловечно. Есть и абстрактная музыка. Тем не менее она потрясает нас. На самом деле абстрактные художники стремятся достичь создания искусства столь же математического, как и музыка. Что касается меня, то я уже не в таком возрасте, чтобы судить. Слишком поздно.

Вопрос: Кого из старых мастеров вы предпочитаете?

Ответ: Кранаха. В Базеле есть его картины «Адам» и «Ева». Я иногда езжу туда лишь за тем, чтобы поглядеть на них. Еще я люблю Джотто. А из художников XIX—XX веков — всех импрессионистов, особенно Мане, Ренуара и, конечно, Ван Гога. Их много. А вот Рублева я не знаю.

Вопрос: Кто ваш любимый композитор?

Ответ: Бах. А из русских — Чайковский. Он напоминает мне импрессионистов — такая же кипучая жизнь, такие же сочные краски.

Но особенно остро я воспринимаю Баха, потому что нахожу у него ту необходимую человеку душевную ясность, о которой только что говорил. Не обладая ею сам, я люблю находить ее у других.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о ваших встречах со Стравинским.

Ответ: Я хорошо знал Стравинского. Я встречал его в 1925 году и позднее был у него в Голливуде, где он жил со своей очаровательной женой. Этот человек постиг секрет вечной молодости! Мне вспоминается один необыкновенный вечер. Стравинский решил дать концерт механической музыки и выбрал для него самый шикарный парижский театр на Елисейских полях. Никто не понимал, что значит «механическая музыка». В этом театре публика всегда во фраках и бальных платьях. Явился весь парижский свет. Оркестровая яма была загромождена какими-то странными аппаратами и органными трубами. Это были только что созданные или усовершенствованные патефоны.

И вот поднимается занавес. Выходит Стравинский. Ему аплодируют. С дирижерской палочкой в руке он становится за пюпитр и нажимает на какие-то кнопки. Ставит пластинку и в такт музыке размахивает дирижерской палочкой.

Зрители сначала переглядываются, покашливают. Затем начинают свистеть и под конец — возникает драка.

Я был тогда с Жаном Кокто, Жоржем Ориком и другими. Разразился колоссальный скандал, закончившийся для нас в полицейском участке.

Оказывается, Стравинский просто хотел показать, какое место может занять музыка в жизни каждого человека благодаря прогрессу техники и появлению радио. Ведь в ту пору иметь у себя в доме патефон и радиоприемник считалось дурным тоном.

Вопрос: Каких русских артистов вы знали?

Ответ: Я был знаком с Павловой — обаятельной и хрупкой. Кто видел балерину в ее уборной за десять минут до начала спектакля, мог бы дать голову на отсечение, что у нее — такой воздушной — не хватит сил дойти до сцены. Но едва появлялся режиссер, она вставала, шла за кулисы, и стоило ей выйти к зрителям, как она превращалась в огненный вихрь.

Вопрос: Вы любите балет?

Ответ: Я даже написал один, но о нем не расскажешь. Тем не менее я не был балетоманом, я хожу в балет довольно редко, так же как и в театр. Все это для меня слишком отвлеченно, несмотря на красочные декорации, освещение, присутствие людей, которые танцуют. У меня есть потребность в более конкретном искус-

стве. К тому же я считаю, что романист — человек, создающий персонажей, не должен поглощать слишком много искусства, так как искусство — это уже кем-то осмысленная человеческая жизнь. Я большему учусь в бистро, чем в опере, которая для меня роскошь. Я еще недостаточно удовлетворил свой голод по людям во плоти и крови, чтобы поглощать образы, уже переосмысленные другими.

Вопрос: Как вы познакомились с Луначарским?

Ответ: Мы встретились в Париже. Мой друг Жемье[1] был уполномочен нашим правительством показать Луначарскому столицу Франции. А я довольно хорошо знал ночной Париж. Луначарский приехал со своей женой, актрисой, очень красивой и элегантной женщиной. Я познакомил их с Жозефиной Бэкер, и мы провели вечер все вместе.

Потом я встречался с Луначарским еще три-четыре раза. Кажется, он был первым советским министром, приехавшим во Францию. Это было примерно в 1924—1925 годах. Он произвел на меня впечатление человека высокой культуры, впечатлительного и тонкого.

Вопрос: Собираетесь ли вы вновь в Советский Союз?

Ответ: В 1932 году я плавал по Черному морю от Одессы до Батуми и дал себе слово повторить это путешествие. В 1965 году я действительно повторил его с моими детьми и внуками. Я нашел в городах, где побывал в первый раз, значительные изменения, они разрослись, сохранили свое своеобразие, оно стало даже более ярким, более ощутимым. Я не видел ни Москвы, ни Ленинграда, но надеюсь ликвидировать этот пробел. Правда, мне это довольно трудно, так как каждый год так короток! Ведь я отец семейства, и моя работа три раза в году прерывается каникулами — пасхальными, рождественскими и летними. В промежутках мне приходится не только писать, но и заниматься делами, принимать журналистов, представителей радиовещания и телевидения.

Поэтому боюсь, что мне будет трудно выбрать время, достаточное, чтобы посмотреть в России все, что мне хотелось бы увидеть.

Вопрос: Сколько романов вы пишете за год?

Ответ: Вначале я писал по шесть романов в год, затем — пять, а теперь чаще всего пишу не более трех. Зато последние мои вещи более компактны и лаконичны... и требуют от меня большого физического напряжения. Я пишу очень быстро, в состоянии такого нервного подъема, который могу выдержать не более нескольких дней.

Как правило, первый в году роман я пишу примерно в феврале. Это роман «полутрудный», типа «Поезд из Венеции». Затем наступает время школьных каникул, и по окончании их я пишу то, что про себя называю «роман-трагедия», очень напряженный и трудный. И, наконец, в ноябре, когда дети готовятся праздновать рождество, я сажусь за очередного Мегрэ. Это гораздо проще.

Вопрос: Не кажется ли вам, что вы недооцениваете свои романы о комиссаре Мегрэ?

Ответ: Этого я бы не сказал. Для меня романы о нем то же, что для художника эскиз с натуры. Вот, взгляните на эту картину Дерена. Он сделал этюд на природе, возле Антиба, а вернувшись в город, написал по нему картину на холсте, маслом. Для меня Мегрэ — нечто вроде наброска.

Композитор, устав от симфоний, отдыхает, сочиняя песни. Так достигается большая свежесть, больший оптимизм, легкость, а композиция играет меньшую роль.

Вопрос: Обычно читатели знакомятся с вашим творчеством прежде всего по циклу романов о Мегрэ?

Ответ: Всякий раз, когда в какой-нибудь стране возникает интерес к моим книгам, я советую начинать с Мегрэ, затем перейти к психологическим романам, а затем снова вернуться к Мегрэ, и так далее. Думаю, что так будет и у вас. Это дает читателям возможность познакомиться с обоими жанрами, в которых я работаю.

Вопрос: Тема «молодых» проходит красной нитью через ваше творчество — и в психологических произведениях, и в цикле Мегрэ. Считаете ли вы неизбежным конфликт между старыми и молодыми, между отцами и детьми?

Ответ: На это можно ответить одной фразой: будь родители так же требовательны к себе, как к детям, суди они себя так же, как детей,— было бы гораздо меньше трагедий детства. Говоря «родители», я имею в виду «общество». Несомненно, у молодых людей должна быть своя жизнь. Именно в таком духе я воспитываю своих детей. Никто не может знать каким будет мир через тридцать лет.

[1] Фирмен Жемье (1869—1933) — французский театральный деятель.

В газетах часто предсказывают перевороты в науке, медицине, политике, государственном строе и т. п. Так вот, наши дети должны быть готовы к тому, чтобы жить не той жизнью, какой живем сейчас мы, взрослые, а той, что настанет позже. Через тридцать лет нас уже не будет, а они останутся. Значит, они и должны подготовить себя к грядущей жизни.

Мне кажется, что это их и тревожит. Ведь все группировки, о которых столько говорят — битники, черноблузники и т. д.,— являются, по-моему, реакцией на это чувство тревоги. Лет пятьдесят назад существовало определенное количество профессий. Было ремесло, мелкая торговля, промышленность, свободные профессии. Сегодня существует бесчисленное множество профессий. Они рождаются ежедневно, и каждая из них требует новых знаний, часто специальных. Один мой друг, профессор-гематолог, возвратившись с международного симпозиума, признался мне:

— Половины докладов я не понял. Это было выше моего разумения.

Смогут ли молодые сами найти верный путь, если мы не воспитаем у них с детства самостоятельность, не приучим к ответственности за свои действия? Я считаю, что лучшим наследством, которое мы сможем им оставить, будет отсутствие вражды, вернее — ненависть к войне и любому виду насилия. В условиях мирного существования молодежь сама сумеет разобраться, где истина.

Среди книг

Издано в СССР

НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИЗНИ

Юрий Жуков. Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борьбы. 1946—1970. Москва, «Мысль», 1970. 533 стр.

Книга Юрия Жукова «Из боя в бой» сложилась как бы на параллельном движении жизни одного из крупнейших советских журналистов, общественного деятеля и публициста. Юрий Жуков — человек огромной трудоспособности и любознательности. Широта его интересов составляет сущность его натуры и в названной книге получает свое полное и последовательное выражение.

Современник нашей перенасыщенной событиями эпохи, он знает ее отнюдь не понаслышке. Для него каждая историческая дата открывается в образах конкретных людей, в их деятельности, то есть в мыслях и поступках, за которыми всегда — характеры, убеждения, познанные идейные позиции. Именно такое понимание мира, как и длящейся, вечно развивающейся битвы идей, дает книге наступательную силу, где авторская позиция не спрятана, не зашифрована, а сознательно и подчеркнуто вынесена в самое заглавие.

И это тем более привлекательно на фоне модных концепций, где о художественных процессах принято говорить уклончиво, с застенчивой оглядкой на все углы, откуда могут шикнуть, а то и осмеять за старомодность, наивность, упрощенность. Да мало ли еще за что? Слабодушие это происходит чаще всего от шаткости критерия, а затем и от недостаточной осведомленности, где собственную точку зрения на тот или иной конкретный предмет заменяет готовое суждение с равнением на авторитет часто временный, мнимый, а то и прямо враждебный.

Юрий Жуков предстает в своей книге как боец, прежде всего храбрый. Поле боя, в который он нас ведет, представляет собой плацдарм, резко пересеченный и запутанный до крайности. И тут главнейшим достоинством книги выступает та жадная заинтересованность реальностью современного художественного процесса, а вследствие этого и обширная осведомленность, которая не может быть хоть сколько-то заменена пусть даже самыми выверенными рассуждениями «в общем и целом».

Таким образом, на первый план становится чисто познавательное значение книги, где увлеченно, но и с отличной описательной точностью воссозданы силою живого слова произведения литературы, театра, кино, живописи. Именно эта сила заинтересованного зрения открывает перед читателем противоречивую картину современного эстетического мира и дает повод для сопоставлений и размышлений

Я подчеркиваю это, на мой взгляд, неоспоримое достоинство книги Ю. Жукова потому, что во всем множестве книг, которые написаны и пишутся по поводу литературы и искусства двадцатого века, вы едва ли найдете произведение, столь доступное рядовому читателю при сохранении идейно обоснованной, но и нимало не предвзятой позиции. Каждый раздел, каждая глава книги обеспечены самым серьезным и взыскательным вниманием автора к предмету анализа и читаются с тем большим интересом, что анализу подвергаются самые различные и противоречивые явления современного искусства. И тут заглавие книги остается верным и постоянным ориентиром и автора, и читателя. Именно

так: «Из боя в бой». Иначе и не представишь сколько-то правдивой картины мира современного искусства, призванного отразить век величайшей социальной и научно-технической революции, век обостреннейших классовых боев.

Велик интерес нашего читателя ко всему многообразию явлений современного искусства. Интерес этот в стране безвозвратно рухнувшей религии, в стране сплошной грамотности, вплотную подступающей к сплошному среднему образованию всего населения, закономерен. Идейно-эстетическое воспитание становится одной из важнейших задач времени. И в этом смысле значение книги Ю. А. Жукова «Из боя в бой» трудно переоценить.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С НЕПАЛЬСКОЙ ПОЭЗИЕЙ

Стихи непальских поэтов. В переводах Павла Железнова. Подстрочный перевод с непальского Л. Аганиной и Н. Королева. Предисловие Л. Аганиной. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 103 стр.
Л. А. Аганина. Рассказ о непальском поэте. Москва, «Наука», 1970. 134 стр.

Несколько лет назад на полках книжных магазинов появился небольшой сборник стихов с изображением вечнозеленых зарослей на обложке. Это был первый вышедший на русском языке сборник до тех пор малоизвестной нам поэзии Непала.

Каждый, кто раньше соприкасался с поэтическим миром Индии, ощущает близость к нему непальской поэзии. Об этой близости свидетельствуют и многочисленные сходные метафоры, и реалии, роднящие непальскую поэзию с поэзией на хинди или бенгали, и насыщенность древними мифологическими образами индуистского пантеона — танцующего свой вечный танец разрушения и обновления грозного Шивы, неумолимой богини-мстительницы Дурги, покровительницы искусств Сарасвати.

В чутком, глубокопоэтичном, пантеистическом восприятии природы, в лирических раздумьях непальских поэтов о трудностях жизненного пути, о суровом долге и высоком призвании человека ощущается влияние старинной индуистской философии, положения которой были истолкованы поэтами в высоком гуманистическом смысле. Превыше всех добродетелей здесь ставятся упорство и бескорыстие, равно как и заложенное в каждом человеке творческое начало, о чем прекрасно сказано в стихах крупнейшего непальского поэта Лакшмипрасада Девкоты:

Ты куда идешь молиться?
Ведь в груди твоей — чертог,
Где достоин поселиться
Самый высший в мире бог.

Бог не в храмах горделивых,
Он — в больших глазах твоих,
В молодых, трудолюбивых,
Золотых руках твоих.

Мыслью в небесах парящий,
Не страшись земных тревог!
Человек — добро творящий,
Вот он — высший в мире бог!

(«Паломник»)

Революционно-патриотические мотивы в современной непальской поэзии, как, например, в завершающей сборник «Песне борьбы» Сидухичарана Шрестхи, явственно перекликаются с патриотическими гимнами Тагора, с огненными, бунтарскими песнями Назрула Ислама, с мотивами освободительной борьбы в стихах Майтхилишарана Гупты, Ниралы, Чатурведи и многих других индийских поэтов.

Вместе с тем даже по этому небольшому сборнику можно судить и о многих отличительных чертах непальской поэзии, о своеобразии ее тематики и образов, о ее колорите. В стихах поэтов Непала отражена не только неповторимая красота этого горного края, величие его снеговых вершин, бурливая мощь потоков, буйная зелень девственных лесов, но и гордый дух этого небольшого, но упорного и сплоченного народа, сумевшего пронести сквозь долгие годы феодального гнета свободолюбивые традиции, веру в будущее. Этой верой пронизаны наряду со многими стихами других поэтов призывные строки Мадхавпрасада Гхимире, обращенные к непальской молодежи: «Идите вперед, «молодые лучи», герои новой эпохи!»

Непал — край песен. Говорят даже, что у непальского народа столько песен, что из них можно было бы сплести яркую гирлянду на шею седым Гималаям. Отсюда — песенный склад, чувствующийся во многих поэтических образцах, представленных в сборнике «Стихи непальских поэтов».

В предисловии, написанном Л. Аганиной, рассказано многое из того, что до недавнего времени оставалось известным лишь узкому кругу востоковедов. Мы узнали о богатых классических традициях непальской поэзии, восходящих к древней санскритской литературе, о том, как эти традиции постепенно стали все более сковывать развитие современной поэзии Непала (аналогичный процесс характерен для развития новейшей поэзии и во многих других странах Востока), узнали и о той упорной, зачастую трагической борьбе за творческое раскрепощение, которую пришлось вести вплоть до середины нашего столетия мужественным одиночкам — передовым непальским писателям — в условиях жестокой феодальной тирании.

Около ста лет, при прямой поддержке британских колонизаторов, в стране без-

раздельно господствовала реакционная олигархия феодальной династии Рана. Страна была искусственно изолирована от внешнего мира, в ней сохранялись самые отсталые установления средневековья. Даже попытка создания в Катманду первой общедоступной библиотеки, даже чтение выходивших в соседней Индии газет приравнивалось к уголовно наказуемым преступлениям. Лишь после 1951 года, когда был положен конец власти Рана, появилась возможность развития многообразных поэтических талантов.

Небольшой сборник «Стихи непальских поэтов» благодаря хорошо продуманному составу оказался очень емким: он как бы приоткрыл четырнадцать окон в мир дотоле неведомой нам поэзии, представив на своих страницах образцы творчества четырнадцати ведущих поэтов современного Непала. По наиболее ярким стихам этого сборника можно составить хотя бы первое впечатление и об общем колорите непальской поэзии, и о характерном для современного этапа ее развития сложном переплетении народных и классических традиций с новыми поэтическими веяниями, в том числе и с влиянием современной европейской поэзии.

Для советских читателей представят несомненный интерес первые опыты передовых непальских поэтов в освоении ораторского стиля Маяковского, как это мы видим на примере стихотворений Балкришны Самы:

Черные тучи
друг другу в сердце
бьют остриями огненных пик.
Из грубой глотки Громовержца
вырывается крик.

. . . . . .

Прочна человеческой дружбы нить,
с помощью этой нити
сумеем звезды объединить
ракетами
и приручить их...

Так состоялась наша первая встреча с поэзией современного Непала. А вслед за нею последовала и вторая: мы получили возможность познакомиться с жизненным и творческим путем одного из выдающихся представителей непальской литературы — Лакшмипрасадом Девкотой (1908—1959).

«Рассказ о непальском поэте» — так называется книга Л. Аганиной. По своей беллетристической манере это и в самом деле рассказ, написанный увлекательно, с большим знанием предмета. Вместе с тем это и серьезный труд, в котором подвергаются анализу истоки поэзии Девкоты, исторические и социальные условия, определившие основные этапы его идейного и творческого роста.

Рождение мальчика, совпавшее с красочным, полным огней, гирлянд и песен народным праздником — днем почитания Лакшми, богини богатства и процветания... Первые, незабываемые уроки грамоты и поэзии, преподанные ему отцом — знатоком священных книг, человеком одаренным, даже писавшим стихи на санскрите... Годы учебы в местной англизированной школе, ревностное изучение английского языка и литературы, получение долгожданного диплома бакалавра искусств... Первые горькие разочарования и первые серьезные стихи, в которых молодой Лакшмипрасад пытался перенести на лоно непальской природы полюбившиеся ему образы лирических баллад Вордсворта, сонетов Китса... И наконец, первый подлинный творческий успех — поэма «Муна и Мадан» (1938), написанная на трогательный народный сюжет, в мелодической манере народных куплетов, напоенная, по словам самого поэта, «соком непальских плодов и ягод», которая принесла ему первое широкое признание и первый жалкий гонорар — сто рупий!..

И дальше, почти всю жизнь, будет преследовать Девкоту противоречие между славой «махакави» (великого поэта) и бесконечной, безысходной, изнурительной нуждой. Впрочем, противоречие это объяснялось не только жестокостью реальных условий, но и самой натурой поэта — самозабвенно бескорыстной, чуждой даже малейшей мысли о житейской выгоде. До конца своих дней оставался верен Девкота главному жизненному девизу:

Учись у облака,
как жертвовать собой,
упав дождем
на благо людям.

(Перевод Л. Аганиной)

С большим публицистическим накалом описан в книге тот новый духовный подъем, который произошел в мировоззрении и творчестве Девкоты сразу же после провозглашения независимости Индии. Это были годы бурного нарастания освободительной борьбы в Непале, когда поэт на несколько лет переселился в Бенарес, стал членом только что образовавшейся партии Непальский национальный конгресс и одним из самых деятельных, неутомимых сотрудников

еженедельника «Югвани» («Голос века»), со страниц которого зазвучал открытый призыв к свержению реакционной тирании. Долгие годы поэт прислушивался только к музыке родной природы, к чеканным строкам классиков да к мирным сельским песням, стремясь проникнуть в «синий мир красоты», прочесть «краснолепестковую книгу розы». А теперь казавшийся неисправимым романтиком-идеалистом Девкота словно родился заново. Он преображается в яростного бунтаря, в беспощадного обличителя, создает революционную поэму «Зов гор», вдохновлявшую на борьбу непальских повстанцев, призывает в мир очистительную грозу и бурю, предрекает неизбежное крушение старого мира (стихотворение «Песнь огня»).

В эти же годы Девкота создает одно из своих самых значительных произведений, напоминающее развернутый, страстный монолог, пронизанное беспощадным обличительным сарказмом и воинствующим гуманизмом стихотворение «Сумасшедший». В книге оно дано в подстрочном переводе.

С неукротимой яростью обрушивается поэт на «пляшущих марионеток-правителей с языком кокоток», которые «так ловко переламывают хребет человеческим правам». Неистово обличает он и тех, кто упрямо защищает старый уклад жизни, кто не может или не желает понять благородных надежд и устремлений поэта, а потому и считает его сумасшедшим:

Для вас все ясно,
а я задыхаюсь от бессмыслицы.

•

Ваше небо — для меня ад.
Ваше золото —
для меня железо.
Ваша религия —
для меня грех.
Ваш прогресс
для меня — шаг назад.
Так опрокидываются все ценности.
Как видишь, друг,
я абсолютно сумасшедший!

В последние годы жизни Девкоте, теперь уже почтенному «махакави», рано состарившемуся после долгих лет нужды и неистовой траты душевных сил, довелось стать одним из первых «посланцев в мир» из далекого Непала. В 1954 году поэт был почетным гостем на Международном фестивале молодежи в Бухаресте, в 1958 году он принял участие в Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, побывал в Москве. Во время этих встреч, на которых поэт увидел столько друзей из стольких стран мира, он впервые смог воочию убедиться в том, как воплощается в наши дни его заветная мечта о грядущем всечеловеческом братстве. «Мой дом — дом всех, потому что все мы живем в одном мире!» — не раз повторял Девкота. Жаль, что об этих итоговых страницах его жизни рассказано в книге слишком бегло, перечислительно.

По-настоящему драматичной получилась картина последних дней жизни Девкоты — последних мучительных часов, проведенных поэтом, «горящим в космическом пожаре боли», на низком деревянном топчане арьягхата — террасы для умирающих, построенной на берегу священной реки Багмати. «Как бы ни было плохо, помните, нельзя отказываться от самого себя!..» — таким был предсмертный завет Девкоты ученикам, собравшимся у его изголовья...

Мне хочется, завершая рецензию, привести слова самого Девкоты:

«Непал!
Прекрасный, мирный, огромный!»

Написал я так однажды и сам поразился. Как могла у меня возникнуть мысль, что Непал огромный? Ведь если посмотреть на карту мира, он — капля в море земли, небольшая комнатка, затерявшаяся в коридорах гималайских гор... Но тем не менее он огромен, этот крошечный любимый клочок земли. Ведь огромной ценности бриллиант тоже невелик!..»

С. СЕВЕРЦЕВ

Издано за рубежом

ПОБЕГ В НИЧТО

Guido Piovene. Le stelle fredde, Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1970.

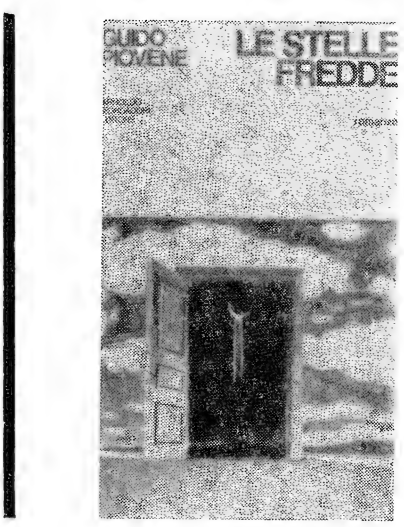
Роман известного итальянского писателя Гвидо Пьовене «Холодные звезды» быстро привлек к себе самое пристальное внимание литературной критики и был удостоен крупнейшей лите-

ратурной премии. Эта необычная, во многом парадоксальная книга читается нелегко. И дело здесь не только в нарочито зашифрованной многозначности ситуаций. В новом романе Гвидо Пьовене изображение безысходности человеческого существования, его бессмысленности и бесцельности в том обществе, о котором пишет автор, доведено до крайней грани, до того предела, за которым открывается лишь черный провал небытия. В сущности, автор как бы пытается стереть эту грань между жизнью и небытием, даже усматривает в самой ее призрачной зыбкости некую единственную надежду, некое целительное средство, позволяющее его герою «вынести собственное существование».

Но кто же этот герой, от лица которого ведется повествование, чем занимался он на свете, прежде чем вступить на мнимоспасительный путь самоотреченья? В романе Гвидо Пьовене этот главный его персонаж обозначен предельно скупыми, но точными штрихами. Литератор, любитель афоризмов, превративший свое пристрастие в доходное ремесло, долго и успешно руководивший «службой пропаганды» крупной авиакомпании в Милане, автор «рекламных лозунгов», красующихся во многих странах мира на щитах фирмы. Он состоятелен, внешне благополучен, любит свою жену, в которой видит «уверенность, тепло, слово, убежденность, характер, искренность». И этот с виду вполне процветающий человек внезапно и бесповоротно решает порвать со всем, что связывало его с прежней жизнью, бросает жену, дом, работу, берет с собой лишь самое необходимое и отправляется в деревню. Здесь, в своем сельском доме, доставшемся ему по наследству, решает доживать свою жизнь сорокалетний, еще полный, казалось бы, сил человек. Мотивы столь странного решения автору представляются настолько ясными, что он почти не считает нужным на них останавливаться, должно быть полагая их банальными и органически включенными в тот мир, откуда бежит его герой, который более не в силах продолжать лишенное для него смысла существование. Немало горечи в детальном описании «техники самоотречения», к которой прибегает его герой, укрывшись в деревне, где он, подобно «больному псу», ищет и не может найти траву для исцеления, все более ограничивая свои связи с миром, в конце концов сведя их к мистическому любованию цветущим вишневым деревом под окном своей комнаты. Но вот срублено и это дерево, оборвана и эта его связь с жизнью, ощущение никчемности побега как бы доведено до предела. Но автор менее всего стремится оправдать своего героя, он говорит о нем как о дезертире, осуждает за любование собственным дезертирством.

В округе происходит убийство. Подозрения падают на нашего героя. Он может легко доказать свою невиновность, но не делает этого, а лишь перебирается из дома в шалаш, надеясь укрыться от докучливых допросов. Но здесь его обнаруживает некий Серджио, полицейский комиссар, которому поручено расследовать дело об убийстве. В виновность нашего героя комиссар не верит и остается вместе с ним, движимый психологическим, даже «философским» интересом к его поведению.

Вместе со своим новым другом — полицейским герой романа становится свидетелем весьма странного происшествия. В ту самую минуту, когда срубили цветущее вишневое дерево, из зарослей кустарника вышел несколько старомодного вида человек в поношенном и запыленном сюртуке и объявил себя Федором Достоевским. Да, так и сказал, обращаясь к ним по-французски: «Меня зовут Федор Достоевский»,— и даже припомнил, что фотография в книге, которую принесли для опознавания, сделана Анной Григорьевной в Германии. Главы, посвященные «воскресению» Достоевского и его рассказу о «потустороннем мире», несомненно, самые важные для автора в этом необычном романе. В сущности, ради них и написана книга. История, которую рассказывает читателям Достоевский, по собственным его словам, «неинтересна». Это, как он сам говорит, «посредственная история». Суть ее в том, что после земной смерти человек продолжает существовать в ином мире, где господствует предельное однообразие, скука, монотонность, бессмысленность, абсурд и бесцельность. «В этом мире нет ни холода, ни голода, ни жажды, вода и даже дикие плоды существуют в нем лишь как декорация... В этом мире нет чувства награды, веры, рая, ада, чистилища, нет чувства доблести и вины, нет морали, нет зла и нет добра». Жители этого мира полностью утратили связи со своим земным прошлым, и вызывают общее возмущение те из них, кто пытается что-либо припомнить. Единственное их занятие состоит в беспрестанном движении в одном на-



правлений, причем большинство обитателей этого потустороннего мира лишены малейшей веры в осмысленность этого движения, и лишь немногие тупо твердят о необходимости веры в бога, в разумность и конечность цели этого движения.

Вскоре становится понятным, насколько схож этот «потусторонний мир» с тем «миланским миром» бесцельности и бездуховности, откуда бежал герой. Но становится ясным и другое. Вернулся на землю в наши дни величайший художник, веривший в моральные ценности христианства, и вернулся для того, чтоб их опровергнуть своим беспощадным, безжалостным к любым иллюзиям свидетельством. Достоевский хочет «проверить себя» в беседе с «ученым богословом», но архиепископ отвергает его свидетельство, объявляет его опасным и «дьявольским».

В устах католического писателя Пьовене это отрицание становится как бы последним, самым крайним из возможных отрицаний.

Особую значительность приобретает решение Достоевского, принятое им после беседы с богословом, решение «предстать перед миром» и опровергнуть веру в то, что оказалось горестным, немощным и бесплодным. Перед тем как покинуть нашего героя и сыщика-философа, Достоевский расспрашивает их: — Есть ли еще на земле апостолы, проповедники, миссионеры? — Их много,— отвечают ему.— Живут ли еще на земле агитаторы, обличители, возмутители, рыцари дела, взыскующие истины и справедливости? — Немало и таких,— слышит он в ответ.— Есть ли на земле борцы, обновители, реформаторы, жаждущие добра человеку? — Встретите на каждом перекрестке,— говорят ему.

Прежде чем удалиться, он задает свой последний вопрос: — Есть ли страждущие за других, живущие ради других, живущие ради будущего? — Ходовой товар,— звучит циничный ответ писателю, пришедшему на страницы романа, чтоб опровергнуть не только важнейший из догматов церкви о посмертной награде и каре, но и логику абсурда, проповедуемую героем этой книги. Достоевский возвращается в живой мир живых людей, где «слава его растет, где ему подражают, где каждому близки его книги», в мир, который «без Достоевского не был бы тем, чем он есть».

Казалось бы, великий спор между надеждой и отчаянием, между действием и инерцией глобального отрицания на этом решен, и решен не в пользу героя романа.

И все же Гвидо Пьовене далек от столь оптимистических заключений. Он оставляет своего героя идти по избранному им пути, ведущему в ничто. Он занялся несколько необычным для нашего читателя, но вполне модным и респектабельным для своего мира делом — составлением каталога окружающих его предметов и подробной каталогизацией собственных ускользающих воспоминаний. Вот образец: «Кресло в центре гостиной. Изогнутые, словно под тяжестью локтей, ручки как бы расширяют сиденье и спинку (плоскую, под легким наклоном). Сиденье и спинка обрамлены светлым деревом, видны складки как бы скомканной и затем отглаженной по сгибам ткани. Материя красная, сквозь большую дыру видна обивка. Аналогия: каучуковое дерево (соки и ветви), изнасилованная женщина, лягушка».

Такими описаниями заполнены сотни и тысячи карточек, в их составлении герой романа видит единственный смысл своих дней. Но избранное им занятие не просто абсурдно, а странный роман Гвидо Пьовене не столь уж странен. Книга, в сущности, предстает перед нами как острый идеологический памфлет. Разве мало сегодня в западном мире художников, видящих свою единственную задачу в каталогизировании предметного мира, пусть точном, но зачеркивающем главный предмет искусства — человека, которого ни в какой каталог не втиснешь? Разве не к «каталогизации», то есть отказу от целостного восприятия мира, призывают сегодня многие лжепророки буржуазной неопозитивистской мысли? В конечном счете серьезным спором с ними представляется нам этот новый, трудный, далеко не во всем удавшийся роман Гвидо Пьовене.

Г. БРЕЙТБУРД

ОБ АФРИКАНСКОМ ЗОЛОТЕ И БРЕМЕНИ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Wilber Smith. Gold Mine. London, Heineman, 1970.

После прочтении книги Уилбура Смита «Золотой рудник» невольно вспоминается притча о петухе, который был твердо уверен в том, что, пока он не прокукарекает, рассвет не наступит. Однако незамысловатая интрига романа до поры до времени скрывает честолюбивые устремления автора.

Главный герой, Род Айронсайдс (по-русски что-нибудь вроде «железнобокий»), неотразимый красавец — все окружающие женщины от него без ума,— великолепный организатор, одинаково любимый и начальством и подчиненными, совершает головокружительную карьеру.

Начав с нервной, неблагодарной и полной опасностей должности помощника управляющего шахтой, он за короткое время поднимается до поста генерального директора всей золотодобывающей компании, походя разрушая планы злоумышленников, которые намеревались затопить рудники, чтобы поднять мировые цены на золото, и так же походя покоряя сердце внучки миллионера, который, как уже нетрудно догадаться, наряду со многими фирмами и компаниями владеет и этими рудниками.

Таких книг про скоростной «путь наверх» в западной литературе великое множество, и об этой не стоило бы и писать, если бы не некоторые ее особенности, идейного, так сказать, характера.

Все дело в том, что действие «Золотого рудника» происходит в ЮАР, где, как известно, апартеид является государственной политикой, а многомиллионное коренное население страны жесточайшим образом угнетается и эксплуатируется и любые попытки протеста против расовой дискриминации преследуются «по закону».

Сказать про Уилбура Смита, что он пытается защищать режим, царящий в ЮАР, это значит представить его несколько более либеральным и терпимым, нежели он есть на самом деле. Да он и не опускается до споров с инакомыслящими. Становясь в позу вышеупомянутого петуха, он просто игнорирует не только критиков апартеида, но и существование свободных африканских государств. Автору, что прекрасно видно из его книги, претит сама мысль о том, что народы африканского континента могут остаться без мудрого, отеческого руководства белых колонизаторов.

Африканцы должны быть заняты на самых тяжелых и низкооплачиваемых работах, тогда белые милостиво согласятся взять на себя бремя общего руководства и распределения доходов — такой порядок кажется Смиту не только справедливым, а и единственно возможным. Поскольку порядок этот был установлен если и не самим господом богом, то уж наверняка Сесилем Родсом, он должен оставаться неизменным.

Смит не жалеет усилий для того, чтобы доказать расовую неполноценность африканцев. Какими только отрицательными чертами не наделяет он их! Они-де и тупы, и ленивы, грубы, жестоки, примитивны, трусливы, подлы. Досуг свой они обязательно проводят либо в пьянстве, либо в исполнении жутких ритуальных танцев, либо в межплеменных ссорах и потасовках.

Характерная деталь: говоря об африканских рабочих, автор чаще всего не удосуживается дать им собственное имя, он считает, что вполне достаточно обозначить племенную принадлежность — «один банту», «один зулу» и т. п.

«Щедрая и гуманная» Компания всячески старается угодить своим рабочим. Приходится, правда, лимитировать мясные блюда, ибо, по уверениям автора, «один банту способен за месяц съесть количество мяса, равное его собственному весу».

Ничем не прикрытый оголтелый расизм Смита проявляется во множестве эпизодов книги. Подумать только, эти самые нищие и вечно голодные африканцы в ответ на заботу белых, предоставляющих им работу, питание и жилье, демонстрируют вопиющую неблагодарность — несмотря на принимаемые администрацией жесточайшие меры, они смеют утаивать для себя добываемое ими золото. По мысли автора, это еще раз подтверждает природную низменность и коварство их натуры. Смиту, представьте себе, и в голову не приходит, что богатства Африки должны принадлежать африканцам, а не кучке белых, утвердивших и поддерживающих свою власть в ЮАР в самом буквальном смысле на поте и крови миллионов людей.

Но правда о жизни в этой цитадели расизма просачивается на страницы даже такой насквозь пропитанной возмутительной ложью книги, как роман У. Смита. Как бы он ни расписывал безмятежное бытие африканцев под неусыпной заботой Компании, уклад жизни в общежитии вербованных рабочих более всего напоминает концлагерь. У всех вновь прибывших, как у преступников, берут отпечатки пальцев, рабочий во время действия контракта практически не имеет права покинуть район рудника, его положение, по сути, не отличается от положения заключенного; и автор все это считает в порядке вещей.

У. Смит иногда старается стать в благородную позу, когда один из белых надсмотрщиков рукояткой тяжелого стального молота до полусмерти избивает нерадивого, по его мнению, работника-африканца. Род Айронсайдс возмущен и обещает покарать обидчика. Каково же наказание, которое готовят автор и его герой человеку, ни за что изуродовавшему другого человека? Род выгоняет проштрафившегося белого с работы и на прощанье дает ему затрещину — и это все. Род Айронсайдс — «положительный» герой, естественно, не может одобрить бессмысленной жестокости по отношению к африканцам. Но сам характер «справедливого наказания» провинившемуся белому как раз и свидетельствует о том, сколь глубоко коренится расизм даже в «лучших» и «благородных» героях этой книги. Айронсайдс, равно как и автор, ни на минуту не ставит под сомнение политику апартеида, основное правило которой состоит в следующем: для белых — один закон, для черных и цветных — другой. Как видно из творения Смита, так оно и есть на самом деле. В том же духе написан и один из ранних романов Уилбура Смита «Когда лев пожирает добычу», рассказывающий о «священной» колонизации Африки белыми.

И сегодня не нужно забывать о том, что у Смита еще немало единомышленников, может быть, лишь более гибких, более «тонких» в своих средствах. Чего только не провозглашают современные неоколониалисты, стараясь задрапировать свою сущность: тут и «равноправное» экономическое сотрудничество, и «бескорыстная» военная помощь... А потом кто-нибудь попростодушнее, вроде Уилбура Смита, возьми да и ляпни: «Чего там с этими банту церемониться!» — и получается конфуз.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

Из месяца в месяц

АЛЖИР

НОВЫЙ ЖУРНАЛ — «АС-САКАФА»

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», министерство информации и культуры Алжира выпустило первый номер журнала «Ас-Сакафа» («Культура»). Новый журнал будет выходить раз в два месяца. Его главный редактор — литературовед и критик доктор Салех Херфи. Первый номер журнала содержит исследования, статьи, стихотворения. Открывается номер вступительной статьей министра информации и культуры Алжира доктора Ахмеда Талеба эль-Брахими.

АНГЛИЯ

«ДАВНИЕ ВРЕМЕНА» ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА

Недавно труппой Королевского Шекспировского театра на сцене Олдвич поставлена пьеса Гарольда Пинтера «Давние времена». Это, по оценкам прессы, первая значительная пьеса известного английского драматурга, актера и режиссера Гарольда Пинтера за последние пять лет.

Критики единодушно признают, что в ней с новой силой проявился талант Пинтера, его мастерство в раскрытии присущей английскому обществу атмосферы отчуждения. Новая пьеса Пинтера, как и предыдущие его работы, проникнута чувством неудовлетворенности жизнью. В ней Пинтер обратился к новой для себя социальной прослойке — на этот раз его герои не простые рабочие и служащие, а богатые люди, занимающие «солидное» положение в обществе. Некоторые рецензенты называют пьесу «Давние времена» психологическим исследованием.

«Герои Пинтера,— пишет в газете «Морнинг стар» Дж. Сазерленд,—чувствуют не только взаимную отчужденность, но и отчужденность от общества в целом, от реальной действительности вообще».

Рецензент английского еженедельника «Обсервер» считает, что пьеса «Давние времена», возможно, «лучшая пьеса о поколении Пинтера». Он отмечает также, что драматург обнаруживает незаурядное мастерство сценического диалога и драматургической формы в целом. Критик высоко оценивает режиссуру Питера Холла: «Спектакль поставлен с абсолютным чувством сценического слуха в использовании каждого слова и каждой паузы». Отмечается и актерское мастерство исполнителей женских ролей—Вивьен Мерчант и Дороти Тьютин, а также игра Колина Блейка.

На фестивале в Канне с успехом демонстрировался английский фильм «Посыльный» Джозефа Лози по пьесе Гарольда Пинтера (в ее основу в свою очередь положен роман Л. П. Хартли) В главных ролях заняты Джули Кристи, Алан Бейтс и Майкл Редгрейв. На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Филмз энд филминг»)

АРГЕНТИНА

ХУЛИО КОРТАСАР О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

Кубинский журнал «Боэмия» поместил большое интервью с известным аргентинским писателем Х. Кортасаром, который знаком чи-

тателям «Иностранной литературы» по новеллам «Преследователь» и «Южное шоссе» (опубликованы в № 1, 1970). Некоторые критики называют Кортасара «неоавангардистом», экспериментатором в области формы и т. п. В подробном содержательном интервью писатель рассказывает о своем творческом пути, художественном методе и политических взглядах.

«До создания «Преследователя» я, по существу, писал только о вещах фантастических, — сказал Кортасар.— Иными словами, меня более всего интересовал механизм рассказа, форма, которая позволила бы читателю ощутить впечатляющую силу фантастичного... Но мои фантастические рассказы всегда остаются в рамках реального. Это происходит так, как если бы вот сейчас мы, разговаривающие в абсолютно реальной обстановке и о реальных предметах, поднялись в своих креслах на воздух. Я вписывал фантастику в реальность — так бы я это назвал. Но с тех пор, как я написал «Преследователя», я отошел от фантастики... внезапно мне открылся человек, мой ближний, в данном случае — музыкант Чарли Паркер, который не просто литературный персонаж, а некто, существующий рядом со мной... И я всегда думаю, что если бы я не написал «Преследователя», то не написал бы и роман «Игра в классы» (это произведение принесло Х. Кортасару мировую известность.— *Прим. ред.*)

«Я полагаю, что пресловутое разграничение формы и содержания создает дутую проблему...— продолжал писатель.— Ни к чему быть формалистом, то есть думать, что все заключается в том, чтобы красиво писать. Посмотреть только — какие глупости пишутся красиво! Написано очень красиво, а за красотой — пустота!»

Кортасар сообщает также, что в прошлом году он начал писать новый роман: «За месяц успел написать 200 страниц. Он будет невелик, всего страниц 350. Это будет очень латиноамериканский роман, хотя действие его происходит не в Латинской Америке».

ВЕНГРИЯ

«ПАНОРАМА-71»

В издательстве «Магвете» вышел новый сборник современной венгерской прозы под названием «Панорама-71», в который вошли в основном рассказы. Критик Рафиш Хайду пишет в рецензии, опубликованной газетой «Непсабадшаг», что это уже восьмой сборник, выпускаемый издательством. По словам рецензента, художественный уровень сборников из года в год повышается. Среди авторов сборника — известные венгерские литераторы: Тибор Дери, Пал Сабо, Лайош Галамбош, Янош Гере, Эндре Веси, Эржебет Галгоци, Миклош Мункачи и другие. В сборник включены также новая повесть Арпада Тиери, отрывок из романа Гергея Ракоши, путевые заметки Ференца Каринти.

«Одним из самых талантливых прозаиков последних лет» называет рецензент Миклоша Мункачи. Его рассказ, помещенный в сборнике «Панорама-71», повествует о молодом человеке, который ищет свое место в жизни.

Высокую оценку Р. Хайду дает рассказу Эржебет Галгоци, посвященному событиям прошлого, по словам критика, он «проникнут духом социалистического гуманизма». В числе лучших, по его мнению, рассказ Лайоша Галамбоша, который повествует о судьбах крестьян-бедняков в хортистской Венгрии.

«Мы можем с радостью констатировать тот факт,— пишет в заключение Хайду,— что сборник «Панорама-71» продолжает лучшие традиции венгерской литературы. Большинство рассказов соответствует требованиям современности, заостряет внимание на судьбах и заботах современных людей, изображает существенные моменты формирования личности и общества».

ГДР

ИЗДАТЕЛЬСТВА — ЮБИЛЯРЫ

Отметило свое 25-летие издательство «Нойес лебен». За эти годы оно выпустило 2849 книжных изданий об-

---

Вышел новый фильм «Горизонт» режиссера Пала Габора по рассказу начинающего писателя Дюлы Мароши. Молодежь и общество, отзетственность молодых людей за свои поступки и ответственность общественности за воспитание подрастающего поколения — таковы проблемы, поднимаемые в фильме
В ролях героев фильма Агнеш и Кареса заняты Сильвия Маросси и Петер Фрид (на снимке).

(Еженедельник «Фильм-синхаз-мюжика»)

В берлинском «Альтес музеум» прошла выставка «Образ рабочего класса в изобразительном искусстве ГДР». На снимке: один из экспонатов выставки — картина Зигфрида Тербера «Ударники труда» (масло).

(Газета «Нойес Дойчланд»)

щим тиражом более 105 млн. экземпляров — романы, повести, стихи писателей ГДР и зарубежных авторов, произведения классиков, приключенческую и специальную литературу.

Первой книгой, опубликованной издательством, был роман Николая Островского «Как закалялась сталь». С тех пор выпущено 428 переводных книг писателей 26 стран. Продукция издательства экспортируется в 38 стран.

Современная литература составляет основу продукции издательства. За минувшие годы изданы романы: Бригитты Рейман «Прибытие в будни», Карла-Гейнца Якобса «Описание одного лета», Эдуарда Клейна «Алхимики», Мартина Фиртеля «Санкт Урбан», Ганса Вебера «Прыжок в гигантское колесо» и другие произведения.

Издательство «Нойес лебен» открыло для читателя многие новые имена в литературе. Недавно был основан «Клуб молодых писателей», цель которого — дать возможность молодым авторам обмениваться опытом, встречаться с читателями, устраивать дискуссии. «Это издательство служит интересам молодых читателей,— пишет обозреватель газеты «Нойес Дойчланд».— «Книги, которые оно выпускает, становятся их верными спутниками».

Исполнилось 25 лет со дня основания издательства «Миттельдойчер ферлаг». 13 млн. книг издало оно за эти годы, став ведущим издательством современной художественной прозы. Сенсацией был изданный много лет назад роман Бруно Апица «Голый среди волков». За эти годы роман вышел в ГДР в количестве 840 000 экземпляров и переведен на 27 языков.

За последние годы «Миттельдойчер ферлаг» выпустило известные романы: «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца, «След камней» Эрика Нойча, «Размышления о Христе Т.» Кристы Вольф, «Буриданов осел» Гюнтера де Бройна. Издательство работает в тесном содружестве с Союзом немецких писателей, с Литературным институтом имени Бехера и Центральным домом культуры.

К своему юбилею издательство выпустило альманах «Литератур-71». Наряду с произведениями Гюнтера де Бройна, Инги фон Вангенхейм, Томаса Николау и других авторов в книге помещены биографические и библиографические сведения, она снабжена предисловием.

ФРГ

«НОЧЬ НАД ГАМБУРГОМ»

Западногерманское издательство «Рёдерберг-ферлаг» уже многие годы занимается исследованием и публикацией материалов, посвященных антифашистскому Сопротивлению в Германии 1933—1945 гг. Недавно издательство выпустило 9-й том «Библиотеки Сопротивления» под названием «Ночь над Гамбургом» (автор — Гертруда Мейер), дополняющий вышедшую в прошлом году книгу Гертруды Мейер и Урсулы Хохмут «Блики гамбургского Сопротивления».

«Пожалуй, впервые в ФРГ,— пишет рецензент газеты «Форвертс»,—издательство публикует столь обширный материал, касающийся одного только города, приводя неопровержимые доказательства и указывая множество имен нацистских преступников».

Читатель узнает, как действовало гестапо Гамбурга, какие функции выполняли его отделы «по борьбе с государственной изменой — марксизмом-коммунизмом» и «по надзору за иностранцами и подавлению их враждебной деятельности». Власти Гамбурга опережали власти других немецких городов в деле ликвидации законности: начиная с апреля 1933 года здесь уже функционировали «особые суды», а 1 августа 1933 года свершилась первая казнь...

В главе «Казни в Гамбурге» автор сообщает, что там были казнены 510 человек; среди погибших — известные руководители пролетариата: Э. Андрэ и Ф. Шульце. В одной из глав описывается арест и убийство Эрнста Тельмана. В гестаповском архиве после 1945 года было обнаружено донесение шпика, выслеживавшего Тельмана.

Автор рассказывает также о распространении политики террора на оккупированные страны Северной Европы, о гамбургских концлагерях, о зверствах специального эсэсовского батальона 999 под командова-

нием Дирленвангера. Книгу завершает подробный указатель имен, литературы и свидетельских показаний.

В предисловии к книге Адольф Куммернус пишет: «Каждая страница напоминает о том, как это начиналось у нас в Германии. Читатель, поразмысливший над этой книгой, сделает правильные выводы. Ведь сегодня у нас вновь раздаются голоса, которые, как мы думали, навсегда канули в прошлое».

ДАНИЯ

ШЕРФИГ — НАТУРАЛИСТ

Имя писателя Ханса Шерфига, автора «Пропавшего чиновника» и «Замка Фрюденхольм», известно многим, но не все знают Шерфига — ученого-натуралиста, тонкого наблюдателя природы.

В связи с выходом в свет третьего издания книги Ханса Шерфига «Пруд» газета «Ланд ог фольк» поместила на своих страницах рецензию на эту книгу под названием «Хаос в природе».

Круг интересов и увлечений писателя огромен, и среди них едва ли не главное место занимает изучение природы во всем ее многообразии. Трудно поверить, что один и тот же человек пишет еженедельные острые политические комментарии в коммунистической «Ланд ог фольк» и, с увлечением штудируя научные труды о насекомых, мечтает написать собственную книгу... о стрекозах.

Херлуф Бидструп однажды нарисовал карикатуру на Шерфига: правой рукой писатель рисует слона, левой — печатает на машинке, ногой крутит ручку радиоприемника, а на полу рядом сидят черепаха и бабочка. Не хватает кактусов, кота Аристотеля и аквариума, но это говорит лишь о том, как трудно перечислить все занятия Шерфига...

«Пруд» нельзя назвать строго научным исследованием, это скорее заметки любителя природы, результат наблюдений писателя над многочисленными обитателями маленького пруда. Живое и увлекательное повествование Шерфига дает читателю гораздо больше, чем сухое изложение сведений по естествознанию. Книга рассказывает не только о жизни микроскопических водяных насекомых, лягушек и водорослей. Благодаря ей читатель узнает о меняющемся настроении природы, о том, кто дал животным многочисленные латинские и датские названия, и множество других интересных сведений.

Но, пожалуй, главное достоинство книги в том, что она ненавязчиво учит людей ценить и беречь окружающую природу, ценить и беречь мир, в котором они живут. «Очень хорошая жизнь может быть на нашей щедрой, цветущей планете,— говорит Шерфиг в своей книге,— от нас самих зависит, будет ли наведен порядок в этом хаотичном мире».

ПРЕМИЯ НЕКСЕ ПРИСУЖДЕНА ЛИТЕРАТУРОВЕДУ

Правление Союза писателей Дании приняло решение присудить в этом году литературную премию Мартина Андерсена-Нексе литературоведу, а не писателю-беллетристу, как обычно. Этой чести удостоен Бёрге Хоуман за значительный научный вклад в дело изучения творческого наследия Мартина Андерсена-Нексе.

Сейчас Хоуман заканчивает подготовку к печати второго тома писем своего знаменитого соотечественника. Переписка охватывает период с 1921 по 1936 год, когда Нексе находился в Германии и вел активную антифашистскую деятельность. Серьезное литературоведческое исследование Хоумана посвящено одному из крупнейших произведений Нексе «Пелле-завоеватель». В ближайшее время датский литературовед собирается приступить к текстовому анализу романа.

ИНДИЯ

«ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

Так называется новый спектакль калькуттской драматической труппы «Набодой гостхи», поставленный по пьесе известного бен-

---

В связи с недавними разоблачениями секретных планов Пентагона в Юго-Восточной Азии газета «Ланд ог фольк» опубликовала эту карикатуру Херлуфа Бидструпа, снабженную подписью: «Ложь долго шагала по миру, но наконец правда вырвалась на свободу».

гальского актера и режиссера Утпала Датта.

Автор построил свое произведение на документах нашумевшего в 1933 году судебного процесса над молодым негром в городе Скотсборо (США). Сфабрикованное полицией «дело» по обвинению Хэйвуда Паттерсона в изнасиловании белых девушек и вынесенный ему смертный приговор вызвали возмущение всего прогрессивного человечества. Максим Горький, Ромен Роллан, Томас Манн, Альберт Эйнштейн и другие видные деятели выступили с гневным осуждением американского «правосудия». Рецензент еженедельника «Линк» пишет, что основная мысль спектакля состоит в том, что и сегодня проблема расовой дискриминации в США столь же остра и злободневна, как прежде.

Спектакль «За права человека» — творческая удача не только талантливого режиссера Утпала Мукерджи, но и всех его участников, утверждает рецензент. Перед зрителем проходит 53 действующих лица, и каждый исполнитель, а среди них немало дебютантов, создает убедительный, по-своему интересный образ того или иного представителя американского общества.

С успехом прошла в индийской столице премьера нового балета «Камаяни» в постановке талантливого мастера хореографии Нарендры Шармы. В основу танцевальной драмы положено одноименное классическое произведение Джай Шанкара Прасада.

По свидетельству критики, режиссеру и исполнителю главной женской партии Нарендре Шарме удалась новая трактовка поведения богов в мифологическом сюжете, которые приближены к современным людям; современно звучит и основная тема спектакля — конфликт между разумом и чувствами человека.

На снимке: Нарендра Шарма и Кум Кум Махтур в сцене из балета «Камаяни».

(Еженедельник «Линк»)

ЮБИЛЕЙ ИНДИЙСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Семьдесят пять лет тому назад, в 1896 году, один из братьев Люмьер демонстрировал в Бомбее свои «двигающиеся картинки». Вскоре после этого в Индии начался выпуск короткометражных фильмов. Первый индийский художественный фильм «Пандлик» вышел на экраны 18 мая 1912 года. С тех пор в Индии выпущено более десяти с половиной тысяч полнометражных фильмов на 27 национальных и иностранных языках. Сейчас на долю индийской кинематографии приходится около одной десятой всей мировой кинопродукции.

Первым полнометражным художественным фильмом, получившим признание за рубежом, был «Раджа Харишчандра», поставленный в 1913 году Дада Сахибом Пхалке, который был одновременно сценаристом, режиссером, директором, оператором, редактором, художником по костюмам, сам проявлял и печатал фильм, рекламировал и демонстрировал его. (В 1970 году была установлена национальная кинопремия имени Пхалке.) Затем европейские зрители увидели «Свет Азии» (1926) и «Карма» (1933). В 1937 году фильм Прабхата «Сант Тукарам» вошел в число трех лучших на кинофестивале в Венеции, а на первом послевоенном фестивале в Канне в 1946 году фильм Четана Ананды «Нича Нагар» получил Большой приз. В 1956 году в Карловых Варах Гран-При была присуждена фильму Раджа Капура «Будь бдителен». Несколько индийских актеров были отмечены призами и наградами на международных конкурсах и фестивалях: Наргис в Карловых Варах, Афинах и Лиме (1957), Сучитра Сен в Москве (1963), Дилип Кумар в Карловых Варах (1955), Притвирадж Капур (1961) и другие.

«ФЕСТИВАЛЬ «РАМАЯНЫ»

С конца августа до середины сентября в странах Юго-Восточной Азии проходил «Фестиваль «Рамаяны», в котором приняли участие Индия, Цейлон, Таиланд, Бирма, Непал, Лаос, Камбоджа, Малайзия и Индонезия. ЮНЕСКО содействовала организации фестиваля.

Как известно, «Рамаяна» наряду с «Махабхаратой» — произведения традиционного индусского эпоса. Истоки «Рамаяны» восходят к I тысячелетию до н. э.: анонимные поэты слагали стихи (более 20000 строф), воспевавшие подвиги легендарных героев. Нынешняя форма «Рамаяны» выкристаллизовалась примерно за несколько веков до нашей эры. В ней описывается одиссея праведного царя Рамы, его борьба с властителем Цейлона Раваной, похитившим его жену.

История и подвиги легендарного Рамы вдохновляли

художников еще задолго до того, как Вальмики создал на санскрите свою бессмертную поэму. Поэма «Дасарата-Ятака» (II век до н. э.), например, представляет собой буддийский вариант «Рамаяны»: в ней Рама изображен как одно из предшествующих воплощений Гаутамы Будды. Существуют два китайских варианта сказания, относящихся к 472 и 222—280 гг. н. э., описывающие отдельные эпизоды из жизни Рамы.

Известен вариант на тибетском языке, существенно отличающийся от текста Вальмики и созданный, по всей вероятности, в период 700—900 гг. О подвигах Рамы повествуется и в летописях Аннама, причем действие переносится в район нынешнего Вьетнама. Бытует легенда о Раме и в других областях Юго-Восточной Азии — в Сиаме, на Малайском полуострове, на Бали и прочих островах Индонезии.

Указания на популярность «Рамаяны» и «Махабхараты» встречаются и в Камбодже: одна из надписей VI века гласит, что в некоторых храмах ежедневно читали стихи из этих поэм. Наибольшей популярности «Рамаяна» достигла на Яве. Здесь классической стала поэма, написанная Иогисварой на древнеяванском языке, бытовавшем на Яве в эпоху перехода от индуизма к исламу, в период 1000—1500 гг. Древнеяванский вариант «Рамаяны» — один из наиболее известных и выдающихся образцов индояванской поэзии. Ученые рассматривают его не как перевод санскритской эпопеи Вальмики, а как самостоятельную творческую трактовку древней легенды. Этой же теме посвящены представления кукольных театров в Бирме, легенды и сказания в Сиаме и т. д.

На протяжении столетий в «Рамаяне» черпали вдохновение сказочники, актеры, танцоры, музыканты стран Юго-Восточной Азии — текстам давали различное художественное и сценическое толкование. Именно в этом разнообразии трактовок «Рамаяны» и выразительных средств обозреватели усматривают главный смысл организации «Фестиваля «Рамаяны».

ИОРДАНИЯ

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ

По сообщению журнала «Аль-Джадид», в Иордании вышла книга «Свидетельства детей военного времени» палестинской журналистки Муны Сауди. В книге собраны рисунки и высказывания маленьких арабов, переживших «шестидневную войну» в июне 1967 года и продолжающих страдать от израильской оккупации.

ИТАЛИЯ

ВОКРУГ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

В Риме состоялось присуждение традиционной литературной премии «Стрега». Из множества представленных произведений в финал конкурса вышло, после тайного голосования, одиннадцать: «Глазами одной девушки» Марины Жарр, «Линия горизонта» Франко Флореанини, «Игра на мосту» Серджо Ферреро, «Свет за спиной» Паоло Морлетты, «Золотой пляж» Рафаэлло Бриньетти, «Сначала тело» Джузеппе Д'Агаты, «Желанная земля» Луиджи Бриоски, «Камень и пыль» Эдоардо Соньо, «Дикарь-наследник» — литературный дебют художника Уго Аттарди, «Утка на дворе» Франко Ферруччи и «Мифоман» Альдо Розелли. Уже после окончательного срока, в нарушение условий конкурса, в число финалистов был включен писатель Карло Кассола, представивший роман «Страх и печаль», что вызвало споры и протесты со стороны некоторых других участников конкурса. Премия «Стрега» — наряду с премией «Виареджо» самая авторитетная в Италии — досталась Рафаэлло Бриньетти, победившему при довольно значительном численном перевесе голосов. Бриньетти — писатель-«маринист», во всех своих произведениях он воспевает море. Книга «Золотой пляж», как и предыдущие его произведения—«Смерть во имя воды», «Прилив», «Берег Чарльстона» и удостоенная в 1967 году премии «Виареджо» книга «Голубая чайка»,— посвящена морю. Это история одного плавания, которое совершают на парусной лодке мужчина и маленькая девочка. В этой повести всего два действующих лица, их лодка, остров, к которому они плывут. Подлинный герой повести — море, как олицетворение стихии жизни, борьбы человека против неведомого, против сил природы. Эта своеобразная повесть по сути представляет собой философско-лирическую поэму в прозе, содержащую много отступлений, размышлений, воспоминаний автора.

Почти одновременно происходит отбор произведений, представленных на соискание премии «Виареджо». В числе трех десятков романов и повестей фигурируют также некоторые, представленные на конкурс «Стреги». Среди соискателей «Виареджо» — писатели Джузеппе Бонавири, Джузеппе Кассьери, Примо Леви, Лючио Мастронарди, П. М. Пазинетти, Марио Спинелла и другие. Помимо того, на конкурс представлен целый ряд публицистических и научно-популярных произведений, а также сборники стихов как видных, так и молодых поэтов.

В столице Сицилии Палермо проходил конкурс драматургических произведений на соискание премии имени Пиранделло, присуждаемой раз в два года. Как и в оба предыдущих раза, первая премия так и не была присуждена. Жюри сочло, что из 121 пьесы, представленной на конкурс, ни одна «не выделяется столь ярко среди других, чтобы позволить присудить ей премию». Однако жюри отметило три пьесы — «Милый друг и его двойник» Лючиано Кодиньолы, «Революция окончена» Нелло Сайто и «Гармоничная комедия неба и ада» Джованни Ска-

бия — и наградило их вторыми премиями. По мнению членов жюри, эти три произведения «в большей мере, чем все остальные, отражают содержание, форму, авторскую позицию, характерные для нынешнего состояния итальянского театра, нашей культуры, а следовательно, и всего итальянского общества».

Международная премия имени Пиранделло была присуждена шведскому режиссеру театра и кино Ингмару Бергману.

ПИНОККИО НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

Герои популярнейшего произведения Коллоди «Приключения Пиноккио» вскоре оживут на телевизионном экране. Режиссер Луиджи Коменчини снимает для телевидения цветной шестисерийный фильм, который будет самой подробной экранизацией знаменитой сказки. В беседе с журналистами режиссер сказал: «Признаюсь, я задумал снять этот фильм еще восемь лет назад, когда работал над картиной «Невеста Бубе». Наша съемочная группа весьма серьезно подходит к этой работе: ведь «Приключения Пиноккио» — одна из самых распространенных книг, она переведена на двести языков, в том числе на 24 — только в Советском Союзе. Фильм, как я его задумал, должен быть своего рода крестьянской сказкой с приметами современности. Я надеюсь, что читатель, превратившись в зрителя, не будет разочарован и найдет в этом замечательном произведении то, что ему дорого».

Режиссер долго не мог найти мальчика для главной роли. Наконец, после того как пробы прошло несколько тысяч претендентов, Коменчини остановился на семилетнем ученике второго класса Андреа Балестри из города Пизы.

Андреа Балестри — исполнитель главной роли в телефильме «Приключения Пиноккио».

(Газета «Унита»)

РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В Риме состоялось заседание Генерального совета Национального профсоюза итальянских писателей, избранного на недавнем съезде. После оживленной дискуссии и обсуждения нового устава профсоюза состоялись выборы секретариата. В состав секретариата профсоюза итальянских писателей вошли Альдо Де Яко, Джанни Тоти, Джузеппе Аддамо, Антонино Кремона и Пьерлучиано Гуардильи.

КАНАДА

ПАМЯТНИК КОПЕРНИКУ В МОНРЕАЛЕ

По сообщениям печати, в 1973 году, когда будет отмечаться 500-летие со дня рождения Николая Коперника, в Монреале будет открыт памятник великому польскому ученому, создаваемый ныне на средства канадцев польского происхождения. В настоящее время подготовка к юбилею (год 1973 будет Годом Коперника) ведется во многих странах мира.

ЛИВАН

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ В СУДАНЕ

Бейрутская газета «Аль-Ахбар» опубликовала текст телеграммы, направленной группой ливанских писателей генералу Нимейри. В телеграмме говорится: «Мы, ливанские писатели, убежденные в том, что общенациональный характер борьбы, которую арабская нация ведет против империализма и сионизма, требует укрепления единства фронта борьбы арабов, призываем вас прекратить преследование суданских левых сил во имя сохранения гуманных принципов арабской революции и сплочения ее рядов, во имя гарантии поддержки левыми силами всего мира нашего дела с тем, чтобы наша нация могла продолжать идти по пути свободы, социализма и единства».

Телеграмма подписана председателем Союза ливанских писателей Сухейлем Идрисом и десятью другими видными ливанскими прозаиками, публицистами и поэтами.

«Аль-Ахбар» поместила также «Обращение к писателям, деятелям литературы и искусства, ко всем честным интеллигентам Ливана», которое призывает «поднять голос протеста или, по крайней мере, выразить искреннее сожаление в связи с тем, что произошло и продолжает происходить в Судане, где полностью попрано право человека на жизнь».

Обращение подписали известные ливанские писатели и публицисты Мухаммед Дакруб, Мухаммед Итани, Акрам ар-Рафии, Ильяс Шакер и критик Хусейн Мурувве.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ МАХМУДА ТЕЙМУРА

Издательство «Дар аль-Маариф» выпустило новый сборник рассказов старейшего писателя Махмуда

Теймура, который называется «Сказитель рассказал». В новом сборнике — более двадцати рассказов о современной жизни. Предисловие к нему написал ветеран египетской литературы писатель и критик доктор Таха Хусейн.

ОПЕРЕ «АИДА» — СТО ЛЕТ

В нынешнем году исполняется сто лет со дня первой постановки оперы Джузеппе Верди «Аида». Премьера оперы состоялась 24 декабря 1871 года на сцене Каирского оперного театра. В связи с этой памятной датой газета «Аль-Ахрам» напечатала статью, рассказывающую историю создания знаменитой оперы.

Как известно, опера «Аида» была заказана Верди египетским правительством ко дню открытия первого в Египте оперного театра, который был построен по приказу хедива Исмаила, чтобы чествовать в нем именитых иностранных гостей в дни торжеств по случаю открытия Суэцкого канала. (Этот театр, ныне именуемый «Домом оперы», тогда назывался «Эль-Театро эль-Хедиви», то есть «Хедивским театром».)

Итальянский композитор долго колебался, прежде чем приступить к работе над оперой. На него пытались оказать давление, намекая, что автор либретто оперы — сам египетский хедив! Однако, по настоянию Верди, ему были вынуждены открыть, что либретто оперы написал итальянец Гисланцони.

Заинтересовавшись либретто, Верди обратился за консультацией к находившемуся на службе у хедива известному французскому египтологу Огюсту Фердинану Мариету («Мариет-Паше»), который внес необходимые исторические уточнения и доработал либретто оперы.

Все это отняло много времени, и к открытию Суэцкого канала, состоявшемуся в ноябре 1869 года, «Аида» не была готова. Задержка объяснялась также тем, что декорации для оперы, заказанные в Париже, не были доставлены в срок из-за франко-прусской войны. Вместо «Аиды» Каирский оперный театр поставил для своих зрителей — королей, императоров и принцев — другую оперу Верди — «Риголетто». Только два года спустя на сцене театра была поставлена «Аида».

Через несколько лет после премьеры в Каирском оперном театре «Аида» начала триумфальное шествие по оперным сценам европейских столиц—Парижа, Лондона, Петербурга, Вены. (В России «Аида» была впервые поставлена итальянской труппой в Петербурге 19 ноября 1875 года, а 1 апреля 1877 года на сцене Мариинского театра она в первый раз прозвучала на русском языке в исполнении выдающихся русских артистов.)

ПОЛЬША

ГРОХОВЯК О ПОЭЗИИ И О СЕБЕ

Еженедельник «Польское обозрение» опубликовал интервью с известным поэтом Станиславом Гроховяком, которое приводится с сокращениями.

— Скажите честно, вы сами понимаете современную поэзию, к которой тоже причастны?

— Иногда случается понять самого себя.

— Знаете ли вы о своем таланте?

— Да. Только в этом мало приятного. Прежде всего меня мучает сознание, что я попусту трачу время. Мне кажется, что я еще ничего не сделал, и боюсь, что так ничего и не сделаю. Сознание таланта — это сознание вины.

— А не испытываете ли вы чувства превосходства перед другими?

— Не знаю, что это такое.

— Не возникает ли у вас порой чувство зависти?

— Бывает. Это прекрасный стимул в работе. Зависть отвратительна, если она выпирает наружу в литературных кафе, но не в творческой лаборатории писателя. В зависти надо высоко метить: я, например, больше всего завидую Шекспиру.

— Кого из поэтов вы считаете своим мэтром?

— Кохановского. В польской поэзии я ищу не только строфы, но и настроение, тон, кантилену.

— А в прозе?

— Из европейских писателей я люблю Гамсуна, Кафку, Грэхема Грина (того, мыслящего, а не развлекательного), Сандрара и «Доктора Фаустуса» (Манна), я не случайно назвал книгу, а не писателя, потому что в общем Манн мне не нравится. Из польских писателей — Прус, Жукровский в книге «Перышком фламинго», Боровский, Бучковский в «Черном потоке», Парницкий, конечно, не говоря о друзьях моего поколения.

— Не могли бы вы вкратце рассказать, что несет ваша поэзия читателю?

— Я хочу рассказать ему о мире. Каждый человек мог бы рассказать о мире заново. Поэт — это тот «счастливчик», которому это под силу.

— А что вы ищете в поэзии как читатель?

— Других, недоступных мне миров...

— А почему некоторые поэты, говоря прозой, употребляют часто, мягко выражаясь, крепкие словечки? У нас, простых смертных, о поэтах несколько школьное представление. Поэт для нас — символ благородства и изысканности стиля и в обыденной жизни тоже.

— Я чувствую себя экспертом по вопросу вида фауны, называемого «поэты». Это ужасно хлопотно, но коль скоро надо... Поэт — это труженик, которому приходится много работать. Конечно, я говорю о настоящем поэте. Мне думается, что пора уже покончить со школьным представлением, что поэт — это человек, не подчиняющийся общепринятым нормам. Я лично не люблю, когда злоупотребляют крепким словцом, по-моему, это проявление духовной скудости.

— А что бы вы могли сказать о себе? Что вы о себе знаете? Какой вы?

— Считаю себя неожи-

данностью для самого себя, и притом ошеломляющей. Я очень благосклонно настроен к людям, хотел бы творить добро. А в результате доставляю много неприятностей. Мне хотелось бы быть благоразумным и аккуратным, а в результате на моем письменном столе и в библиотеке неизменный беспорядок. Благоразумие ассоциируется — разумеется, в моих мечтах — с домовитым образом жизни. А в связи с этим я очень часто и много езжу. Однако, прошу мне верить, мной движут всегда самые благие намерения.

«КАРДИОГРАММА»

Режиссер Роман Залуский известен как автор документальных фильмов. Ощущение документальности оставляет и художественный фильм «Кардиограмма», недавно поставленный этим опытным мастером кино.

Герой фильма — врач по фамилии Равич, который после окончания столичного медицинского института попадает в провинциальный городок где-то на востоке Польши. В этом мире он не принадлежит самому себе — работает день и ночь, почти не выходя из круга — больница, поликлиника, «скорая помощь»...

Собирается ли Равич здесь оставаться долго или рвется поскорее назад, в Варшаву, в клинику знаменитого профессора? Ни то и ни другое — он работает много, спокойно, мечтает о «большой медицине», стремясь упорным трудом добиться исполнения своей заветной мечты.

«Кардиограмма», — говорит режиссер Роман Залуский,— это фильм о взаимоотношениях наших современников и их моральном облике. Он затрагивает жгучие, наболевшие проблемы, но иначе нельзя. Жители больших городов зачастую не отдают себе отчета в том, что вдали от крупных центров происходят резкие перемены в образе жизни. Восемьдесят процентов населения Польши живет за чертой больших городов, и именно провинция определяет сегодня облик Польши. Благодаря средствам массовой информации эти люди почти ничем не отличаются от столичных жителей. Одеваются не хуже, не отстают от моды. А при этом, как правило, больше занимаются самообразованием, больше читают по той простой причине, что у них больше свободного времени...»

Перед Равичем встают неожиданные, порой трудноразрешимые проблемы. Умер ребенок или его задушила отчаявшаяся мать — от его диагноза зависит судьба молодой одинокой женщины... Взаимоотношения с людьми сложны — в маленьком городке все как на ладони. А Равич встречается с молодой женщиной, женой директора школы. С местными властями тоже нельзя не считаться...

Роман Залуский как бы отдает своего героя на суд зрителей, предоставляя им повод начать дискуссию на темы морали.

Как отмечает рецензент журнала «Кино», актер Тадеуш Боровский, дебютировавший в этом фильме, создал выразительный образ молодого специалиста. Фильм затрагивает многие проблемы современной польской провинции.

«НОВОСТИ ТЕАТРАЛЬНЕ»

Вышел в свет первый номер информационного бюллетеня «Новости театральне», издаваемого Авторским агентством раз в два месяца. Он призван информировать читателей о новинках польской и зарубежной драматургии. В нем печатаются статьи о премьерах, конкурсах, фестивалях и других важных событиях театральной жизни.

Первый номер посвящен драматургии социалистических стран в связи с прошедшим недавно в Польше фестивалем драматургии этих стран. Бюллетень информирует о произведениях, переведенных в последнее время на польский язык, о театральном обмене Польши с другими социалистическими странами в 1946—1970 гг., а также о польских пьесах, поставленных в этих странах в 1968—1970 гг.

Тадеуш Боровский и Анна Сенюк в фильме «Кардиограмма».

(Журнал «Кино»)

РУМЫНИЯ

«СУРОВОСТЬ И НЕЖНОСТЬ»

В бухарестской галерее «Горизонт» состоялась выставка работ известного графика Лиджии Маковей. В последние годы художница работала в области книжной иллюстрации. Ей принадлежат циклы иллюстраций к поэтическому творчеству румынских классиков Эминеску и Аргези, а

из зарубежных авторов — Десноса, Квазимодо, Унгаретти, а также Горького и Есенина.

Обозреватель журнала «Арта» писал, что для искусства Лиджии Маковей характерны «боевой дух и лиризм, суровость и нежность».

Рисунки Лиджии Маковей: «Молодая сицилианка» и иллюстрация к «Ночи из ночей без любви» Робера Десноса.

ИЗДАНО НА РУМЫНСКОМ

В бухарестском Доме румыно-советской дружбы прошла выставка «Современная советская книга». На видном месте были представлены труды В. И. Ленина, которые издавались в Румынии 260 раз общим тиражом около 7 млн. экземпляров.

Наибольшей популярностью среди русской и советской классики пользуются произведения Л. Толстого и Горького (выпущено почти 2 млн. экземпляров книг каждого писателя). Книги Чехова и Достоевского изданы тиражом 700 000, Шолохова — около 1 млн. экземпляров.

На выставке были также представлены произведения Ю. Германа, Ю. Казакова, Д. Гранина, В. Аксенова, А. Грина и других советских писателей.

По сообщениям печати, в послевоенные годы в Румынии было издано около 10 тыс. названий книг советских авторов общим тиражом свыше 120 млн. экземпляров.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

«ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ...»

По сообщениям арабской прессы, издающаяся в г. Медина газета «Аль-Медина аль-мунаввара» опубликовала серию литературных очерков саудовского писателя Абд ас-Саляма ас-Саси под общим названием «Забытые страницы нашей современной литературы». В этих очерках рассказывается о малоизвестных или забытых писателях Саудовской Аравии, чье творчество тем не менее представляет немалый интерес. Это Мухаммед Омар Арб, Мухаммед Саид Абд аль-Максуд, Абд ас-Салям Омар, Хусейн Насыф, Абд аль-Ваххаб Нашшар и некоторые другие. Очерки предполагается выпустить отдельной книгой.

СИРИЯ

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ РИМСКОЙ МОЗАИКИ

В небольшом сирийском городе Шахба — родине императора Филиппа Араба (204—249 гг. н. э.) — состоялось открытие музея римской мозаики. Оно было приурочено к IX международному съезду археологов, проходившему в Дамаске под эгидой Генеральной дирекции сирийских музеев древности и при участии многочисленных представителей классической археологии.

Музей сооружен на месте бывшего здания римской эпохи, от которого остался лишь мозаичный настил. Мозаика прекрасно сохранилась. Разнообразие мотивов орнамента, а также тщательное выполнение рисунков и художественный подбор красок позволяют рассматривать ее как один из блестящих образцов восточного искусства мозаики. Среди наиболее интересных экспонатов музея — превосходно выполненная голова Океана, изображение Орфея, завораживающего птиц, сцены брака Афродиты и Ареса, Ариадны и Диониса в присутствии крылатых амуров, Геракла и т. д. Сцены окружены орнаментом из листьев виноградной лозы и фигур животных. Другие картины мифологического содержания окружены геометрическим орнаментом.

Иконографические и стилистические аналогии с некоторыми образцами антиохийской мозаики позволяют отнести ансамбль в Шахбе к III веку н. э. Эта датировка соответствует историческим данным о развитии города Шахбы в правление императора Филиппа Араба.

США

«УДАР ПО НАЦИИ»

Недавно из печати вышла книга известного американского негритянского писателя Джеймса Болдуина и ученого-антрополога Маргарет Мид «Удар по нации». Оба деятеля беседовали в течение семи часов по широкому кругу вопросов негритянской проблемы в США. Беседа была записана на магнитофон и затем переработана для печати. По отзывам критиков, рамки затронутых в книге национальных проблем необычайно широки — это и положение национальных меньшинств в США, национальные проблемы молодых африканских государств, положение негритянского населения в

Сцена из спектакля Голливудского телевизионного театра по трилогии Дос Пассоса «США». В основу спектакля, поставленного Джорджем Шефером, положены части трилогии, относящиеся к биографии «Неизвестного солдата», участника первой мировой войны. По отзывам критиков, спектакль имеет антивоенную направленность.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

Южно-Африканской Республике, проблемы религии и т. д.

Болдуин и Мид твердо заявляют, что США зашли в тупик, что страна должна немедленно избавиться от расовой нетерпимости и лицемерия раз и навсегда или погибнуть. Оба считают, что в настоящий момент «расисты напуганы настолько, насколько негры угнетены».

Рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Ричард Элман не пожалел черной краски, чтобы опорочить книгу «Удар по нации». По его мнению, она недостаточно обработана для печати и содержит много постороннего материала, банальностей. Тем не менее Р. Элман не мог не признать злободневности темы и распространенности высказанных в книге точек зрения на проблему.

Обозреватель еженедельника «Ньюсуик» высоко оценивает книгу, подчеркивая значительность ее темы и глубину авторского анализа.

ТУРЦИЯ

АРЕСТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Писатели разных стран продолжают выражать протест турецким властям по поводу арестов своих коллег в Турции.

По сообщению французской газеты «Монд», в Турции, где сохраняется напряженное внутриполитическое положение, арестованы многие видные деятели культуры. Хорошо информированные источники передают об аресте писателей Азиза Несина, Яшара Кемаля, Фазыла Хюсню Дагларджи, Хасана Изеттина Динамо, Самима Коджагёза, Факира Байкурта, переводчика Хасана Али Эдиза, кинорежиссера Метина Эркана и карикатуриста Турхана Сельджука.

ФРАНЦИЯ

ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА

Впервые опубликованы письма Ромена Роллана, которые он писал своей матери в период с ноября 1914 года по декабрь 1916 года из Женевы в Париж. Письма опубликованы в № 20 «Тетрадей Ромена Роллана» под заголовком «Я начинаю становиться опасным»—слова эти взяты из письма Роллана. Письма имеют прямое отношение к книге «Над схваткой». В них Ромен Роллан день за днем (он писал ежедневно) рассказывает матери обо всем том, что волновало его в первые два года мировой войны.

ЭКРАН ПАРИЖА, ЛЕТО 1971

Среди кинофильмов, которые шли в последнее время на экранах Парижа, подлинный интерес зрителей вызвало лишь несколько картин. К ним относится, в частности, документальный фильм «Скорбь и сострадание (хроника французского города в период оккупации)», поставленный режиссером Марселем Офюльсом. Фильм рассказывает о героях Сопротивления, о предательстве коллаборационистов, сотрудничавших с фашистами. Действие развертывается в Клермон-Ферране, неподалеку от Виши и в крае Овернь, где сражались патриоты.

Фильм не без труда «пробил» себе дорогу на французские экраны, так как кинопрокатные фирмы поначалу отказывались его демонстрировать. Лишь владелец одного маленького кинотеатра в Латинском квартале решил показать фильм. Он привлек огромный интерес парижан, после чего картина вышла на экраны Елисейских полей и получила широкие отклики в прессе.

Еженедельник «Фигаро литтерер» напечатал статью Клода Мориака, где, в частности, говорится, что «Сопротивлению посвящены самые волнующие и прекрасные моменты фильма». Газета «Монд» отмечает, что Марсель Офюльс «в своей суровой кинокартине показал историю живую и горячую». «Подлинной историей оккупированной Франции» назвал фильм еженедельник «Леттр франсэз». Картине присуждена премия имени видного французского кинокритика - коммуниста Жоржа Садуля.

Успехом у зрителей пользуется фильм «График движения» — работа известного мастера кинокомедии Жака Тати (автор, режиссер и исполнитель главной роли). Герой многих картин Ж. Тати — господин Юло, долговязый человек, с неизменной трубкой во рту и зонтиком под мышкой, на этот раз становится автоконструктором, создающим «автомо-

биль-кемпинг». В машине есть электричество, газ, душ, плита, подфарники превращаются в настольные лампы, а автомобильный гудок — в электробритву и т. д. Юло едет на международную автомобильную выставку в Амстердам. Но пока он туда добирается — в дороге его встречают разные трудности и препятствия,— выставка оказывается уже закрытой...

Газеты откликнулись на фильм рецензиями, в которых говорится, что «График движения» высмеивает «автомобильную цивилизацию» в буржуазном обществе.

Много споров вызвала картина «Земля обетованная», поставленная режиссером Пьером Этексом. Следуя за участниками велогонки по Франции, Этекс снял острый сатирический фильм, в основу которого положены интервью, взятые у французов и француженок — отпускников.

Некоторые критики обвинили Этекса в создании «произведения злобного и деморализующего». Известный критик Самюэль Лашиз в «Юманите диманш» отвечает на эти упреки, подчеркивая, что «Земля обетованная» представляет собой «острую сатиру на современную жизнь, ведущую к утрате человеческого достоинства в обществе, основанном на погоне за наживой».

Среди популярных фильмов следует отметить картину «Свалившись с неба» с участием Луи де Фюнеса, хорошо знакомого советским зрителям по кинофильмам «Разиня», «Оскар», «Большая прогулка», «Замороженный» и другим. Кинокомедия рассказывает о забавных приключениях трех человек, свалившихся в автомашине с горы. Автомобиль, зацепившись за дерево, повис над морем...

Во французской печати широко обсуждались итоги Международного кинофестиваля в Канне, на который Франция, по словам газеты «Юманите», представила фильмы «вне времени и пространства». Французские фильмы не получили на фестивале ни одной премии.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПОЧТА В БУТЫЛКАХ»

В издательстве «Чехословенски списовател» вышла книга Норберта Фрида «Почта в бутылках» — новое произведение из цикла воспоминаний писателя о пребывании в гитлеровских концлагерях («Бесценный образец и господин епископ», «Приятные заботы»). Новая книга включает повествование о Терезине и Освенциме и авторский комментарий к получившей широкий резонанс книге «Картотека живых».

Своеобразную рецензию на книгу «Почта в бутылках» в форме письма Эмы Ржезачевой «Депеша дошла!» опубликовал еженедельник «Творба».

«Милый Норберт Фрид,— пишет Э. Ржезачева,— когда я прочла твою последнюю книгу «Почта в бутылках», то сразу же, после того как вернулась из ее мира снова в свой мир, первой реакцией было: написать тебе. О ней, а также о себе, какие мысли и чувства она во мне пробудила...

Читаешь, — продолжает она,— и над каждой строчкой задумываешься. Должна задумываться, вынуждена вспоминать, напоминать самой себе то одно, то другое, вновь укрепляться в своей решимости: не допустить, чтобы когда-либо снова пришли к власти силы, которые принесли столько ужасов. Но давайте все же посмотрим, как тогда удалось человеку выжить, уцелеть вопреки тяжелейшим условиям, страху, ужасу, уничтожениям, неимоверной деградации, которые принес с собой фашизм. Человек противопоставил этому только свою жизненную систему — дисциплину, трудоспособность, волю. Волю к жизни!.. Сегодня почта в бутылках уже не нужна, но да здравствует твоя миссия, эта депеша живым!» (Речь идет о том, что во время гитлеровской оккупации Норберт Фрид оставил друзьям свои стихи в копиях. «Почта в бутылках» — эти сбереженные друзьями стихи — должны были сохранить его след в жизни на тот случай, если бы он не пережил то страшное время, свидетельство которому — его новая книга.)

ЧИЛИ

Х. Э. ВАЛЬДЕС О ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Чилийский писатель Хорхе Эдвардс Вальдес, назначенный советником посольства Чили на Кубе, дал интервью корреспонденту газеты «Гранма». На вопрос: «Каково ваше мнение о развитии латиноамериканской литературы?» — он, в частности, ответил, что существуют две стороны явления, называемого «бумом» в этой литературе. Есть издательский «бум», то есть нездоровая шумиха, поднимаемая издательствами с целью привлечения читателей, и есть действительный подъем литературы в Латинской Америке, чему способствует творчество таких писателей, как Алехо Карпентьер, Марио Варгас Льоса, Хуан Рульфо и других.

«Я думаю,— сказал далее Эдвардс Вальдес, — что имеется черта, присущая всем современным латиноамериканским писателям данного масштаба: они оторвались от схематизма «узкоместных» писателей-регионалистов, которые изображали латиноамериканскую жизнь более или менее упрощенно, искали в ней экзотический элемент, создавали персонажей-манекенов — либо абсолютных героев, либо абсолютных подлецов,— писали о добре и зле без необходимого социального и психологического анализа. Теперь появилась литература, которая отражает латиноамериканскую действительность более достоверно, ибо эта действительность не сводится к креольскому быту, к изображению более или менее примитивных сельских жителей, а это — реальность с современными городами, со своими «городскими» конфликтами. Однако новая литера-

гура не оторвалась и от мира фантазий, от мифологии, что также находит в ней свое место. В целом она отражает становление национального самосознания в масштабе всей латиноамериканской жизни, со всем комплексом сложных проблем».

«Какие влияния испытывает литература Латинской Америки? Не думаете ли вы, что революционные преобразования отразятся в ней быстро и значительно?» — спросил корреспондент газеты «Гранма».

«Я не думаю, чтобы революционные преобразования произвели быстрый переворот в литературе...— сказал писатель.— Но в целом, мне кажется, очевидна связь между освободительным движением в Латинской Америке, ее борьбой за свои национальные богатства и тем фактом, что наша современная литература, порывающая со схематизмом и рабским подражанием образцам — европейским и североамериканским,— ищет собственные формы».

Хорхе Эдвардс Вальдес подчеркнул, что «техника письма» и приемы, которые используют некоторые современные латиноамериканские писатели,— свидетельство творческой деятельности, которая состоит в том, чтобы усвоить все новое и прогрессивное из того, что есть в современной прозе. В то же время это новое трансформируется на свой лад, приспосабливается к наиболее полному отображению латиноамериканской действительности.

ШВЕЦИЯ

Шведский писатель и кинорежиссер Бу Видерберг представил на кинофестиваль 1971 года в Канне новую картину «Джо Хилл», посвященную шведскому эмигранту в США Жозефу Хиллстрему, ставшему известным сочинителем и исполнителем революционных песен и деятелем международной организации Индустриальные Рабочие Мира. На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Филм ин Суиден»)

ЮГОСЛАВИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛИБОРА ГЛИГОРИЧА

Журнал «Савременик» опубликовал рецензию на новую книгу «Тени и мечты» известного критика и литературоведа, президента сербской Академии наук Велибора Глигорича. В ней представлена картина развития сербской литературы от выхода в свет первых романов реалиста XIX века Якова Игнятовича до наших дней. В книгу входят обзорные очерки по истории сербской литературы, а также эссе о писателях Сербии — Сибо Миличевиче, Густаве Крклеце, Десанке Максимович и Раде Дранаце.

Высокую оценку книге Глигорича дал также критик черногорского журнала «Стваранье», который назвал «Тени и мечты» «литературной историей Белграда». Глигорич, по его словам, восстанавливает в памяти современников многие несправедливо забытые имена и события в литературе, а порой помогает заново почувствовать прелесть таких книг, как поэтический сборник Десанки Максимович «Прошу помилования». Интересен, по его мнению, очерк «Белград в драматургии 1900—1914 гг.», где Глигорич, как и в других своих исследованиях, дает анализ драматургии Нушича.

ЮНЕСКО

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ АФРИКИ»

По сообщению информационного бюллетеня «Новости ЮНЕСКО», в Париже в течение нескольких дней заседал учрежденный ЮНЕСКО Международный научный комитет по разработке и составлению «Всеобщей истории Африки». Комитет, в частности, постановил: «Всеобщая история Африки» будет издана в восьми томах; основное издание выйдет на французском и английском языках. Одновременно будут опубликованы и широко распространены карманное и сокращенное издания на африканских языках.

В этом году приступят к разработке, по крайней мере, двух первых томов; опубликование всего труда должно быть закончено к 1978 году.

«Всеобщая история Африки»—оригинальный труд, тематика которого не перекрывает содержания уже существующих аналогичных работ. Африканский континент и история африканских народов рассматриваются как единое целое.

«Всеобщая история Африки» будет состоять из следующих томов: «Введение и предыстория Африки», «Древняя Африка», «Африка с VII по IX век», «Африка с XII по XVI век», «Африка с XVI по XVIII век», «XIX век примерно до восьмидесятых годов», «Африка под иноземным владычеством», «Африка после эфиопской войны».

Авторы этого номера

НГУЕН ШАНГ — NGUYÊN SÁNG (род. в 1933 г.).

Один из наиболее популярных южновьетнамских писателей, автор нескольких сборников рассказов и повестей, член Ассоциации работников литературы и искусства Южного Вьетнама. С шестнадцати лет Нгуен Шанг — в рядах революционной армии.

Во многих произведениях Нгуена Шанга, рассказывающих о борьбе его соотечественников против американских агрессоров, описан район дельты реки Меконг, где родился и вырос писатель. Его рассказы и очерки, в которых раскрываются истоки героизма вьетнамского народа, тепло встречает читатель не только на Юге, но и на Севере страны.

Рассказ «Зунг» взят из сборника «Избранные рассказы» южновьетнамских писателей, вышедшего в 1970 году.

■

НГУЕН ТХИ

Молодой южновьетнамский прозаик, погиб в 1968 году. Перу Нгуена Тхи принадлежат несколько повестей, рассказы и очерки, роман, который остался неоконченным. Документальная повесть «Мать держит винтовку» («Nguoi me cam sung», 1965) была удостоена премии имени великого национального поэта Нгуена Динь Тиеу. В 1969 году издательство «Зиай фаунг» («Освобождение») выпустило книгу Нгуена Тхи «Рассказы и очерки» («Truyen va ky»), где был напечатан публикуемый в этом номере рассказ «Мамы нет дома» о детях народной героини Нгуен Тхи Ут.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК — ERICH MARIA REMARQUE (1898—1970).

Немецкий писатель. Наступление фашизма заставило Э. М. Ремарка в 1932 г. покинуть Германию. Некоторое время он жил в США, затем поселился в Швейцарии, где провел последние годы жизни.

Первый роман Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» (1929) — страстный протест писателя против жестокости и бессмыслицы империалистической войны — принес ему всемирную известность.

Творчество Э. М. Ремарка хорошо знакомо советским читателям по переведенным на русский и другие языки народов СССР романам: «На западном фронте без перемен», «Возвращение», «Искра жизни», «Возлюби ближнего своего», «Три товарища», «Время жить и время умирать» («Иностранная литература» №№ 8—10, 1956), «Триумфальная арка» («Иностранная литература» №№ 8—11, 1959), «Ночь в Лиссабоне» и другим. Пьеса «Последняя остановка» много лет идет на советской сцене.

В этом номере мы начинаем публиковать в журнальном варианте последний роман Э. М. Ремарка «Тени в раю» («Schatten im Paradies»), увидевший свет после смерти писателя, в 1971 году.

■

ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО — JULIO RAMÓN RIBEYRO (род. в 1929 г.).

Перуанский писатель, автор ряда сборников рассказов, в том числе «Случайные рассказы» («Cuentos de circunstancias», 1958), «Бутылки и люди» («Las bote-

llas y los hombres», 1964), «Три возмутительные истории» («Tres histórias sublevantes», 1964), а также романов «Хроника Сан-Габриэля» («Crónica de San Gabriel», 1960) и «Воскресные божки» («Los geniecillos dominicales», 1965). Некоторые его произведения переведены на французский и немецкий языки.

Публикуемые в этом номере рассказы взяты из сборника «Проза в Перу» («La narración en el Perú», 1969) и журнала «Каса де лас Америкас» № 64, 1971.

■

АНТОНИУ ДИ КАСТРУ АЛВЕС — ANTONIO DE CASTRO ALVES (1847—1871).

Великий бразильский поэт, революционный романтик. Его поэмы «Стоны Африки», «Невольничий корабль», «Приветствие республике Палмарис», проникнутые духом борьбы с рабством и призывом к свободе и независимости, звучат с исключительной силой и в нынешней Бразилии.

При жизни поэта вышла только одна книга его стихов «Зыбь на волнах» («Espumas Flutuantes», 1870) и в театре поставлена историческая драма «Гонзага, или Революция в Минас-Жераис» («O Gonzaga ou a Revolução de Minas»), опубликованная в 1875 г. Его знаменитая книга «Рабы» («Os Escravos») была издана посмертно в 1883 году.

Советскому читателю Кастру Алвес знаком по опубликованной в «Иностранной литературе» (№ 8, 1957) поэме «Невольничий корабль» и сборнику «Стихи» (Гослитиздат, 1958), куда вошли стихотворения из основных его поэтических книг. В серии «Жизнь замечательных людей» была издана книга Жоржи Амаду «Кастру Алвес» (1963).

В этом номере публикуются впервые переведенные на русский язык стихотворения Кастру Алвеса «Сумерки в сертанах» и отрывок из поэмы «Пророк».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 10487. Сдано в производство 9/VIII-71 г. Подписано к печати 10/IX-71 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. листов 26,96. Зак. 2512.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.